ЮЖНОЕ СИЯНИЕ

Одесский
литературно-художественный
журнал

2 (50)' 2024

Главный редактор
Станислав АЙДИНЯН

Выпускающий редактор
Сергей ГЛАВАЦКИЙ

Отдел прозы
Ольга ИЛЬНИЦКАЯ

Отдел литературной критики
Александр КАРПЕНКО

Общественный совет:
Дмитрий Бураго (Киев), Евгений Голубовский (Одесса),
Владимир Гутковский (Киев), Олег Дрямин (Одесса),
Алёна Жукова (Торонто), Олег Зайцев (Минск),
Вера Зубарева (Филадельфия), Андрей Костинский (Харьков),
Марина Матвеева (Симферополь), Юрий Работин (Одесса),
Олеся Рудягина (Кишинёв), Анна Стреминская (Одесса).

Интернет-версия журнала: ursp.org/index.php/yuzhnoe-siyanie

Ariella Publishing
Philadelphia
2025

Литературно-художественный журнал «Южное Сияние» (№2, 2024)
Literary magazine «South-lights»
ISSN 2226-647X

Учредитель – Общественная организация «Южнорусский Союз Писателей»
Founder – Public organization «South-Russian Writers Union»

Published by Ariella Publishing | Philadelphia, Pennsylvania
First printing April 2025

© «Южное Сияние», 2025

Георгий Цомакион. Vita nostra brevis est.

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

Москва: Станислав Айдинян. **Ключ в пустыне.** *Новелла* 6
Одесса – Москва: Ольга Ильницкая. **Возвращение писателя.** *Калейдоскоп* 7

ПОЭЗИЯ

Одесса: Юлия Мельник. **Дыхание тех, кто дышать разучился.** *Стихотворения* 15
Одесса: Владислав Китик. **Сочиняю день. И он – случается.** *Стихотворения* 20
Одесса: Татьяна Партина. **О времени, не о себе.** *Стихотворения* 25

ПРОЗА

Москва: Елена Черникова. **Ствол.** *Рассказ* 30
Одесса: Анна Михалевская. **Ангел-хранитель на карнавале.** *Отрывок из романа «Три стороны монеты»* 35

ПОЭЗИЯ

Москва: Надя Делаланд. **Город с вкраплениями деревьев.** *Стихотворения* 49
Москва: Евгения Джен Баранова. **Лимонный сок для прекрасной дамы.** *Стихотворения* 54
Ростов-на-Дону: Ольга Андреева. **Времена года.** *Стихотворения* 58

ПРОЗА

Одесса – Сиэтл: Галина Соколова. **Инсталляции цвета маренго. Монолог в темпе «Престо».** *Повесть* 63
Одесса: Елена Колтунова. **Когда умолкнул звон трамваев.** *Рассказ* 99

ПОЭЗИЯ

Москва: Геннадий Калашников. **В холодном воздухе предметы…** *Стихотворения* 102
Москва: Анна Гедымин. **Баллады** 108
Феодосия: Ника Батхен. **Редкие слова.** *Стихотворения* 114

ПЕРЕВОДЫ

Гота: Герхардт Гогенштауфен. **Alles als Eis. Немецкая колыбельная** 120
Токио: Хоси Синъити. **Мудрые женщины.** *Рассказ* 132

ПОЭЗИЯ

Кишинёв: Татьяна Некрасова. **Истины зазубренное лезвие.** *Стихотворения* 135
Москва: Андрей Ивонин. **Кленовый листик над домами.** *Стихотворения* 141
Евпатория: Елена Коро. **Пешелёты слова.** *Цикл стихотворений* 146

ПРОЗА

Пекин: Ирина Чуднова. **Осенний синдром.** *Рассказ* 150
Москва: Алексей Котельников. **Голубая кровь.** *Рассказы* 153

ПОЭЗИЯ

Москва: Михаил Гундарин. **Тайные тропы в соседский сад.** *Стихотворения* 160
Москва: Ульяна Попрухина. **Под зонтиком оттенка авокадо.** *Стихотворения* 164
Воронеж: Павел Сидельников. **Придаточные корни чуда.** *Стихотворения* 168

ПРОЗА

Одесса: Виктория Колтунова. **Лягушки хотят быть белыми.** *Сказка* 172
Москва: Елена Вадюхина. **Птица у окна.** *Сказка* 178
Самара: Юрий Быков. **Миниатюры** 183
Прага: Ирина Силецкая. **Миниатюры** 186

‹СЕТЧАТКА›

Кан, Нормандия: Валерий Байдин. **Артюр Рембо, Николай Гумилёв и будетляне** 189

‹КАМЕРА-ОБСКУРА›

Лиссабон: Маргарита Берёзкина. **Многоликий и неразгаданный Фернандо Пессоа** 194

‹КНИЖНАЯ ПОЛКА› ЕЛЕНЫ СЕВРЮГИНОЙ

На киноплёнке памяти. *О книге Вадима Муратханова «Путешествие»* 203
Ирония судьбы, или «От сумы да от тюрьмы…». *О книге Татьяны Окоменюк «Заочница»* 205
Потаённая Пруссия. *О книге Петра Старцева «Космогонии»* 207
Заклинание ужаса, или Под тонкой кожей культуры. *О книге Андрея Ткаченко «Делящийся на мир»* 209
Небезнадёжность падежей. *О книге Олега Фельдмана «НИКОГДА ПОЗДНО»* 211

‹КНИЖНАЯ ПОЛКА› АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

«Я не ветка, я только предветвие...». *О книге Ивана Жданова «Ангел зимний, ангел летний»* 214
«Бьётся бабочка стиха…». *О книге Ксении Август «Семь Я»* 217
«И мир кровит, как тяжелобольной…». *О книге Бориса Фабриканта «Багажные наклейки»* 220
«Свой садик на хребте дракона…». *О книге Александра Правикова «Бульдог судьбы»* 224
В пересечении параллельных эпох. *О книге Ефима Бершина «Человек параллельной эпохи»* 227
Прости меня, Ньютон! *О книге Константина Кедрова «Альберт Эйнштейн без формул»* 229
«Слышно, как звёзды ходят по крыше…». *О книге Людмилы Осокиной «Сон о нарциссах»* 230
«Я – синее сияние…». *О книге Николая Архангельского «Всё, до чего есть дело»* 232
«Март к утру накрахмалил сорочку…». *О книге Софии Селектор «За кругом круг (времена года)»* 234
Рай понимания. *О книге Юрия Нечипоренко «Смыслы русской культуры»* 236

‹КНИЖНАЯ ПОЛКА› РИММЫ НУЖДЕНКО

«Страх как высшая мера». *О повести Светланы Волковой «Коробка с зефиром»* 239
«Ещё оттуда доносятся голоса». *О рассказе Каринэ Арутюновой «Дочь аптекаря Гольдберга»* 242
«Что я должна сказать, сыночек?». *О рассказах Марата Баскина «Дом с крыльцом» и «Немка»* 244

‹КНИЖНАЯ ПОЛКА› АЛЕКСАНДРА РУДНЕВА

И снова о сёстрах Цветаевых. *О книге Елены Титовой «Цветаевы. Поэзия. Вологда»* 249
Вещие сны и немного о Марине Цветаевой. *О книге Галины Данильевой «Из жизни босоногой королевы»* 253
Не бойся жизни. Тебе не избежать расплаты за неё. *О книге Григора Апояна «Избранные статьи»* 255

‹ШКАФ›

Хайфа: Лина Кертман. **Набросок рецензии.** *О романе Анастасии Цветаевой «Amor»* 258
Екатеринбург: Максим Сергеев. **На до-словном языке.** *О книге Марины Перовой «По усталой воде»* 264
Токио: Накадзима Хиросэ. **Рецензия на первый толковый словарь, посвящённый культуре Японии** 266

ПОЭЗИЯ

Одесса: Сергей Главацкий. **N.N.** *Стихотворение* 268

СТАНИСЛАВ АЙДИНЯН

КЛЮЧ В ПУСТЫНЕ

Посвящается Ал. Бухарову

Каждый человек рано или поздно начинает искать ключ. Ключ, который бы подходил ко всему… С годами выясняется, что это ключ от Времени. Ключ от бессмертия не нашёл ещё никто, потому что настоящий ключ хранится у Того, кто воскрес, чтобы высоко уйти…

Однажды я вышел из своего тела и полетел навестить пустыню, там пространства песка соприкасались с морем и неисчислимые песчинки были подобны сыпучему времени…

Песчинки-секунды лежали на берегу холмистого залива. Вода была почти спокойна, редкие волны, набегая еле заметною издали рябью, тревожили зрение. Воздух был свеж, казалось, он спускался из ровной синевы нависшего над пустыней неба.

И тут я заметил лежащий на песке расколотый надвое череп огромного грецкого ореха. Создавая орех, Творец будто нарочно уподобил череп ореха черепу человека – под скорлупою живут две доли, подобные мозгу.

Приглядевшись, я увидел часовой механизм, таившийся в одной из ореховых половин. Часы были спрятаны в ореховую скорлупу и там таинственно шли, пока в пустыне морской ветер пересыпал песчинки, никогда не побывавшие в песочных часах…

Но вот – кто-то невидимый бросил орех на песок, орех раскололся, часы остановились – шестерёнки их перестали мерно звучать в такт секундам. И замолкли, уплывая в покой – 5, 6, 7, 8… Одна из часовых стрелок вонзилась в песок. И её отражение в поверхности песка чуть не породило другие часы, но этого не произошло, потому что никто, кроме меня, не заметил этой маленькой и острой тени…

Циферблат часов оплыл на солнце, намекая на иллюзорность времени.

Но главное – рядом с разбитым орехом лежал *ключ*. Я сразу понял, что это именно тот ключ, который ищут все. Некоторые целую жизнь тратят на поиск ключа от времени. И лишь немногие из посвящённых догадываются, что ключ от времени подходит не только к часам. Он может отомкнуть и иные пространства, где нет часовых механизмов, но они шли бы по-иному, если бы они там были…

Ветер не тревожил песок. Всё было тихо. Но рано или поздно налетит ветер и заметёт и ключ, и часовой механизм, и половинки расколотого надвое ореха.

Где бы мы ни жили, пылинки спускаются с неба, проходят века, и эта небесная пыль, подгоняемая ветром, заносит бесследно огромные величественные города и немых сфинксов пустыни. И даже развалины не видны из-под земли и песка.

Когда демоны разрушения приходят из пустынь в города и когда незримые смерчи затмевают небо, люди хотят остановить время или повернуть его шестерёнки вспять. Они все ищут заветный потерянный ключ, они не знают, что ветер Вечности давно унёс его в пустыню, где остановилось время, которое ждёт погребения в сыпучем и жёлтом, как Солнце, неумолимом земном песке…

ОЛЬГА ИЛЬНИЦКАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПИСАТЕЛЯ

1
КРИЗИС

Писатель я или хрен собачий, спросил себя Викентий. Тиражи у меня не фонтан, заработать своими книгами ни разу не, пишу лучше чем, а никто не любит. Пирожка с яблоком не протянут, только и знают, как истреблять интерес к жизни вопросами. Поговорили? Свободен?

Возникло ощущение, что в сериал вошёл и застрял. А там неясно, в какую серию попал, не понимаю, не понимаю, что происходит в зале с шахматно-расставленными стульями.

Что происходит? И – как мне отсюда, куда? Да некуда, кроме как рвануть тельник на груди и рубануть правду – как они её понимают и ждут.

Викентий поддёрнул маску, поклонился неопределённо, всем и никому, и вышел из зала.

На улице сдвинул маску, вздохнул и вслух сказал – всё! Завязал, завязал с литературой, точка.

Шёл снег, заметала след позёмка, писатель начинал новую жизнь.

2
ТАКАЯ ЛАЖА

Когда я верил во всё светлое, что вы считали фуфлом и лажей, говорил свой текст Викентий зимнему сумраку, а мои дед и отец проливали кровь, пришёл дядя Стёпа-космонавт и лишил меня сбычи мечт.

Я не целочка, меня так вежливо не возьмёшь, за социальную невинность я могу отказаться от светлого будущего, да оно изначально не моё, моих родителей, но зачем им, уже поздно им, растворившимся в голубизне бесконечности.

Вот я в недоумении, вот каланча, вот пожар, вот пожарники, но огонь горит, машина стоит, а в меня стреляют! Я рушусь на всю голову, как крыша едет, погребая стрелка, а он взлетает, растворяется в небесах белым инверсионным следом и, обернувшись голубем, птицей государственной, оповещает мир: вот земля обетованная! Она есть, а ты, Викентий?

Засвистел Викентий музыку завирюхи, набирающей силу. Одинокий голубь, снегирём с обагрённой красным грудкой, сел на плечо Викентия, сказал строго:

– Восвояси, Викентий, восвояси, возвращайся домой.

3
СВОБОДЕН

Зря ты затеял разговор о свободе.

Отвечаю – ты будешь не свободен с тем, к кому подошёл, кому даёшь деньги… не свободен с тем, кому лжёшь.

Ты повязал себя, поделившись постелью, хлебом, тайной. Не свободен с тем, кому помог, забота о другом пуще неволи – ты не свободен! – И ничто не освобождает – если ты не один. Ни любовь, ни вражда, ни дружба тебе не в помощь.

Просто помни, когда не один – ты событийствуешь, соучаствуешь, сосуществуешь, а не живёшь свою жизнь.

Освобождает для жизни только одиночество. Живи один. Будь свободен.

Только тогда возможно наше со-беседование, только тогда – кто кого. Убей собеседника! Он пожизнен. Убей и стань свободным!

– И что тогда мне с той свободы?

– А чего ты хотел, когда подошёл спрашивать?

– Я хотел узнать, как становятся свободными.

– Ты не будешь свободным, ты обращён к другому. Будь счастливым, свобода тебе не грозит, – он протянул мне ключи от квартиры, где деньги лежат, и захлопнул за собой дверь.

Прошло девять лет. Я вышел на случайной остановке поезда маршрута Одесса – Москва. Снял номер в гостиничке. Никто не знал меня в этом городе. Идти мне было некуда. И я долго шёл под дождём. А когда он меня окликнул, я сразу понял, вот оно, уже происходит, и пошёл на голос. И оно произошло.

…С тех пор на груди я ношу медальон, в нём – клочок бумаги с одним единственным словом.

…Я не расскажу о том, чем заплатил за него. В этом слове помещена вся моя жизнь. И его тоже.

4
ПРО ПУГОВИЧНИКА И НИКОГДА

Кто сказал, что «никогда» обращено в прошлое? Никогда – это о будущем.

Вот я и узнала, что такое страшный сон. Оказывается, мне раньше не снились страшные сны.

Сегодня приснился мой второй сон о Викентии, и ничего более яркого и страшного мне ещё не снилось.

Во-первых, Викентий играл джаз на водопроводной трубе. Он был один в полупустой комнате и играл. Это было фантастически хорошо! Но ему было плохо, и я это видела, как именно плохо ему было. Я хотела помочь, но он уже лежал, неудобно и больно лежал, и кровь проступала через жёсткий белый воротник французской рубашки, а я не могла помочь расстегнуть пуговку на шее. Он задыхался. Я видела чужую комнату, полную звуков – то маленькие мышки маленькими ногами топали, во все стороны разбрызгивая отброшенную Викентием музыку. Викентий был похож на Маяковского, уже застреленного и переложенного на кровать умирать. Мёртвый, но умирающий Маяковский и был Викентием, и жёсткий тугой ворот белоснежной рубашки был усыпан бусинками проступившей крови.

Сытые бисерные клопы перетоптали маленькими ногами всего Маяковского и, как разбегавшиеся перед тем мышки, маленькими ногами разносили музыку Викентия на север, юг, восток и запад.

Мы разговаривали, комната обернулась купе поезда, мы ехали на юг, на столике тихо ложечка в стакане звякнула…

– Как сегодня неспокойно, зябко мне, – сказал Викентий моими словами. Он кутался в вагонный плед, рассказывал, что много лет не ездил на поездах.

– Всё самолёты да самолёты, послать бы их по адресу…

Я говорю:

– Там перекаты да перекаты…

– Та не мелочись, это одно и то же, – только и сказал.

Ему опять было душно, и больно, но мне удалось пуговицу расстегнуть.

– Не боюсь я ПуговиШника, а тогда боялся…

Я поняла про «тогда», тогда и я не боялась Пуговичника, когда ждала Викентия у оперного театра, а он опаздывал. Но если я решаюсь ждать, я дожидаюсь.

За тридцать минут ожидания я нашла тринадцать пуговиц. Мы поехали в Наш Замок на шестнадцатой станции Большого Фонтана и я бросила пуговицы в огонь печки, что Викентий жарко растопил, все тринадцать пуговиц…

Мы впервые вместе легли на кровать, узкую и жёсткую, и пролежали неподвижно сорок минут, а Пуговичник пялился на нас от печки до момента, пока мы молча не встали и пошли есть пельмени в кафешку у моря.

Море было замерзшим и мы по нему шли как посуху, набитые горячими пельменями, а Пуговичник пёрся за нами. Я уже знала, что это был застреленный Маяковский, и боялась, что Викентий оглянется и поймёт, кем обернулся Пуговичник. А Викентий вдруг поправил меня:

– ПуговиШник, говори ПуговиШник, тогда не будет так страшно.

– Так как? – спросила я.

– Тик так, – сказал Пуговичник.

Море растаяло.

Викентий никогда больше не приедет в Одессу. Викентий умер и подзахоронен к своей второй тёще в могилу на Востряковском кладбище из соображений экономических, а вовсе не по любви с тёщей. Он пел, рассказывая мне о своей второй жизни, когда удирал из дома тёщи к своей третьей любимой в третью жизнь – «Мимо тёщиного дома я без шуток не хожу», и говорил о себе как о неприлично влюблённом человеке, а я смущалась, даже во сне понимая, что это сон, такому повороту нашей с ним жизни.

Рассказанный сон плоский, как сковородка, а нерассказанный сон точно ведь запомнится горячим ужасом постепенного нарастающего нотного бега маленьких ножек, тяжёлых от музыки, крови, клопов и мышек, и преследующего взгляда Пуговичника.

– Я не боюсь тебя, ПуговиШник!

Но я боялась и поторопилась проснуться. Я не уверена, что проснулась в доброе утро. По-моему, рассвет ещё не наступил. А никогда уже наступило. Точка.

5
ОБ УШЕДШИХ ОТЦЕ И НАПЁРСТОЧНОЙ ДЕВОЧКЕ

…он ушёл тихо, во сне, как уходят праведники. Когда его насовсем отпускали в землю, небеса плакали, дождь стекал по лицам провожающих, они говорили – солёный дождь.

Сливаясь со слезами, дождь не прекращался ещё девять дней и ночей. На десятый день кружевное солнце повисло над миром, даже там, где не было тени, облака рисовали кружевные узоры, и земля была в солнечных зайчиках. Маленькая, как напёрсток, девочка сидела у могилы отца и пела песенку со взрослыми словами. Рядом стояла большая собака, слушала и, в такт помахивая хвостом, подпевала.

Скоро день перевалил к вечеру, предзакатное солнце собрало в ладонь солнечных зайчиков и, сжав кулак, улеглось рядом с могилой, положив кулак под щёку. Девочка молча спросила собаку о непонятном, собака молча ответила. Солнце понятливо улыбнулось и разжало кулак. Зайцы разбежались по сгущающемуся сумраку, пробивая светящиеся окошки над каждой могилой, собака пошла обходить могилы, заглядывая в окна.

Девочка свернулась калачиком, уснула. Света из окошек не хватало, и сумрак сгущался. Собака далеко ушла, у неё были свои дела, зайцы в окнах постепенно гасли и окна закрывались, как глаза.

Над могилами тихо расправляла крылья птица с немигающим взглядом. Но перья крыльев, иссиня-чёрные, помигивали голубыми искрами, от их мерцания становилось холоднее. Вскоре большая печаль накрыла кладбище. Девочка с напёрсток всхлипнула во сне, она замёрзла.

Тогда отец встал и укрыл дочь лепестком фиалки, росшей в изголовье могилы.

Мир волшебно изменился.

Только непроглядная ночь знала, как изменился мир.

Из непроглядности немигающе смотрела ночная птица, сторожащая тьму, и в её чёрных зрачках нечему было отразиться.

6
ПЕРЕДОЗ

«И осталось лишь досмотреть жизнь свою»
из письма Н.В. Гоголя

У меня такой наступил передоз… Да меня уже просто нет.

Уже не я, а сгущёнка какая-то, сироп, где концентрация превышает превышение превышения.

…Мама потеряла и второй паспорт за два года… Дома засунула куда-то, она всё перекладывает с места на место без всякой системы, и это катастрофа.

Когда мы забрали и везли маму из больницы, завезли в полицию и – мат с перематом путая, заставили (это при предварительной договоренности!) – сфотографировать её, снять отпечатки, ну и все паспортные прочие дела – то особенно меня вставило – подпись поставить на паспорте – я взяла мамины пальцы в свои, и так мы подписали – (я впервые после замужества писала свою девичью фамилию) и писала её в – последнем мамином паспорте!

…Это странное чувство, когда две жизни – её и моя слились в папиной фамилии – о, как мне в этот момент было сложно – наверное… – как Гоголю очнуться во гробе…

Доставить маму даже к двери нужного кабинета в паспортном столе казалось превышением сил её…

Всё происходило, как в замедленном кино – и да, было осуществлением насилия над старостью.

А через три недели нужно было новый паспорт забрать.

И опять осуществить насилие над немощью – надо без лифта спустить маму с 4 (!) этажа (а на обратном пути поднять…), усадить в такси – высадить перед зданием полиции – поднять по ступенькам – провести по коридору – потом всё в обратном порядке – подпись, когда её и моя рука – единое, и весь путь назад уже с готовым паспортом – с пластиковой карточкой (новая форма паспорта) – это карточка, чтобы такие, как мама – тут же и потеряли!

И вот я всё это представляла и понимала – мне и в страшном сне не сдюжить.

И пошла я договариваться к начальнику полиции. И вот…

Вхожу я в кабинет:

– Здравствуйте! Вы Анатолий Васильевич?

– Да, – заморочено отвечает человек, отрываясь от бумаг.

– Как это хорошо! – говорю я, светясь радостью…

Начальник паспортного стола обалдевает от нестандарта…

После было всё, и было это «всё», как в кино – помню, он сказал – мы здесь не звери, но главное – нам надо, чтобы у вашей мамы не пропечатались пальцы! Нам надо об этом узнать! Тогда можно будет не маму вести к нам, а нас везти к маме. Мы всё сделаем, когда узнаем!

И мы начали узнавать «про пальцы».

Это было долго потому, что завис компьютер.

А потом прозвучало – у юных женщин и стариков иногда не пропечатываются пальцы! Почему-то!

Да, они не пропечатались. И дальше уже всё было просто…

И тогда мы поехали с паспортисткой к маме…

Получение паспорта длилось с половины десятого до половины второго.

И ещё один штрих – мама ждала, сиделка ушла из дома по своим делам, и мама одиноко сидела на постели одетая, как для выхода.

На ней были пижамные фиолетовые штанишки до колен. Голубая кофточка. И поверх длинная белая майка. Левая нога от щиколотки до колена забинтована. Прекрасная благородная седина серебрилась и сияла в солнечном свете… А к белой майке английскими булавками было тщательно и неумело пристегнуто выходное чёрное платье. Оно, как фартушек, было пристёгнуто поверх – …надеть его мама не смогла.

И потрясение наше было столь велико…

А красота маминого лица в этот момент была столь абсолютна…

И мы подписали с ней опять бумагу – единой нашими слившимися руками подписью – о получении нового биометрического пластикового паспорта.

И вот мы вручили маме её новый паспорт… Тут сюрр вошёл в свою высочайшего накала фазу – мама с усилием попыталась подняться с постели – но не смогла, взяла в руку паспорт-карточку, поднесла к глазам, не увидела, пощупала и вернула мне, сказав – что с этим нужно делать? Какую дверь открывает этот ключ? Куда?

– Мама, это не ключ, это паспорт!

– Ну да, – сказала строго моя мама в пристёгнутом к майке поверх английскими булавками выходном маленьком коктейльном чёрном платице, – это паспорт, а я Николай Васильевич.

– Какой Николай Васильевич? – растерялась паспортистка.

– Гоголь, – сказала я тихо.

Паспортистка не поняла.

…Моя мама досматривала жизнь свою.

7
НЕВНЯТНАЯ ИСТОРИЯ

Таких болтливых глупышей, как я, – сказала Зара Максиму, – поискать. Во-первых, Б-бога нет и не было, во-вторых, я тебя не люблю, мне просто бывает кое-что интересно, в-третьих те, кто в бога верят, субъективные идеалисты, их ещё определяют солипсистами, ты можешь с этим не соглашаться, мне теперь без разницы.

Что тебе ещё сказать? Например, что я к понятию *родина*, *патриот* и *герой* отношусь как к перечислению симптомов конкретного инфекционного заболевания, типа скарлатины.

Всё, Макс, вот моё заявление о разводе. Один экземпляр я уже отправила в ЗАГС, второй твоим родителям, третий для тебя, ознакомься.

В-четвёртых, никакая не Зара я, меня зовут Света, и я возвращаюсь в свою биографию.

Зара тихо закрыла за собой дверь.

Максим позвонил маме, сказал, что ничего не понял, но всё, семейная жизнь закончилась. Мама ответила, что они с папой уже в курсе, но мы тоже не поняли. И спросила – доволен?

– Я не знаю, что Заре больше не нужно, я не нужен? – Максим положил трубку, он догадывался, что услышит.

Собрал дорожную сумку, взял паспорт и остатки зарплаты, удивившись, что Зара ничего не взяла, и так же, как она, тихо закрыл дверь. Не решил, куда пойдёт, только знал, что сюда возвращаться не хочет. Уехал на дачу, время было не дачное, значит, подумал, ни с кем не пересекусь. Жизнь притормозила. Спал крепко. Не думал ни о чём. Утром проснулся от запаха кофе. В комнату вошла Зара, поставила чашку на подоконник, села к нему спиной, молча пила кофе.

Он встал, вышел, взял сумку и пошёл вдоль пустой улицы к автобусной остановке. Пришёл автобус и Макс уехал. Вернулся домой, сварил кофе. Пить не стал. Долго смотрел в окно, не зная, что думать и что делать.

Так началась его новая жизнь без Зары.

Через месяц их с Зарой развели и он узнал, что её действительно звали не Зарой, а Светой. Что она никогда не была Зарой, а была её сестрой-близнецом. Но этого он тоже не знал. Узнал, что Зара погибла три года тому, он не заметил подмены Зары на Свету, иногда думал, что что-то не так, но решил, всё бывает. Выяснять теперь, что это было тогда, три года назад, и почему было – не хотелось.

Света не Зара сказала, расставаясь, что дачу освободила. Больше не встречались.

Мать и отец так и не узнали ни того, что Зары уже три года как нет, ни того, что Света никакая не Зара. Ну и слава богу, решил Макс и поставил точку в этой невнятной истории.

8
ИЗМЕНЯЮЩАЯ СУТЬ

Когда Вася постарела, у неё все произошло классически. Раскрошились кариесные зубы, потом закровили парадонтозно десны и оставшиеся целыми зубы добровольно ушли странствовать.

Вася истово молилась, но из-за склероза слова взаимозаменялись, оказалось, что во время молитвы это чревато, потому что Вася думала и молилась о новых зубах из голубоватого фарфора, на винтах вкрученных в хрупкие челюсти, но произносила другое слово, не подходящее для такого прошения. Вася думала о зубах, а ошиблась словом и просила волосы.

Когда утром Вася открыла рот со своим вечным добрым утром, сразу стало понятно, что никакого доброго утра ни у кого уже не будет. Прекрасные голубоватого оттенка волосы струились изо рта несчастной Васи. Росли они не по часам, а быстрее, и к полудню Вася заплела серебряную косу, обвила вокруг шеи и ушла куда глаза глядят.

Все сразу вспомнили, куда пошёл Лев Толстой, побежали искать Васю на вокзал. Нашли на морском.

Коса у Васи расти перестала. Лежала, серебрясь, вокруг шеи, Вася, нос в серебро утопив, поглядывала, словно всхлипывала всухую.

Рта Вася не открывала. Но было понятно, что она беззвучно говорит, говорит…

А Вася подошла вдруг к маленькому лысенькому начальнику морского вокзала, приподнялась на цыпочки и, обхватив лысую голову незнакомого ей начальника, поцеловала серебряным шелковым поцелуем.

И отстранилась, как в немом кино.

Мы смотрели и увидели, как это произошло – серебро волос изо рта Васи стекло волной на голову начальника порта, покрыв голову копной седин. А Вася смотрела и улыбалась голливудской улыбкой, потом захохотала всей серебристой пастью и ушла, опять ушла.

Мы смотрели, как она уходит, и не могли сойти с места, как вкопанные стояли.

Только начальник морского вокзала перебегал от каждого из нас к зеркальной стене вокзала и повторял беспомощно – надо же, надо же… Надо…

P.S.

Надо как-то иначе относиться к тому, что нам предстоит. Каждому. Вот за голову укусить, что ли? Или поцеловать…

9
БУДНИ ОДИНОКОЙ ПЕНСИОНЕРКИ

Нина Петровна по вторникам, часов в десять, выходит из электробуса на Ленинском проспекте и направляется в Ашан, закупиться на неделю.

В её сумку на колёсиках входит покупок на плюс минус до четырёх тысяч.

Вот она идёт со своей стариковской сумкой-тележкой по проспекту, он пуст, здесь, в районе Нескучного Сада, обычно людей немного в первой половине дня, и в огромном Гагаринском торговом центре не будет толчеи.

Самое то время для покупок – Нина Петровна идёт прихоженным маршрутом, считая шагомером растрачиваемую энергию, радуясь, что погода прогулочная, и пенсия в кошельке ещё не потрачена, и настроение прекрасное. День уже сложился – часа три она будет выбирать, она всегда тщательна в выборе продуктов – надо вложиться в постоянную для неё закупочную на всю неделю сумму.

Приустав, Нина Петровна поест в русском бистро, там прекрасно обращается к ней продавец – «сударыня»! Нина Петровна потому только у него и заказывает дешёвенький гороховый супчик с копчёностями, блинчик с клубничным джемом и стаканчик узвара, что никто больше не обращается к ней «сударыня», а ей обращение нравится, потому что не «женщина», не «эй, бабуля», а – су-да-ры-ня!

Поев, в состоянии сосредоточенной расслабленности, Нина Петровна отправляется в обратный путь, дома она разгрузит сумку, загрузит холодильник, передохнёт и отправится заниматься собой, любить себя, ходить по парку, что слава богу, прямо за домом, и станет в парке Нина Петровна поджидать чужую девочку Лидочку, они будут вместе кормить белку, для которой припасены в кармане фисташки.

– Хорошая девочка Лида на улице нашей живёт, – говорит при встрече Нина Петровна строчку из стихотворения, написанного на давно оторванном листочке настенного календаря, имя поэта Нина Петровна забыла, а строчку, подходящую к случаю, помнит и повторяет для Лидочки и её мамы.

Когда белки лапочками берут фисташку с девочкиных ладошек, и Лидочка дышать боится, чтобы не спугнуть, Нина Петровна, волнуясь, говорит Лидочкиной маме: – вы видите, как они похожи!

Девочка и белка действительно похожи, у них умные узкие личики с тёмными бусинками глаз и торчащие вперёд по-крысиному, зубки. Нина Петровна тут же внутренне себя одёргивает: – Лидушка,

ты прямо герой мультика, так хороша, белочка наша рыженькая! – это она задабривает воздух, чтобы не почуяла мама Лидочки крысиного прикуса, о котором вслух не упомянула, но успела подумать, на Лидочку стараясь больше не смотреть.

А потом наступает тот самый час предвечерний, когда солнце золотит верхушки деревьев на Пушкинской набережной, и кружевное золото расплескивается по аллеям, а Москва-река вдруг отсвечивает небо, «и не понять, то ли небо в озёра упало, и не понять, то ли озеро в небе плывёт», тихонько напевая, Нина Петровна поворачивает на дорожку, ведущую к дому.

А вслед её одинокой фигуре смотрит чужая девочка, и целых три белки, прыгающие вокруг. Все они неприятно похожи друг на друга, это детское лицо и эти беличьи мордочки – одинаково выдвинутыми вперёд крысиными зубами.

Всё портящими.

И Нина Петровна рассерженно думает одну и ту же мысль, пока идёт к дому – что надо перестать ходить в Нескучный Сад в этот волшебный предзакатный час, что ей давно невыносимо видеть маленькую девочку с неправильным прикусом, так напоминающую её саму, с таким же крысиными дефектом улыбки, однажды испортившим, перечеркнувшим всю её женскую жизнь.

10
О ДВУХ ВЕНСКИХ СТУЛЬЯХ, СЛАВЯНСКОМ ШКАФЕ И РАЗГОВОРЕ НА ТРОИХ

Я залезла на славянский шкаф и лежу, не знаю, что делать дальше. В комнате, кроме шкафа, нет мебели. Вошли Юра и Сонечка, с венскими стульями – присели, разговаривают.

Слушаю, обозначив своё присутствие.

Юра отвлёкся от Сони и говорит мне:

– Спускайся.

Я не знаю, как.

– А ты зачем там? – спрашивает он.

Я понимаю, надо сосредоточиться. Придётся сосредоточиться. Но не хочется объясняться. Я не знаю, зачем залезла на шкаф. Не знаю, что делать дальше. Я даже не знаю, что это за комната и почему Юра и Сонечка сидят на венских стульях, о чём разговаривают. Что вообще происходит?

– Хорошо, – говорю я со шкафа, – я слезу, но зачем? И – я не знаю, как с него спуститься. Вы не сможете разговаривать при мне, вы же уединились, а тут я лежу на шкафу, как вам разговаривать?

– Спускайся, – говорит Юра.

– Не спустится она, она не знает, что ей делать внизу. Как-то смогла на шкаф залезть. Пошли отсюда, ну её, – махнув рукой, Сонечка взяла стул и вышла из комнаты.

– Давай поговорим, – сказал Юра.

– Ты с Сонечкой хотел.

– Сонечка ушла. Давай поговорим. Можешь не спускаться, можешь оттуда говорить. Скажи, почему ты странная такая?

– А почему это я странная?

– Да вот лежишь на шкафу в пустой комнате.

– А зачем вы принесли в пустую комнату два стула?

– Мы хотели поговорить. Но Сонечка из-за тебя ушла.

– А ты почему остался?

– Чтобы говорить, давай с тобой поговорим!

– Тебе всё равно с кём? – удивилась. – О чём хочешь говорить, о том же, о чём с Сонечкой?

Юра что-то говорил, но что говорил, я не слышала, я уже спала. И сон во сне мне не снился.

…В углу пустой комнаты, где только славянский шкаф и венский стул, сидел человек и что-то говорил другому, спящему на шкафу.

11
МЕДВЕЖИЙ ОПЫТ

…а эти две девочки с фотографии, Алёнка и Любашка, очень себе на уме были. Убегали из военного городка, где жили, регулярно – «жить на воле у речки, в поле, в лесопосадке, за синей горой, откуда ночами доносится вой.

…То плачет зверь, сторожащий дверь,
мы до дома дойдём,
мы жить будем в нём, мы зверя успокоим,
он будет жить в покоях,

он не зверь, он нам брат, он не будет выть,
он нам будет рад.
И он не сторож дверям, друг он нам».

Это – одна из первых сказок, что я придумала, во втором классе, или 1958 или 59 год… Мы с Любашкой вместе придумывали, что мы медведи, заколдованные, и среди людей таких медведей – есть немного, надо уметь их находить и расколдовывать, чтобы с ними дружить.

Один из способов расколдовывания – выйти в школьный двор, долго кружиться, взявшись за руки, упасть, закружившись. Кто подойдёт помогать, тот и есть медведь заколдованный. Мало кто подходил. Вообще никто. Одно из первых удивлений. Смеялись над нами, когда мы закруживались «до упаду».

Да, это второй класс, школа номер 3 в Белгороде-Днестровском. Помню, что нашу учительницу звали Прасковья Емельянова Макарова, и жила она на Октябрьской улице, ведущей к старой турецкой крепости. Когда я универ закончила, решила учительницу разыскать, съездила к ней, нашла дом, но разговаривала с сыном, по-моему, его звали Виктором. Он сказал, что мама недавно умерла. Прасковью Емельяновну до сих пор хорошо помню. Она была с химической завивкой и лицо рябое, в оспинках. Статная, как Ермолова на портрете. Голоса не повышала, и не помню других таких спокойных людей, какой была моя первая учительница. И ещё… Она первая мне сказала, что я «не такая», я спросила – а «такая» это какая? Про «не такую» мне было не интересно, меня интересовали «такие», почему они такие, которые мне не нравятся. И вот Прасковья Емельянова мне не про меня объясняла, а про всех остальных в классе ребятах говорила, они были «взаимосвязаны» и этим похожи, они были похожи поступками и рассуждениями. А я не была «взаимосвязанной» и мне предстояло этому научиться, сказала учительница. Думала я, думала, и сказала папе, что мне не хочется быть взаимосвязанной и вообще связанной никак и ни с кем. Папа не понял и пошёл к Прасковье Емельяновне. И тогда я рассказала им обоим сказку про медведей, о кружении за руки взявшись, и что когда мы падали, никто не подходил и смеялись над нами. Что все не медведи, а только мы с Любашкой медведи заколдованные. Любу тоже взрослые позвали на этот разговор. А папа спросил – кто же вас заколдовал?

И тут всерьёз я наплела про самозаколдовывание. Для чего, удивились и папа и Прасковья Емельянова, зачем вам заколдовываться? А Люба вдруг сказала, что мы их обманули, никакие мы не медведи, просто у нас игра такая – в свободную природу, и что когда кружимся, мы летаем, и можно улететь, но мы падаем, потому что вокруг двора забор, у нас нет поддержки, нужной для взлёта, что нам не помогают, когда падаем, над нами смеются. А я… Сказала им, что я медведь. И ушла от них сначала в коридор, потом пошла – пошла и совсем ушла из школы, и сидела в сквере сердитая, но не понимала, что нужно сделать.

Не плакала. Оказывается, я думала серьёзные мысли про правду и неправду.

И понимала, что Люба выбрала сказать правду. А я выбрала остаться медведем.

И я начала кружиться до упаду. И когда я упала… Ко мне подошёл дедушка какой-то, помог подняться. Мы сидели на скамейке и долго разговаривали. И он сказал, что он тоже медведь. Что тоже выбрал не правду, а быть свободным медведем. Вот такой у меня есть медвежий опыт – отказаться быть взаимосвязанной.

Мы с дедом выбрали остаться свободными, с кружением до упаду и без взаимосвязей с теми, кто смеётся над упавшим медведем.

И да, я, когда выросла, так и осталась медведем.

А Любашка стала директором авиационного завода.

12
ДВИГАНУТАЯ ДЕВОЧКА

Приснился сон, рассказанный словами, а не увиденный. Говорил во сне мужской голос: жила была одна единственная в своём роде девочка, у которой было шесть глаз, два зелёного цвета, остальные чёрные. Чёрные глаза были не очевидны для всех, а зелёные девочка прятала под очками. Девочка была не простая, а двиганутая. Она своими зелёными глазами видела мир зелёным, а чёрными мир ей виделся чёрно-белым. Поэтому девочка всё время покупала очки с разными стёклами и меняла их часто, ей легче дышалось в разноцветном мире. Иногда она сидела на высоком дереве, смотрела и видела далеко-далеко. И видела она там такое… То саранча летела тучей, то танки степью шли, то дождь… То бабочки, стряхнув пыльцу, так разукрашивали город, что девочек вели к венцу не осенью, а по весне, когда сады были в цвету.

…Рассказ бы подошёл к концу, но автор дальше не сказал, а на асфальте написал: «Шесть глаз в упор следят за мной, очки меняя каждый час, так смотрят пауки на нас оберегая от судьбы.

Не знать бы большей мне беды, чем эта девочка – паук и её странные очки. Она с меня не сводит глаз, я становлюсь ой вэй тот час – да, зеленей травы».

Позвонили в дверь и сна как не бывало. Но на столе… На столе стоял баллон из-под воды на пять литров со срезанной верхушкой, доверху наполненный очками с разноцветными стёклами.

P.S.

Приснится же… Привидится такое.

Вот что это со мною? Мне кажется, или я сплю в реале, а дальше голос говорит – сто тридцать новых пар очков, шесть глаз и ночь из вереницы снов – ну саранча, ну да, паук, ну да, очки ну…

И так далее.

ЮЛИЯ МЕЛЬНИК

ДЫХАНИЕ ТЕХ, КТО ДЫШАТЬ РАЗУЧИЛСЯ

***

На другом языке кто-то скажет о чуде,
На другом языке кто-то строчку черкнёт,
И по небу в далёкие страны прибудет,
Распластав два крыла, голубой самолёт.

Для кого-то легко языков узнаванье,
Для кого-то и собственный не разгадать…
А в конце остаётся простое дыханье,
Уходящая жизнь, и слова, как вода,

Утекут… Так зачем мы ведём разговоры?
И о чём? Лучше молча глядеть из-под век…
Мы не люди с тобой, мы далёкие горы,
И на наших вершинах – нетающий снег.

***

Ты меня заколдуй, одинокий колдун тишина,
Твоё зелье на вкус, как колодцев вода ледяная…
То покажется мне, что печаль зачерпнула со дна я,
То покажется утренний ветер глотками вина.

Как осядут пылинки на стол, хрустнет пол под ногой,
Всё услышать дано тем, кто дружбу с тобою заводит…
На свиданье к тебе каждый голым и босым приходит,
И с такого свиданья нельзя не вернуться *другой*.

Даже если поверю не сразу в твоё колдовство,
Тихо зелье мешай и держи над огнём суеверно,
И позволь становиться мне рыцарем чутким и верным,
И бояться спугнуть нежный трепет лица твоего.

***

Я пишу тебе письма, далёкое звёздное небо,
И тебе остаётся одно – научиться читать…
Я не верю, что месяц ленив, что созвездия слепы,
Что заденет навряд ли посланий моих простота.

Всё мерещится мне: ты достало очки, ты присело
Мудрой, древней старухой, шевелишь губами, спешишь…
Этот мир так похож иногда на громоздкое тело,
Что живёт, но в котором совсем не осталось души.

А когда, дочитав до конца, до последней страницы,
Ты отложишь письмо, не выдумывай скорый ответ,
Я увижу и так, как под дудочку маленькой птицы
Твои щеки краснеют, а может быть, просто рассвет.

***

В небе ангелы соберутся
Землю маленькую вращать,
Ломоть хлеба крошить на блюдце,
Птиц обиженных защищать.

От усталости золотые,
Они с неба уронят хлеб,
И печальные, не святые,
Мы увидим всего лишь снег.

И покроем его следами,
Налепив всякой всячины,
А они разведут руками
И останутся голодны.

***

Надо юному дереву старое перерасти,
Но пока оно – жёлудь, пока ему жизнь только снится…
Может, в жёлуде этом осенняя ночь воплотится,
Когда он поглядел и увидел, как с ветки летит.

Он упал, с ним ещё не случилось почти ничего,
Оттого он так твёрд в своей детской, немыслимой вере…
Треснет глянец прохладный, земля распахнется, как двери,
И лучи обожгут, и прольются дожди на него.

В скорлупе золотой не умея себя удержать,
Станет хрупким ростком, а захочет – сквозь камни пробьётся…
Сто лихих оплеух, сто пощёчин ему достаётся
От далёкого неба, но он не согласен бежать.

***

Право быть деревом, знать – созревают плоды
К сроку, стоять и за временем быстрым не мчаться,
Снегу позволить кружиться, а ветке – качаться,
Не ожидать от грозы голосистой – беды.

Право быть деревом может ли кто-то отнять?
Слышать – ползёт муравей, прижимая соринку
К чёрной груди, белка выгнула рыжую спинку,
Можно дышать и на пасмурный день не пенять.

Право быть деревом…Осенью – рыжим костром,
Цветом – весной, молчаливой мечтою о лете…
Я ведь не знаю, что надо сказать, что ответить,
Если навстречу идёт человек с топором.

***

В гнезде сорочьем длится волшебство,
В нём пусто, нет сорок, и только солнце
Лучей охапкой сыплется в него,
И сердце дерева неспешно бьётся.

Сорока, ты немного покружи
Над городом, в твоё гнездо присяду,
Узнав, сколь тихою бывает жизнь,
И словно больше ничего не надо.

Переплетенье веток, белый пух,
И скорлупа, что звонкой птицей стала…
И я не обижаюсь на судьбу,
Но, словно никуда не улетала,

Крикунья чёрно-белая мелькнёт
Над головой – чуть грустно, чуть тревожно.
Ну что ж, не плачь, возьми гнездо своё,
Присядь, поспи, мне улететь не сложно.

***

Найдётся ль прибежище в Будде и сангхе?
Найдётся ль покой под ладонью Христа?
Несутся по снегу звенящие санки,
И учится снег синекрылый летать.

Постой, погоди, разбежавшийся ветер,
Во мглу не толкай с ледяного моста –
Мы прячемся, прячемся, словно мы дети,
Под Будды ладонь, под ладони Христа.

Порой наше счастье лихого покроя,
Ошибок взросления не излечить…
Навряд ли нас в комнате тесной закроют,
Навряд ли заставят уроки учить.

Скорее, так надо, на волю отпустят –
Гулять, танцевать, набивать синяки…
О, только б вернулись из страха и грусти
Под мудрую тяжесть отцовской руки!

***

Ткёт себя человек из мечты и весеннего света,
Лишь откроет глаза, и садится за ткацкий станок…
Ткёт себя человек – нет загадочней в мире сюжета,
Я не кровь и не плоть, я в ладонях Твоих полотно.

Не порви этой ткани дорог, размышлений, наитий,
Не порви этой ткани, Ты бережен был до сих пор…
Все, что было со мной, посмотри, превращается в нити,
Их сплетенье, их тайную суть, их простой разговор.

Между ткацких станков всё гуляет задумчивый ветер,
Тку, пусть нити снуют, слишком рано нам в царство теней…
Вот ребёнок стоит. Ничего нет *бессмертней* на свете,
И, наверное, нет на Земле ничего *непрочней*.

***

С того берега ветер доносит безмолвную весть,
И не может ничто сделать тихую нежность вчерашней…
Что на свете без них делать нам, остающимся здесь?
Что нам делать со временем суетным, с бьющейся чашкой?

Снег растает, и реки вернутся в свои берега,
И сквозь марево встречных огней, сквозь текучие числа
Всё идём мы куда-то, куда не ступала нога,
И нам снится дыхание тех, кто дышать разучился.

Их глаза, как и прежде, светлы, их ладони теплы,
И так сладко с цветущих лугов нас они окликают…
И внезапен наш страх, как укол незаметной иглы,
Что без них ловим снег, что без них к декабрям привыкаем.

***

Неправильный голубь идёт по холодной земле,
И лапки его, как сосульки, и счастье непрочно,
И облако в небе лежит, как письмо на столе…
А птицу чудеснее в рай допускают досрочно.

Неправильный голубь ячменные зёрна клюёт,
Природе немного не нужен, богам неугоден…
Я вижу, мой голубь, как прячется сердце твоё
Под сизые перья, одетые не по погоде.

Ему одиноко, его задразнили дожди,
Гоняют мальчишки, пугают зловредные кошки…
Но знаешь, мой голубь, когда остаёшься один,
Приходит Господь, и в руке Его хлебные крошки.

***

Я – сизая птица, ты мной не придёшь любоваться,
Уедешь – не всхлипну, обидишь – не стану клеваться,
Моё оперенье похоже на это ненастье,
Как тихо, как странно со мною случается счастье…

Я – сизая птица, но станет мне тесно в ладони,
Удел мой – грустить в самом светлом и радостном доме…
Открой эту дверцу, сдвинь в сторону эту задвижку,
Я в небо нырну, словно сердце – в любимую книжку.

Я – сизая птица, мир, кажется, любит другое,
Но я не сундук, и не камень под чьей-то ногою…
Ты в ярком, ты в пёстром, ты в шумном – теряешься взглядом,
А я – только голос, что шепчет вдогонку: «Не надо…».

***

Отправит сердце голубя почтового,
На лапке крошечной – простая нить…
Не прячься, сердце, как окно за шторами,
Мир беспокоен, некого винить.

У голубя на крыльях – солнце рыжее,
Он принесёт тебе заветный луч…
Как много вёрст – до перекрёстка ближнего,
Коль сердце невзначай поверит злу.

Как незаметен путь, когда попутного
Дождёшься ветра, где бы не гулял…
И, словно жизнь за стрелкою минутною,
Ты всё быстрее кружишься, Земля.

***

У звезды от звезды нет секретов, простой разговор
В зимнем небе ведётся, никто ему не помешает…
Я бы тоже хотела болтать на наречьи тишайшем
С отдалённой звездой, но такой не нашла до сих пор…

Чтоб внимала светло, чтоб не зря утекали слова
Сквозь пространство и время, чтоб луч был похож на Морзянку,
Чтобы мне не пришлось выворачивать жизнь наизнанку,
Чтоб ответы звучали потом, чтоб молчалось сперва.

Чтоб краснела звезда, если звёзды умеют краснеть,
Пусть Венера, пусть Марс, пусть иная какая планета…
Если вдруг бестолковая чушь вместо нежного света,
Если что-то напрасное – в зоркой такой тишине…

ВЛАДИСЛАВ КИТИК

СОЧИНЯЮ ДЕНЬ. И ОН – СЛУЧАЕТСЯ

***

Обаяшка ты, судьба, и умница.
Сочиняю день, и он – случается.
Как по жизни, я иду по улице.
А она, по счастью, не кончается.

Клён, гармошка лестницы, горбатая
Мостовая, импульсы предсердия.
Облетела осень конопатая,
Ниспадает с неба снег рассеянный.

Да, оттуда всё… Простор над облаком
Для того, чтоб звёзды были вышиты.
Упадёт такая – станет окликом.
То, что сверху, это тоже – свыше.

А внизу распутья и распутицы,
И ведёт дорога образ жизненный,
Я иду единственною улицей,
Если есть другая, покажите мне.

***

Выше сумрачных зданий и дымных скорбей
Вверх, где воздух прозрачен и ветры свежи,
Серый кречет взлетает над жёлчью степей.
Степь внизу, как упавшая навзничь, лежит.

Словно взгляды, колодцы её глубоки,
Там бесслёзная сушь и губам горячо.
Взводы строятся в роты, а роты в полки.
Кречет крови напился, но хочет ещё.

Вот он кличет, и вновь поднимается рать
За другой, раскаляется степь добела.
Птицы знают лишь то, что нельзя забывать,
Им не велено знать, как земля тяжела.

Помутился родник и колодцы пусты.
Кречет клюв обагрил и ушёл в облака.
Или кровь утоляет сильнее воды?
Или жажда погибели так велика?

***

Мой старый двор на солнце спину грел,
Как летний кот, воспетый в мемуарах.
Мой старый двор – он только повзрослел,
Он много жил, но до сих пор не старый.

Я б за порог из дома ни ногой,
Из ничего скроив благополучье.
Жизнь стала новой? Нет, скорей – другой,
Но прежней той не хуже и не лучше.

Я лишь пелёнки детства износил,
Что не сгорело – от огня согрелось.
У вдохновенья нет упадка сил,
Нет старости – когда приходит зрелость.

Затеяв с жизнью долгий разговор
С рожденья и до самых до окраин,
Дверь прикрывая, в общий коридор
Мы лишь уходим, но не умираем.

Мой старый двор, он вечно – ко двору,
Любя свой образ щедрого колодца
И что пришлось по сердцу, по нутру,
И не пришлось, и после не придётся.

***

Вчерашний день у перекрёстка
Смолит для форса папироской,
Глядит у лавочки питейной
На ножки барышни кисейной.

…Вот так и шёл бы с нею рядом
Под разноцветным листопадом!
Под охровым, янтарным, красным,
С туманным будущим, с неясной
Развязкой…
Обморочно где бы
Так падало листвою небо?

…А мог бы быть побег из дома
Под дождь с басистым майским громом,
На тёплой кухне посиделки,
Уткнувшиеся в полночь стрелки,
Чтоб снова каждый год и снова
Не замечать в канун еловый
Нежданной осени сединку,
У губ запавшую морщинку.

***

Проникновенней, чем дорога,
Карьер песчаный у Ван-Гога,
Пшеничных мельниц дефиле.
Закручены штрихов чаинки,
Стоят усталые ботинки,
Что натоптались по земле.

Обувка – дрянь и просит каши.
Но таковы уж правды наши
В его неписанном раю.
Купив их на блошином рынке,
Он пишет старые ботинки,
Как биографию свою.

Нарочно скупо, без гламура.
Не столь передаёт натура
Их скрип, застывший на слуху,
И грузные шаги по тракту,
Как их хозяина характер
По стоптанному каблуку.

А рваные мои кроссовки
Могли б в такой аранжировке
Шедевром сделаться?
…Иметь
Тогда б фасетный взгляд Ван-Гога,
Его уменье на дорогу,
На рожь, на чёрных птиц смотреть…

***

– Бывает радость – в виде ликованья, –
Мне говорил рыбальщик-липованин.

В ней колокольцы и застольный смех,
Она и громче, и короче всех.

– Есть радость в утоленье светлооком,
Она течёт, как речка по протокам, –
Он говорил, – а есть…
Один стоишь,
Как под грозою, дышащей озоном,
Наедине с лампадой, озарённый,
И от предчувствий замерев, молчишь,
Свидетель неба и бесшумных молний.
И слышишь голос из глубин безмолвья.

***

От акации тень лохматая.
Лев из гипса, как страж, сердит.
И с седьмого неба Ахматова
На покинутый город глядит.

Так же морем пряные устрицы
Остро пахнут, как в те года.
И поэты бродят по улицам,
Став здесь солнечными навсегда.

И хорошие есть, и разные, –
Разных даже больше других.
Опадают слова прекрасные,
Превращаются ночью в стих.

Есть поэты известные, мнимые,
Долговечней собственных книг,
Есть не понятые, вместо имени –
Только замысловатый ник.

Есть известные, необходимые,
Те, с какими никто не сравним.
Есть любые. А есть – любимые,
Ничего, что тобой одним.

КЕЛЬТСКАЯ БАЛЛАДА

Его душа – ровесница Земли.
Он был её огнём и горстью пепла,
Молекулой, в чей генный код вошли
Все силы созиданья.
Море пело
В его крови. Он осушал болота,
Пил воду корнем, был во тьме веков
Копытом вепря, зубом кашалота,
Алхимиком, погонщиком ослов,
Он боевой топор зарыл в песке.
Поднялся майским карпом по реке,
Добром и словом врачевал обиды.

Зелёные предания друидов
Так повествуют.
Смертным человеком
Пришёл состыковать он пазлы века.

И обомлел!.. Здесь творческую глину
Небрежно превращали в чашу гнева,
Искали факт в отрыве от причины,
Вопль о возмездье обращали к небу
Бесчувственной эпохи алтари.
Он в мир пришёл, чтоб мир благодарить,
Цепь воплощений не считать тяжёлым
Наследьем.
Здесь, возможностями нищ,
Бессильем горд, он лёг на землю ниц.
Закрыл глаза. И превратился в жёлудь.

***

Беда не иссякает, как тщета,
А лишь лица меняет выраженье.
Настанет мир – и будет нищета,
И новых вихрей головокруженье,

И беспокойства площадного шквал,
И круг забот мещанских, но гуманных,
Чтоб ветер лоб озоном освежал,
А не гулял во внутренних карманах.

Огрызки постаментов, грусть витрин,
И надоевших мыслей обветшалость,
И шелуха развенчанных доктрин
Как стимул, чтоб преодолеть усталость

Затёкших плеч, подняться с той ноги,
Услышать всех, но никому не вторить.
Быть правым. Но не так как дураки,
Которым только б умничать и спорить.

***

Говорят, что здесь мы только гости.
Тишина и флаги на погосте:
Молчаливый тыл передовой,
Не успевший зарасти травой.

Потому черна и тяжела,
И легка, как крошки со стола,
Словно пух, родимая землица.

Правдой очи колет или застит
Кровь земли, налипшая на заступ?

Славит небеса перепелица.

На зарю окстясь, приходит завтра.

ТАТЬЯНА ПАРТИНА

О ВРЕМЕНИ, НЕ О СЕБЕ

***

Ещё желтеют на деревьях листья,
Ещё местами даже зеленеют…
Ноябрь линяет, словно шуба лисья,
И скоро будет изгнан вместе с нею.
И скоро неуёмные уймутся,
И зимние начнутся посиделки.
Любимый торт и чай, варенье в блюдце –
Где мелок жемчуг, там забавы мелки.
И хорошо: за мелкое безделье
За *тем* пределом меньше нас накажут –
Где бабушки, отметив новоселье,
Нас, постаревших, ждут и вяжут, вяжут…
И пирожки пекут нам по привычке,
Но к бабушкам мы не спешим с визитом.
Они учили: сахар, соль и спички,
И этим наши головы забиты.
А к ним – не скоро. Но по чьей-то воле
Мы всё-таки к тому подходим краю,
Где спичек нет, и сахара, и соли,
И даже пирожки не подгорают.

***

«Всё отключено» – новый вид сервиса.
Не раздумывая, как кошка, прыгаю в темноту.
Прохожих не видно, и от этого верится
В их мирное настроение и нравственную чистоту.

Столетие цивилизации – худший из мотиваторов.
Нам не хватает света одной Луны.
Воздух отравлен испражнениями генераторов,
А может – чудовищ с тёмной её стороны.

Из черноты выплывают точно не просто прохожие –
Тени забытых предков, скользящие сквозь роллет.
Каждый из них имеет что-то с тобою схожее.
Ты узнаёшь их?.. Ну и они тебя – нет.

***

Видишь ли суслика там, за осиной?
Как же он мил, но ловить бесполезно,
Можешь попробовать, псих.
В нашем болоте под ряской и тиной,
Где между кочками спрятана бездна –
Много таких.

Здесь изменён, и довольно умело
Местный ландшафт, что считался озёрным.
В нашем болоте, поверь
Кажется грязь ослепительно белой,
Кажется снег отвратительно чёрным
Людям теперь.

***

Бестолково время проходит, друг,
И бесследно – если проходит мимо…
Не ходи, козлёночек, на Фейсбук
Или в Телеграм, зря тобой любим он.

Даже если хлеб не с икрой, а без
Даже масла, если… ни слова больше.
Даже если ты обитаешь здесь,
А твои друзья – в ФРГ и Польше.

Каждый день наращивает каркас
Нашей жизни, делает нас сильнее,
Но за то, что он убивает нас –
Каждый раз оправдываться больнее.

***

Ты пробудился ночью, слышишь какой-то гул
Сверху, снизу и сбоку слышишь обрывки фраз.
Думаешь – что за чёрт, только же вроде уснул…

«Завтра в 16.30 надо встречать Камаз».
«Господи, помоги мне, только бы не инфаркт».
«На пятьдесят копеек сложно купить котлет».
«Кошки кричат в подвале… вроде ещё не март».
«Странный какой-то с неба льётся сегодня свет».
«Только бы не проснуться в белых объятьях тьмы…».
«Эта её помада – дрянь и, по сути, воск».
«…ядерно-мегатонной стовековой зимы».

– Это чужие мысли твой разрывают мозг.
Это чужие чувства, это чужая боль.
Может быть, ты отныне – гений, сверхчеловек?
Только не отвергай их, не умножай на ноль…
Тихо летит на землю самый последний снег.

***

Зима. Снова из памяти древние сказки
Извлекаются, как из шкафа всякая дребедень.
На снегу – перекрестье следов, чьи-то салазки,
Поставленные набекрень.

И ты представляешь замёрзшую речку –
Серый волк поджимает оборванный хвост,
И хочешь залезть на полати, на, мать её, русскую печку,
И забыть про время, спешащее на погост.

Вместо этого ждёт тебя заледенелая лестница,
Под припудренным льдом – бетон, а не стая лещей.
А где-то рыдает брошенная красная девица
И воет бессмертный Кощей.

***

По понятным причинам душа должна очерстветь,
Затаиться в теле, как муха в оконной раме,
Чтоб не рваться наружу от каждого слова «смерть»,
Прозвучавшего в Телеграме.

И она очерствела. Наверное. Не понять.
Или, может, лопнула, как барабанная перепонка?
Разве можно выжить, видя, как держит мать
Неподвижное тело ребёнка?

Ты живёшь как будто без лишних душевных трат,
Но порой действительность врывается таким ураганным ветром,
Что душа сдаёт свой плацдарм, как плохой солдат –
Нейрон за нейроном, сантиметр за сантиметром.

***

У него сломалась какая-то из пружинок,
И поэтому он сочиняет стихи
О космических бурях из звёздных пылинок,
И много другой чепухи.

Андроиды этой серии очень полезны,
Не зависают, поймав вдохновения нить.
Он же какой-то служитель высоких сфер –
Не стирает, не гладит, вещает из Бездны.
Плакал над ним устало творец-инженер,
Пытаясь его починить.

И много раз паял он мозги ренегату,
Но оказался слаб перед избытком слов.
Видно, придётся этому технократу
Вскоре издать сборник стихов.

***

Хорошо было жить в поэтический век Аргентум –
Не все выживали, но мир был открыт и велик.
Брезентовый век поэзии – брезентом
Равнодушия накрыты трупики поэтических книг.
Кого из нас будут собирать по крупицам,
Размещать в учебниках, рыдать над стихами в дожди?
Знаменитым быть некрасиво? Знаменитых – всего единицы,
А красивых-то – пруд пруди.

***

– Знаешь, нас подслушивают телефоны, –
Сказал мне недавно один знакомый.
Знаю, друг. У прогресса свои законы.

Но мне вдруг вспомнился день невесомый
Из детства, в котором под пение птичек
Тянули спецсвязь на балкон от балкона
При помощи двух коробков из-под спичек
И нити из хлопка или капрона
Два техника юных, узнавших, похоже,
Что волны бывают не только морские.
Никто нас не слышал, друг друга мы – тоже.

А звуки привычные городские
Легко заполняли картонные трубки…
Тот мальчик с балкона давно уже вышел,
А связи без связи по-прежнему хрупки,
Пусть даже нас слышат – и космос, и выше.

***

Весенние сады и всё, что нас будило,
И всё, что вянет в нас осеннею листвой, –
Не провожай в слезах с чекушником Текилы,
Бессмысленно вослед качая головой.

За дерево, смотри, цепляется омела,
Что голое стоит с начала ноября,
Всю сбросило листву, её же – не сумело.
Так память лучших дней вцепляется в тебя.

Есть время собирать одни и те же грабли,
Разбросанные там, где мы с тобой прошли,
Мечтая о тепле, какао и о крамбле,
О райских уголках во всех концах Земли.

Есть время для любви, для мудрости – всё меньше.
Всё лишнее сотри недрогнувшей рукой,
А раны и т.п. не время лечит – фельдшер.
Есть время для страстей, наступит и покой.

***

Ничего круче моря, вероятно, и нет.
Это тайный космос планеты. В подводной мгле
В потаённых местах, куда не доходит свет –
Сохраняется время, прошедшее на Земле.

Длинный свиток волн вращает бродяга-Шторм –
Одинокий волк и сторож морских глубин.
Мы в таких местах – всего-то лишь рыбий корм,
Кто туда попал – не выбрался ни один.

И когда однажды выкипит вся вода,
Всё погибнет, кроме хранилищ на дне морском,
То возникнут снова из атомов города
И восстанет Время, присыпанное песком.

ЕЛЕНА ЧЕРНИКОВА

СТВОЛ
рассказ

Что за голос в ночи?
Это я. Это я. Это я.

Ефим Бершин. «Вороватое небо крадётся в закрытую дверь…»

…Девочка хмурит прозрачные новорождённые брови, будто вспомнила. Держу её, как полотно без рамы. Рассматриваю. Репуссуар портрета – мои руки. Даль горизонта – дома, башни, антрацитовые тучи с ослепительными золотыми каёмками. Перемалюем в технике сфумато. Сколько слоёв положил Леонардо, пока родилась абсолютная Джоконда, которая трясёт меня за плечи? Сколько понадобится нам с изъятой из тьмы девочкой?

Я вынимаю девочку из портрета, беру в руки, чтобы дотетешкать в любви ко мне, то есть к себе. На ухо воркую: мы, русские девочки, воспитаны великой русской литературой. Обучены любви-катастрофе. Нам не возлюбить ближнего, как самого себя. Нам ближнего возлюбить – раз плюнуть, но не как самого себя. Мы горожанки, но нас замотали в красный сарафан и выпустили в рожь. Колоситься. Но дух наш в Гардариках[1], а не под заигранным и лживым некрасовским конём. Мы горожане от роду.

– А что с конём? – спрашивает девочка умными глазами. Первый вопрос ребёнка. Радуюсь. Отвечаю:

– Перепутали. Блендер. Психология восприятия – крупная дура: смешала две поэмы, взбила в кашу. Смешан прыгучий конь с дворянками[2]. Конь победил. Ядовитая легенда, будто русская женщина – мускулистый монстр в сарафане и походя хватает коня на скаку, всех отравила. Мой третий муж тоже кричал мне над кухонной плитой: когда ж ты станешь настоящей русской бабой! Думал, нам без коня никак. Но мы от корня до верхушки ствола – горожанки. Я слышу дрожь и ток по стволу. Русских женщин не понимают. Мужчин тоже.

Бессонница обернулась непредумышленным благом, и теперь я выбираю фотографии, раскладываю по возрастанию лет и ласкаю растущего в моих руках ребёнка: меня.

…Девочку в руки беру, пою «Котя серенький коток…» и тетешкаю. Главное – погладить и признать её существование попущенным свыше и вне чувств кровных родичей. Девочка закрывает глаза и выворачивается из распашонки. Подставляет мне под губы свою розовую подмышку – целовать. Молча ждёт ласки, я набрасываюсь, как на воду в пустыне; она подставляет вторую подмышку, потом живот и коленки. Я спешно, будто отнимут, вылизываю её спину, утыкаюсь в шёлковую макушку. Засыпаю счастливая.

Я расскажу ей, крошечной, начало, и мы перепишем оба портрета и всю жизнь – в молочно-грудном безмолвии полного понимания. Русская история горожанки обязательна к переписыванию, ибо всё перепутано: некрасовские женщины-дворянки поехали за мужьями-декабристами в каторжную сторону. Хочу поймать в школьном коридоре учительницу и вырвать у неё признание: в каком возрасте она узнала, и узнала ли, что некрасовские русские женщины блудного коня пальцем не трогали.

И лошади! Сплошной сивый мерин. Поговорим *без обязательств*, как оправдывались старые ловеласы, уносимые сквозистыми *фру-фру*. Бедная лошадь Вронского. Смак и шёлк, приданные Толстым, пропали, а ныне роман выведен из филологии за штат, на вузовский факультатив, и школяры не знают нарядного слова с шелестом волнующей шёлковой юбки – *фру-фру* по-испански.

Увлекаюсь лекцией, поскольку читаю её для единственной в мире целевой аудитории, равновеликой лектору. Я и прежде впадала в лекторство машинально, а тут сам Бог велел. Это я, Господи.

Любовь, говорю я девочке, таилась по золотым сундукам, в мехах и парчовых пеленах, веками прячась от Тертуллиана: «Известно, какою приманкою сии прикрасы служат к вовлечению людей в запрещённые удовольствия. Зачем вам возжигать преступное пламя?».[3]

…Девочка слушает, внимательна и счастлива. Хлопает ресницами, мурлыча: «Credo quia absurdum».[4]

…Девочка вдруг встаёт, надевает каблуки с подковами, хлопает в ладоши. Юбки вскруживаются гордо, гремит фламенко. Малышка моя с юмором: на кончиках длинных ресниц щёлкают малюсенькие кастаньеты. Ах, любовь? А что ты, плакса бессонная, знаешь о любви?

Я не унимаюсь и ною: не шуры-муры хотела я с пелёнок, а мужчину как молитву, но на молитве между русскими женщинами и мужчинами – коммуникативная пропасть. Могла бы – протянула бы ладонь в XVI век и вырвала бы по волоску бородёнку у Сильвестра[5] жестоковыйного, сгубившего душу молодого царя Ивана отнятием Анастасии, любимой жены. Убили его царицу.

…Девочка умалилась и вернулась в распашонку: ну-ну. Выговорись.

И меня – как с ледяной горки, со свистом ветра. Как же, ну вот же человек для разговора. Слова знает все до единого. Говорит, лучше бы ты мне купила внутриутробный игральный автомат. Я и наяву склоняю всех к словарю: листайте словарь, всегда листайте. И не удивляйтесь, когда увидите у Даля *дермо* без мягкого знака. Этимология полезна для кругозора. Вода для здоровья. Что-нибудь о воде? Пожалуйста. Вплоть до начала XX века частое мытьё женщины осуждалось как ведущее к бесплодию. Судьи Тертуллиана не читали, но разврат постигли как могли: «…украшайте себя, если угодно, убирайте тщательно тело свое, дабы братья ваши, смотря на вас, погибали».[6]

…Девочка быстро, к XVIII веку примерно, понимает мою мстительную ярость и время от времени высовывает ручонку из пелёнки и кладёт на мои губы, успокаивает, ласкает.

Кричу страшно, своевольно, подхватила безнаказанную независимость: «Алмазы чистых идей утонули несчётно в чернильницах отцов_учения! Реки откровения, теряя прозрачность, текут из чистого первоистока мысли к багровому устью толкования, всегда кровавому: „Сие совершенство… должно не только отнять у вас желание быть любимыми, но заставить вас ненавидеть и отвергать всё то, что может воспламенять опасную любовь в других». Там же. Кстати, Тертуллиан автор догмата о Троице. Ты знала? Вот и верят ему по сей день во всём…».

…Девочка заснула. Пока спит и пока маленькая, поясню, как мы встряли и как выпутались.

Тетешкать девочку-себя – сажая к себе взрослой на колени, гладить нежными словами и ладонями – в полную длину памяти от первого вздоха, – меня научила Наташа З., актриса Художественного театра. Дать ребёнку всё, чего у него нет и не было, посторонний не может. Никто лучше самого младенца не знает, сколько и чего недодано младенцу, когда он уже вырос до пенсии, а порепанные сандалики потерялись во тьме детства. Психолекари, пользующие детскую травму, ныне делают состояния и никому не признаются, что травма неизлечима, но приспособить можно. Обойтись без лекаря можно любовью. Надо провести ладонью по годам, как по волосам, и всё получится как надо и лучшим образом. Ментальное зеркало. То есть вышло у нас с девочкой по пословице «не было бы счастья, да несчастье помогло». Мы гуляли с Наташей З. по бульвару на Пресне в мае 2020, когда послушные сидели по домам и верили в болезнь целого мира. А мы ломали сирень в центре Москвы среди бела дня, чихая на панику. Страх дело личное. Полосатые клейкие ленточки, крест-накрест натянутые на парковые скамейки, мы не трогали.

В мае мы с Наташей З. в пустом городе рассказали друг другу всё. Выбили все пробки. Людей-то никого, о чём тут скромничать и таиться. Особенно прохудилась я: бессонницу свою рассказала, бездомицу в крови, беспутицу и мужа с моей бескислородной мукой к нему.

Мгновенно перелистав мои диагнозы, Наташа З., потерявшая в своей долгой жизни всё, артистично меня научила спать и любить себя, не отпуская ничего и никому не прощая. Оголтелый психологизм, за потоковые деньги ныне затыкающий все дыры современности, выбросила на помойку.

Помню, Наташа встала в середине аллеи, как балерина у станка, взмахнула крыльями, обняла свой фантом с бантом и показала мне balance и passe и как положено гладить ту, ещё грудную, здоровую, себя. Бери себя, говорит, новорождённую. Девочку совсем маленькую люби, признавай, дай всё, чего не было. Потом бери подрощенную, потом юную, молодую, взрослую, веди до сего дня – ласкай. Однажды она растает и запоёт, и заснёт. Помнишь свои фотографии? Можно.

Не без побочных. Дозволь дураку Богу молиться – он, как известно, лоб расшибёт. У меня на ночной воле распоясалось всё. Я пошла по всему стволу и потянула девчонку, а зачем оно ей! Девочку-меня надо просто признать: пришла? Заходи, нашей будешь. И погладить. Нет же! Всё поднялось:

– О, бисерные сумочки, бабетта[7], чулки на поясах и с крошечными застёжками! Личность встаёт, выламываясь из гранитного коллективизма, отряхивается. Поцелуи, флирт, свободные взгляды. Театры-студии. Оттепель во всём. После 1964, когда повёл бровями Брежнев, граждане по инерции свободничают, и в семейных реках вскрываются вековые льды родовых вен. Юные женщины не знали, что по ту сторону фаллоса находится человек, а у него мнения, воззрения и туман, и если войти в соединённый санузел, когда муж сидит на толчке – ведь свои люди – это к беде. Муж это не свои_люди. Муж – вернулся из командировки, где у него всё хорошо и жил не вполжилы. Полно жил.

…Девочка спит в моих руках; я репетирую, что скажу по её пробуждении. Мне, выясняется ночью, надо поведать ей о городе, о русских женщинах и Левитане, великом художнике космической травы. Моих мыслей нет ни у кого. Надо объяснить ей Россию, ибо девочка пожелала в этот раз родиться

русской; девочкой; в оттепель. Глупым женщинам кажется, что надо познать прошлое, чтобы понять настоящее и предвидеть будущее. Ну да, ну да. Пьедестойло.

…Наши родители, девочка, – родом из любовно-социального космоса оттепели, дети грома и пекла выпроставшихся чувств, – не уцелели. Оттепельные жёны не привыкли к свободе мужей. Не поняли. Многие страдали, многие смертельно. Конструкция трещала – от Тертуллиана до Сильвестра – вся.

Я лишь теперь задумалась о диаграмме любви на социальной выгородке – а могла бы раньше, могла. Нет. Фонтан мой, похоже, не заткнуть. Девочка тихо спит, а я лезу на трибуну:

– Принуждение человека к безропотному сходу-развалу коленок опасно для жизни всех её (sic) потомков. Наша бабушка рожала пять раз, до и после войны, но роды это всё-таки творчество, а лютые страдания и кровавые хлопоты ей доставили аборты, примерно двадцать. Запрещённые, они сделаны тайно и, понятно, без наркоза. Указ об отмене запрета вышел уже после смерти Сталина, когда бабушка всех своих уже родила. Деду она отказала в любви сразу после появления первой внучки. Первой была я. Слышишь, девочка? Это мы. По-над рекой времени пойдём ещё раз, и нас никто уже не напугает. А помнишь нашу бессонницу?

…Девочка приоткрыла глаза и спросила, когда же я выдохну наконец. Современничество непристойно, говорит она сквозь сон.

Бессонница современна во веки веков. Она гуляет по свету, а ты лежишь, будто стоишь, оголяешься и по мгновенной осени тревожно шуршишь гала-листопадом пёстрых дум. Со временем гульливая бессонница зреет и мужает, и мысли уже не срываются, оземь не бьются и даже не растут, как в детстве, палая листва не горит; ты растерял свои сонные ферменты-гормоны, как пьяница, водкой заместивший свой личный алкоголь в крови; как охромевший спортсмен утрачивает под гипсом крутые мышцы. Тебе никто не поможет, поскольку зависимость лечится только другой зависимостью, как сказал мне доктор.

Вторая картинка через неделю.

…Девочку – она в шелестящем платьице с юбкой-колоколом – фру-фру! – беру на колени вместе с её куклой, тоже в изумрудном платьишке и шоколадных косах. Подросла. Мы все улыбаемся друг другу. Кубики-брусочки сложены в домик на полу. Девочка моя строит ежедневный домик. Я вижу: счастлива домику девочка. Крупную куклу Катю не поселить – ростом Катя выше домика, но воображение четырёхлетнего строителя может всё.

В виду ментального упражнения против бессонницы, бездомицы, безлюбицы я узнала, что если выспаться как положено, то всё вокруг по праву моё сразу, поскольку нет отравления. Божественное свободно нисходит и окутывает. Прежде я волновалась умно, как дура: думала, что на болоте любой жизни первый штамп, как водяной из трясины, – родословие, гены, мозговой горошек Менделя, древо. Диктат – и ни единой знакомой ветки. А, к слову, на что тебе, новая девочка, губы юных бабушек и стойкость прабабушек моих! Куда тебе, новый мальчик, мудрость и доблесть бравых прадедушек! В *наше трудное время* литературный приём *Авраам родил Исаака* не работает, и пресловутая связь пресловутых времён стала пресловутой, – я так думала и глупо волновалась. Ощутить родство – важно! – и хныкала я, и соседям по миру внушала страх. Казалось, очевидно: повиснуть на ветвях древа и горя не знать. Я же видела: иные гордятся предками. Гордостью. Но есть, оказалось, и другой подход. Очень удобно родиться на своей родине. Ствол родины крепче фамильного. Крепчайший ствол и чувство, похожее на восторг: родился у тех, кто уже готовы, и потом могут быть страдания, разумеется, но вырастешь – и твои ноты, Боже мой, твёрдо стоят на линейках, и музыка окрест солнечным ветром пролетает сквозь тебя, промывает озадаченную душу и полным оркестром самоцветов оседает внутри. Родиться в оркестре и немедля сыграться. Счастье и земной рай – родиться наконец у себя дома. Девочка моя, ты только послушай! Родиться яблоком, листочком, паутинкой – но дома, на своём стволе! – медовое счастье.

Третья картинка.

…Девочку девяти лет прошу сойти с велосипеда. Глаза – каштан с изумрудом, коса золотистая длинная пушистая. Фотографирует добрый сосед. Двор огромный, велосипед с шёлковой сеткой, дамский, подарен девочке на день рожденья. Привычно касаюсь её головы, но она вдруг отталкивает мою руку, словно и не было ни распашонки, ни куклы, ни кубиков. Девочка не верит никому, заболевает и падает в конвульсиях. Родная тётка обозвала отродьем и криворукой. Ствол рода холоден, как мраморный в дорогой операционной.

Я привыкла к ней ещё грудной, и лёгкая падучая не пугает меня, ведь я знаю, что она очнётся через преодоление, вот же *мой* паспорт, – и я могу её успокоить, пока её крутит в мясорубке первой агонии. Я ненавижу слово *преодоление*, я научилась учить и еженощно с чистого листа начинаю с себя, грудной и в распашонке:

– Мы родились в оттепель. Талия (42 см) юной Л. Гурченко в «Карнавальной ночи» (1956) – точный символ оттепели. Не джинсы Аксёнова, не хрипы Высоцкого – всё это позже. Женщина, сбросившая условную гимнастёрку – вот где оттаяло, и на её бёдрах – тут следует выразиться крепко и неожиданно – заиграл новый социально-политический румянец. Sic. Разморозилось бедро, да не всё расскажешь.

Никаких тайн, а просто не поймут, ибо в нашем обществе не принято говорить о тесной связи между политикой верхов и ответным сексом низов. А надо. Стукачи запечалились, доносить не на кого: все пишут сами.

Я давно поняла, что массовый мужчина, особенно политик, не очень представляет, зачем женщина ложится в постель с мужчиной. Он Тертуллиана не читал, но знает. И тут одной оттепелью не обойдёшься, надо две-три. Многие дети, рождённые до войны, выросли к началу оттепели весёлыми радостниками, готовыми к джазу, к сёстрам Берри (The Barry Sisters) на рёбрах, твисту, стиляжничеству, любви бешеной. Счастье воспринимали как программу *настрадались – и хватит*. И… кто весь во фруктовой глазури политической расфокусировки; кто наслаждается собственной ванной; кто-то любит по-модному, со стыдными выкрутасами, в переулках по-запретному оглядывая женщин из-под фетровой шляпы под душепомутительное пенье заморского мафиозо Синатры World We Knew (Over and Over) – так называемый дух времени пьянит, и женщины тонко блистают взорами. Сколько лет уже не блистали с намёками, а теперь и декольте, и панбархат, и шёлковые комбинации.

…Дневная девочка действительно приходит в себя и встаёт. Она всё слышала. Она в падучей не пенилась и не теряла сознания. Она всё слышала, как в коме. Это страшно неловко: свидетели думают, что коматозные лишаются слуха.

Она хочет стать балериной и записывается на художественную гимнастику. Морфей не заходит, но попрыгать! а на шпагат! а батман! Сколько всего в мире.

Мы обе знаем, что верую – несклоняемое существительное, а с кем ещё так поговоришь. Мне – нам – не до логики, наши ночные сеансы падают в необжитую бездну памяти. Вместе. Из глубин и тьмы вылетает фейерверк неслыханной дружественности. Вот оно! Подружись, а у потом уже полюбишь как самого себя. Через конвульсии, да, но – не без побочек, как уже сказано выше. Начни с конца. Первым напиши последний роман.

Мы перебираем молекулы судьбы, благодарим Господа, шквальные рыжие искры впиваются в наши босые ноги, я вспыхиваю лучезарной, в ре-мажоре, яркой любовью к *себе*. К утру любовь абсолютного накала красивыми каплями расходится в воздухе над моей кроватью. Повисает облаком. Необозримое счастье. Оно пришло. Счастье. Танатос и Гипнос держим и ансамблируем в четыре руки по очереди. Девочка по взмаху волшебного жезла то растёт у меня в горячих, разыгранных, поющих руках, то садится на колени, обнимает за шею, знает все мои слова, смотрит в шепчущие губы, а я всё болтаю, не в силах выбраться из учительской:

– У моей\нашей мамы были лайковые перчатки до локтя и чёрная пелерина с атласной подкладкой цвета крем-брюле. Иные говорили персиковый. Людей вывели из послевоенных подвалов и бараков.

…Девочка внезапно расхохоталась. Её позабавило малочастотное слово *барак*, игровое на слух. Что бы ей для уточнения слуха? Пробую музыку:

– Клавиши костяные, тон ангельский; дедушка мой, *наш*, по мольбам нашей с тобой бабушки выкупивший редчайшее пианино-прямострунку – в ореховом корпусе, с медалями Императорского Русского музыкального общества, бронзовыми подсвечниками, неподъёмной чугунной рамой и невесомыми, слоновой кости, отзывчивыми, заласканными клавишами, – отдал полную цену, хоть и начальник. Бабушка видела смысл жизни в искусстве и всем своим детям и внукам дала музыкальное образование. Пианино было необходимо. Дедушка был антикоррупционный столп. Он, атеист, истово чтил заповеди. Десятки антикварных пианино стояли на складе под открытым воронежским небом. С неба могли струиться воды, сыпаться снега, и драгоценные инструменты следовало спасать, но всяк желающий взять что-либо трофейное домой должен быть заплатить свои деньги в государственную кассу. Дедушка наш с тобой, кремень честности, в армии служил по интендантской части. Что такое хозяйство воюющей армии – мирным детям не понять. Впрочем, роль хозяйственника в Великой Отечественной и взрослой литературой не воспета. Штампы, стереотипы, а правды мало. Алмазно-золотые ордена деда и мне в детстве казались обычным делом: был человек на войне – значит, ордена. А как! У них сын-гений.

Девочка усмехается *гению*. Она сама гений, дух – genius. Хорошая вышла девочка: не клюёт на космические токи мужа, как на сексуальный мармелад. Молодец. А я ничтожество: меня так и тянет на причинно-следственные, земные, где кажимость и рацио. Был месяц – я как озверела, и хоть уже научилась спать и радоваться, каждую ночь зову девочку нарочно, чтоб она тетешкала меня, капризную. Девочка в одиннадцатом измерении растёт в любую сторону. Учёные на днях нашли, кстати, в одиннадцатом измерении Бога непосредственно.

Наша любовь обрывается, как басовая струна концертного рояля, только от мальчика в седьмом классе. Я слышу медный крик струны. Шаг назад – цела струна. Шаг вперёд – рвётся. С обеих сторон шкалы мы спотыкаемся на краю могилы ввиду безответной любви – вот так штука! – к мальчику. Любовь к себе стоит обескураженно в углу как замороженная, худеет и лысеет: вчера мы с девочкой полвека назад попали в детскую больницу с перитонитом и застряли в палате смертников на сорок пять дней. До вчерашней ночи я думала, что в моей жизни один лишний сюжет – беспочвенная любовь и глупая смерть, – ценность

любой страсти мозг оценивал как несомненную добродетель: это семейное. Ну и оттепель подсуропила. Но нас это больше не оправдывает. Не там ищем.

– Э, нет! Ты выбрала родню и родину сама! – напоминает девочка, наблюдая за моими занудными повторами. – Себя возлюби за выбор, себя.

– В седьмом классе никто не знает, что Пушкин умер от перитонита. *Дуэль* звучит благородно, а разорванные пулей кишки, крошки костей, заражение, непереносимая боль, смерть наяву, всё без наркоза и на глазах у юной без пяти минут вдовы – полную картину в школе не показывают. Я передержала свою боль ради встречи с мальчиком – довела себя бессмысленной страстью, а лучше бы я уже знала о Пушкине и его перитоните. Нам давали русскую классику, скажем современно, через пьедестайлинг. Жаль.

Девочка ждёт, когда же волынка моя остановится. Тут под каждым кустом ларчики с яхонтами. Главное – вовремя остановиться. Ты совершенна. Всё. Стой.

…Вчера ночью моя девочка запела в палате смертников. Умирающие дети благодарили её за хрустальное сопрано и любовный сюжет детской песенки. Получив из прошлого века настоящие овации, встрепенулась она вчера новым трепетом, в секунду выросла лет на пятьдесят и показала мне пути, которых без юного безрассудства быть не могло. Неблагодарная ты, сказала мне девочка: ты бы не прошла Россию пешком: танки на мосту, и ты тут, сама, по-нашему, по-жречески, руками собирала брошенные наивными героями листовки. Ты пошла за старой любовью, а ствол неколебим и с гонором, а ты выбрала этих в родню, чтобы тебе влили вакцину безрассудства, и надолго хватило. Да, покрутило в судорогах, но, извини, в нашем процедурном кабинете мясорубка – обычное дело; а как иначе: ты древняя душа, посему сама и выбрала место рождения.

– Ты пользуешься пафосом, – учит она меня как девчонку, – как зубной щёткой. Любовь и смерть – отростки судьбы? Дурновкусие, мадам. Ни любить, ни умирать подавляющее большинство не умеет, от того и бессонница у вас, можно сказать, летаргическая. Стиляги, тоже мне. Сколько бед от неловкости. Сплошная смерть у вас от неловкости. Ствол не качался под ветром. Ствол – окаменевшее дерево, ему миллионы лет, как у мраморного пенька с годовыми кольцами. Ты же видела во дворике горного монастыря?

Девочка учит меня любодостоверности дум и даже гладит по голове, чего я не выношу в людях, а сегодня вынесла. Моя девочка скользит по логарифмической линейке времени прозрачным бегунком, и волосок, рассекающий стёклышко, делит меня надвое, как зиготу. Моя девочка – машина нашего времени. Стволы человеческие не все чисты, но деревья – коренные жители Земли. Четыре форте. Фермата.

– Я ходила в собор, – возражаю, – на органный концерт. Играла женщина. Звук у неё был шмяк – будто клавиши сделаны из парной говядины.

– Благо не из замороженной! – ласково улыбается. – Главное – своим делом заниматься.

…Заснула. И ей хорошо, и я всё не угомонюсь – дорастила девочку до пенсии; есть с кем поговорить, здорово устроилась. Мы с моей ныне зацелованной девочкой не дадим нам пропасть.

Вчера. В уверенности взрослого, надёжного счастья шествую по достопамятному бульвару, где весной 2020 года прекрасная Наташа З. научила любить себя как самого себя. Одна гуляю, Москва кругом, Россия, космос, Бог. Ни одной ошибки.

…Внутри меня зашевелилось тепло человека, я задохнулась и вспомнила: сегодня ночью со смехом и блаженством я рожала младенца; проснулась и хохочу, как ребёнок в руках удивлённой юной матери. Николушка святой Чудотворец мне в храме велел: «Пиши, пиши, смирись». Пишу смиренно и – вдруг наяву, на бульваре, днём, беспричинное шевеление живого. Человек в теле моём. Господи помилуй.

Примечания:

[1] Стране городов *(исл. Garðaríki, Garðaveldi, швед.Gårdarike)*. Древнее название Руси, известное с XII века из скандинавских саг. Страна изобиловала, как сказано в источниках, всеми благами.

[2] «Русские женщины» Н.А. Некрасова – поэма о декабристских жёнах.

[3] Тертуллиан. О женских украшениях. 202 г. н.э.

[4] Фраза, приписанная Тертуллиану, имевшего в виду «верую, ибо чудесно», то есть «Сын Божий воскрес – это несомненно, ибо невозможно».

[5] Автор «Домостроя».

[6] Тертуллиан. О женских украшениях.

[7] Модная женская причёска начала 60-х годов XX века.

АННА МИХАЛЕВСКАЯ

АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ НА КАРНАВАЛЕ
отрывок из романа «Три стороны монеты»

1.

Ресторан «Марсельеза и фазан» гудит от пьяного многоголосья. Военные мундиры, щегольские фраки, поднятые бокалы, раскрасневшиеся лица. «За Францию!», «За нашу победу!», «За императора!».

О-ля-ля!

Люс прячет усмешку – для ангела-хранителя это может сыграть дурную шутку. Он сидит за столиком ближе к кухне – чтобы у хозяина под рукой и на виду – и наблюдает, ждёт своего подопечного.

Пена шампанского убегает за границы бокала, как и этот непременный праздник – за границы его, Люса, восприятия.

– За Жозефину! – вдруг выкрикивает юнец за столиком у окна. – За мою любовь! – он выпивает залпом бокал и вовсю улыбается, опасно кренясь на бок.

У юнца тонкая шея, птичий профиль, рыжие всклоченные волосы и очень дорогой фрак с очень белой сорочкой. Столько выпил, а ни единого винного пятна на груди!

Столы – отдельные, не в пример табльдотам, где простой люд теснится за одним столом, хотя сейчас, говорят, все равны, но поди объясни это ресторатарам – ломятся от изысканности, достойной расцвета монархии, упокой Боже её душу. Жареные перепёлки в ожерелье из ортоланов, рыбные кенели, пюре из дичи, молоки краснобородки и барвене, и в качестве главного блюда ресторана – китайский фазан. Ну и сущие мелочи – бараньи котлетки, обыкновенное филе, трюфели, ванильный щербет, салат из ананасов, тарелки клубники.

Люс сглатывает слюну. И чтобы отвлечься, смотрит в окно. Мадам и месье спешат развлекаться – парочки фланируют к Итальянскому бульвару, в оперу, в театр, в варьете, прокатиться по Елисейским полям к Булонскому лесу, занять места поближе к дороге и посмотреть, как другие едут по Елисейским полям. Посмотреть на казнь. Послушать, как на заседании суда обличают соседку в краже лука на базаре Ле-Аль. Посидеть в кафе, читая газету. Да мало ли чем можно заняться в Париже.

Февраль выдался тёплым. Платья дам слишком откровенны. Лёгкие светлые ткани, большие декольте, едва прикрытые меховыми накидками. Люс может рассмотреть очертания ног от лодыжки до ягодицы под этими невесомыми платьями. Что-то отдалённо напоминает древнегреческую моду. Только тогда это казалось естественным, а сейчас – маскарадный костюм, не иначе. Кстати, о маскараде. Скоро начнется парад на спуске Куртий – хозяин обещал заплатить вдвое больше за каждого клиента.

Люс невольно бросает взгляд на свой старомодный плащ, переброшенный через спинку свободного стула. Хозяин, мсье Жан, поставил единственное условие – при первой возможности избавиться от плаща и купить хотя бы сюртук. Репутация заведения, вы же понимаете, он-де не может позволить, чтобы его посетителей сопровождал дурно одетый ангел. Люс, конечно, пообещал. Но пока не знает, как сдержать обещание. Не понимает, как вообще жить дальше. Хотя вроде бы – какой опыт!

В ноябре он очнулся в заброшенной хижине, особняком стоявшей среди леса. Раненый, Люс добрёл туда, когда его преследовали люди де Гиза лет сто пятьдесят назад. Здесь же его и добили выстрелом в спину.

Месяцем раньше он передал бумаги самому Генриху Наваррскому в руки, как того хотел господин Филипп. Передал не сразу, ждал под Ла-Рошелью, когда появится Медуза с именем короля. И дождался. Генрих взял её. Тогда Люсу показалось – Генрих узнал монету.

К тому времени интриги окружили крепость гораздо плотнее, чем королевские войска. Хоть и приняв католичество, Наваррский хитрил. Люс сам был свидетелем, как Генрих намеренно вёл свой отряд кругами, чтобы дать осаждённым из Ла-Рошели время расправиться с королевскими войсками, надеявшимся на подкрепление. Наваррскому везло. Ему многое сходило с рук. Или так действовала монета? Или подсказки в толстом письме от господина Филиппа? А потом за Люса взялись Гизы. Что-то пронюхали…

– Сдаётся мне, Люс, месье за столиком у окна ищет вашей компании, – хозяин безукоризненно приветлив, но одному Зевсу известно, что он на самом деле думает о Люсе, которого подобрал раздетого и голодного на дороге.

Кивая, Люс направляется к рыжему юнцу. Того качает, как марионетку в руках нервного кукловода, но это не мешает юнцу элегантным жестом бросить на стол пачку франков. Хватило бы и на экипаж, прицениваться Люс. Сидя в ресторане и слушая разговоры посетителей, он достаточно сведущ, что сколько стоит.

– Позвольте проводить вас домой, мсье… – Люс учтиво наклоняет голову и подставляет локоть.

– Франсуа… Но я не нуждаюсь в сопровождающих! – протестуя, юнец резко взмахивает рукой, теряет равновесие и уже валится прямиком в недоеденные молоки краснобородки, а то и барвене, но Люс вовремя перехватывает его, сохраняя сорочке её белоснежную невинность.

– И, знаете, – говорит доверительно Франсуа, когда Люс помогает тому забраться в фиакр, – Жозефина так обворожительна!

Люс наслышан.

Очнувшись в пустой лесной хижине, он обнаружил, что с ним осталась лишь неизменная Медуза. Немногие ценности Люс спрятать не успел. Так в тряпье и шёл до Парижа, надеясь на тайник в каменоломнях. Где только не пришлось ночевать: в погребах, в хлеву, в лошадином стойле, зарывшись в сено. На постоялых дворах хозяева, бывало, жалели оборванца и давали миску похлёбки за мелкую работу. Люс скрёб полы, разносил еду, убирал объедки и слушал.

За общим столом в табльдотах еда заканчивается быстро, но сплетни – никогда.

А вы слышали, Жозефина-то хороша-хороша, виконта, прежнего любовника, не отпускает, а уже при новом, капитане Ипполите. Говорят, красив и дурачлив. Не в пример серьёзному императору. Как он её любит, как любит. Хоть и Наполеон, а узнавал обо всех романах последним. Верил, бедняга, Жозефине, что это уж точно последний раз. Всё ждал наследника…

Люс всегда удивлялся умению простого люда судачить о правителях, будто те – их соседи. Притом, не очень благополучные…

Люс не спорит с пьяным. Просто кивает. Он же ангел-хранитель, а не судья. Франсуа называет кучеру три адреса и никак не может определиться, куда же его везти. Люс выбирает за него последний названный, начало квартала Маре. Фиакр трогается, но Франсуа не унимается.

– Я был с ней, месье! – громко шепчет Франсуа, и этот шепот слышит не только кучер фиакра, но и весь Итальянский бульвар.

Подопечный смотрит на Люса круглыми совиными глазами – то ли от вина, то ли от потуг не зарыться носом в колени, и хорошо, если в свои. Он явно ждёт расспросов. Люс лихорадочно придумывает продолжение беседы. Если промолчит, клиент останется недовольным. Хозяин расстроится, и Люс потеряет работу. А если поддержит разговор, они оба вскорости окажутся в городской тюрьме. И он говорит первое, что приходит в голову:

– Мсье поедет на парад по спуску Куртий?

– О, непременно! В прошлом году мы прекрасно провели там время. Я был в костюме спаржи, и потерял свой колпак. Впрочем, может, я его подарил мадемуазель в костюме амазонки. Ну или без костюма – помню колчан с луком за спиной и… обнажённую грудь…

Колеса фиакра подскакивают на брусчатке, Франсуа раскачивается, как маятник в часах, Люс узнаёт много пикантных подробностей карнавальной ночи прошлого 1809 года и облегчённо выдыхает: о Жозефине ни слова.

– А хотите с нами, месье? – Франсуа вдруг перестаёт раскачиваться и будто бы трезвеет от предвкушения очередной попойки. – Вы так… Вы бы… Вы… В общем, кто-то должен будет вспомнить потом… утром… где мы живём и во что были одеты!

Люс молчит – нехорошо отказывать мсье Жану, придётся пропустить ночь перед большим постом, самую прибыльную для ресторана. Франсуа истолковывает его молчание по-своему.

– Я заплачу, мсье…

– Люс.

– Да, Люс, дружище, не будьте таким скучным! Вы не представляете, насколько обворожительны добродетельные дамы во время большого поста. Не отвести глаз!..

Франсуа замолкает на самом интересном моменте, хмурится. И косится на складки старого плаща. Возможно, пытается думать. Либо борется с тошнотой. Сколько он оставил на столике пустых бутылок. Пять, шесть?

– Откуда у вас это? – с неожиданной прытью Франсуа хватает Медузу, теперь Люс её носит на шейном шнурке. Ах ты ж, выбилась из-под сорочки.

– Подарок! – уклончиво говорит он и прячет монету ближе к телу.

Юноша ухмыляется и отстраняется. Теперь между ними поместилась бы дама самой большой добродетели.

– Приехали! – орёт кучер как резаный.

Франсуа выпрыгивает сам. Спотыкается и едва не вспахивает носом сточную канаву, но Люс снова успевает его подхватить.

Квартал Маре ещё хранит следы былой роскоши. Однако особняки выгнанных революцией аристократов заметно обветшали. Первые этажи заняли ремесленники, прикрепив вывески поверх лепнины ренессанса.

Дом перед ними почти цел – если не считать прохудившейся крыши и частично обвалившегося балкона. И ремесленники сюда ещё не вселились.

– Роззи, любовь моя! – зовёт юноша.

Окно на втором этаже распахивается, будто Франсуа только и ждали. Улыбаясь одними губами, Роззи в лёгком едва прикрывающем грудь кисейном платье машет своему кавалеру. А ведь этой встречей она обязана Люсу. Интересно, куда бы привели два других адреса?

– Жду вас во вторник масленой недели, три пополудни! Ресторан «Большой Мартин»!

Зигзагом Франсуа доходит до калитки, размашисто открывает её и берётся за кольцо двери.

– И знаете, месье, лучше спрячьте это подальше! – Франсуа тычет себе в грудь. Туда, где у Люса качается на шнурке монета.

«Ни единого пятнышка, как у него так получается» – думает Люс про сорочку Франсуа. В проёме двери мелькает белая рука Роззи. Слышится смех.

Люс отходит в тень, прячась от света фонаря.

Занимается дождь, плащ быстро тяжелеет. И Люсу кажется, что это не плащ, а корка неразрешенных вопросов налипла на нём коростой. Узкие улочки кружатся между домами. Он держится ближе к середине – иногда это спасает от ночного горшка на голову. И не очень глубоко вдыхает – в Париже пахнет отнюдь не лавандовыми полями.

Ночует Люс всё в том же ресторане «Марсельеза и фазан». Хозяин выделил ему каморку под лестницей. Добрый человек этот мсье Жан. Вот только Люсу нечем ему отплатить.

Мсье Жан подобрал его под Версалем, буквально достал из снежного сугроба. У Люса был жар, он два дня ничего не ел. Когда Жан помог подняться ему на ноги, Люс ответил на древнегреческом. Не было сил притворяться кем-то другим.

Потом мсье Жан рассказывал, что не мог отказать себе в удовольствии нанять образованного ангела-хранителя. Он-де разбирается в людях. Служил главным поваром при камергере короля, Эммануэле дюке де Ришелье, пока тот не бежал от революции в Австрию, потом в Россию. И правильно поступил! А слуги – все освобождённые и равные братья – остались без дела. Революция выкосила аристократию: отправила на гильотину. При Робеспьере каждый мог удостоиться этой чести. Площадь Республики настолько провонялась человеческой кровью, что горожане стали жаловаться: казнь, конечно, из окон хорошо видно, но круассан в рот не лезет при таком-то запахе.

Вот-вот, лучше думать о куропатках в клюквенном соусе, чем об отрубленных головах. Так Жан и рассудил, открывая ресторан. А что ещё повару делать?

С благодарностью согласившись на работу, Люс не обольщался. Изношенный плащ то и дело расходился на груди, и монета виднелась сквозь рубаху. Мсье Жану нужна Медуза, а не его греческий. Недаром Франсуа предупредил. Что-то монета здесь значит, как в своё время значила для гугенотов.

Это ещё предстоит выяснить, а пока – дела насущные. Тайник в каменоломнях он не нашёл. Вернее, место нашёл, но заплечный мешок с драгоценностями пропал. Что ж, и такое случается.

Придётся начинать сначала. Продолжать начинать.

2.

Весь правый берег Парижа – лавка. Базары, магазины, крытые галереи кружевом оплетают город от Сены и до застав крепостной стены. Не менее бойкая торговля идёт и на улицах.

– Чистые сапоги! Всегда чистые сапоги! – кричит мальчишка-подросток, на котором фартуком – спереди и сзади – надеты афиши с изображением изящного дамского ботинка.

– Новая одежда из старого платья! Жозефина позавидует! – доносится из открытой лавки модной торговки.

На бочке сидит штопальщица и ждёт, когда ей принесут в починку испорченное платье.

Посредине дороги – огромная выбоина, её не обходят, нет – парижане не терпят пустоты: спустив ноги в яму, на её краю уже устроились торговцы колотушками для стирки, гребешками, бечёвками, булавками и прочими мелочами.

Толкаются люди, стучат колеса экипажей, свистят кучера.

Люс засматривается на дорогой, украшенный вензелями экипаж. И невольно замирает, ожидая, когда приподнимется портьера. Франсуа наверняка бы уже побежал знакомиться. Портьера покачивается,

открывая… морду. В экипаже ослица! Только теперь Люс замечает надпись на дверце: «Очищенное молоко ослиц, вскормленных морковью». Да здесь можно купить всё!

Кроме того, что ему на самом деле надо.

Улицы пестрят ресторанами, кафе, табльдотами: от «заведений мокрых ног», как «Белый кролик» в Сите, куда не каждый отважится сунуться с той-то публикой, где подают сваренную на объедках похлёбку, а остатки сливают на пол, от чего посетители хлюпают ногами в лужах, и до ресторанов уровня мсье Жана, с опрятной витриной, отдельными столиками и несколькими изысканными блюдами на перемену.

Мсье Жан расплатился с ним наперёд – и теперь Люс в долгу: надо купить сюртук, чтобы не портить своим древним плащом репутацию ресторану месье Жана. Да – и ещё маскарадный костюм ко вторнику. Сколько рынков обошёл, а ни то, ни другое не находится. Наверное, он не там ищет. Люс заглядывает в каждую книжную лавку и подолгу листает страницы, пытаясь заполнить пробелы полуторавекового беспамятства. Выходя из книжной лавки, Люс идёт в антикварную: смотрит на броши, ловит отблеск изумрудов. Потом вспоминает про сюртук. И костюм. Но на пути снова встречается книжная лавка.

Париж – шумный, говорливый, валяющий дурака, и в то же время: непредсказуемый и ужасающе жестокий, Люс знает этот город лучше, чем любой живущий сейчас парижанин. Но всё равно не знает до конца. И ждёт, ищет на его улицах то, что удивит. Чуда. Подарка.

На площади Революции бродячие комедианты наспех сбили помост и показывают представление. На гильотину ведут растрёпанную Марию-Антуанетту.

– Если у вас нет хлеба, ешьте пирожные! – кричит комедиантка в толпу.

Прокатывается возглас возмущения: люди до сих пор негодуют на монархов, пусть это и театр.

Тряпичная голова Марии-Антуанетты отрублена. Её показывают под радостные возгласы.

Следующий на очереди – Робеспьер. Комедиант стонет, плюётся, извивается. Очень правдоподобно, кстати. Ни один тиран не верит, что его постигнет участь жертв.

Места на гильотине расписаны надолго вперёд. Теперь здесь старик учёный. «Кретьен-Гийом де Мальзерб» – объявляет палач. Старик спотыкается и, усмехаясь, говорит:

– Плохая примета. На моём месте древний римлянин вернулся б домой.

Толпа рукоплещет.

А Люс внимательно всматривается в костюм комедианта. Тёмный плащ – как у него сейчас, и на цепи болтается огромная монета. Конечно, деревянная, выструганная из плашки на привале. Но это ведь что-то значит!

Представление закончено. Комедианты кланяются. Зеваки постепенно расходятся. Люс пробирается сквозь толпу к помосту.

– Эй, мсье! – он успевает перехватить Кретьена-Гийома де Мальзерба; спускаясь с помоста, тот на ходу снимает седой парик, оттирает с лица грим. Недовольно смотрит на Люса, глаза мутные, в красных прожилках. Ну а какими им быть, считай, с гильотины сняли.

– Гийом де Мальзерб и правда носил такую… монету? – Люс указывает на цепочку.

Комедиант раздражённо смотрит на него.

– Почем мне знать? – не очень вежливо говорит он.

Под недовольством прячется страх.

– А это вам знакомо, мсье? – Люс вытягивает из-под плаща шнурок со своей монетой.

Ещё не отмытое от грима лицо становится маской если не ужаса, то глубокой растерянности.

– Извините, мсье… Я не знал, что вы тоже… То есть, это шутка, домысел… Слухи, знаете ли, бегут впереди людей…

– Какие слухи?

– Ну… вы и сами понимаете…

– Давно в этих краях не был, – говорит Люс и вкладывает в эти слова всю силу неизбежности.

Комедиант мнёт в руках парик и наконец решается.

– Говорят, Робеспьер встретил Лодочника. Но тот ему так и не дал монету. И он начал казнить всех… А перед своей казнью угрожал разоблачить…

– Лодочника, значит, – Люс пробует слова на вкус, вкус горчит.

Он вспоминает страх Луизы. Немудрено, что Робеспьер стал безумцем. По крайней мере, так о нём отзывался мсье Жан.

– Многих ли вы видели с такой монетой? Сами, а не внучатый племянник торговки рыбой с Ле-Аль.

– Ни одного, мсье… Простите, если не считать вас…

Забыв о комедианте, всё ещё застывшем на нижней ступеньке помоста, Люс разворачивается и куда-то идёт. Ему всё равно – куда. Сейчас гуляет не он, его мысли.

Их, монетчиков, начали узнавать. И Лодочника тоже. Старое знание просачивается сквозь века, обрастает сплетнями и домыслами, но сохраняет суть. Наверняка есть общество, где собираются такие, как он. Наверняка на них охотятся. Недаром Франсуа советовал спрятать монету. А комедиант и вовсе испугался. Не его, вдруг понимает Люс. А знакомства с ним…

Карнавал в ночь на пепельную среду вдруг приобретает новый смысл. Он купит сюртук. И маскарадный наряд. И дополнит наряд монета. Люс не станет прятаться.

Совсем не зимнее солнце слепит, заставляя жмуриться. Над Лувром плывут облака, напоминая о весне и жизни. Он так давно не чувствовал её вкус.

Люс ныряет в водоворот окриков и возгласов, кисейных платьев, сшитых из одного декольте, мундиров и фраков, сточных канав и блистающих роскошью витрин, старинных фолиантов на пыльных лавках и свежей рыбы, бьющейся в руках торговки, фарфоровых лиц знати и винного румянца простолюдинки. От Сены до крепостной стены. Здесь столько всего! Неужели Люс не найдёт то, что ему нужно?

3.

Бык Фигаро гуляет по Парижу в сопровождении свиты. За несколько «тучных» дней прогулки атласное покрывало приобрело винные пятна, часть погремушек с него зеваки стащили на удачу, и это несмотря на жандармов, циркачей и музыкантов, окруживших быка плотной толпой.

Фигаро лакает вино из бадьи у каждой лавки, где останавливается, – хозяин просто обязан напоить быка, хочет того животное или нет. Вечером пьяного Фигаро принесут в жертву веселью – увесистая дубина опустится на его голову, чтобы покончить с быком навсегда. Отголоски древнегреческих вакханалий пробрались и сюда. Но лишь отголоски. Люди стали слишком осторожны и держат свои страсти, слепые и обездвиженные, за плотным занавесом якобы гражданской совести. Такое модное слово, Люс его слышит последние дни всё чаще. И только карнавал слегка приподнимает этот занавес. Что ж.

Зимний вечер приходит рано. «Большой Мартин» пестрит разряженными парижанами. Люс оглядывается по сторонам, ему кажется, он здесь по ошибке, он зря теряет время. Все эпохи и их люди смешались у подножия холма Куртий в плотный кисель, заваренный сумасшедшим поваром без чувства меры и вкуса. Где ещё встретишь такое: депутат с лавочником, вор с жандармом, француженка с англичанином, дюк с гризеткою, субретка с национальным гвардейцем. Он хочет ясности. Ему нужен один человек. Всего одна женщина. А не эта гогочущая, кричащая, бушующая толпа.

Однако выбор сделан. Люс в костюме пирата с красным кушаком на поясе, шляпе на глаза и серьгой в ухе ловко работает локтями, чтобы не потерять Франсуа, переодетого в турецкого пашу, и его друзей: Скарамуша с мандолиною, романтического Пьеро с ног до головы в белом и долговязого Дон Кихота в похожем на казан шлеме и с огромными усами, щекочущими парики стоящих рядом мадемуазелей. Экипаж они отпустили, тот взбирается по холму на Верхний Куртий и будет ждать их там.

Пройти в Верхний Куртий можно только через ресторан «Большой Мартин». Он стоит прямиком на дороге, не обойти. Огромная очередь масок и костюмов завивается, как волосы гречанки, но короче от этого не становится.

Хозяйка, конечно же, требует плату за проход. Три её помощника с хмурыми лицами и кулачищами с головку сыра держат фалангу не хуже гоплитов. Вытирая руки о грязный передник, хозяйка выкрикивает:

– Сколько человек?

– Пятеро! – орёт Франсуа.

– Кувшин вина на каждого! С вас пятьдесят франков!

Люс присвистывает. Дорого!

Но Франсуа уже протягивает деньги. Изящно и непринуждённо. Будто его не толкают со всех сторон и не дышат на его аристократический профиль луком и чесноком.

– Можно, мы не будем пить это… – он не успевает закончить фразу.

– Два кувшина на пятерых, – рявкает хозяйка, и фаланга расступается ровно настолько, чтобы они наконец оказались по ту сторону праздника.

Здесь, надо сказать, не чище. Старуха с грязными тарелками идёт на кухню, там она вытирает их не менее грязной тряпкой, и накладывает новые порции для смельчаков, заказавших здесь обед. Более ранние посетители лежат под столами в самых неожиданных позах. Люс то и дело вступает в какие-то лужи, о природе которых размышлять совершенно не хочется.

Франсуа-паша оставляет кувшины с вином на первом же попавшемся столике, даже не пытаясь его пригубить.

Они выходят из ресторана, и Люса охватывает беспричинная надежда. Его настойчиво предупреждали о монете – поэтому он не стал её прятать. Медуза хорошо различима на фоне серой пиратской рубахи. Камзол он намеренно расстегнул – чтобы монету увидели. Если за Медузой охотятся, пусть приходят. И они поговорят. Насилия он не боится, хуже остаться незаметным.

Однако Люс ещё помнит, что пока состоит на службе в должности ангела-хранителя. Как тут забыть – плату ему обещали завтра. Он тщательно записал все адреса, куда кого развозить.

Находит глазами Франсуа и друзей. Юноша уже завёл разговор с полураздетыми – полуодетыми? – дамами, основной элемент костюма у которых – маски. Франсуа обнимает сразу троих. Скарамуш и Пьеро убежали вперёд, один терзает мандолину, другой пытается петь. Дон Кихот держится рядом, выделяясь из толпы спокойствием, которое граничит с безразличием.

Они поднимаются в деревушку удивительно быстро. Обычно сонный и тихий Верхний Куртий взрывается весельем. Все заведения открыты – будь то крошечное кафе или провинциальный ресторанчик. Вином и сластями торгуют прямо на улицах. Кто-то предлагает комнаты, на случай если паре нужен «отдых». Но парижане не столь скромны, чтобы прятать свои чувства. Целуются на каждом углу: маска с маской, турок с римлянкой, обнажённая с закованным в латы, красота с уродством. Сегодня всё можно. Назавтра они ничего не вспомнят, потому что никого не узнают. Кроме мягких влажных губ, дыхания над ухом, неразборчивого шёпота и несдержанного смеха. А надо ли больше? Сегодня точно нет.

Перед глазами мельтешит, голоса сливаются в единый гул. Люсу кажется: он вышел на подмостки и забыл свою роль.

Ближе к ночи его подопечные, устав от променада, усаживаются в ресторанчике. Мандолина перекочевала в руки Франсуа, рядом с ним млеет девица в наряде Маркизы: в руках – веер, на голове – парик, на груди – декольте. У Скарамуша и Пьеро на коленях умостились Майки, девушки в брюках по фигуре и рубашках с пышными цветочными рукавами. Дон Кихот с присущей ему серьёзностью смотрит в кружку с вином, будто гадая, что важнее: выпивка или усы.

Друзья галдят, перекрикивая друг друга. Кроме него и Дон Кихота.

– За Францию! – поднимает тост Франсуа.

Сейчас вспомнит Жозефину, настораживается Люс. Но юноша замолкает и в упор глазеет на него. Хмельная улыбка кривит тонкие губы.

– Мсье Люс ещё не сказал ни одного тоста! Ну же!

Ещё мгновение назад ресторанчик готов был треснуть от гомона, как переспевшая тыква, но сейчас воцаряется замогильная тишина. Все маски обращены к Люсу. Что ж, теперь его выход.

– За переправу! За счастливую переправу!

Маски переглядываются. Они не понимают, о чём речь. Франсуа качает головой и на глазах трезвеет.

– Осторожнее, мсье Люс, – говорит он одними губами, улыбка сходит с лица юноши.

Франсуа тычет себя в грудь, будто предупреждая Люса спрятать монету.

Зря юноша волнуется. Хоть Люс и благодарен за такое внимание, но ведь никто не придал значения его тосту. Маски вернулись к празднику, Люс к своим мыслям.

– Позволите?

Он оглядывается и смотрит на мадам. Нет, мадемуазель. Костюм узнает сразу. Как тут не узнать. Шафрановый пеплос, серебристый пояс перехватывает талию, лёгкие сандалии. А волосы… Это, конечно, парик. Но Люс невольно вздрагивает. Скользкие змеи вполне правдоподобно извиваются, вот-вот покажут жало. В этот момент Люс готов поверить, что его монета ожила, возродив прежнюю горгону красавицу, а не чудище, которым стала Медуза после встречи с гневом Афины.

– Я превратила вас в камень? – улыбается девушка и присаживается на стул рядом, который освободил Дон Кихот, уступая ему Дульсинею.

– Не сегодня, – Люс отвечает улыбкой. – Сперва вызову на дуэль Посейдона. Дуэли ведь не вышли из моды?

– Не сегодня, – улыбается в ответ Медуза, за маской видно, как смеются её глаза. – Сегодня можно всё!

Слушая музыку её голоса, Люс недоумевает: так она горгона или сирена?

В другом времени, отделённом веками, он слышит, как присвистывают юноши, за которых он взялся отвечать и чьи адреса переписаны и спрятаны в потайном кармане пиратского камзола. Надо бы к ним вернуться. Ангел-хранитель как-никак. Но он в ином мифе. Его, не в пример Одиссею, забыли привязать к мачте, поэтому Люс идёт на голос прямо в волны штормового моря.

– Кто вы? – Медуза-сирена приближает своё лицо, почти касаясь его плеча змеиными локонами.

– Никто. Переодетый в сэра Генри Моргана.

– Или сэр Генри Морган, переодетый в незнакомца на карнавале?

Люс отмечает, что нынешние парижанки остры на язык, но это не лишает бушующего моря опасной притягательности.

– Я не граблю корабли, мадам.

– О да, они сдаются вам сами.

И снова этот смех. Люс уже готов попросить её не делать так больше. Сколько у него осталось здравого смысла? Хватит лишь на то, чтобы помнить о внутреннем кармане камзола.

– Полагаю, на карнавале не спрашивают имён? – он делает слабую попытку ухватиться за что-то определённое. Не мачта, но хоть что-то.

– Отчего же? Тереза, – девушка становится серьёзной и протягивает руку в знак знакомства.

Люсу бы её по-мужски пожать, но он склоняется над рукой и касается её губами. Кожа совсем холодна.

– Пеплос вас не согревает.

– Для этого есть вино, – весёлость девушки улетучивается, стынет.

Тереза поднимает бокал, и Люс послушно отпивает из своего. Терпкое и горькое. Неприятный вкус. Почему он раньше этого не замечал?

– Я Люс, – говорит он, снимая камзол и набрасывая ей на плечи.

Лицо Терезы снова озаряется улыбкой.

– Люс – это как свет?

– Да, как свет, – соглашается он и удивляется. Его имя ещё имеет для кого-то смысл.

Буря стихает. Море успокаивается. Он всё ещё стоит на палубе. И, кажется, видит землю.

Ночь пролетает в одно мгновение. Тереза рядом. Их руки соприкасаются. Он чувствует, как оживает. Как теплеют пальцы Терезы в его ладонях.

Люс замечает на себе насмешливые взгляды Скарамуша и Пьеро, настороженный Франсуа, спокойный и внимательный Дон Кихота. Кто ещё кого будет развозить, думает он.

Оранжевый лоскут латает кромку неба – там, где оно соприкасается со шпилями и крышами. Яркий, как заплатка на костюме Арлекина.

Они мчатся на экипаже по спуску. Скарамуш пытается петь, Франсуа задирает собравшийся по обе стороны от дороги люд. Ругань и шутки. И в ту, и в другую сторону летят конфетти, цветы, мука, яйца.

Парижане заняли места на дороге ещё с вечера, ожидая карнавального кортежа. Счастливчикам достались комнаты с окнами – бронировали наверняка за пару недель. Сколько же их, Люс оглядывается по сторонам, пытаясь увернуться от летящего в лоб яйца. Тысячи, десятки тысяч. Хватило бы на хорошую армию!..

Тучный вторник неминуемо становится пепельной средой. Экипажи развозят уставших от развлечений. Люс следит, чтобы захмелевшие друзья попали каждый по своему адресу. Последним он высаживает Франсуа. Не квартал Маре. На сей раз – бульвар Итальянцев. Люс провожает юношу до ограды роскошного особняка. Тот расплачивается с ним и хватает за плечо. Будто бы пытаясь не упасть, но Люс отмечает: Франсуа трезвее, чем хочет казаться.

– Не верьте ей, – шепчет юноша, щедро распространяя винные пары. – И не говорите ничего про монету.

Шатающейся походкой тот бредёт по аллее к дому. И Люсу на миг чудится, что карнавал не закончен. Всё только начинается.

В экипаже его ждёт Тереза. Он хотел бы думать, что она ему друг. По крайней мере, друг.

«Антония, прости меня», – шепчет Люс, возвращаясь к экипажу.

4.

Люс не узнаёт себя. Он начал чувствовать жизнь: будто бы она не проходит мимо, как это тянулось веками, а идёт с ним под руку. Он перестал искать на блошиных рынках, в антикварных лавках, у заемщиков: фибула – всего лишь металлическая побрякушка. Да и монеты теперь безразличны – свои и чужие.

Перед внутренним взором – лицо Терезы. Тёмные глаза, кажется, они всё время улыбаются, даже если девушка серьёзна. Тонкие губы, большой рот. Будто выточенный из мрамора изящный нос, и горбинка его совершенно не портит. В их первый вечер, когда остались в экипаже одни, Тереза сняла маску. Потом попросила отвезти её к Сене, к Новому мосту. И попросила не провожать.

– Вы и правда горгона? – усмехнулся он, указывая рукой на реку.

– Не шутите так.

Тереза прикоснулась к его груди там, где висела на шнурке бесполезная монета. Намеренно, невзначай? Быстро отдёрнула руку, словно обожглась.

– Я найду вас…

– Нет, я сам найду! Только где?

Она шла по мосту, не оглядываясь, и, стоило Люсу отвести глаза на миг, затерялась среди покупателей, обступивших лавки…

С начала поста он не спит. Кажется, заснёт – и пропустит всё самое важное. Благо заняться есть чем. В «Марсельезе и фазане» подают постные блюда, и ресторан пользуется не меньшим спросом, чем во время карнавала. А, может, и большим. Это сколько ж случилось новых пассий, за которых сперва надо поднять бокал, а потом остатками вина на дне перемыть косточки! Сколько драк, когда обманутый муж узнаёт из разговоров за соседним столиком, к какой «модистке» ходит его жена! А поспорить о судьбе Франции? Да империя же развалится без этих ресторанных дебатов. Кстати, вы знаете, что император собирает армию для войны с Россией?! Нужны рекруты! Не хотите ли записаться?

Нет, не хотят, хмыкает Люс. Воинская служба из бравого дела времён молодого Наполеона превратилась в неприятную повинность. Все силы уходят на вооружение, шепчутся более трезвые посетители ресторана. Императору пора бы остановиться. Хватит завоевательных войн, они имеют свойство превращаться в оборонительные. Но, ходят слухи, у Бонапарта совсем другое мнение. И, принимая ванну на рассвете, он цитирует стихи «Илиады», грезя о подвигах Александра.

Они все одержимы, думает Люс. Одержимы той первой войной, которая никак не закончится. А если бы ахейцы не собрали войско под стенами Трои? Если бы Одиссей не отыскал Ахиллеса? Если бы тот выбрал безвестную жизнь вместо недолгой славы? Если бы Парис, которому всегда везло, не увёз бы Елену? Если б она не была так прекрасна? Если «Илиаду» переписать, жили бы люди иначе? Нет. Разгорелась бы другая война – и с неё б началась Европа.

Когда нет клиентов, Люс просматривает газеты: берёт в ресторане, сейчас каждое уважающее себя заведение выписывает прессу. Взгляд задерживается на броских заголовках, но мысли ещё пляшут в Верхнем Куртии на карнавальной ночи.

Конечно, он искал. Приходил к Сене, все вечера околачивался возле Нового моста. Он знает там каждый камень, каждую ворону. Помнит кривизну носов у торговок прищепками и длину бороды у мясников. Исходил все кафе «промокших ног» в Сите, навестил университет, примкнул к спорящей кучке студентов, обошлось без драк. По старой памяти забрёл к особняку Клюни. И вконец потерял интерес к городу, в котором не было Терезы.

Он служил воином, каменщиком, торговцем, ремесленником, он ковал оружие, ходил в крестовые походы, переписывал манускрипты и переводил документы, он знает греческий, латинский, французский во всех их многовековых вариациях, помнит наизусть эту чёртову «Илиаду». Но всё это никоим образом не помогает разгадать одну фразу: «Я вернусь». Зевс всемогущий, да что ж это значит?

Сидя за отведённым ему столиком у лестницы, Люс листает «Журналь де л'Ампир». Политические новости. Светская хроника. Глава из повести Шатобриана. Критика повести Шатобриана. Фельетон. Рисунок на одной из газетных страниц напоминает знакомое лицо. Только чьё? Люс листает сначала, но рисунок больше не показывается.

– Мсье, – слышит он голос и вздрагивает от неожиданности.

Перед ним стоит Тереза. В невесомом платье, чуть плотнее того пеплоса, что был на ней в карнавальную ночь. Плечи закрывает накидка. Украшенная цветами шляпка хороша тем, что из-под неё выбивается каштановый локон, отнюдь не змея. Тёмные глаза, темнее, чем те века, из которых он сюда явился, смотрят грустно и насмешливо одновременно. На губах зарождается улыбка. Он подскакивает, газета с неузнанным рисунком падает под ноги. Люс забывает, как говорить, и что вообще делать, – он может только смотреть на Терезу, подчиняясь её магнетизму. Робкая мысль всё же пробивается сквозь пелену дурмана: а ведь вся эта одежда, да и сама Тереза стоят целое состояние. Ему надо держаться подальше – ради своей безопасности. И ради её тоже.

– Сегодня, как стемнеет, у заставы Клиши. Буду ждать!

Тереза поднимает оброненную газету и возвращает её Люсу. С таким видом, будто точно знает, что он там потерял: какой рисунок и какого человека.

Темнеет быстро, и Люс просит мсье Жана отпустить его со службы.

– Такой мадам невозможно отказать, – улыбается хозяин. – Но завтра выйдете пораньше!

Конечно, конечно! Он спешит к заставе, по дороге всё же останавливаясь у мальчишки почистить обувь.

Пресловутый холм Монмартр теперь по ту сторону крепостной стены. Её выстроили недавно, и обороняет она город не от стрел или пушечных ядер, а от воров. При въезде взимается пошлина на продовольствие и спиртное. По другую же сторону стены и заставы процветает беспошлинная торговля. Заодно здесь можно выпить, потанцевать, дешевле поесть. Сколько в округе кафе и табльдотов, он никогда не мог сосчитать.

Надо заметить, развлечения тут для неимущего люда: тот веселится грубо, во всю простецкую удаль. Но что в табльдотах собралась делать утонченная Тереза в её прозрачном наряде и перевязанных атласными лентами туфельках?

Проходя заставу, Люс уверен: это розыгрыш, никто не придёт. Но его тут же хватает под руку юноша.

– Идёмте, здесь нас искать не будут, – говорит юноша голосом Терезы и ведёт вглубь постзаставной клоаки.

– Карнавал продолжается? – интересуется Люс, бросая взгляд на мужское пальто, шляпу с широкими полями и кокетливо повязанный шейный платок.

– Он не заканчивался, дорогой Люс. По крайней мере для таких, как мы.

«Дорогой Люс». «Таких как мы». Он готов взлететь, хоть и не очень понимает, как это делать. И еле сдерживается, чтобы не начать целовать Терезу прямо здесь. Мужчина с мужчиной? Да кого это волнует в беспошлинной зоне.

Они пробираются сквозь толпу, обступившую небольшой деревянный крест. На кресте распята крыса. И хорошо, если лапы зверька привязаны, а не прибиты гвоздями. Но этого для веселья мало. Граждане разной степени неопрятности азартно подбирают камни, их под ногами достаточно, и целят в крысу. Та шипит, огрызается. И это подстегивает компанию ещё больше.

– Вам жалко крысу? – замечает его взгляд Тереза.

– Ещё недавно на крестах вот так же забивали людей.

– И что в этот момент делали вы? Поднимали камень, висели на кресте, стояли в стороне и смотрели?

– Всего понемногу, – отшучивается Люс. – Никогда не умел доводить дела до конца.

Тереза не успевает ответить, её заглушает зычный голос зазывалы:

– Бить стёкла, кому бить стёкла!

Тот проводит зевак к деревянному домику, откуда раздаётся жалобный звон. Дверь открывается, выходит дама, поправляя серый от пыли чепец, стряхивает осколки с передника. Вид у неё довольный.

– Отмечают французскую революцию и набивают руку для следующей, – усмехается Тереза, не отпуская его локтя.

Она приводит Люса в не очень грязный табльдот. В их распоряжении – правое крыло длинного стола. Есть не хочется: он совершенно сыт обществом Терезы. К тому же, похлёбка в мисках, которые дородная хозяйка с вызовом ставит на левом крыле стола, – единственное блюдо в этом заведении – выглядит несъедобно. И это ещё комплимент.

– Кувшин вина, – немногое, на что Люс отваживается.

– Я хочу вам помочь, – без вступлений говорит Тереза.

– Мне не нужна помощь. Мне нужны вы.

Глаза Терезы перестают улыбаться. Лицо становится мальчишеским – под стать одежде. Черты будто грубеют. Нос с горбинкой – клюв хищной птицы. Вот-вот угодит по темечку. Но лишь на миг. Улыбка снова возвращается, играет в уголках губ.

– Знаете, дорогой Люс, в каждом городе есть легенды. Их пересказывают в подробностях, будто так и было. И уже не поймёшь потом, что домыслы, а что нет. Вы ведь не парижанин?.. Можете и не знать. А я, сколько себя помню, слышала истории про монеты, Лодочника и провожатых. Говорят, ещё в средние века алхимикам удалось получить философский камень. Они вплавляли его в монеты, которые потом разошлись по миру и стали сами искать хозяев. Мол, если получить у провожатого монетку и дождаться Лодочника, тот перевезёт тебя на другой берег. Никто не говорит, какой. Но все почему-то считают: там лучше.

«Дорогой Люс». Тереза говорит так нежно, будто целует слова. Люс хочет думать только об этом. Но упоминание лодочников и провожатых тащит его за шиворот вон из ванильных грёз – к распятым крысам и нарочно разбитым стёклам.

– А вы как думаете? – откликается Люс.

– А я знаю. Мне давали монету, и я взяла её. Но не воспользовалась. И каждый день меня тянет к Сене. Я подолгу брожу по мостам. Мне страшно, Люс.

Он накрывает её руку своей. Холодную маленькую ручку. Тереза сжимает ладонь в кулак.

– И вам тоже страшно. Иначе вы бы не носили монету напоказ, – говорит она с вызовом. – Вы так боитесь Лодочника, что пренебрегаете куда большей угрозой – людьми.

Люс порывается было спорить. Но ведь Тереза права.

– И что ж способны сделать люди? – спрашивает он.

– Убить, – взгляд Терезы холоднее, чем её рука. Люс никак не привыкнет к этой молниеносной смене масок. – На провожатых объявлена негласная охота. Если привести пару-тройку к заинтересованным месье, можно сколотить целое состояние.

– Так вы этого хотите?

«Не верьте ей» – вспоминает Люс слова Франсуа. Он чувствует себя старым и безнадёжно вышедшим из моды.

– Нет, – после паузы говорит Тереза, будто что-то обдумывая.

И наконец поднимает на него глаза. В свете керосиновой лампы в них искрится и переливается до одури пугающая и притягательная неизвестность.

– Люс, милый, давай сбежим!

5.

Он должен отказать, но вместо этого соглашается. Изящный юноша в приталенном пальто и мужчина неопределённого возраста в плохо подогнанном сюртуке, обнявшись, возвращаются от заставы в город. Они громко что-то обсуждают и, кажется, пьяны. Обычная парижская жизнь. Ни у кого не возникнет вопросов.

В лихорадочном оживлении он всё время проверяет карманы. Монеток нет. К счастью.

– Ты ведь действительно получила Медузу? Это не выдумка? – шепчет он на ходу Терезе.

Та закрывает ему рукой рот – мол, не говори глупостей, кивает.

Тереза заставляет его мечтать. Верить. Находить во всем смысл. Он провожатый. Он стольким людям указал путь. Неужели сейчас не сможет вывести их двоих в безопасное место?!

Они доходят до Нового моста, стоят обнявшись, прислушиваясь к отдалённым голосам засыпающего города – одинокий окрик извозчика, стук копыт по брусчатке, тихий смех.

– Хочешь уехать? – голос Люса дрожит.

Рутинный вопрос кажется жизненно важным. Он будто спрашивает: «Хочешь стать моей женой и разделить со мной горе и радость?».

Отблеск фонаря в её глазах, фарфоровая бледность лица и особенный тёплый свет, заблудившийся в каштановых волосах. Кажется, Тереза не принадлежит этому миру. Не принадлежит никому. Только самой себе. И поэтому её так хочется удержать.

Но удерживать не надо. Она говорит:

– Да!

Раскрывает ладонь с Медузой, и вкладывает свою ладонь в его – так, что монета оказывается между ними. Соединяя? Мешая?

Они идут по мосту – рука в руке. Люс счастлив. В кое-то веки он выбрал дорогу сам, не ожидая покорно, когда за ним придут. Неужели так возможно?

Всё плывёт перед глазами. Ночной силуэт Парижа – Консьержи, Папский дворец, Нотр-Дам, университет – стены, шпили и башни дрожат в прохладном воздухе, будто кто-то подул на отражение в воде. А может, они и правда, в воде?

Сите не лучшее место для ночных прогулок. Время, когда здесь справляли свадьбы французские королевы, давно прошло. Люс бы хотел пригласить Терезу в роскошный дом. Но у него нет даже лачуги. На ум приходит единственно место, где им никто не помешает. По крайней мере, сегодня.

Приняв решение, он покупает свечной фонарик и с дюжину свечей у засидевшегося на улице торговца всякой мелочью.

Ведёт Терезу сквозь Сите, невольно ускоряя шаги. Париж пляшет вокруг них джигу, Тереза смеётся и едва успевает за его размашистой походкой.

– Не думала, что ты можешь быть таким, – выпаливает она, отдышавшись.

– Каким? – спрашивает Люс, посматривая по сторонам, обходя задиристых гуляк.

– Таким… живым!

Если она и дальше будет его дразнить, они не дойдут одетыми туда, куда идут. Люс из последних сил сдерживается. Зевс свидетель, чего это ему стоит.

Особняк Клюни по-прежнему в запустении, хоть и был национализирован во время Французской революции. Никому нет дела до древних руин. Он помогает Терезе перелезть через забор. С неожиданным энтузиазмом для мадемуазель её уровня, а Люс уверен, что Тереза из тех бойких аристократок, что и после революции нашли своё место под солнцем, девушка штурмует стену. Люс, конечно, подает ей руку, но это лишние любезности.

– Никогда здесь не была! – Тереза похожа на девочку, которую выпустили из-под замка классной комнаты на улицу.

Веселье заражает Люса – он смеётся и ведёт её к винному подвалу монахов-бенедиктинцев.

Лестница, паутина, пыль. Люс обводит фонариком помещение. Стол, стулья всё там же. На стене ещё можно различить летящего голубя и веточку лилии в клюве.

Тереза становится тихой и молчаливой.

– Что это? – спрашивает она.

– Отголоски старых войн, – Люс обходит погреб, хоть и знает, что он пуст. Точно знает, что пуст. И всё же в дальней нише находит непочатую бутылку вина.

– Бокалов нет, – говорит он Терезе и, откупоривая бутылку, ставит на стол, – притворимся варварами, мадемуазель!

Говорит и осекается. Он ведь ничего о ней не знает. Может, Тереза мадам. Может…

– Притворимся, – дерзко говорит девушка и первая делает глоток из бутылки.

Закашливается. Вино течет по шеё, по платку, по рубашке. Она не умеет как варвар. И ей нравится. Именно потому, что он – без денег, дома, вещей, без прошлого и будущего, – привёл туда, где она ещё не была. Показал то, что она не видела. Люс, дурак, думал, она что-то в нём нашла. Лишь новизну. И всё. И это будет последняя здравая мысль на сегодня.

Он снимает с неё шляпу, развязывает шейный платок, на пол падает мужское пальто, рубашка. Туда же летит его чувство опасности. И её честь львицы из высшего общества. В пыли древнего монашеского подвала барахтаются правила и страхи. Причины и следствия. Ожидания и разочарования.

Они стоят другом перед другом – дрожащие и нагие. И это кажется таким же естественным, как пить или дышать.

Люс не успевает понять, когда и как происходит этот переход, они оказываются вместе: горячее к горячему, губы впиваются в губы, его огрубевшие шрамы к её нежной озябшей коже, волосы на щеке, пальцы блуждают по телу, будто не могут поверить, что всё это сокровище принадлежит им.

Он ничего не говорит, не сравнивает, не вспоминает, не думает. Он берёт её как данность. Жар проникает в них и становится невыносим. Разверзается гигантской трещиной земля, в красных и чёрных всполохах огня они плывут прямиком в Аид. Взявшись за руки, крепко зажимая ладонями Медузу.

Тереза кричит. Его имя. Он закрывает ей рот поцелуем.

Вынырнув на поверхность яви, в прохладу подвала, в тусклые блики фонаря, они пытаются отдышаться. Будто и правда ныряли в недра земли. Будто коснулись самого дна.

Люс обнимает Терезу, она кладёт голову ему на плечо. Он не хочет спрашивать. Но рано или поздно это придётся сделать.

– Кто ты?

– Теперь не знаю, – улыбается Тереза.

Он успел соскучиться за её улыбкой. На этом бы и остановиться. Но упрямство толкает его под локоть и заставляет продолжить.

– А раньше?

– Разве это имеет значение? Мы ведь перешли границу. Во всех смыслах, милый.

– Имеет, – настаивает Люс.

– Хорошо, – в голосе Терезы звучит холодок. – Раньше, туда, куда я не вернусь, я вела светский салон, у меня были влиятельные друзья…

– Муж, – подсказывает Люс.

Терез молчит. Он так и знал.

– Ты ведь искала, как ещё развлечься. Чтобы потом обсудить приключение с друзьями в салоне.

Откуда в нём столько жестокости, сам себе удивляется Люс. На войне он выплескивал злость на врага. Но это не война. Он обижает женщину, которая сделала его счастливым.

Тереза поднимается, подбирает рубашку. Брюки. Пальто.

А что он думал? Она станет опровергать и доказывать?

Ловит оледеневший взгляд, чувствует её боль, как свою. Может, потому Антония и не возвращается? Он ещё помнит, как воевать. Но о любви забыл начисто.

– Постой! – он хватает Терезу за локоть, но та, уже полностью одетая, вырывается, подхватывает со стола фонарь и убегает, оставив его в темноте.

Люс проводит рукой по груди, он почти уверен, что монеты больше нет, что Тереза – воровка. Это хоть как-то бы оправдало его. Но Медуза на месте. Висит на шнурке, что ей сделается.

Нет сил подняться. И всё же он заставляет себя одеться, встать и выйти из руин аббатства в блеклый февральский рассвет.

6.

Узнавая и не узнавая Париж, Люс бродит по его улицам. Он так и не понял: сумел ли выполнить роль провожатого, когда вёл Терезу по мосту, или это она проводила Люса в другую жизнь.

Что-то поменялось несомненно. Хозяин дал ему место разносчика. У Люса теперь хорошее жалованье. Заказы приходится запоминать наизусть, но на память грех жаловаться. Он купил новый фрак и снимает меблированные комнаты неподалёку.

Каждый вечер Люс ждёт у Нового моста, потом наведывается на заставу, в заброшенный особняк. Надеется встретить Терезу и на коленях просить прощения. Пусть у неё будет муж. Салон. Да хоть весь свет. Он согласен. Сколько у него осталось времени? Каких обязательств он вправе требовать?

Проходит неделя, другая. Тереза не появляется. Отчаяние толкает его то ли на глупость, то ли на дерзость: он наведывается к Франсуа и расспрашивает того о Терезе.

– Не послушали меня, – хмыкает Франсуа, помахивая тросточкой, когда они прогуливаются по Итальянскому бульвару. – Тереза – подруга Жозефины. Я хаживал к ней в салон. На карнавале она меня узнала.

– Вот как, – Люс еле сдерживается, чтобы не задать вопрос о провожатых и лодочниках. А заодно и о мужьях.

«У меня были влиятельные друзья». «На провожатых объявлена негласная охота. Если привести пару-тройку к заинтересованным месье, можно сколотить целое состояние». Заинтересованные месье и Жозефина Бонапарт. Мозаика складывается. Но не в его пользу.

– Я хочу с ней встретиться.

– Вы уверены? – Франсуа становится серьёзным. – Могу вас провести. Но с одним условием: вы спрячете свою монету подальше.

Подальше? Но ведь именно благодаря монете он встретил Терезу. И если он хочет узнать ещё, монету нельзя прятать. Но Франсуа это знать не обязательно. И Люс послушно перевешивает шнурок к телу.

Проходит пара нервных странных дней. Париж превращается в ловушку. Люс ходит по кругу – от Нового моста и снова к Новому мосту. И за ним тянется шлейф взглядов и разговоров. То оборванец толкнёт, то бродяга милостыни попросит. Оглядываясь, Люс замечает: какой-то мсье прячется в галерее. Торговка гребнями для волос резко отводит взгляд. А двое простаков без стеснения разглядывают его с головы до пят. Вечером эти юноши попытаются отнять у него монету, а заодно и сумку. Что ж, всё останется при нём. У Люса неплохой послужной список уличных драк.

Вечером третьего дня Франсуа подводит его к особняку на Итальянском бульваре, мимо которого Люс проходит за день несколько дюжин раз. Кроме нового фрака и шейного платка, его скулу украшает живописный синяк. Люс отвергает все предложения Франсуа запудрить, скрыть под мушками, наклеить бороду.

Их встречает Тереза, и он на миг слепнет. Возможно, от роскоши её дома: всё белое и золотое, везде цветы, воздух и свежесть. А возможно, от вспышки узнавания в её глазах. И от того, как отражается в них его предательство.

– Нам надо поговорить, – бросает Люс в её кисейное платье, в прямую спину.

Франсуа оставляет их и проходит вперёд, через анфиладу комнат – туда, где слышны смех и звон бокалов.

Она оборачивается. И Люс снова счастлив. Ему достаточно просто того, что Тереза рядом. Даже говорить не хочется, чтобы не спугнуть её фальшивым словом.

– Думаешь, мы что-то поменяли? – он всё же нарушает молчание.

– Ты знаешь ответ, – она холодно улыбается. Сколько же оттенков бывает у её улыбок.

– Прости меня.

– За что? Я действительно развлекалась. Вот только никогда не предавала тебя.

Она ещё злится на него. Пусть так. Он не может больше стоять в стороне – деревянный и чужой. Он делает шаг, руша невидимую преграду между ними, и снова обнимает нежную, лёгкую, прекрасную Терезу. Она не сопротивляется, приникает к нему, ласково, как морская волна в штиль. Её губы пахнут виноградом.

– Вы арестованы! – раздается за спиной.

Жандармы хватают Люса и куда-то волокут. Удар по голове. Падая, он успевает увидеть брошь с изумрудами, приколотую к платью Терезы на груди, и её лицо. «Это не я, – читает он по губам, – Это не я!».

Люс приходит в себя в каком-то подвале. Вода мерно капает в лужицу рядом. Руки свело от холода и слишком тугого узла. Лунный свет, падающий из узкого зарешёченного окна под потолком, выхватывает пол, усеянный комьями глины, и навострившую уши крысу. Не так уютно, как у монахов-бенедиктинцев.

Скрип. Открывается дверь. К нему приближается некто в длинном плаще и шляпе с широкими полями.

– Я говорила, что люди могут убить, – отрезает Тереза. – Зачем ты пришёл?

– Хотел сказать, что люблю тебя, – хрипит Люс. – Кажется, это было невовремя.

Тереза опускается на колени рядом с ним. Как хорошо, что скупой лунный свет теперь освещает не только крысу, но и мягкую улыбку Терезы. Она обнимает его, но это не ласка: Люс чувствует, как нож перерезает путы.

– Глупый, – Тереза целует его в губы, и шепчет: – Франсуа сдал тебя Жозефине. Император исполнит её желание, даже не став разбираться. И ты достанешься избалованному мальчишке.

– Устраиваешь мне побег?

– Даю разумный совет. Пока Франсуа не срезал монету вместе с твоей шеей, вербуйся в армию и уезжай подальше. Да хоть в Россию.

– Я покончил с армией и войнами. Я женюсь на тебе.

– Не лучшее время, дорогой Люс. Когда-нибудь потом я найду тебя сама!

Холод подвала пробирается внутрь и прорастает узорами изморози в сердце. Руки немеют. Немеет надежда, что когда-нибудь женщина скажет ему на прощание совсем другие слова. Или вообще не придётся прощаться.

– Иди за мной, – командует Тереза. – Хвала Господу, в Консьержи ещё любят деньги.

Они сидят в наглухо занавешенном экипаже друг напротив друга. Люс порывается поднять занавеску и выглянуть – куда его везут, но Тереза перехватывает руку. Слышен стук копыт о брусчатку, значит, они ещё в городе.

Сколько Париж знал таких историй – тайные спасения и долгие разлуки. Он думал, что вычеркнут из этих драм. А вот поди ж – попал. Богатая влиятельная женщина, в которую и каменный столб бы

влюбился, везёт его бог весть куда. Может статься, он ещё будет жалеть, что не остался в Консьержи в компании тамошней крысы. Хотя сейчас Люсу всё равно, куда. Скоро они расстанутся, и земля снова пойдёт трещинами под ногами, и он провалится в Аид – на сей раз один. Люс складывает в голове вопросы про брошь, которая так похожу на фибулу Антонии, но вопросы не складываются. И он спрашивает другое:

– Зачем ты это делаешь?

– Чтобы всё изменить, – горячо шепчет Тереза. – Я не играла с тобой. Я хочу быть рядом. Хочу видеть, как с каждым нашим шагом меняется всё вокруг. Хочу жить, а не подчиняться – обществу, нравам, легендам, войнам. У нас получится. Вдвоём. Ты и я.

– Это против всех правил, – грустно улыбается Люс.

– Это по моим правилам.

Тереза раскраснелась. Глаза блестят в полумраке экипажа. Он уже привык её видеть в безыскусном мужском наряде. Так её красота ещё заметнее.

– Ты бы могла отобрать у меня монету, заставить…

– Неужели ты не понимаешь, – неожиданно спокойно говорит Тереза. – Монеты недостаточно. Даже твоего присутствия недостаточно.

Она замолкает и ждёт.

– Неужели не понимаешь, – ещё раз говорит она. – Должна быть… любовь.

Последнее слово Тереза произносит совсем тихо.

Люс бережно прикасается к её лицу, проводит пальцем по щеке, очерчивая нежную линию, жар разгорается и, кажется, охватывает весь экипаж. Как бы кучера не подпалить, думает Люс и притягивает Терезу к себе.

Он согласен ехать в этом экипаже до следующего столетия.

7.

В июне войска Великой Армии вступают в Вильно.

Русские отходят без боя. Польские помещики, нагруженные обозами того, что никак не бросить, отступают с войсками. Склады с провиантом, зерно, мельницы уничтожены казаками. На улицах идут вялые стычки между авангардом французов и арьергардом русских. Впрочем, без особого успеха для французов: начальник отряда, граф Сегюр и принц Гогенлоэ серьёзно ранены.

Люс наслышан об императоре Наполеоне, но всякая империя в конце концов съедает самое себя. Наполеон до последнего надеялся на уступку со стороны царя Александра. До такой степени, что поинтересовался у переговорщиков царя, как добраться в Москву. «Карл XII шёл через Полтаву» – получил он ответ.

Наёмная армия в четыреста тысяч человек – поляки, немцы, пруссаки, испанцы, итальянцы, хорваты, австрийцы. За этот поход дорого заплачено. Но войны выигрывают не деньгами.

В Вильно их ждёт хаос. Домов не хватает. Они располагаются на биваках среди улиц. Отовсюду слышится лязг оружия, клич трубы, конское ржание, брань на разных языках. Великая армия рассчитывала на совсем другой приём и не запаслась провиантом. Прошло три дня, а они так и не отыскали достаточно хлеба.

Войска идут и идут: сквозь и по головам, как угодно.

Две недели. Три. Наполеон не спешит с наступлением. Не знает, что делать, догадывается Люс. Он бы тоже не знал. Говорят, Бонапарт склонен полагаться на «счастье императора», которое ему всегда сопутствовало в сражениях. Но разноликим товарищам Люса безразличен исход войны, как и Великая армия, хоть и воюют на её стороне. Три тысячи верных императору французов сыграли бы лучшую партию. Но где их теперь найдёшь?

Что он здесь делает, спрашивает себя Люс. Тогда он не уступил Терезе. Она хотела всё устроить. Хотела выбить ему чин, квартирование в какой-то европейской столице. Хотела выбить их счастье. Сильная, умная, нежная Тереза. В той газете он видел рисунок её лица – когда всё только начиналось. Но не хотел верить, что между ними непреодолимая пропасть, и предпочёл не узнать Терезу. С заставы, куда она его привезла, Лука сбежал. Скрывался от погони. Едва не застрелил Франсуа на дуэли. Тот так вожделел монету! Нашёл, дурак, с кем стреляться. В конце концов воспользовался советом Терезы – пошёл в рекруты. Иного для него не придумано.

Месяц на исходе, и они выступают из Вильно. Люс идёт за армией. Но не знает, зачем. Его карманы пусты. Монет нет. Спасать некого. Любить некого. Он всё реже вспоминает Терезу – как невозможную мечту. И чаще Антонию – как потерянное счастье. Брошь на платье Терезы – была ли она римской фибулой? Или лишь похожа на неё? Этого он уже не узнает.

Ему безразлична война. Безразлична судьба Франции. Да и собственная тоже. И он делает то, что никогда раньше не делал, – дезертирует. Под Минском уходит на юг. Что ему наказание? А пусть и расстрел.

Переправляется через Припять, минует Житомир, Винницу, Балту. Идёт дальше. Учит новый трудный язык – тот меняется каждую пядь земли, будто говор, как пшеница, зависит от чернозёма, солнца, дождей. И наконец упирается в море, останавливаясь в городе, где как в Великой армии, говорят на всех языках мира. Греческий, итальянский, французский, русский, украинский, турецкий, молдавский, английский.

Ходит блаженным оборванцем по немногим улицам, ворует на базаре, смотрит на Чёрное море, которое на рассвете перламутрово-белое, вспоминает Афины. И слышит имя из далёкого прошлого – Ришелье. Шестерёнки в голове с натугой крутятся, наконец механизм срабатывает, и память подсказывает: хозяин ресторана «Марсельеза и фазан» работал у Дюка де Ришелье поваром.

Запах тины нагоняет Люса у причала. Прикосновение к плечу, и в руке – все карманы теперь у него дырявые – оказывается монетка. Знакомая французская фамилия.

Он умывается в море, приглаживает пятернёй отросшие волосы. Вот и вся дань приличиям.

Люс поднимается по склону, местные жители их называют массивом, ноги скользят в бурой глине, и кажется, он не идёт – плывёт.

Новый бульвар не в чести у богатых горожан. Закрывает вид на порт, которым те могли любоваться прямо из дома, и всё им не то. Наслушался недовольных, пока сам прогуливался. А Люсу нравится. Может, потому что после стройки здесь попадаются по закоулкам черепки амфор. Добротные амфоры были, хорошие. С такими в Афинах хоронили, нарочно разбивая, принося дань Деметре. А может, он не в силах оторвать глаз от стыка неба и моря и всё гадает, что за той чертой.

Дюку де Ришелье тоже нравится бульвар. Может, потому что он его сам задумал и построил. Или Арман-Эммануэль дю Плесси Ришельё такой же беглец, и он тоже вглядывается вдаль, в синеву воды, в предел – привык вглядываться и не знает, как по-другому.

Ришелье по своему обыкновению сидит на скамейке. Редко один. К нему подсаживаются и о чём-то просят. Он выслушивает всех. Благосклонно, будто это не они, а он пришёл на приём к самому городу. К самой Одессе.

Когда подходит его очередь, Люс молча протягивает Медузу – реверсом вверх, чтобы было видно имя.

– Вот как, – Ришелье вскидывает брови. – Всегда считал, что это миф. Наподобие древнегреческих. И что вы хотите взамен?

– Ничего, – говорит сперва Люс, а потом добавляет: – Хочу, чтобы эта дорога была счастливой.

Ришелье улыбается своим мыслям.

– А знаете, я не возьму монету. Всё, что нужно, сделаю сам. Не в этом ли счастье?

Он хлопает Люса по плечу. Тот растерян и раздосадован. Стоит и не уходит, лихорадочно подбирая слова для ответа. Вот только разговор уже окончен.

– И ещё, – Ришелье выуживает из кармана жилета ассигнации, протягивает ему, – не обессудьте, любезный, купите себе новое платье. Наряд не соответствует вашему лицу.

Люс кланяется и отправляется восвояси. Что ж. Французы остаются французами.

А никто остаётся никем.

НАДЯ ДЕЛАЛАНД

ГОРОД С ВКРАПЛЕНИЯМИ ДЕРЕВЬЕВ

***

Не смерти нет, а в смерти нету смерти.
Вот Марфо-Мариинская обитель,
мы входим внутрь, и три единорога
сбегают со стены по трём дорожкам,
бегут, переговариваясь, к флоксам,
сон-колокольный-звон плывёт к Вечерне.
Здесь живы все, кто умер, и ничто
их ясный свет нарушить не сумеет.
Смотри, Марина, облако и купол
как будто бы растаяли друг в друге.

***

Сплошной священный бред, взращенный мной за лето –
смотри, как можно спать, дышать, лететь, гореть,
как медленна листва, как нежно фиолетов
цикорий в сентябре.
Скажи мне что-нибудь, хотя бы эту воду
в пруду и голубей, клюющих тишину.
Мне ломит корни слов, мне крутит на погоду
суставы и блесну.
Но рыба тоже спит, её глаза открыты,
в них онейрично всё, включая нас с тобой.
Ты изо рта достал кораллами увитый
серебряный обол.

***

дерево раскачивающее собой как в ускоренной съёмке
сбрасывает шкуру больше такое не носят
ветки его истончаясь врастают в осень
и увеличивают её семантическую ёмкость
ветреный город с вкраплениями деревьев
вздрагивает от человеков в оранжевых робах
жадно гребущих в мешки шелестящее чтобы
мне было больше не на что опереться

***

ты самая моя
большая драгоценность
невиданный кристалл
хрустальный тайный шар
беречь тебя от всех
накрыть руками всеми
шестью
лечь животом
замедленно дыша
ты будешь тут лежать
в траве и перьях тонких
ты станешь по ночам
светиться синевой
потом взлетишь и вдруг
окажешься ребёнком
и в облако уйдёшь
метнувшись по кривой
открыв в себя глаза
я буду думать волны
солярис спит во сне
и лоб его и рот
расслабленны
теперь
мне можно просто помнить
и он тебя вернёт
и он тебя вернёт

***

он пахнет одиночеством и снегом
наклонившись пролистнуть
то каплю обнажённую то рыбу
касается колена старается чередовать
прикосновения и неприкосновенность
он сам немного рыба-капля
из глубины себя доставшийся себе
со мной на воздухе и солнце
ему неловко непривычно
но он старается и я стараюсь
но мы стараемся чередовать
прикосновения и неприкосновенность
и в этом ритме движемся к метро
мы старые нам где-то сто пятнадцать
а здесь нам может быть лет десять на двоих
нам ничего не нужно друг от друга
прикосновения и неприкосновенность

***

телеграфирую со дна
я здесь одна
всё октябрее тонкий лес
их водоросли тянут ввысь
прозрачный вес
свет светит вниз

***

Они шли по улице, и он нечаянно ранил её.
Рана была незаметна под одеждой.
Вечером она показала ему рану, рассказала о том, как это произошло, попросила подуть.
Тогда он разозлился, плюнул на рану, сыпанул в неё песком, заплакал и ушёл.
И рана зажила
Своей жизнью.

Мы шли по улице, и ты нечаянно ранил меня.
Рана была огромна, но незаметна.
Вечером я показала тебе рану, сказала: подуй на неё, мне больно.
Ты обиделся на то, что причиняешь мне боль,
Ты обиделся на то, как причиняешь мне боль,
Ты обиделся на то, чем причиняешь мне боль,
Ты обиделся на боль,
Достал свой старый проржавевший перочинный ножик
И воткнул его в рану.
Я сказала: спасибо
И подумала: спасибо
Я сказала: пора это прекратить
И подумала: давно уже пора
Я сказала: я напишу тебе о растении, которое мы посадили вместе
Ты сказал, что растерян, но ничего не имеешь против.
Я подумала: значит всё правильно, всё так и должно быть.
И когда ты спросишь у меня поверх наших голов, как я.
Я отвечу: спасибо, вполне терпимо,
Я хорошо справляюсь,
Твой ножик пустил корни, скоро начнёт цвести.
Художественный параллелизм подсказывает мне, что ночью похолодало.
Это значит, что завтра включат отопление, и я перестану мёрзнуть.

***

осенний ровно по погоде
слезящий жёлтые слои
зануда и душнила и
и ипохондрик ипоходрик
то в глаз то в щёку то в живот
за шиворот в ладонь по носу
в ответ на все мои вопросы
сейчас ещё чуть-чуть вот-вот
ты дождь ты дождь и ты идёшь
но почему-то не проходишь
задумываешься похоже
остановился смотришь ждёшь

***

и вот стоит один поддатый чужаковатый человек
из тёмной кухни бородатый он смотрит грустно и горят
его глаза на всей лохматой немного лысой голове
и медленно растут опята и очень быстро говорят
он спрашивает ими внятно – я глуп? ничтожен? я смешон?
и сразу же идёт обратно на лоб надвинув капюшон
и снег огромный многократный
идёт
идёт
идёт
ушёл

***

я стена девушке трудно быть стеной
есть раздвоение и кто-то ещё за мной
слабо скребется пальчиком с коготком
просит разрушиться собственной наготой
если ты мышь проходи сквозь меня вон там
если ты спишь попадёшься котам татам
я состою из камня цемента мха
глаз и влагалища только для жениха
вечный гомер положил на меня свой меч
речь сквозь меня параболой будет течь
дедушка с мальчиком в шахматы подо мной
мирно играют в нежизни моей земной
тень перелётная лёгкая от скворца
сядет на сердце и слёзы склюет с лица

***

всё никак не потеряю девственность
все простые способы не действуют
замуж вышла нарожала мальчиков
но осталась почему-то маленькой
девочкой голубоглазой дурочкой
всё иду иду иду за дудочкой
крысолов смеющийся и плачущий
тоже оказался просто мальчиком
старым мальчиком со старой девочкой
мы идём и ничего не делаем
отличаем только в этой музыке
свой восторг от собственного ужаса

***

Он поворачивает лицо и в нём столько любви
что некоторые принимают её на свой счёт
между тем он просто поворачивает лицо
говорит я слышу тебя говори
говорит говори я слышу тебя и руку твою держу
вижу тебя и не отвращу лица
буду с тобой до конца плакать с того конца
этой вселенной на тот

***

твои стихи меня читают
во мне всю ночь и не дают
пройти сквозь строй
они здесь прочно обитают
и точности обет дают
мне между строк
я заблудилась в них тогда
и всё бреду по зимней роще
сквозь снег плыву
они то воздух то вода
то акварельный дом на ощупь
сон наяву

***

я гимнастка
мне пять
я иду по большой садовой
в дфк
рядом дедушка
это счастье
не печалься
побудь подольше
побудь подольше
не кончайся
успев начаться
это всё
проступает тело
всё пропускает
пропускает свет
и мерцает и переносит
параллельным миром
в этот мир прорастает
сделай мостик просит
там где я состою из света полёта лета
бесконечно искрящихся в воздухе
драгоценных
там повсюду любовь и радость
ваниль и цедра
нежность

ЕВГЕНИЯ ДЖЕН БАРАНОВА

ЛИМОННЫЙ СОК ДЛЯ ПРЕКРАСНОЙ ДАМЫ

***

Легко клевали ласточки бровей
ростовскую прозрачную пшеницу,
и жизнь меня срезала, как хорей,
не смеющий с анапестом сродниться.

Испуганными стеблями вилась,
касался слёз водопроводный иней.
Я с сёстрами утрачивала связь –
такими же цветами водяными.

Сложи меня, пожалуйста, в альбом,
среди пергамента, среди цветного вальса.
Легко клевали ласточки…
Потом
он долго пил и долго сомневался.

***

У меня так много к тебе, так мало,
что порой затапливает корабль,
выбегают шлюхи из пены перьев,
выбегает вышколенный оркестр,
вот лимонный сок для прекрасной дамы,
вот плывут ракушки её корсетов,
как грибные панцири насекомых,
как беззубый маятник темноты.
И скользит дельфином майорский мостик,
и белеет лёд на предплечьях палуб.
– Ты хотела этого?
– Я хотела.
И уносит радио океан.

***

Если ты мне сегодня не снился,
значит, ты снился кому-то другому.
И это совершенно непостижимо,
как летающая тарелка в зубах терьера,
как поцелуй в эсесовской форме,
как водитель маршрутки,
цитирующий Сервантеса.

Если ты мне сегодня не снился,
значит,
какая-то
кто-то
какой-нибудь
или котейка персидской породы
прятались в клетках твоей рубашки,
совершали наглое воровство.

Если ты станешь не сниться дальше,
я удивлюсь / позвоню / привыкну
совсем
навсегда
а может быть, до субботы
(тогда я отправлюсь в парк, где вчера бывали,
и обниму его охлаждённый звук).

КРАСНОЕ И БЕЛОЕ

Плюшечки пальцев гладят твоё лицо,
но фотография выглядит недовольной.
Что-то закончилось.
Мы торопливо ждём –
взяли соседа по продуктовой полке.
Вот он уехал,
белый его живот
бился, как бабочка, в йогурте и сметане.
Мы притаились – прячемся за халвой.
Длинная-длинная очередь треплет кассу.
Если представить…
(лучше не представлять)
Я Коломбина,
маленький мой разведчик.
Пальцы взлетают, ловят тебя, скользят.
Сок, саперави, вишня, брусника, кетчуп.

***

Моя любовь как Пермь Великая
(лексемы с холода блестят):
то заплетает повиликою
тропинку раннего дождя,
то телевизором аукает,
мол, отберёт тебя партком –
так шерстяная сука гукает
над новорожденным щенком,
так я, несмелая, немилая,
Цветаевой обед ношу.
Моя любовь как стирка стылая,
как майский жук.
Тд тп и слово всякое,
и в воздухе глухонемом
икота выбирает Якова,
оно само.

***

Я знаю,
каких художников ты терпишь,
какая форма у твоих ногтей,
как краснеют твои скулы,
когда ты сердишься,
как хрипловат твой голос,
когда мы замираем в соседних креслах,
будто рыбки в аквариуме

но я не знаю тебя

Ты знаешь,
какие я путаю буквы,
как я:
не решаюсь,
стремлюсь,
пьянею,
веду себя резко,
печалюсь,
плачу
или наглею,
когда смущаюсь
но стоит ли знать об этом

как мне идёт оранжевая одежда
как покупают твои дорогие книги
как не покупают
– а, может быть, и не нужно –
как не покупают трагические стихи

весь этот шелест, вся эта оболочка
– шорох брабантских кружев у Гумилёва –
лет через сорок/семьдесят разорвётся
и наконец мы узнаем, узнаем всех.

***

Здравствуй, Слава.
До свиданья, Слава.
Всё-таки пришлось разъединиться.
Жизнь подарит Чехову оправу
и перевернёт через страницу.

Я не помню, для чего мне сердце,
но оно лукавит на дежурстве,
позовите Грина, Грига, Герца,
или, может, Кришну, я не в курсе.

…лещ, жердела, Шолохов, таблетки,
Миллерово, маятник Фуко…
Я уеду по зелёной ветке,
далеко уеду.
Далеко.

Есть такие области Фейсбука –
кафель, хлор, перчатки, шестерни.
До свиданья, Слава. Видишь буквы?
А меня не видно,
извини.

***

Невинно и неотвратимо
лисички небо подожгли.
Там речка пробегала мимо,
цвели шмели,

там яблоком играла спелым
Аксинья – щедрая жена,
там старичок один мадеры
отравленной
хлебнул до дна.

Там на виске девичьем жилка
ручной синицею жила.
Там солнца русского опилки
у Осипа из-под крыла

ныряли в землю.
– Падай, падаль.

Но звук не падал, звук гудел
от лобных пазух Ленинграда
до тонкой клавиши «пробел».

И я не знала, знала, знала,
когда резвилась в поддавки,
что жизнь – влюблённые Шагала
над Витебском сырой строки.

ОЛЬГА АНДРЕЕВА

ВРЕМЕНА ГОДА

***

Где лежала его треуголка –
местных жителей спрашивать – смех,
ну не знают.
…Летела двуколка, лошадиная взмылилась холка,
в Александровском парке на ёлках
распушился рождественский снег.

Это всё происходит сегодня,
прямо здесь, мы скользим по шкале,
видим только свой шаг,
мир господний
постигая, как след на стекле.

Пишет Крит по спирали от центра,
так удобны из глины круги.
К мавзолеям ползут сколопендры
золочёных песчаных могил.
Вавилонским кубическим шрифтом
нам предскажут сегодняшний март,
непредвиденным фактором риска
станет стиль выживать из ума.

Изумленьем впечатанный в лица
доминантно звучащий вопрос
разрешится – сползает в молитве
шёлк платка её с шёлка волос…

Силой страсти, велением веры
правит миром пассивный залог,
янычара и госпитальера
ослепит золотое гало,
дышит вечностью светлое море,
смерти нет, всё скользит по шкале.

…Только так это вынести можно
и рассудком почти уцелеть.

***

Внизу стекло, вверху вода и сырость –
нормальная ростовская зима.
Мне этот город навсегда, на вырост.

Дон морем кажется – над ним стоит туман,
скрывает левый берег, сходит клином,
стихает ветер –
и вскипает Бах,
И дождь косой сечёт обочин глину,
портреты депутатов на столбах

***

март не тающий нечему таять
после грубой зимы малоснежной
никакая весна не настанет
только ветер примчит неизбежный

снег январский был скудным и строгим
не искрился рождественской сказкой
утро пахнет железной дорогой
креозотом и пролитой смазкой
я пытаюсь проснуться для жизни
но всё глубже в сугроб зарываюсь
из фрустраций весны виртуальной
лучик солнечный утренний брызни

***

Лето – о прошлом, текущем и будущем –
ровным загаром, заветной иллюзией,
русским по белому ясными буквами,
отрегулирует чуткими шлюзами
уровни бездны, глубокого омута,
мнение смертных не стоит доверия,
косноязычно – а как по-другому-то? –
русским по белому, с левого берега.

Ежеминутно рождаются золушки,
я потеряла волшебную палочку,
в лето – ажурное нервное золото,
перекрестившись ремнём безопасности,
сосны манящие вышестоящие,
головы задраны, лямки приспущены,
прямоходящие живородящие
да вездесущие дикорастущие.

***

Очень рано… вползает рассвет –
не уснёшь. Воздух утренний пей –
лучше кофе. К подмокшей листве
свесил копья уставший репей.

Посмотри – ты внутри октября,
во дворце синевы и листвы,
в эрмитаже его янтаря
говорят златогривые львы,

и за сценой звучат голоса –
ты им внемли – хоть речи просты,
но бессмертны. Грунтуют холсты,
возвращаются призраки в сад.

***

Тут лесу разрешили быть,
дышать, шуршать и не мешать,
к тому же – ягоды, грибы,
валежник… Раззудись, душа,
пролейся, свет небесных врат,
и нашу дурь яви нам днесь.
Ещё не вырубили рай.
Ещё не весь.
Надежда есть.

———

Памяти Саши Соболева (1952-2023)

***

Во мне болят твои слова, ещё живые,
и наша в Мишкино трава, и та запруда…
Весна грядёт – и без тебя она впервые,
как справится?
Ты подсобил бы ей – оттуда.

Чернила есть, слёз больше нет, унынье злее,
не контролируют пассионарность строфы.
(Не налюбуюсь на античный профиль.)
Дождь отрезвляет, никакого в нём елея,
но кто же нас
столкнул в воронку катастрофы?

***

И снова прорываться через город –
на край его, туда, где долго, тихо
идти среди могил, сличая цифры,
кварталы – и сворачиваешь часто,
находишь – и, склонившись, что-то шепчешь,
и молишься, и ждёшь –
что ты ответишь.

А ты не отвечаешь…
Снова, снова
идти туда, где нет тебя, любимый.

Тебя там нет.
И это хорошо.

***

Интуиция моя, будь наглее,
бей в набат, кричи, лупи меня плетью,
не позволь гнушаться правдой твоею,
выпей лето до впадения в Лету.

Да о чём я? Поздно, всё уже поздно…
Рвётся воем никогда из-под рёбер.
После драки кулаками не…

Звёзды
пудом соли необжитой
торопят.

***

К тебе прихожу. Мы неправы,
мы так были в этом наивны.
По травам, по высохшим травам,
творящим безмолвные гимны,

которые вместе сминали,
железнодорожные маки, –
топорщатся антиклинали,
взвихряя полёт стихиалий,
и в нём безысходность зашкалит
раденьем руничеких магий.

Внутри недостроенных храмов
дышали любовь и надежда,
там воздух – бальзамом на раны,
так пахли дожди в моём детстве.

Ты сделал меня очень сильной,
но воля сейчас так нелепа.
Себе – ничего не просила,
помимо насущного неба…

***

Мобильник замаялся – поиск сети!
Он ищет тебя и не может найти,
он хочет – про свежесть весенней горы,
парящей в лучах, и про то, что обрыв
сияет глазами наивных цветов,
и что-то ещё… понимаешь, не то…

Ты не позвонишь, даже если умру,
забьюсь, как улитка, в свою конуру,
обижусь навеки, уеду в Париж,
точней, чем в аптеке – ты не позвонишь,
и будет красивое слово – июль,
пронизано звоном цикадовых пуль…

Горчичник мимозы увял на окне,
ты светом в окошке светился во мне…
Эскиз пробужденья, тончайший узор,
сегодня – семь футов под киль кораблю,
настолько расширила свой кругозор,
что – вот, никого, ничего не люблю

Тотемы теряют волшебный заряд,
когда их – из леса. Ещё, говорят,
что те, кто ворочает камни – умней
того, кто скользит по реке вдоль камней…

***

Этот звук мы выбрали до донышка,
он умолк – а значит, он не мог
длиться,
как ни бейся сверху донизу
недисциплинированный мозг.

Мы не знали, в этом милость горняя,
нас минует тягостный удел –
чтоб сжигал меня в огромном городе
твой последний богоданный день.

А мои – порожними составами
сквозь меня теперь текут к луне,
длинной изнурительной метафорой
что-то злое объясняя мне…

ГАЛИНА СОКОЛОВА

ИНСТАЛЛЯЦИИ ЦВЕТА МАРЕНГО

МОНОЛОГ В ТЕМПЕ «ПРЕСТО»
повесть

Одной звезды я повторяю имя…
Иннокентий Анненский

Вот и грянул мой час. Не Божий – Верховный американский суд приговорил меня к заключению. Хотя я всего-то оказался в неудачное время в неудачном месте. Я и пьяным за рулём гонял, и сигареты в маркетах тырил (и не только сигареты!), и, бывало, кой-какие аферы прокручивал. А закрыли за то, о чём и не помышлял! А ведь везло-то как вначале!

Тринадцать месяцев назад я ступил на эту грёбаную американскую землю без единого цента. И вот уже два лимона спрятаны в обшивке моего арестованного джипа. Два без тех десяти штук, что я потратил на их адвокатов. И теперь мне не купить их хвалёную юстицию. А значит и не доказать, чего она стоит. Я – двадцатишестилетний парень Юрик, по паспорту гражданин Молдовы, славянин душой и одессит сердцем теперь – американский зэк.

На суде я швырнул прямо в их откормленные рыла: «А я горжусь, что родился в СССР, и что назвали меня не каким-то там Йориком или Сэмом. А Юриком! В честь первого – нашего! – космонавта планеты! А ваша Америка только и умеет, что бабки делать да жрать от пуза!».

Ого, как скривились они после этих слов! Как заклацали, заскрипели их зубы! Они-то полагали, что выносят приговор мне! А вынес его им – я. Ну, теперь времени у меня хоть отбавляй – необратима презумпция вины для двухметрового русского парня. Не надо никуда успевать и не за кем гнаться. И оправдываться теперь не перед кем. Разве что объяснить самому себе, как, добравшись почти до вершины, я заканчиваю жизнь гордым, непокорённым нулём.

СЕКТОР 1. ОДЕССА

И хочется с места
сорваться
в карьер
без царя в голове.

Юрий Панкратов

Глава 1. Бай-бай, Родина!

Волнуя кровь, гомонил и грохотал Шереметьевский аэропорт. Всего-то полтора месяца прошло с 18 августа, когда на Россию навалился финансовый кризис, придавив вместе с нею её хрупкое зарубежье. «Лучший выход из российского кризиса – Шереметьево-2», –шутило тогда Русское радио. Я принял шутку всерьёз, и вот уже улетает вместе со мной на Запад пришпоренное ранними заморозками бабье лето.

– Давай, что ли, прощаться? – взглянув на табло, спросил мой троюродный брат Валера.

– Да на фиг прощаться, – приободрил я братана.– Я всего-то на три недели еду – скоро свидимся.

– А что здесь делать? – хмыкнул Валера. – Вон мой бизнес закрыли – на взятку бабок не хватило. Ты же в курсе.

Я, конечно, был в курсе. И сваливал вовсе не на три недели. Это в посольстве я выдал себя за везучего, обременённого семьёй бизнесмена. Мол, некогда мне по Америкам рассиживаться – раз мой отпуск три недели, то и не задержусь ни днём позже. Это оценили, и визу дали стандартную, на полгода.

– Как жить? Что делать? Даже не знаю, смогу ли я забрать свои деньги в банке, – продолжал наводить тоску Валера. Я попробовал я отшутиться:

– А мне хорошо. У меня ни денег – ни проблем! – хотя, какие шутки, если в кармане даже мелочь не звенит. Ни денег, ни работы, ни дома, ни любви. Только секс, которому я с переменным успехом и предавался до самого отъезда.

– Не понял. Так ты что, без копья летишь? – изумился Валера, разглядывая меня недоверчиво. – Гонишь, что ли? Одолжил бы хоть у кого.

– У тебя что ли? – я рассмеялся. – Я так и понял, когда увидел твой жигулёнок 72-го выпуска.

– Семьдесят третьего! – с достоинством поправил меня братан. Мы пробирались к регистрационной стойке.

– А где твой БМВ? Я так и не видел его – помнишь: ты, когда приезжал ко мне в Одессу на джипе, говорил, что доплачиваешь пять штук и берёшь годовалую БМВ. – Валерка болезненно потряс головой.

– Да кинули меня. Сперва оформили на меня бээмвуху, потом на него – джипан. Всё быстро и красиво. Дали гаишникам на лапу – те подогнали крутые номера… Доплатил пятёрку и – разошлись краями. На радостях загуляли в сауне… А утром от машины только пятно на асфальте. Ни сигнализация не помогла, ни замок на руле. – Валерка уныло опустил голову.

– Молодые люди! Посадка заканчивается! – рявкнула из-за регистрационной стойки толстуха в униформе.

– На хоть десять баксов, – Валерка сунул мне смятую купюру. – Сказал бы раньше, я б для тебя одолжил, – мы обнялись, и он смешался с броуновским движением аэровокзала. Мысленно со всеми прощаясь, я постоял ещё минутку. Я был последним пассажиром.

– Билеты, паспорт, – не глянув на меня, бросил боров-таможенник. «Съестное» – послышалось мне. – А где ваш багаж, господин Арестович? – слегка оживился он, листая мой молдавский паспорт.

– У меня нет багажа, – как можно вежливее сообщил я, смутно подозревая, во что это может обернуться. Последние годы моя фамилия привлекала слишком много нездорового интереса. Боров блеснул заплывшими глазками и вкрадчиво поинтересовался:

– Оружие, золото, российские рубли?

– Только десять долларов, – полез я в карман, но офицер уже поднёс рацию к хищно оскаленному рту – типа, плавали – знаем.

– Макар, тут у меня подозрительный тип из Молдавии. В Америку летит, а ничего, кроме паспорта, не имеет.

– Давай на спецконтроль, Романыч, – раздалось сквозь шипенье и треск рации.

Меня завели в фанерную клетушку, где еле втиснувшийся туда Романыч и не менее упитанный Макар долго ощупывали каждый шов в моих вещах, исследовали подмётки и стельки башмаков, тщательно пальпировали каждый сантиметр моего тела. Ничего, кроме уже предъявленного, не обнаружилось. Правда, где-то в кармане нашлась ещё пачка «Примы», но таможня явно предпочитала другие сигареты. Макар взялся вгонять, что он имеет право задержать меня как гражданина Молдавии и т.д, и т.п. Я понял и демонстративно («Ну и хер с ними!») выложил на стол десять баксов. Гладковыбритая, пахнущая дорогим одеколоном физиономия выразила: «Плохой результат – тоже результат» и, уронив в рацию: «Всё в порядке» – кивнула…

«Ничего, в самолёте кормят, в Сиэтл прилетаю утром, а за день что то придумаю», – успокоил я себя.

Пройдя без вопросов следующие – паспортный и билетный – контроли, я оказался за той линией, которую мечтают пересечь большинство граждан бывшего СССР. Это уже без малого заграница – люди толкуют на разных языках, везде крутые магазинчики, где господа чужестранцы могут разжиться заковыристыми сувенирами. А если не убояться цен, ещё и остограммиться – рубли в пять раз обесценились, а у них – доллары. Чужаки покидают Россию даже с некоторой грустью. Слетясь из своих свободных стран, они тут впервые ощутили себя настоящими «XOMO EMOTIONS» и, забыв об антидепрессантах, научились пить то, что пить действительно стоит. И теперь веселятся, ходят на головах в кабаках и барах во всякое время суток – не надо предоставлять «ксиву», как, например, в полицейской державе США, где без удостоверения личности не дадут ни сигарет, ни шампанского. Ни дансинга не получишь. А это последний сюрприз Москвы, столицы когда-то великого и могучего, а ныне неунывающего и лихого государства, которое спешат раздербанить и свои, и чужие. Только ноты поменялись в гештальте, а целостная структура та же.

Вон Николай Юрьев, ведущий «Вечернего Главпочтамта»! Теперь он буржуй – летит позагорать на Майями-Бич. Он-то меня не помнит, а я его, земляка, помню хорошо. Лет этак тридцать назад он обучался в той же, что и я, школе номер девять в Кишинёве. Я был тогда худенький пионер Юрка, и когда он приезжал навестить свою альма-матер, мы с пионеркой Светкой встречали его хлебом-солью. Позже Светка играла на фоно в его «Главпочтамте». Но в отличие от Юрьева, ей не повезло – она уже лет пять как умерла от передоза…

Ах, Майями-Бич! Я жадно провожаю взглядом счастливцев, улетающих в лето, к пальмам у бирюзового океана и раскалённому солнцу! Бабье лето – блаженная пора отпусков для серьёзных людей. А мой самолёт летит на север.

– Вам плохо, молодой человек?! – я покрылся потом от внезапной боли в животе.

– Нет-нет, просто боюсь самолётов. – Посадочный талон, пожалуйста.

Скорчившись, я поспешил занять своё кресло над левым крылом железной птицы. Внутри снова вспыхнули угли. Неужели ломка?! Последний раз я укололся в полутёмном туалете поезда Одесса-Москва. Это было вчера вечером. Раствор оказался слабым, но, твёрдо решив бросать, я не сделал запас на дорогу. В прошлые разы ломало через двое суток, а сейчас – сутки. Но в прошлый раз я сидел на игле три месяца, да и дозы были поменьше. А в этот раз пару месяцев не дотянул до года.

Глава 2. Начало конца

То был самый ужасный год в моей жизни. Я похоронил двоих друзей. О втором расскажу чуть позже. А первый был мастером приготовления любого вида наркоты. Буквально из ничего. Он употреблял всё, что было под рукой. В крайнем случае, в ход шли клей и бензин. Его могучий организм экс-чемпиона города по плаванью выдержал пытки каких-то четыре года. Полностью парализованный, он две недели пролежал в реанимации, и на 28-м году жизни его сердце остановилось. Он не был моим другом, он был просто знакомым. В памяти остался лишь синий оскал на зелёном лице. И – приоткрытые глаза, которые подглядывали: «Кто следующий?».

– А, Санёк! Привет. Не тяни руку, в подобных случаях за руку не здороваются.

– Аааа! Тьфу, забыл, – Санёк перешёл на шёпот. – Шмаль так нахлобучила, что еле стою. Пацаны в подвале ширево варят, ща ужалятся и помогут тело вынести. Одолжи пять баксов на дозяк, завтра отдам. – он моляще уставил на меня осоловелые глаза.

– Бери. Только знаю – завтра не отдашь, тебя с работы выгнали.

– Обана! Уже вся Одесса знает! – изумился Санёк. – Да найду я, где взять. Отдам. Потом в качестве процентов к Светке-барыге зайдём – готовый купим. И сервис у неё – шприцы новенькие. И уколет сама – класс девка, в любую вену попадёт. Страшненькая только.

– Не, я завязал. Не хочу начинать. Неделю как ломки отпустили.

Из-за воплей родственников никто и внимания не обратил на заплывшие морды наших пацанов. Спотыкаясь и матерясь, они установили гроб возле парадной и, пока подъехавший автобус исполнял свои ритуалы, пошкандыбали, кто за водкой, кто в ларёк за закуской. Поминкам было придумано название «Долой наркоту». Ещё предлагалось что-то типа «Мы тебя, Вася, никогда не забудем!» и «Поминки, вторая серия». Последнее придумал Санёк. Он уже знал своё будущее – от героина нет спасения. Мы дружили с детства. И когда в девяностом я создал бизнес с подпольным швейным цехом, я притащил его из Кишинёва в Одессу. К чему я это всё? Да всё к тому, как начался мой извилистый путь в Сиэтл.

А Васю в тот вечер поминали только во время первого тоста, уже ко второму кто-то сел на телефон насчёт девочек. Дальше я отрубился, а проснулся уже не один.

***

– Как тебя зовут? – барышня двоилась и троилась, не давая себя рассмотреть.

– Во всяком случае, не Ляля! – девица демонстративно натянула чёрные ажурные трусы.– Меня Лия зовут.

– Ляля? …Ляля, Лия – один хрен,– буркнул я. Веки сдавливало, голова раскалывалась, ноги не держали. Кое-как звякнул управляющему, чтобы сегодня не ждали, и влез под душ.

А потом… завалился по новой. Пока над головой не уронили:

– Кофе будешь?

Я приоткрыл один глаз и …влюбился. Любовь с одного глаза, если так можно выразиться! Ей было лет шестнадцать. Или в сумраке мне так показалось? Дело шло к новой ночи, и присутствие голой девки в гипотетических трусиках наполняло происходящее неким новым смыслом. Персиковое личико, обрамлённое чёрными волосами до бёдер, немного раскосые чёрно-смородинные глазки над вздёрнутым носиком – «Ля –Ля, Ля-ля…», – торкнулся в мой висок гештальт цвета маренго. Восхитительная Ля, телесный образ которой я, возможно, больше никогда не увижу.

Это у Ляли глаза цвета маренго и яблочная завязь под ключицами. Забываясь, я на разные лады повторял эти две ноты её имени: Ля…Ля… Я и в Сиэтл лечу, чтобы быть ближе к ней.

И без лишних слов я притянул к себе худенькую девочку. Она так напомнила мне Лялю!..

Она оказалась глупенькой и недалёкой. С грехом-пополам отучилась 7 классов и рано постигла любовную практику. Сравнивать её с Лялей – это как лошадь с пони. У Ляли школа с серебряной медалью и три курса факультета археологии. Она даже написала вышедшую в Киеве книжку про золото скифских курганов. Когда мы встретились, я жутко комплексовал, что рано или поздно она меня раскусит. Хотя в то время я был почти образцовым представителем современного мужского племени.

Глава 3. Там, за облаками…

Тяжёлый лайнер загремел, затрясся и оторвался от земли. Москва исчезла в сером мглистом тумане, и, кроме дрожащих крыльев в иллюминаторе, ничего не осталось.

Я высыпал на ладонь три таблетки анальгина и пять димедрола, предусмотрительно свистнутые из аптечки Валеркиного Жигулёнка, и, получив прохладный пластмассовый стаканчик, залпом их проглотил. Сидевший справа сосед подозрительно сдвинул брежневские брови:

– Ого, восемь!

Я хотел поинтересоваться, не счетовод ли он, но боль помешала.

– Это снотворное, – через силу пояснил я. – Лететь 13 часов, а я боюсь высоты. – Ни высоты, ни самолётов я, конечно, не боялся – за моей спиной три года парашютного спорта.

– В Штаты? – сурово поинтересовался сосед. Я насмешливо посмотрел ему прямо в глаза:

– А самолёт, вроде, дальше не летит.

– Почему? – мужик вернул брови на надлежащее им место. – Вот мы, например, будем добираться до Канады. Мы – беженцы, русские баптисты из Грозного. Нам всё равно возвращаться некуда – все родственники погибли. Наших там, как баранов, резали. Политики – сволочи, они деньги отмывают, а люди… – сосед что-то ещё бубнил. А я… Я думал о Канаде. Где-то там, на вилле, ни сном, ни духом обо мне спит моя сладкая нота Ля… Самая высокая нота на нотном стане.

Я до упора откинул кресло и стал мысленно перебирать каждый проведённый с ней день. От момента знакомства до той роковой развязки, после которой хрупкие подшипники моей памяти разлетелись вдребезги.

Был золотой вечер последней недели августа 92 года. Мы с Саней шли по Дерибасовской. В ту святую пору мы ещё не знали о наркоте. В белых брючках и шёлковых рубашках мы выглядели круто. И карманы были набиты рублями – наш швейный цех уже приносил отличные доходы. Молдова в ту пору вела братоубийственную войну с Приднестровьем, а мы таким макаром ещё и успешно косили от армии. Девяностые – счастливая пора для людей с мозгами!

Надо сказать, смотрелись мы колоритно: я – длинный, под 2 метра, загорелый до черноты брюнет с лихим цыганистым оскалом, и Саня – синеглазый блондин, тоже не кургузый. Оставив свою восьмёрку на Соборке, мы каждый вечер отправлялись искать приключений, с кем бы завеяться на ночное купание в Аркадию. На Дерибасовской можно было запросто наткнуться на знакомого из другого города, а то и на звезду эстрады любой величины. Или встретить девушку своей мечты. А дальше уж как повезёт – она может оказаться чересчур дорогой, и всей зарплаты не хватит, чтобы рассчитаться за один час её внимания. Не исключена, однако, возможность наткнуться и на порядочную, и станешь якшаться с ней просто для души. А потом залетишь и женишься. И народятся детки. И будет послушная жёнушка, а ты у неё – верный муженёк… Но, ёлки-палки, как же это не для меня! Тем паче, что я утром улетал в Бухарест – хотелось напоследок оторваться так, чтобы не зариться на вонюченьких румынок. Что до Сани, то он просто вышел прогуляться.

В общем, потусовались мы в Горсаду, выпили кофе. Потом долго слушали выряженного пиратом остряка, – он развлекал народ приколами и анекдотами, не гнушаясь непечатной лексики. Это тоже было ново, и собирало вокруг толпу зевак до тех пор, пока два молоденьких, стесняющихся самих себя мента, ни взяли его под белы рученьки и не увели. И тут вдруг! Как в стоп-кадре, мир замер: люди, каменные львы, фонтан с застывшими в полёте струями – я смотрел и смотрел на неё, потеряв ощущение времени. В глазах её был чистейший цвет маренго. Она шла и шла, как в замедленной съёмке. Сообразив, что девушка вот-вот проплывёт мимо, я стал судорожно искать причину заговорить.

– Звенить, а который ща час? – оживив Дерибасовскую, свалился гугнявый голос откуда-то сбоку:

– Полвторого, – машинально брякнул я, не сразу врубившись, что вопрос задала её подружка. Обе девушки уходили в марево вечера. Ну да, какие полвторого, если уже шестой час вечера!

– За ними! – поволок я Саньку за собой.

«Сейчас! Сейчас я скажу ей что-то офигительное!» – уверял я себя, ускоряя шаг. Но, поравнявшись, слова застыли в моих сведённых от озноба челюстях. От лихо закрученной фразы осталось лишь глупое:

– Как тебя зовут?

– А ты Рак по гороскопу? – ответила она, с интересом разглядывая мою ошалелую физиономию. – Учти, я назову своё имя только Раку.

Гадая, к какому же созвездию относится дата моего рождения, я лихорадочно ворошил память. Ёлки-палки, а ведь таки-да! 30 июня и есть первая декада Рака. О чём я тут же пафосно и отрапортовал. Впрочем, нет, это сделал не я. Кто-то другой отделился от меня и завис в полутора метрах над нами…

– Оба-на! – присвистнул изумлённый Санёк. То ли о того, что увидел того, второго, то ли потому, что подобных знакомств у нас ещё не случалось.

– А я это сразу угадала, – засмеялась она. – Меня Ляля зовут.

А может, всё и не так было. Настоящие её слова может просто затонули в моей памяти!

У торговки-цветочницы я соорудил два букета (второй мне, конечно, был на фиг ни к чему, но я же, чёрт возьми, воспитанный человек!). Это были две огромные связки самых длинноногих роз с алыми капельками в сердцевине. Потом в Лялином букете я заменил белую розу на чёрную. И она о чём-то засигналила из своей белой кипени. Может, это был знак свыше? Но в тот момент я был слеп и глух ко всему.

О чём мы говорили в тот вечер? Кажется – обо всём на свете. Про её Ленку – мне здорово повезло на них наткнуться – её подруга приехала из Херсона впервые за много лет. А ещё про путешествия. Про какие-то легенды. Про любовь и Тадж-Махал… Я изо всех сил напрягал мозги и, чтобы не попасть впросак, лихо врал что-то про отца-капитана (хотя он с нами давно не жил!) и про сводную сестру Эльку, которая пишет статьи в центральной прессе (хотя знал о ней только со слов матери). А ещё про свои прыжки с парашюта и про чёрный пояс, которого вообще-то и не было никогда. Я развёртывал перед ней мой существующий и несуществующий мир в надежде, что даже то, чего ещё не было, теперь обязательно будет!

Слегка обалдевший Саня оглядывался на меня с виноватой улыбкой – он не знал, как относиться к моему вдохновенью да и не был избалован девчоночьим вниманием. А ошалевшая Лена уже готова была с ним хоть на край света – она сочилась ему за воротник, она смотрела на него влюблёнными глазами. А меня вдруг внезапно охватила паранойя: а что, если… Иногда девочки при виде потенциального мужа начинают строить из себя порядочных. Они пришли на Дерибасовскую, чтобы Ляля познакомила Лену с каким-то своим приятелем. Что за приятель?! То, что Ляля очень начитана, я уже понял. А в остальном? Какая она? Как-то я уже дал маху. Это было на Затоке. Я тогда впервые познакомился с девочкой. Вся, как ягодное мороженое, в розово-лиловом, в фестончиках-рюшечках, с молочным дыханием и глазами кофейного цвета… В ту пору мне было пятнадцать, и я боялся даже прикоснуться к ней. Не позже десяти вечера, когда только-только начинались танцы, я провожал её к самым дверям санатория, где она жила с родителями. А в один распрекрасный вечер ко мне ворвался один кореш и торопливо доложил, что видел Валю в компании двух торговцев апельсинами. С полной сеткой вина и закуски они направлялись в свой домик. Я взмок! Как?! И, сколотив банду из самых отчаянных, бросился спасать её. В руках – монтировки, в карманах – песок. Да ещё у меня длинные боевые ноги. Которыми я, как в кино, мог долбануть хлипкую дверь.

– Ага, козлы драные! – ещё ничего не разглядев, заорал я, маша руками и ногами. – Всех порешу, мрази! Девочку изнасиловали! – и …узрел на полу двух голых мужиков. А между ними… тоже в чём мать родила… Валя! Все трое неодобрительно разглядывали нас.

– Слюшай, малолетка, – забросив в рот дольку мандарина, поднялся с колен носатик лет пятидесяти. – Ты савсэм дурной? – он уставил на меня чёрные зенки и объявил: – Дэвочка сам хотель, мы ей чэтвэртак отвалиль.

Второй насмешливо закурил:

– Назад дэньги давай, дэвочка. Нэхорошо. Толка начали.

Она… достала из сумки мятый четвертак и молча, даже не взглянув на меня, презрительно бросила его на пол. Почёсывая шерстистую грудь, носатик разгладил банкноту и сунул её в карман валявшихся рядом брюк.

– Дэвочка – профэсионал, – просветил он меня вслед хлопнувшей за ней двери.

– Ваше вино, молодой человек,– наклонилась ко мне стюардесса.

Я судорожно вцепился в кресло – мне послышалось: «Ваша вина».

– Может, всё-таки нужна медицинская помощь? – нахмурилась стюардесса.

Поблагодарив её за опеку, я опрокинул в себя двухсотграммовку и вернулся на Дерибасовскую. Вернее, к ЗАГСУ на улице Ласточкина, где мы с Саней уже час сидим на прогретых солнцем каменных львах. Девочки просили подождать минут пятнадцать. Прошёл час – наш ресторан явно откладывался. От нечего делать мы изучали архитектурную кладку восседавшего по соседству оперного театра. Первым догадался Саня:

– А тут случайно нет проходного двора?

Точно! В сумраке пыльной парадной мы обнаружили дверь в зелёный дворик. «Пале-Рояль!» – вспомнил я его название – отсюда было, как минимум, три выхода на разные улицы! Что-то заворочалось в моём солнечном сплетении – это вечно путающий мне карты мерзопакостный червячок. В подобных случаях он всегда просыпается. Он поселился там ещё со времён моего дебюта. Но тут со стороны ступенек,

соединявших сквер с улицей Карла Маркса, зацокали каблучки. И я в очередной раз онемел! Она шла в белой пене шёлка, и ворот-«лодочка» открывал её грациозную шейку! Мы с Саней клепали фейковые джинсы с купленными лейблами, так что толк в этом знали: на Ляле – настоящий эксклюзив.

– Звинить, мальчики, мы чуть-чуть задержались, – пробубнила Лена, и Санёк обиженно занудил, что порядочным девушкам надо быть пунктуальнее. Тем более, что вот он (это я!) завтра летит в Бухарест, и нам впустую нет смысла время терять.

– Да? Тогда без нас, нам в девять надо быть дома. – Ляля зацокала к выходу.

– Куда ты, куда?! – кинулся я наперерез, ткнувшись о её твёрдое, как головка сыра, бедро. Кровь моя кипела. «Охолонь! – рыкнул червячок, который был настороже. – Что ты о ней знаешь? Глянь лучше на Лену из Херсона – она сама за себя говорит!» – «Причём здесь Ляля?! И Лена вполне нормальная девчонка, просто Саня ей нравится!» – «Отстань!» – горстью поп-корна я заткнул пасть поганца – как раз мы наткнулись на кинотеатр «Украина», и ни один из нас сто лет как не был в кино. Мой возражатель обиженно крякнул и нехотя свернулся в клубок.

Реакции Ляли совсем не напоминают рефлексы дам древнейшей профессии – в подобных случаях те выдают что-то типа: «А зачем тратиться, отдайте деньги лучше мне». И сообщают, сколько стоит их время. Второй вариант предполагает, что они сами предложат ресторан и будут шумно веселиться, раскручивая на приличные суммы. И если не удастся «кинуть», то прекрасно чувствуют себя в постели. «А всё-таки, какая она в постели?» – тем не менее ещё раз шевельнулся внутри меня мой враг романтики. Впрочем, сам факт того, что ещё целых полтора часа я смогу быть рядом с Лялей, отмёл подозрения.

Вот спросите меня сегодня – о чём был фильм? Я не отвечу. Кажется, что-то про XXVII век. Он мог быть и про XXI-й или даже про трёхсотый, я всё равно ничего не видел. Я не отрывал от Ляли глаз и даже попытался закинуть на её плечо свою руку. Но… она строго посмотрела на меня и – преследовавшая меня паранойя свелась к нулю. Я облегчённо вздохнул и расслабился. И… только тут заметил, что со всех рядов на нас оглядываются и шикают. Я скосил глаза и… чуть с дуба ни рухнул! Слева от меня пыхтели, толкались и подхихикивали Лена с Саней. Змейка на Саниных штанах была расстёгнута, и там белела… Ленкина ладонь!

«Агаааа!» – восторжествовал мой внутренний мерзопакостник. А я подавил в себе вздох зависти и признал поражение. Да, если раньше в Советском союзе секса не было, то теперь он был! Именно здесь, в Одессе, свершилась Великая сексуальная революция. И вся «Украина» смотрела на нас вылезшими из орбит глазами. И Лена – это Ленин! А Саня – крейсер «Аврора». И это его пушка возвестила народу о Великом перевороте. А зрители – наш народ, готовый штурмовать подтаявший «Зимний» и брать всё в свои мозолистые руки! Ура, товарищи, ура!

Глава 4. «Фа-престо»

Три времени существует в нашем русском языке: прошлое, настоящее и будущее. В английском их куда больше. У них прошлое бывает совершенным и несовершенным. Это чтобы компенсировать его примитивизм: раз нет рода, склонений и падежей, раз не бывает фразеологизмов, раз не случается пословиц и поговорок, – то пусть хоть времён будет до отвала. Их бесполый куцый язык предельно лаконичен, в отличие от нашего полноводного, буйноцветного русского. Но… Я больше не различаю языковых времён. Просто «Время обнимать, и время уклоняться от объятий».

И живу я теперь вне времени. Оно остановилось для меня в момент огласки приговора. Больше нет у меня будущего. И потому несовершенное время разделяется у меня лишь на настоящее и прошлое. В совершенном только Ляля – совершенная девочка моего совершенного времени.

В тот вечер ошалелые Саня с Леной рванули на 10-ю Фонтана, где мы снимали домик. А мы с Лялей брели к Пале-Роялю. «Э-эх, ну чего бы всё-таки не взять такси до моря?» – принюхался к пропахшей пылью и автомобильными выхлопами Пушкинской мой искуситель. Я подумал, что, пожалуй, стоило бы пригласить её в «Лето» – с утра у меня маковой росинки во рту не было. Но не успел.

Она остановилась возле парадной, где мы ждали их днём.

– До свидания, Юрик. Мы пришли.

Расставаться не хотелось, и я стал напрашиваться на чай. Она с усмешкой провела на стене несколько штрихов. Клювастый птенец напомнил мне голодную галку.

– Спешка съедает время, – сказала она, взявшись за ручку двери. – Когда-то я читала о французском художнике Фрагонаре. У него был особый стиль «фа-престо» – такие невесомые взмахи кисти по холсту: раз, раз – и образ готов. – Спокойной ночи, Юрик. Я тоже уезжаю – через несколько дней начало учебного года.

Я взмок:

– Как?! Но… Я хочу завтра увидеть тебя!

– А разве ты не улетаешь? – она пристально посмотрела на меня.

– Нет, нет, – забормотал я. – Я никуда не лечу! Завтра в пять! И послезавтра в пять! Я каждый день буду ждать тебя в пять. Даже, если ты выйдешь на пять минут!

– Не надо в темпе «престо», – улыбнулась она и протянула мне твёрдую, как дощечка, ладошку с тонкими музыкальными пальчиками. Глядя вслед её тонущим в газоне, слегка неуверенным каблучкам я вдруг подумал: «А всё-таки… как она относится к Skrewdriver? И вообще к алкоголю?». Но тут же вспомнил про три выхода из сквера и кинулся ловить такси. Мне повезло, и, вывернув так, чтобы были видны соединявшие с Пале-Роялем ступеньки, я влип в затенённое стекло. Вот она повернула в переулок Чайковского… Вот подошла к дому, который хотела скрыть от меня. Вот набрала код парадной…

– Ахчык! – как чёрт из табакерки выскочил откуда-то долговязый тип в бейсболке. – Я целий дэн тебя жду!

«Чёрт бы взял этих жителей юга!» – чертыхнулся я. Она молча рванула дверь и скрылась в сумраке подъезда. Он всадил кулак в дээспэшную преграду и заорал:

– Я выбрал тэбя, и ты будэшь мой! Клянус!

Я напружинил бицепсы. Но тут между двумя облупленными амурами брякнуло окно, и с отборным матом сверху ухнул ушат воды. В три скачка бейсболка скрылась в ближайшей подворотне.

– Подруга? – посмотрел на меня таксист.

– Сестра, – смалодушничал я.

Сверкнув лаковыми боками, чёрный «Мерседес» промчался мимо.

– «Ахчик» по-армянски – девушка, – увидев над бешено крутящимся рулем лицо моего конкурента, объяснил таксист, – Я его знаю. Он рэкетир с Привоза.

А я глянул на окна дома. Они были по-прежнему темны. «Интересно, кто он ей?».

Глава 5. Через тернии

А вечер в кабаке на 10-й станции был в самом разгаре. В краснорожей сутолоке я углядел Саню с Леной. Из-под рукавов её футболки болтались лямки купальника, а с глупо щерившегося Сани чуть не сползали мокрые шорты. «Купите бублички, горячи бублички, гоните рублики скорей сюда…» – грохотал динамик.

С Саней мы были завсегдатаями «Лета». И не только потому, что наш швейный цех располагался всего-то в двухстах метрах. Но ещё и потому, что тут царил дух свободы и безопасности – бандитский сброд сюда не наезжал, а цены были демократичными. Глядя на счастливого Саню, я снова почувствовал укол зависти и задумался: какая же Ляля, когда выпьет. Выпившая женщина всегда понятнее.

– А вот и Юрка! – обрадовался Саня.– А чего ты один?

– Назавтра договорился, – сухо отозвался я, всё ещё прикидывая, как могли бы и мы с Лялей также взмокнуть от непрерывного танца.

– Не понимаю я Ляльку, – вклинилась раскрасневшаяся Лена. – Мы с ней вместе учились до седьмого класса. Была когда-то девчонка как девчонка, а потом мы обменяли нашу коммуналку на квартиру в Херсоне – и вот… фу ты, ну ты, прима-балерина! – глотнув коньяка, она мощным движением транспортировала себе в зоб ломоть хлеба со слоями гарнира, отбивной и красной икры, а я неприязненно подумал: «Где тебе её понять – ты же из Херсона!».

– Когда девушка переходит ручеёк, она снимает туфли. Когда переходит речку – снимает юбочку. Когда купается в море – остаётся в купальнике. Так выпьем за дам, которые бороздят океан! За тебя, Лена! – Саня опрокинул бокал и Лена полезла к нему на колени. После второго бокала я вдруг понял, что Ленка и мне глубоко симпатична – ведь она подруга Ляли! А ещё она так по-детски колупалась в носу, что на правах близкого друга я потребовал:

– А ну колись, Ленка, про Лялиного хачика!

– Про Гагика что ли? – она вылупила голубовато-белёсые глаза и в замешательстве ткнула вилкой мороженое. Её рыжеволосая чёлка зашевелилась над лобными долями.

– Ну да. Про Гагика, – подтвердил я.

– Да никто он ей, – с привычно-гугнявыми нотками сообщила она. – Прицепился и бегает. И никого не подпускает… Держись от него подальше, Юрик, он брат какого-то авторитета. – И резиновым сабриновским бюстом навалилась мне на плечо. – Ой, а я поныряться хочу! Пошли на море, а?

– Чего-то ещё желаете? Кофе, коньяк, шампанское… – меняя нашу целомудренную пепельницу на новую, подошёл к нам официант.

– А хотите анекдот про Штирлица? Борман спросил у Штирлица: «Это ты качался в спортзале рейхстага?» – «Да, я», – гордо ответил Штирлиц. – «Так значит это ты мои качели разломал?».

Саня загоготал и, ущипнув Ленку за бедро, гордо уведомил:

– Старику завтра на Бухарест пилить, а мне – ишачить. Так что, извини, брат, – и, забыв о «поныряться», через пару минут мы были уже дома, где обычно скромный и даже тихий Саня орал дурацкие песни

и, как мельница, махал руками. Позже я слушал их с Ленкой визги и стоны. И поздравил себя, что не потащил в «Лето» Лялю.

Очнулся я от громкого храпа Сани и… Надо мной, как на подносе… смутно белели две большие женские груди. Старенькую иконку с изображением Святой Агафьи я видел в детстве у своей бабки. И долго недоумевал, что бы это могла значить. Потому и запомнил. А сейчас… Кровь моя вскипела, и я притянул к себе эти белые дыни. Сделав неожиданное открытие: основа нашей нравственности – вовсе не нравственность, а сам факт, что об этом узнают! И завтра вся эта история станет известно Ляле!

– Тю-у, ты чё? Уже?! – разочарованно протянула Ленка.

– А ну пошла! – под хохоток проснувшегося червя заорал я, сталкивая её с себя.

– Знойная женщина, – насмешливо констатировал Саня, проходя в туалет. А я… Кляня породившую меня природу, я так и не заснул. Я чувствовал себя испачканным в чём-то жидком и зловонном. И думал о Ляле. Что же всё-таки связывает её с Леной?!

– Готов? – как ни в чём не бывало, возник на рассвете Санёк.

– Не-не-не, – замахал я руками. – Я никуда не еду. Отбой! – и решительно накрылся простынью.

– Да ты чо? У нас же ни лейбл, ни заклёпок нет, – опешил тот. Работа для нас всегда была превыше всего. Но я был твёрд:

– Успеется.

Саня махнул рукой и убежал. Своё дело он знал отлично – кадры, швейные машинки, контроль качества готовых изделий – его забота. А я – я занимался всем тем, что не позволяло нашим финансам петь романсы. Это реализация, ткани и фурнитура. А ещё я копировал из закордонных журналов новые модели и подыскивал новые рынки сбыта. Короче, на работе я появлялся как снег на голову – когда захочу. Официально мы являлись филиалом ателье №46, и все бумажки были подогнаны так, чтобы ни ОБХСС, ни бандиты, которые брали в клещи частных торговцев, к нам не цеплялись. Рабочих у нас четверо. Ровно столько, сколько производственных машин 122 класса. Из оборудования – оверлок! И автомат для пришивания пуговиц (гордость цеха – дефицитная импортная машинка). Семён Адамович и Шеля Яковлевна – пожилая супружеская пара – трудились без брака. И две девочки с периферии – Галя и Рая – они только закончили СПТУ и работали тоже прилежно. Но, не уступая друг другу, часто выясняли отношения, пререкаясь даже с начальством. То есть со мной и Саней. Потому на их место то и дело просились наши соседи по домику – молодожёны Федя с Петей. Но менять шило на мыло не хотелось, и я послал их на хер: Федя был больной на голову – ему всюду чудились инопланетяне, а Петя – просто страшная завистница.

– У одной машинки движок полетел, – отрапортовал вернувшийся Санёк, вытаскивая из кармана пачку банкнот нашего дохода. – Завтра заменю. И надо бы тёте Вере на Черёмушки тюк отвезти, – пнул он большой куль у окна. – И ещё на Привоз Синицыным. Пятьдесят сорочек.

Мы забросили заказ на Черёмушки, потом – Синицыной на Привоз, и при расчёте я, как бы между прочим, спросил её о рэкетирах.

– Это же Привоз, – устало пожала она плечами. – Их тут целая банда. За главного Гагик какой-то. Тут жаловаться некому. Наш сосед, торговец ремнями, пожаловался ментам – и уже месяц в больнице…

Я обречённо проводил глазами тачку с яблоками. Вокруг шёл оживлённый торг перекупщиков.

Глава 6. «Никто, кроме нас!»[1]

Весь день я следил за часовой стрелкой. Время тянулось, как резиновое. Я смотался в одно местечко, где можно было достать массандровское вино Красного камня, и к четырём рванул к Пале-Роялю. Протоптавшись возле ЗАГСа до шести, я уже собрался отчалить, как вдруг по Ласточкина зацокали её каблучки. Ощутив переливающийся через макушку восторг, я тут же забыл о часе ожидания и метнулся за угол, чтобы вдобавок к золотым, притащить ей ещё и бордовых роз. А потом мы шли мимо оперного, мимо пушки и Пушкина, мимо Грота, вниз по каменным ступенькам…

Как я понял потом, она просто мастерски обходила места, по которым мог пролечь маршрут мерседеса. Но тогда я об этом не думал. Я шёл и был неимоверно горд. А между нами висела золотая луна (хотя… какая луна в этот час?!).

Она пила мало. Припасённый мной мускат Красного камня пришлось пить одному. Но зато это чудо с медовыми тонами альпийских трав и чайной розы я пил стоя. Глядя в её глаза. Которые казались мне звёздами.

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя… –

сам не знаю как вырвалось из меня на неожиданно-высокой ноте:

Не потому, чтоб я Её любил,
А потому, что я томлюсь с другими…

Уж не знаю, из какой памяти вынырнули эти строки – я, вообще-то, не певец, да и в стихах не разбираюсь, но…

– Анненский?! Иннокентий Анненский! – изумилась она, глядя на меня глазами цвета сияющего маренго. – Ты любишь классику? – и голос её взвился серебряным колокольчиком:

Смычок всё понял, он затих,
А в скрипке эхо всё держалось…
И было мукою для них,
Что людям музыкой казалось…

– Вот и по астрологическим расчётам у нас с тобой отличная совместимость, – бросила она, купая меня в волнах маренго. Это заинтриговало («чёрт бы его взял!») притаившегося во мне червячка: «Значит и в постели она…» – радостно забил он хвостом. – Вылив на него глоток оставшегося вина, я брякнул:

– Я тоже понял, что ты – девушка, которая разобьёт мне сердце.

– Но… я совсем не та девушка, – осадила она, нахмурившись. – Завтра я уезжаю в Киев.

– Как?! Обожди!.. Мне никогда… – обмер я, затыкая пасть недоплющенному первичноротому. – Мне никогда, слышишь! – «Неужели ей уже всё известно?!» – Мне никогда и никто ещё так не нравился!

– До завтра, Юрик, – она поднялась с места. И ушла. Я прислушался к своему червю. Но в этот раз подлое беспозвоночное смущённо юркнуло в какую-то артерию. Всё-таки и черви способны что-то соображать.

Прокатившись на такси вглубь переулка, я опять подглядел, как, чуть не задев нашу рыжую жигу (я, естественно, бухнулся на дно!), она направилась к своей парадной. Вот подошла. Вот протянула руку… И в ту же секунду рядом со свистом тормознул мерседес. Значит, мой враг таился где-то неподалёку. Выхватив из её рук мои розы, он бросил их наземь.

– Др-рянь! С-сука! Завалю! – топча золотые и бордовые головки, рычал он. И колотил ногами неподдающуюся ДСП, за которой она скрылась. Его пыл остановил лишь здоровенный помидор, катапультировавшийся из вчерашнего проёма с амурами. Взрыкнув, мерседес умчал в сторону моря.

– Гони! – выхватил я из-за пазухи стольник водителю.

Вот не знаю, с какой целью я погнался за ним – всё равно ведь ни слова не понял из того, о чём говорил он со своими соплеменниками в том ресторанишке «Мидия»! Ну не о рецептах же приготовления моллюсков! И не о розах, конечно! И тогда я взмолился к многонациональным одесским богам: «Господи! Ну должен же хоть кто-то в украинском городе Одессе говорить по-русски?!». И вдруг услышал:

– Так это же та коза, что к нам в ментуру вашего Карена сдала!

Ага! Значит, речь не о Ляле. То-то тётенька Синицына говорила, что наши менты с ними заодно!

– Тада бэри Карэна и ломайте суке руки-ноги, – переходя на русский, скомандовал Гагик. – И чтоб бэз шороха!

Я бесшумно спустился на ночной пляж и утопил свой энтузиазм в море…

К потехе Сани и перекочевавшей к нам Лены (ко мне она больше не подъезжала), весь следующий день я то и дело поглядывал на часы. И к пяти, сломя голову, мотанул на место встречи. До назначенного часа оставалось минут двадцать, и я решил объехать её переулок. И… обалдел! Возле Лялиного дома грудились милицейские машины и скорая. Что-то с Лялей?! Бросив « восьмёрку» и расталкивая зевак, я помчался к её дому: «Ляля! Лялюшка!».

– Несчастный случай… – указала она на уже знакомое мне окно. – Моя соседка… Ударилась головой о ванну…

– О ванну?!

«Это Гагик! – стучало у меня в висках. – Гагик, Гагик!.. Может, всё рассказать ментам?! – „А зачем ему?“ – спросят у меня. И что? Я отвечу, что это была его месть за ушат воды? И за ту помидорину?!». Раскалённые винтики в моей голове цеплялись за такие же жаркие гаечки, складываясь в совершенные несуразицы, и не давали думать.

– Ты меня не слушаешь, – затормошила меня Ляля.

В Горсаду мы помянули соседку.

– Хорошо, что я уезжаю, – произнесла она потухшим голосом. – Мне теперь тут будет страшно…

Я молча проводил её до парадной – дверь уже болталась на одной петле (значит, подготовка ведётся!). И, слушая, как булькает в моих венах «Бычья кровь», я вынес решение: «Надо кончать!».

Наверное, в старые времена на парадном входе жил хозяин дома – весь первый этаж был украшен нишами для цветов и облупленными купидонами. Я высчитал квартиру несчастной, постоял возле неё в раздумье, и, подождав ещё с полчаса после ухода Ляли, обследовал остальные этажи. Мне надо было знать, где подловить моего врага. Мои обострённые нервы не ощутили присутствия Ляли ни на первом, ни на втором этажах. И лишь на третьем – две двери, одна напротив другой. Правая – ободранная, с вылезшими пучками серого поролона. Над звонком – «Топотун». Левая – номер семь, оббитая синим дерматином. На старинной, зеркального напыления табличке – гравированные буквы «Л.Ю. и Б.И. Белозёрские». Я легко разгадал этот кроссворд: «Л.Ю.» – её мама, «Б.И.» – папа (или наоборот!)…

Ляля Белозёрская – какое красивое имя!

Я прождал до одиннадцати. Я применил к нему самый простой приём десантника – «снятие часового». Сделав шаг за его спину, я нагнулся, и внезапно схватил за ноги в районе щиколоток. Не успев выставить перед собой руки, он рухнул ничком. И тогда с высоты собственного роста я прыгнул ему на спину коленом…

Через несколько секунд моя «восьмёрка» мчала меня прочь. И темнота улиц стала моим союзником…

Глава 7. По закону кармы

Страшно не было. Наоборот. Явилось ощущение, будто я избавил Одессу от бешеного животного. «Спи, Лялюшка, – говорил я себе. – И вы, старики Синицыны спите, никто теперь ваше заработанное у вас не отнимет. – Улетай в свой Киев, Лялюшка, а когда всё устаканится, я разыщу тебя».

Осознание содеянного придёт ко мне позже. В те свои девятнадцать я ни сном, ни духом не ведал, что такое организованная преступность. Мне думалось, что это она и есть. И не пройдёт недели, как я, полный гордости за избавление города от дракона, рвану разыскивать свою Лялю. Ах, если бы этим всё и кончилось! Но наутро Гагиковы головорезы вломились к своим конкурентам – они не сомневались, что это дело их рук (вернее, ног). Уже с полгода между двумя группировками шёл передел Привоза. Но, в отличие от « этих», «те» были вооружены и очень опасны, и в общей перестрелке полегло немало бойцов с обеих сторон. Победа осталась за «теми». Хотя, зализав раны, «эти» ещё покажут себя. Ну а пока все подступы к «Привозу» были перекрыты и оба лагеря зорко следили за всеми, кто казался им подозрительным. Вскоре Гагикова палача (не меня!) доблестные правоохранители заключат в тюрьму. О чём я с удивлением прочту в «Вечёрке», где был выложен убедительный отчёт о колоссальной работе бравых одесских следаков. Обо мне там и речи не было. Из чего я сделал революционный для себя вывод: нет никаких Добра и Зла – есть просто случай и причинно-следственные связи.

И, боясь выдать себя и навести тень на Лялю, я то и дело летал в командировки и занимался бизнесом. Ни в центре города, ни в Киеве появиться я не отважился – ведь не пойди тот киношный Раскольников на место убийства старухи-процентщицы, кто бы его замёл?

Глава 8. От Анахаты к Муладхаре

Рассекая атмосферу, Ил-96 продолжал свой полёт. Только на какое-то мгновенье глазам моим являлась Атлантика. Но это там, внизу. А вверху самолёт уносил меня из моего совершенного времени навсегда. И накидывал саван пустоты на мою память. Но Ляля всё ещё всхлипывала: «Я боюсь…Мне страшно…», и я обнимал её и целовал, целовал. А потом стал рассказывать всякие истории про чёрную руку и домовых. И ещё про дракона, у которого взамен отрубленной одной вырастают три головы. Я даже изобразил из себя двухметрового лягуша-монстра… Что же случилось, девочка моя? Отчего мы потеряли друг друга? Уйди Ляля, уйди! И забери с собой моё совершенное время. Сгинь! Исчезни! Не было тебя! Не было!

– Эй, браток, проснись! – кто-то настойчиво тряс меня за плечо. Вереницы кресел и рокот реактивных двигателей вернули меня в реальность

– Обед разносят! – будил меня сердитый беженец.

– Да-да, спасибо, – разлепил я глаза.

– Вы можете выбрать себе курицу или лазанью,– бодро предложила мне бортпроводница. На её тележке возвышались две стопки фольговых подносов.

– Что за лазань? – покосился на меня сосед.

– Это итальянское блюдо из теста и мяса, – объяснил я.

– Как запеканка или торт, что ли? – оживилась его жена.

– Примерно, – похождения по кабакам соцлагеря, Кипра и Турции не прошли впустую – я уже знал вкус многих разносолов и был очень недоволен, если в блюде оказывались не те ингредиенты или оно вообще не отвечало названию. Как-то в Стамбуле я набрёл на Берего-Слоново-Костный (а как ещё сказать?) ресторан. К моей радости, в его меню значился… наш родной салат оливье. За две недели мой желудок основательно оголодал по более привычной для себя еде, и я сделал заказ. Когда же мне доставили нечто из бородавчатой травы без картошки и горошка, я понял, общее между Турцией и Берегом Слоновой Кости – это их тонкий намёк нам, европейцам, не совать носа в чужое просо, поскольку всякая птица своим носом сыта. Впрочем, при моём росте (метр девяносто!) для меня важным было всегда вкусно поесть, и до 97-ого года я морил червячка, не жалея денег. Но Ляля уехала, а я залёг на глубокое дно. Так что поневоле приходилось считаться с обстоятельствами. Мои доходы хирели, сбережения таяли, и весь год я судорожно менял профили работ. А бессонными ночами меня доставал хруст костей и милицейские сирены. Я накрывался с головой и всеми силами старался заснуть. Чтобы всё забыть. Я даже Саню не посвятил в свою историю. И в результате, высохший на четырнадцать килограммов, спасаюсь ностальгическими воспоминаниями, от которых мне только хуже.

Дотянувшись до тележки, я достал ещё три бутылочки – вино при ломках помогает. Я знал одного дружка, который таким манером постоянно спрыгивал с иглы. Правда, месяца через три-пять возвращался в исходное положение. Но всё-таки спрыгивал. А в моём случае ломка шла на удивление вяло. Это давало надежду – всё-таки далековаты от земли мои метр девяносто. А может и таблетки помогали. Переступив через ноги своих беженцев, я пошёл размяться – с детства на одном месте не могу долго сидеть. И, нырнув за ширму, отделявшую наш салон от первого класса, опустился в свободное кресло возле иллюминатора.

– Разрешите представиться. Член-корреспондент Академии наук Смирнов. Александр Альбертович, – с соседнего кресла протянул мне руку человек лет пятидесяти.

– Юрий, бизнесмен, – пожал я руку, с интересом оглядывая его. Не доводилось мне видеть живых академиков. Билет в первый класс превосходит обычный втрое. А этот человек совсем обыденный. Такого в своём подъезде встретишь – и не запомнишь.

– Очень приятно, – слегка поклонившись, кивнул головой академик. – Похоже, я наблюдаю утечку мозгов из нашего великого, могучего? Я не ошибся? Вы впервые в Америку? – я расплылся в улыбке – чувствовать себя уплывающими мозгами было приятно.

Наверное, и у академика болела душа – он извлёк из себя чуть ли не всю свою подноготную. И про то, что наука в стране дышит на ладан, и что учёные получают зарплату не каждый квартал, отчего забили на открытия и половину физического НИИ сдали бизнесу под офис. И что на родине его труды по торсионным полям никому не нужны. А вот американцы наоборот, позвали его сначала на месяц, потом на два. Потом на три. А теперь уже дали дом, лабораторию и хорошую зарплату с кучей всяких бенефитов. И вот летит. Поскольку одинок и терять ему нечего.

– Родину я люблю, но… – Академик грустно улыбнулся и кашлянул в кулак: – Кхм… теперь от неё только имя осталось, – он покраснел и смущённо отвёл глаза…

– Молодой человек, перейдите на своё место во втором классе! – нависла надо мной длинноносая стюардесса. Я рискнул пленить её цыганистой улыбкой, но безуспешно. Александр Альбертович тоже попробовал вступиться, но аргумент «Не положено!» поставил точку и на его усилиях. Нагло прихватив пару бутылок и внимая музыке наушников, я брякнулся на своё место. Именно под эту песню Булановой я и покинул позавчера дом Лии. Просто вышел за сигаретами и не вернулся. Я – сволочь. Я не сказал ей, что уезжаю, и даже не оставил денег, хотя прожил с ней целый год. Год – это триста шестьдесят пять дней. За это время я беззастенчиво продавал её за дозу ширки. Впрочем, ширка была для нас обоих. Я знал, что рано или поздно (а это уж одному ему известно) Бог всё равно накажет меня.

Нелады со своим мужским естеством я почувствовал уже на третий день.

– Ой, расслабься, Юрик, – поджала она намазанные синюшной помадой губки. – Две недели назад как проверялась.

– Хочешь сказать, что у тебя за это время никого не было? – не отступал я.

– А ты мне не муж и не отец. Тебе какая разница?

Я растерялся. А потом вспомнил её тело, такое восхитительное, когда не видно этой безмозглой головки, и плюнул. Кто-то же должен быть рядом!

– Ладно. Я люблю постоянство. И ты мне нравишься. Только я хотел бы, чтобы ты была моим постоянным партнёром, – как можно твёрже изложил я свой концепт. И добавил: – Только я должен быть у тебя один. Это моё условие.

– Да я в жизни ещё не была с одним, – не покривила она душой, хихикнув.

– Я прошу не об одолжении! – произнёс я каждое слово раздельно. – И не об эксперименте. Я говорю об осознанном решении, – и посмотрел на неё очень строго.

– Нууу… можно попробовать, – тряхнула она чёлкой. – Трахаешься ты – класс, мне нравится.

Я отступил – всё равно ведь Ляля в Киеве…

В общем, вылечить себя и Лийку мне влетело в копеечку. Доктор Пал Палыч только за анализ брал сто баксов. Вы-то знаете, сколько это было в 90-е! Нет, если анализ нормальный, то пятнадцать (но кто ходит к нему, когда нет проблем?!). А тут ещё и случай оказался редкий – не какой-то там банальный трепак или гонорея!). Да она ещё и новенькое учудила: съякшалась с каким-то иностранцем из « Свалякии». Это так она Словакию назвала!

– У меня теперь свой бизнес! – похвасталась она, притащив домой тридцать баксов. И вытаращилась: – Ты чё? Это же за *один* раз!!!

Через десяток визитов к доктору мы уже постоянно ошивались в магазинишке у Славика, где… (а что делать – пить доктор запретил).

– Давай распаровозим, – весело предложил Славик. – Распаровозить папироску означало установить её в рот угольком внутрь, задувая дым прямо в рот тому, кто курит. Так травка лучше догоняла. То есть вставляла по шарам. Самым главным было не обжечь язык. Славик поджёг папиросу (взорвал косяк), и мы по очереди затянулись. А вот когда кончается папироска, наступает счастье! У всех – улыбка до ушей, и глаза, как у куклы Барби. Лийку цепляло больше всех. Она от смеха прямо тряслась в конвульсиях.

Да и мы хохотали, как сумасшедшие. Зато уже после второй и возник вопрос: «А где взять много денег, если работы нет?». И пришли к выводу, что не зря самые богатые люди – владельцы порноканалов, продавцы оружия и наркотиков. Славику с его водочным магазином до них далеко, конечно. Но говорят, голодный чёрт и мух жрёт! Дьяволу чувство вкуса чуждо. Тем паче, что он подобен мыши на складе, на неё все недостачи списывают. В общем, где наша не пропадала!

Славик и предложил стопроцентно-выигрышное дело. На пять тысяч баксов. Ни у Сани, ни у меня выбора тогда не было. Мы уже давно сидели на мели. А он выложил на стол кулёк с пакетиками граммов то ли по одному, то ли по два – я не понял.

– Речь о героине, – разложил он фольгу и достал зажигалку. – Если хочешь, покури и определись, возьмёшься ли. – Он отрезал ножницами кусок антенны и сделал трубку. – Я тут договорился с одним румыном купить по дешёвке кило горы за двадцать штук. Хотел под это дело дом заложить. Небольшой риск, конечно, есть. Но через месячишко-другой всё бы втрое окупилось. Но зачем? Румын – птаха залётная, к ментам не побежит – у него у самого рыльце в пушку. А ты – пацан нормальный, я по базару вижу. Да и Лийка за тебя ручается – мы с ней ещё до тебя были знакомы. И дерёшься ты здорово, мне рассказывали. Если что, сумеешь вырубить. Да и машина у тебя быстроубегающая, – он насыпал какого-то кремового порошка на фольгу и поджёг зажигалкой. Порошок мгновенно приобрёл вид спёкшейся массы похожей на стекло. – Пробуй, Юрок. Должен же ты знать, с чем дело имеешь. Тут даже колоться не надо: пара затяжек – и никакой усталости. А если две – ещё и сны цветные. Мультики любишь?

– Ой! Я люблю, я! – хватая косяк, встряла Лийка. – Можно мне?

– Валяй.

– Вот и всё. И никаких скупленных душ. Всё по собственному желанию.

Накурившись, мы там и остались до утра. И я набросился на Лийку, и трахал, трахал её без остановки. И… срал я на ту Лялю вместе с её Киевом! Мне доложили, что она замуж вышла. Наверное, и её кто-то сейчас так же трахает!

Глава 9. Другие времена – другие песни

Поначалу мне казалось, если я перетрахаю всех красоток – забуду её. Но, проделав это достаточно раз, разубедился. Если правду сказать, я был бы рад амнезии, склерозу, да чему угодно, что пригасило бы мою настойчивую память!

– Значит так, – объявил Славик, когда насмотревшись цветных снов, я вышел к полудню на кухню. – Румынец хочет встретиться по дороге в аэропорт, – он пошевелил усами, напомнив мне кошака. Но не игривого. С таким видом коты наблюдают за резвящимися в луже голубями. – С румынцем наверняка будет кто-то ещё, свою задницу он подстрахует – речь о сорока тысячах зелени.

– Как «сорока»? – не понял Саня. – Ты вчера говорил про двадцать.

– Ну так наши деньги плюс его товар – вот и сорок. По розничной цене это больше сотки. Сделаем «куклу». Он очкарик, ничего не заподозрит. Отпечатаем на ксероксе 200 бумажек по 100 баксов на засветку и не дадим в руки, пока не предъявит товар. А там… В общем так, Юрик, – повернулся он ко мне, – давай-ка поехали на место. – Вот – светофор. Прямо – толчок. А налево около километра до аэропорта. Потом тупик и только один перекрёсток – это оно и есть. – Славик принял командный тон. – Становись на обочине – на всякий пожарный обследуем план отступления.

Мы досконально изучили местность и пришли к выводу, что Румыну нужно сказать следующее: «Ждём с товаром в половине второго ночи».

– Главное, чтоб он согласился. А твой Опель будет стоять между светофором и перекрёстком на обочине в сторону города.

Потом мы подыскали местечко, где можно беспрепятственно съехать с дороги в лесополосу. Там две преграды – ручей и бетонный столбик на выезде. Столбик тот на следующий день Саня раздолбал кувалдой, а ручей с камышом нам был даже на руку – перекинем через него два швеллера по ширине колёс машины. В последний момент мы ещё и два деревца вкопали. Чтобы не промахнуться. Я-то опытный водила, между ними проеду запросто. У Сани нашлись немецкие номера – мы их пришурупили. Дело, конечно, не на 100 процентов. Но, по моим расчётам, вполне возможное: если заранее не знать, как маневрировать между деревьями. Это ведь только я изучил здесь каждый сантиметр. Кроме того, Саня – мастер спорта по пулевой стрельбе. Хоть и среди юниоров, но были времена, когда он даже мотался на соревнования за границу. Так что его можно в кустах с мелкашкой усадить. На всякий пожарный.

Впереди светили новые горизонты!

– Выкатывайся! Мне нужна подруга, а не проститутка, – заявил я Лийке на другое утро.

– Ой, ты что? Я никуда не пойду, я люблю тебя, – заканючила она. – И никакая я не проститутка. Деньги мне только тот сваляк и один турок дал. Он самый первый был – Джалун звали, – она заплакала.

У меня руки зачесались врезать в это наглое красивое личико. Но…

Я молча вынес её подушку и одеяло в другую комнату и демонстративно закрыл за собой дверь. Все последующие дни мы с Саней отрывались в жутких оргиях. Лийка не базарила. Она просто подавала на стол. В конце концов мы остановились на двух красотках: я – на Кате, оккупировавшей мою спальню, а Саня – на Оле, с которой осваивал мою гостиную. Эту четырёхкомнатную квартиру на Вузовском мы сняли, когда я залёг на дно. В районе, конечно, потеряли, но зато платить дешевле. Как говорила моя бабушка: дважды в год лета не бывает. Нет Ляли – и прошлой жизни нет. Как говорится, она вышла замуж, как в другую комнату. А я… Я вышел в окно.

Глава 10. Сделка

К полуночи ветер прекратился, зато пошло моросить. Такое в наши планы не входило… – Ладно, – поразмыслив, приступил я к обязанностям руководителя операции. В дождь по лесополосе ездить труднее. Но тут у нас было преимущество.

– Валяй с мелкашкой в кусты. И как увидишь нашу машину, – бегом к ручью, мы тебя подхватим, – скомандовал я Сане.

– А на какой тачке будет румын? – нехотя вылез он из кабины.

– Синяя Тойота «Терсел», – бросил Славик, вглядываясь в зыбкую тьму.

– Смотри, смотри, – вдруг возбудился он, тыча в ползущую мимо машину. Двое, сидевших в ней, внимательно разглядывали нас. Я покосился в сторону лесополосы – Сани уже не было видно.

– Это разведчики, – шепнул Славик.

Отступать было некуда – уже час ночи. Машина развернулась.

– Румынец! – обомлел Славик. – Только на другой машине! Странно…

Я быстро прикинул наш потенциал: Саня в кустах с «Макаровым», Славик на заднем сиденье с «куклой». Рядом в тряпке – пара гранат РГД-5 (как-то ночью солдатик выменял на 10 бутылок водки) и пугач – пистолет, похожий на настоящий. Так что, мы были во всеоружии. Разве что без опыта кидал.

Ровно в половине второго нас обогнала « терселка» и припарковалась у обочины прямо перед нами до упора. В салоне было двое, один вышел.

– Деньги! – протянул он руку вышедшему из салона Славику. Тот вернулся в машину и, развернув газету, пожонглировал двумя пачками.

– Э-э, – запротестовал он, когда тот хотел их выхватить. – Я своё показал? Теперь покажи товар ты. Покажешь – раз-два, и разъехались.

– Рассчитываемся в моей машине, – наглел румын.

– Ну нет, мне так не нравится – ты то тачки меняешь, то гроши тебе подержать дай. А теперь ещё и иди-ка я с ними в чужую тачку! Так дела не делаются – будь здоров.

Я Славику подыграл и завёл мотор.

– Подожди, я сейчас с товаром приду, – обломался румын и через минуту сидел на заднем сиденье. – Товар – высший сорт! – развернул он увесистый свёрток. И в ту же минуту в зеркале заднего вида вспыхнул свет приближающихся фар. И хотя ещё тлела надежда, мотор я не заглушил. На всякий случай. Но тут уазик вдруг заблокировал нам выезд, и румын приставил дуло к виску Славика.

– Деньги и товар! Бизтро! – и, потроша на ходу пачку, он мгновенно выскочил.

– Гони! – тихо скомандовал Славик, и я надавил газ. Я рассчитывал пробить путь через припаркованную впереди тойоту, но мой подвох был замечен. И дальше было, как в кино: первый хлопок – звон высаженного стекла. Второй – расшвырял какую-то массу в пене (мозги Славика!). Третий – промах (направлен на меня!). Четвёртый выстрел был Санин. Зажимая кровяной каскад и пробормотав: «Рурарурауу, Нистру – чемпион!», румын рухнул на землю. Подхватив пакеты и пистолет, Саня кинулся к машине. Но тут кто-то с силой влепил его в дверцу. Я бросил гранату. Взвихрились сучья, грязь… и, вмяв педаль в пол, я понесся по бездорожью. Успешно высаживая остатки нашего стекла, не пострадавший уазик следовал за нами. Саня метнул последнюю гранату. Ещё взрыв! Ура! Мы прорвались. Присыпанный грудами каких-то строений, уазик нырнул в слякоть.

Саня молчал, кажется, он был в беспамятстве.

– Саня, нам срочно нужен врач, – растерялся я, обнаружив его в крови. До моего гаража было недалеко. Но где взять деньги?! Лихорадочно заработала мысль. – О! – хлопнул я себя по лбу. – У нас же есть четыреста долларов – мы ими «куклу» обматывали. – В скорой скажу, что тебя машина сбила, – не надеясь на ответ, сообщил я ему, радуясь, что ещё раннее утро, и никто нас не видит.

Я переодел его в найденную в гараже старую куртку, запихнул в карманы баксы, вымыл лицо и руки и, взгромоздив Саню на плечи, побежал на дорогу. На углу улицы Космонавтов, напротив автомагазина, я уложил его на брезент и вызвал Скорую. Усталого вида фельдшер окинул нас подозрительным взглядом:

– Нас преследуют рэкетиры, – лихо соврал я, глядя в скрытые очками провалы его глаз. – Мы не хотим объясняться с милицией – менты с ними заодно, а мы – простые продавцы.

– В кабину. Быстро,– скомандовал тот, незаметным движением отправляя деньги в карман. – И молчок!

Пока медсестра возилась с Саней, приехала милиция, но наш спаситель сурово отмахнулся: «Всё потом. Носилки!» – и мы погнали. Уже на Французском бульваре в военном госпитале, куда он отвёз Саню к своему другу-хирургу, я осознал происшедшее: мы влезли в самый настоящий вооружённый конфликт: погиб Славик, ранен Саня – пуля прошила среднюю часть его грудной полости – потеряно много крови. Мне повезло, я невредим. Не считать же пару ссадин на лице за что-то серьёзное. А вот за операцию придётся доплатить. Где взять ещё тысячу баксов?

– Утро доброе! – увидел я над собой человека в белом халате.

– Жить будет?!

Он улыбнулся:

– Пока всё хорошо. Два литра жидкости откачали из лёгких, – покачал он головой. – Недельки две-три полежит, – и взглянул на меня озабоченно. – Но только с наркотой придётся завязать. Обязательно…

А я крутил в голове, где же взять штуку зелени.

– А это… когда деньги принести? – уклоняясь от его глаз, выдавил я.

– Сынок, – теребя в руках маску, вздохнул хирург.– Дело-то не в деньгах. Я ему жизнь спас, – он потоптался и пошёл к выходу. Но остановился. И как-то потерянно достал портсигар… – Его вот спас, а моего сына – не спасли. Пока я оперировал ребят в Афгане… его в Одессе… какие-то подонки… – и, щёлкнув затвором, обдал меня запахом табака. – Если бы Скорая вовремя да врач бы не туп… – он махнул рукой и, сунув портсигар в карман, натянул маску до самых глаз. – Вместо денег я возьму с твоего друга слово, что он никогда, слышишь – больше никогда не прикоснётся к наркотикам. – Возле двери обернулся и добавил: – Завтра к шести. Навещать будешь только в мою смену.

***

– Алё, Юрик! – услышал я в телефонной трубке взволнованный голос Гены. – Я из «Загребая».

Гена – это ещё один мой партнёр по бизнесу. Именно с ним мы когда-то создали свой магазин с прикольным названием « Загребай».

– В общем, Юр… Тут тебя милиция ищет.

– Тогда закрывай магазин и быстро дуй ко мне. Только хвост не привези.

– Понятненько, Юр. Буду через час.

Но… ни через час, ни через два и даже через пять он не явился. И в магазине не отвечали. А тут ещё дура-Лийка с расспросами – где был да откуда фингал. В последние дни она опять обрела права: Катя с Олей поцапались, и обе на недельку свалили. До того мы вполне мирно занимались любовью втроём – довольно прикольненько, когда семнадцатилетняя брюнеточка и блондинка-полудевственница стараются перещеголять друг друга. Полудевственницей я считаю Катю потому, что до меня у неё был всего один, да и тот ушёл в армию. Она была свежа и неопытна, Лийка блистала познаниями, это она предложила такой вариант. Такое со мной было впервые, – вместе они доводили меня до экстаза.

– Отвяжись! – рявкнул я Лийке, кидаясь к зазвонившему телефону. Но это была Катя. И, снова проснувшись меж двух девиц, прежде чем выйти из дома, я попросил Катюшу прогуляться по округе с собачкой. У неё была маленькая кудрявая собачка-папильон, и она возила её с собой в папиной шестёрке. В качестве моей девушки её здесь никто ещё не знал. Ничего не докладывая об истинной цели, я попросил её просто прогуляться и глянуть, нет ли поблизости чего подозрительного. Катюше можно верить – она не Лийка. Она закончила школу Столярского, учится в музыкальном училище, и когда поёт высоким, немного дрожащим сопрано, я невольно вспоминал Лялю и наш с ней дуэт со стихами неизвестного мне поэта Анненского. И уныло твердил бабкины слова: «Вот только-только испьёшь глоток счастья, а следом и горе бежит»…

Когда я навестил Саню, ему уже было лучше. Правда, доктор прописал уколы – начались ломки.

***

На общественном транспорте я не ездил уже много лет, так что никому бы в голову не пришло искать меня тут. Но именно тут я и столкнулся с Геной.

– Юрик! Мы в такое дерьмо вляпались,– кинулся он ко мне. – Всё! Нет твоего «Загребая». Спалили! Ещё вчера вечером.

Я еле устоял на ногах. Может, ошибка? Может, что-то перепутали? Магазин – это всё что у меня оставалось.

– Ага. И потому меня так разукрасили? – он показал на свои ссадины. – Тут в другом дело: Славика нашли. И его жена сказала, что вчера он с тобой куда-то ездил. Выясняли, где тебя искать, – он потрогал ссадину на лбу. – Хорошо хоть, отпустили…

– Молодец, не выдал,– хлопнул я его по плечу. – Сколько хоть оборотных средств-то осталось?

– Да не знаю, дома где-то с тыщу лежит, а в магазине – мелочи. Вёдра, кастрюли… – Гена угрюмо посмотрелся в зеркало пудреницы – такие у нас в магазине девки себе покупали.

– Так это… – я собирался с нечёткими мыслями. – Значит, так: чиним мою машину и – на фиг. Валим из Одессы.

– Куда? – Гена с опаской выпялился на Катю, открывшую нам дверь.

– Да хотя бы в Кишинёв. У меня там друзья. И мать. Или… в Киев, – я посмотрел на Катю. Она испуганно уставилась на нас. – Но… лучше в Кишинёв. – В Киев мне было уже не надо… Катя молча протянула записку: «Пашла крадительям зкора приду». Я схватился за голову – одно шло к одному. – Зачем отпустила?! Вдруг нас пасут?! – Давай, Гена срочно в гараж, у Катьки машина – пистолет заберём на всякий пожарный. И глянем на тачку – можно ли её на колёса поставить.

Гена вытаращился на прижавшуюся к двери Катю.

– Прям счас, чо ли?!

– Будем выяснять?! Или шкуры свои спасать?! – вызверился я.

Договорились, что Катя отвезёт нас на угол Чапаевской дивизии и рванёт домой – машина её папе понадобится рано утром, а она заедет за нами часа через два. На такси. Вопросов умная девочка Катя не задавала. И слава Богу. Что делать дальше, я не знал.

История приобретения магазина

Помните, я говорил про свой швейный цех на улице Красных зорь? По тем временам он приносил очень неплохой доход. Так вот, открытие границ и заполнение рынка польским, турецким и китайским ширпотребом быстро удовлетворило спрос населения, и создало такую конкуренцию отечественным швейникам, что к следующему году нашему брату пришлось туго. Одна за другой закрывались «штопальные» лавчонки. И мы с Сеней закрылись. Но ненадолго. Меня осенила идея, что большие бабки можно делать и на дешёвом штучном товаре. И первое, что мы сотворили, была сахарная вата. Вот уж когда пришла весёлая пора! После недели экспериментов мы ничуть не стеснялись торговать своим товаром возле школ, кинотеатров и на остановках. Брали нарасхват. Однако подступало лето: всю ночь производить и весь день реализовать стало накладно, и мы переориентировались на мороженое. Смысл бизнеса состоял в том, что мы раскошеливались на одесское « Эскимо», перезаворачивали его в упаковку московского и путём этой нехитрой операции повышали стоимость в 2-3 раза. Собрав на этом кое-какие бабки, мы организовали собственный цех.

Размах и масштаб деятельности увеличивались в геометрической прогрессии, и к исходу лета мы уже экспортировали своё Эскимо в районы Одесской области и в Молдавию, энергично запасаясь на зиму новым товаром – от копеечного слайсера и вакуумно-упаковочного аппарата до «Надежды» – машины для производства поп-корна, и тысячедолларовой хот-дожной тележки. Развернув зимнее наступление по этим горячим направлениям, за следующие полгода мы приобрели по новой машине ВАЗ-2109 (тогда, не считая подержанных иномарок, это была самая крутая тачка!). Я уж не говорю про видики, телеки, музыкальные центры, микроволновки и прочие модные в то время «мелочи». К следующему лету количество работающих на нас перевалило за двадцать, и мы все стали одеваться исключительно в «сК», швыряя деньги направо-налево.

А вот когда они у нас появились, и «рэкетиры» явились. Правда, я с ними быстро и красиво договорился на условиях, устраивавших обе стороны. К тому же, нам и самим не мешало уже заручиться защитой. Одним из авторитетов нашей «крыши» стал мастер спорта по боксу Лёша по кличке «Борода» – на подбородке его был всегда покрытый щетиной шрам. Лёша курировал несколько крупнейших фирм и магазинов Одессы, свободно владел несколькими языками (окончил романо-германский факультет ОГУ), у Леши было всё: ум, эрудиция, одесский юмор, да и недостатка в деньгах, роскоши и власти не было. Потому он завеивался то на Лазурный берег, то на Канары, а то и на острова Зелёного мыса. Как-то так вышло, что мы с ним легко сдружились, и он предложил мне поработать на его фирме менеджером. Так что в дальнейшем за «крышу» я уже не платил. Саня с Геной занимались продажами, а я – ассортиментом и менеджерством у Лёши. У него была одна из самых прочных крыш города, и когда кто-то интересовался, от кого я работаю, я всего лишь называл Лёшино имя – и вопросов не оставалось. Но время шло. Лёша предложил мне сбыт конфискованного товара (а может и ворованного – это дело не моё!), и я согласился. Мне был подарен небольшой магазин. Он находился на бойком месте: возле «Привоза», с той стороны, откуда по области отправляются междугородные автобусы. Если для портового города море – сердце, то «Привоз» был его желудком. Тут кипело всегда, как в чайнике. И если группа цыганок, гадая напропалую, ухитрялась ещё и уплетать арбуз, то замороченный каруселью машин и тележек, приезжий люд скупал на «Привозе» всё подряд: рыбу, персики, мыло, пирожки, иголки… Я окрестил свой магазинчик «Налетай – загребай!», и покупатели выгребали у нас в дорогу всё подчистую: водку, сигареты, продукты, всяческую аппаратуру. Но, как говорится, всё когда-то кончается. После того, как Леша-Борода сел на зону,

а оставшиеся залегли на дно, забота об ассортименте упала на мои незащищённые плечи. Вот тогда за нас с Геной и взялись все кому не лень. Налететь и загрести жаждали все. Хоть представители мэрии, хоть санэпидстанция или пожарники – все требовали ежемесячной мзды. А когда расходы превысили доходы, явились новые: менты, кэгэбисты, китобои… Впрочем, им ничего и не досталось – кто сжёг « Загребай», приходилось только гадать. Скорее всего, дело заварилось с момента выхода рэкета и ментуры (или это одно лицо?) на Славикову жену. Она и навела их на наш с Геной «Загребай»…

***

Вернулись мы около полуночи. В гараже оставили опись того, что понадобится для реставрации машины. По прикидке – запчасти и ремонт с покраской обойдутся почти в штуку баксов, то есть уйдёт весь оставшийся нал. Гена созвонился со своим дядей-подмастерьем и договорился, что тот будет работать прямо в моём гараже. Нас обоих трясло, как бельё в стиральной машине. Но на Вузовском всё было спокойно, даже Лийка ещё не вернулась. Суточное напряжение решили занюхать. Благо было чем. До меня, кроме травки, Катя ничего не пробовала. Я отыскал крышку от кефира, вытащив пасту и, отломав её кончик, сделал из прозрачной шариковой ручки трубку.

– А к этому привыкают? – осторожно спросила Катя. – Тогда и я хочу, – застенчиво опустила она глазки. После пары затяжек недавнюю истерику сняло как рукой, а явившаяся через полчаса Лия ещё и молча достала свёрток с баксами.

– Откуда?! – изумился я, пересчитывая зелёные банкноты.

– У родителей стащила, – спокойно пояснила она. – Я тоже в Кишинёв хочу. Я не такая дура. Я сразу поняла, что у тебя проблемы. Они и к моим родителям приходили. Но папа уже звякнул, кому следует, чтобы нас оставили в покое. А ходила долго, потому что следила, нет ли наружки за домом. Вот!

Я было собрался её отчитать, но мой воспитательный пыл разбился о рассудительность Гены:

– Молодец, Лия! Деньги нам сейчас нужны. Как найдём, кому геру продать, тут же все девятьсот вернём. А пока насыпай! Покурим.

– Можно и вынюхать, – блеснула познаниями осчастливленная Лия и достала из сумочки зеркальце. Насыпала на него чуть-чуть порошка и, постучав телефонной карточкой по кучке, разделила её на четыре полоски. – Всем по одной! – засунула она в носик долларовую трубочку и вдохнула. Мы последовали её примеру. – Это мой дружок из Турции так делал. Только вместо телефонной у него была тридиторная карточка.

– Кредитная,– борясь со спазмами, сумрачно поправил я. Полоски для первооразников оказались слишком большими, и в течение часа мы умащали раковины и пол серыми рвотными массами. Мозг то включался, то выключался, и между восхитительными полётами в космос, нас уносило в леденящую муть, от которой пугающе останавливалось сердце. А потом… Потом я присосался к Лие – она была ближе. Катя вцепилась в Гену – между его ногами мне была видна только её голова. А к куриным бёдрышкам Кати истово тянулась языком Лия. Потом всё поменялось – не помню, как я оказался на диване валетом с Катей, но краем глаза усёк, что Лия уже на Гене. Мы не заметили, как пролетело три дня – я даже про Саню забыл. Впрочем, ему уже было лучше, и первое, что он сказал, увидев наши помятые морды:

– Ага, с герой уже подружились!

Мы сообщили, что машина будет готова к моменту его выписки.

– А дальше дуем в Кишинёв! – обрадовал я его.

Задерживаться в Одессе было уже опасно – нас искали. За полторы недели до Саниной выписки удалось узнать, что Беркуты сделали сотрясение мозгов и жене Славика. Правда, адрес, который она им сообщила, давно устарел – мы уже полгода жили на Вузовском, о чём она не догадывалась. Но задерживаться в Одессе было уже смерти подобно. Тем более что за торговлю ширевом и её обложили оброком. Соответственно, она удвоила цену за свой уже разбавленный водой товар и, похоронив мужа, продолжила торговлю остатками героина, работая в паре со Светкой-барыгой – той менты тоже настучали по голове. Мне оставалось лишь радоваться, что никто не в курсе о моём молдавском гражданстве. Здесь я жил по купленному украинскому паспорту. Фамилия моя в нём была хохлее, не Арестович, а Арещук, и я надеялся ещё с пару недель отсидеться. Но тут, как назло, возбудились нарики и стали названивать – кто-то пустил слух, что я собрался торговать герой. Я орал, что ничего не знаю, бросал трубку, но они звонили и звонили. Пока в один прекрасный вечер кто-то молча послушал мой голос и так же молча положил трубку. Не бросил, а именно положил – я сразу понял: капец! Мы накидали в спортивную сумку всё необходимое, не забыв пистолет и геру, и выскочили во двор.

– Давай в тот подъезд пока, – потянул я Гену за рукав, нырнув в соседнюю пятиэтажку – меня насторожило мерцание фар в арке. И как раз вовремя! С последнего этажа тёмной лестницы мы разглядели, как из въехавшей машины кто-то посветил фонариком на номер нашего дома. Моя квартира – номер 10, ясно, что подъезд первый, – уазик к нему и подполз. Три молодца заскочили в парадную, потом один вернулся и стал обходить дом.

– Вовремя смотались, – прижалась ко мне Лия. Катю тоже трясло.

– Смотри, смотри, а один сюда собрался, – заметил Гена коротко стриженого человека в чёрной кожанке и вынул пугач, в котором всё равно не было патронов. – Это он приходил в магазин, – сообщил Гена шёпотом. Я с ним тоже был уже знаком – это он и был в уазике, когда пристрелили Славика. Значит, одновременно держали крышу и Славику, и Румыну. И ни тот, ни другой не спросили друг у друга, кто от кого работает, – соображал Гена. Спорить не приходилось: вероятно, Румын взял на сделку людей от крыши, чтобы кинуть того, у кого в кармане двадцать тысяч. Потом поделились бы. А неопытный в таких делах Славик не стал ставить в известность ментов-рэкетиров – он был уверен, что Румын работает честно. Да и с нами делиться будет дешевле. Но понятие «честность» уходило в прошлое и – Румын пристрелил Славика, мы – Румына и ещё одного… В общем, вляпались по полной.

– Только зачем тогда Румын притащил настоящий товар? – соображал Гена.– Значит, надеялся играть честно, это уж потом его надоумили смухлевать.

– Ага. Может, пойдём у них спросим? – съязвил я.

– Мальчики, у них, как минимум, четыре причины нас прикончить,– послышался тихий голосок Кати. – Первая: вы убили их человека, вторая – вы завалили их клиента. И третья – вы увели товар. А четвёртое – они думают, что у вас большие деньги!

– Я спохватился – надо же! Разговорились при девчонках! Стоп!

В этот момент этажом ниже распахнулась дверь, и под грохот ударника на площадку вывалилось человек пятнадцать. Забыв о лифте, они потопали вниз. Мы не стали упускать шанс и, съехав до четвёртого этажа, внедрились в их гущу, после чего, прошествовали мимо беседки, где покуривали наши враги. Один из гуляк даже стрельнул у них сигаретку. А мы поймали тачку и рванули на Черёмушки. Пронесло!

***

Мой опель смотрелся как новенький, разве что всё ещё вонял краской. Мы отодрали клеёнку со стёкол, и, хотя задние сиденья, по причине запятнанности кровью, отсутствовали, мы прекрасно обошлись передними – кто среди ночи просечёт, что у нас некомплект! И, чуть не забыв поменять немецкие номера на молдавские («Опель» оформлялся в Тирасполе по моему украинскому паспорту), счастливо избежали в Кишинёве преследования! Но это уже потом. А пока…

– У Сани мама при смерти! – убедительно соврал я Владим Владимычу и, поклявшись, что буду лично следить за его поведением, вырвал друга из больничного заключения. На наше цыганское счастье патрулировавшие выезд гаишники вместе с омоновцами были заняты – они потрошили какой-то джип с российскими номерами и не обратили на нас внимания. Километров через десять возле просёлочной дороги мы спрятали героин в воздухофильтр, пистолет – в автопечку, и я, наконец, заклеил скотчем разбитую фару. Дальше дорога была без приключений, и я пешочком, чтобы не нарываться на границе, пошёл на КПП договариваться.

– Дяденька, извините, а можно спросить? – прикинулся я дурачком, глядя в глаза безусого погранца лет двадцати – он меньше всего напоминал вымогателя.

– Спрашивай, – разрешил он, уставившись на мой фингал.

– Только у меня к вам личный разговор.

Погранец польщённо расплылся в улыбке и отошёл со мной в сторону.

– Понимаете, нас в Одессе побили и ограбили: украли все документы. В общем, дяденька, – ещё раз спедалировал я на выигрышном обращении, – не могли бы вы за двадцать баксов помочь нам переехать украинскую границу?

– А за тридцать – и в приднестровскую? – перебил он меня. Моя история его явно не интересовала. Я протянул паспорт с заложенной купюрой номиналом в двадцать долларов. Не заглянув внутрь, он сунул содержимое в карман. – Если хотите не иметь проблем на приднестровской границе, могу сесть за руль – сам провезу.

– По рукам! – обрадовался я. – С меня ещё десятка!

Так и доехали. Без всяких приключений, если не считать, Саниной ломки – по дороге пришлось открутить крышку воздухоочистителя и достать щепотку геры, от которой мы всей компанией дружно зависли. Да ещё на выезде из Приднестровья я отдал погранцу 15 баксов. Ура! Прощай, Одесса!

СЕКТОР 2. КИШИНЁВ

Глава 1. Назад в прошлое

Мой Кишинёв, примешь ли ты меня в свои объятия? Шесть лет назад я умчался в суматошную Одессу, чтобы начать взрослую жизнь. Давно уже я чувствую себя одесситом: у меня даже пробился одесский говорок, я пропитан здешними ветрами, солнцем и солью. И Чёрное море мне давно родное.

Хоть незнание «лимбы молдовеняске» и закрыло нам с Саней многие двери в Кишинёве, тут незнание «мовы» запором не стало. Я даже не вспоминал о своём космополитическом происхождении: первый крик в России, первые слова в Украине, первый букварь в Молдавии. Молдавской крови в моих жилах текло не больше капли. А в Сане её и вовсе не было. Потому нас здесь и принимали за своих. Одесса дала нам осознание своей ценности не по гражданству, а по сути. Она ведь и сама многонациональна! А гражданство мы оформили по-новой. И главное, что дал мне этот город – Ляля. Я её не забывал. И в чужих объятиях, и бывая в полубеспамятстве, я чувствовал, что она всё равно живёт во мне. Я помнил о ней, даже когда ничего не помнил. Она таилась где-то в моей подкорке и, сопротивляясь моим истовым желаниям забыть себя, тихо ждала меня. А я… Я – сволочь. Я так и не решился ей написать. Хотя адрес знал. Я ведь иногда подкрадывался к её пепельно-серому дому в переулке Чайковского и длинным пинцетом обследовал содержимое почтового ящика №7. И однажды выудил её письмо с обратным адресом. Очень хотелось вскрыть, но я бросил конверт обратно и всю дорогу на все лады повторял: «Vancouver, B.C.». А потом лазил по картам, в разных ракурсах и масштабах, рассматривая этот «Ванкувер Британской Колумбии». И вглядывался в лица прохожих – а вдруг она приехала в гости к родителям?

По прибытии в Кишинёв Саня изъявил желание с недельку-другую поболеть дома.

– Но моя доля – одна треть, – застолбил он свою часть геры и, когда я напомнил ему о своём обещании Владим Владимычу, взглянул на меня как на пришибленного. Пришлось отсыпать грамм двадцать и отвезти его на Ботанику. Так назывался первый район по одесской трассе, где жили его родители. А мы устроились у одной почтенной дамы, одинокой и бездетной. Она сдавала в аренду прекрасную двушку с хорошей мебелью, телефоном и телеком. С того времени наше утро начиналось с пары затяжек – после всех передряг надо было прийти в себя! Одно огорчало – где-то через месяц Гена мотанул к родичам в Таллин. И с тех пор – ни слуху ни духу. Накануне нового 1998 года я звякнул старому корешу.

– Яяякый Юрик? – еле соображал Денис. – Ааа, Санин друже? – догадался он после долгих выяснений. – Знаю такого.

– Чего это ты мовой балакать начал? – врубил я ему сердитый вопрос.

– А як же, – последовал резонный ответ. – Практикуюсь. Я ж украинэць. Мий тато зараз в Раду балотуется.

– Ясненько. А про Гену ты случаем ничего не слыхал?

– О-о, Юрик, тут такие дела, такие дела… Спочатку меня менты искали. Шукали то есть. Твой магазин кто-то спалил, вот всех и шукали: и тебя, и Гену, и всех, кто вас знал. А Гена вообще что-то намутил. Я точно не в курсах, но он, вроде, свою хату переоформил на каких-то блатарей. А те Славика завалили. Вот он и сховался. Зараз никто и не знает, где он. – Денис помолчал и вдруг оживился. – О! Вот ещё новость: помнишь Светку-барыгу? К ней нарики залётны за ширевом приходили. Хотели на шару, а она ни в какую. Так они ей это…

Я почувствовал как защемило под ложечкой:

– В смысле, Денис? Говори яснее!

– Да харакири сделали. В смысле, жир спустили, – хихикнул Денис. – Зарезали, на фиг. Теперь мак варит и продаёт Славикова вдова. Я, конечно, мастер этого дела, только мне наркотой торговать понятия не дозволяют. У нас кодекс, типа армейского устава. А она продаёт.

В моей голове творилось что то невообразимое.

– А про Гену ты, значит, ничего не знаешь? – прервал его я.

– Не-а. Знаю только, что батьки его в розыск подали. Фотку по телеку видел. Почекай! А сам-то ты где?

– Я торопливо бросил трубку.

– Что слышно-то? – беззаботно справился Саня, занюхивая длинную дорожку.

– Что слышно, что слышно! – двинул я кулаком по зеркалу с парой полосок. – Хорош наркоты! Глянь во что превратились наши девки! – уже месяц Саня трахал Катю, которая за это время успела здорово пострашнеть и потупеть. – Завязываем!

– Да ла-адно, Юрик. Успокойся – бросим. И геру продадим. У нас-всего-то с полкило осталось, – тщательно сгребая рассыпанный порошок, Саня невозмутимо собирал в совок осколки. Я кинулся на него:

– Завязываем! – и тут что-то хряснуло меня по кумполу. Уплывающим сознанием я успел заметить вызверившиеся лицо Катьки. Это за порошок она меня огрела бутылкой шампанского. Меня перебинтовали, я вытащил из лодыжки пару ёлочных сколов, кое-как подлатали Деда Мороза, неприятность занюхали и помирились. На следующее утро без всяких базаров я засунул Катьку в автобус «Кишинёв-Одесса» и эта глава моей биографии закончилась навсегда. Катькиного языка я не опасался: она никого из моих друзей всё равно не знала. Как, впрочем, и моей фамилии. Вот только на обратном пути я не заметил знак «Уступи дорогу», и столкнулся с успевшей притормозить хлебовозкой. Мой Опель сжался в гармошку. Нас с Лией забрала «Скорая», где ей наложили повязку на лоб, а мне гипс на ногу. Вечером мы смели просыпанный порошок, отделили его от ёлочных иголок и отпраздновали Новый год вдвоём. А первого января я обрился наголо и… вздул Лию. Я лупил её кулаками куда попало. И за то, что она до меня знала

Славика, из-за которого так изменились наши судьбы. И за то, что перестала быть похожей на Лялю. И потому что из-за неё прошёл ещё один год без надежды на будущее. А потом мы нанюхались до передоза. И наутро я уехал к маме.

Глава 2. На дне

Мне было тринадцать, когда мой отец вернулся к своей первой жене. « Девочке нужен отец», – мотивировал он своё решение. То, что отец нужен и мне, его как-то не смутило. Тем более что и мама вскоре нашла другого. Мы уехали из квартиры на кишиневской улице Ленина, где я вырос, и я стал гонять на летние каникулы в Ирпень, где обретался теперь мой отец, и где у меня была старшая сестра, с которой я так и не встретился – она училась в Киевском университете и жила в общежитии. Будь мы знакомы, я и с Лялей бы встретился раньше, и после всей той истории не потерял бы её. Но… случилось как случилось.

***

Дома я протянул недель пять. Закончился героин, и на костыле я поскакал на Зоологическую.

– У тебя что-то осталось? – вместо приветствия бросил я мымре с ввалившимися щеками и сальными лохмами. Лию в ней я уловил с трудом.

– Мне ужасно плохо, – завыла она воем умирающей собаки.

– Тише! Хозяйка услышит!

– Не услышит, она две недели как умерла, – простонала Лия. – Рак у неё был…

Она выла, а мне казалось, что на меня смотрит сама Смерть с косой за плечами…

Оказалось, перед смертью хозяйка подарила эту квартиру Лие. И сейчас, сотрясаясь костлявыми ключицами, Лия плакала и о себе, и о ней. Когда-то я так любил целовать эти ключицы…

***

Главнейший вопрос жизни – смерть. Ответ на него – жизнь. Лабиринт, из которого есть только один выход. Но где он? Если не вколоть себе хотя бы кубический сантиметр ширева, утром не можешь подняться, не можешь встать, не способен ходить. Не в силах жить. Будто сжимается до размера шприца, герметически захлопывая себя в нём. «Истина везде. Истина нигде»… Где дорога из лабиринта?

***

Вскоре к нам с Лийкой стали захаживать нарики. Они варили на кухне разнообразные зелья: от простого молока с коноплёй до мака и солутана. И это было то, что называлось страшным словом «система». Иногда заползал Саня. В его лице не осталось ни кровинки, и когда он тупо пялился на полчища пруссаков, которые гуляли по нашей кухне, он походил на тысячелетнюю мумию. Такого же, только уже без признаков жизни, мы вынесли как-то ночью в подъезд соседнего дома. Вложив в его скрюченные пальцы использованный шприц. Спаси меня, Ляля!

«Среди миров, в мерцании светил одной звезды я повторяю имя…».

СЕКТОР III. СИЭТЛ

Глава 1. Хэлло, Америка!

«Уважаемые пассажиры, займите свои места и пристегнитесь ремнями. Наш самолёт рейса „Москва-Сиэтл-Сан-Франциско“ совершает посадку в аэропорту Ситак города Сиэтл. Температура воздуха в Сиэтле +15», – донеслось до меня сквозь сон. То же самое повторили на английском, с разницей в градусах – температура для американца была +58.

Лайнер покачал крыльями и начал круто разворачиваться то вправо, то влево.

У меня разболелся затылок – терпеть не могу посадку! Ещё с тех пор, когда занимался парашютным спортом. Наш инструктор финтил на простом кукурузнике как на МИГ-29. Его списали оттуда по состоянию здоровья, и он показывал нам высший пилотаж, забывая, что это всего лишь АН-2. С километровой высоты за пару минут он долетал до земли носом, и потом, едва касаясь травы пропеллером, запрокидывался вверх и набирал высоту снова. О, видели бы лица сидящих в самолёте! Впрочем, тогда мне это было по кайфу. Сколько раз я взлетал и сколько своим ходом приземлялся! А вот когда тебе не дают окунуться в ощущения, чтобы вкусить свободное паденье, это ужас! Будто летишь в бездну своего внезапного, первого в жизни одиночества! Будто замер на пороге первой потери! Мне тогда стукнуло пятнадцать, а моей

возлюбленной Ирочке – шестнадцать. Я пригласил её в наш в клуб, и она стала отличной парашютисткой. Клубом руководили бывшие афганцы. Мы лазали по горам, прыгали с парашютом, ходили в походы на десять километров и занимались рукопашным боем. Но в одно февральское утро – в то утро, когда у цветочниц в руках охапки подснежников – она объявила, что выходит замуж за афганца Федю… Я долго шёл по городу – он был завален подснежниками – и плакал. Я возненавидел подснежники. Я бросил клуб и яростно топтал память о ней. Но… потом мы с ней виделись. Иногда. Она жаловалась на финансовые трудности, а я… Я появлялся на новеньких машинах, дорого одетый и с кучей денег. Я давал ей деньги, внутренне потешаясь над ней. Давал для того, чтобы она поняла, кого бросила, коза тупорылая. Я даже иногда трахал её назло тому Феде. Не слышал её намёков и не хотел, чтоб она ко мне возвращалась! Неисповедимы пути Господни!

Облака исчезли, и нашему Илу-96 осталось лишь метров пятьдесят до поверхности. Вот уже посадочная полоса. Шасси коснулось бетона. Реверс двигателя. Тормоз. Самолёт мягко покатил к стеклянному зданию. Я жадно вглядываюсь в разукрашенные щиты реклам, глазел на рабочих в оранжевых спецовках и самолёты. Двигатель заглох, к дверям прижался коридор, ведущий в Америку!

Прости меня, Родина, что я приехал в этот волчий мир, ставший для меня вечным. И ты, мама, прости. Ты уже не сможешь меня навестить!

С замершим сердцем я вошёл в ярко освещённое здание. По нервам ударил запах другого континента, другой стороны планеты. Запах чужой незнакомой жизни. И – баб! Неописуемо жирных, супержирных, ультражирных баб любых возрастов и цветов кожи. Такого тотального ожирения я не мог себе представить! Даже Турция, которая славилась обилием тучных одалисок, позади. Слоноподобные существа с карнизами в районе груди и задницы двигались, осознавая собственное величие и превосходство над окружающими. Я прошёл в отстойник, где переводчики сортировали прибывших на граждан Америки («ситизэнов»), беженцев (так называемых «верующих») и таких каких, как я – туристов, бизнесменов, студентов. «Ситизэны» предъявляли паспорта и беспрепятственно шли на выход. «Верующих» с первого же шага целовали чуть ли не в задницу, предоставляя им на шару и пособие, и жильё, и всё, всё, всё. Вон, моих грозненских какие-то каменнолицые дяди, троекратно расцеловав, и уже ведут в новую жизнь. А с такими, как я, ещё длительные беседы с вопросиками, типа, как, мол, долго я намерен тут пробыть. И не собираюсь ли просить убежище. Как я потом узнал, именно с этого этажа легко угодить в иммиграционную тюрьму. А то и вовсе, если ты чем-то не понравишься, обратным рейсом назад.

– С какой целью вы приехали в Америку и как надолго? – на сносном русском вопросила суровая леди, изучая мою липовую бумагу о наличии на моём кишинёвском счету пятнадцати тысяч долларов.

– На три недели, – уверенно соврал я. – Бизнес-партнёр – мой школьный товарищ пригласил меня на презентацию нашей новой фирмы. Ещё мне хотелось бы увидеть водопад из фильма «Твин пикс» в Сиэтле и слетать в Юту на Гран Каньон. А потом сразу домой – у меня работа, – произнёс я с умным видом, не отводя зрачков от её пронзительных глаз.

– У вас есть, где остановиться? – уже доброжелательнее спросила она, созерцая мой солидный костюмчик, купленный перед самым вылетом за пару копеек в гуманитарке.

– Мой школьный друг живёт в Сиэтле на Первой авеню, – оттарабанил я без запинки. И назвал адрес, подогнанный мне людьми, которые и состряпали мне банковские и брачные бумаги. Адрес в Сиэтле – тоже их работа.

Услышав улицу, пограничница преисполнилась уважения и с некоторым даже удивлением вернула мне мои документы. Я тогда ещё не знал, что сообщённый мной адрес принадлежит фешенебельным апартаментам в самом сердце Сиэтла. С видом на синие горы и залив. С зеркальными верандами, краснокирпичными каминами, подземными гаражами, бассейнами олимпийского размера, с солярием и сауной, а также с вышколенными горничными и 3-тысячным ежемесячным рентом.

В это время закончили проверять мою визу, и со словами «Добро пожаловать в Америку» страж границы вручила мне паспорт, который я не замедлил взять. И уже на выходе меня догнал её слегка насмешливый голос:

– Только не летите в Юту, молодой человек! Там пока нет Гран Каньон!

Пара русскоязычных заржали, и она, довольная собой, отвернулась к следующему. Озадаченно бросив ей «Фэнька иуу», я вышел.

Успешно пройдя багаж-контроль (багажа у меня не было, потому и вопросов не возникло), я очутился в зале, где сразу нарвался на тупик: сплошную длинную стену с дверями, похожими на лифтовые. Надписи на английском и ещё на каком-то и какие-то схемы мне ничего мне не говорили. Повертев головой, я заметил среди встречающих того дяденьку-учёного из первого класса – его тоже встречали.

– Александр Альбертович! – заорал я радостно. – Извините, я по-английски ни бум-бум. Как попасть в Сиэтл?

– Так и я еду туда, – засуетился мой единственный знакомый. Он заговорил с двумя джентльменами, которые его встречали и, мельком на меня взглянув, один из них произнёс на ломаном русском:

– Ноу проблем, сэр, есть сидеть, пожалуста.

Тут все лифты распахнулись. Мы вошли в первый слева вагон – двери захлопнулись – машина поехала. Только не наверх, а вперёд. Оказалось, мы в метро. Поезд следовал по слабоосвещённому бетонному туннелю – в лобовом стекле замелькали высвеченные фарами рельсы. Вероятно, поезд управлялся откуда-то снаружи: машинист, как и место для него, отсутствовали. Мне это было непонятным и странным. А люди пялились на маячившие кольца туннеля – им и в голову не приходило удивляться. Через две станции мы вышли и, попетляв по каким-то коридорам, спустились в паркинг, где в море машин мои учёные свой мини-вэн едва разыскали. В серпантин дороги мы съехали по огромному шурупу-дорожке. А я запомнил, что четырёхполосная скоростная дорога в одном направлении называется незнакомым словом «фривей». Минут через пятнадцать сквозь облака нарисовались пронзённые солнцем небоскрёбы.

– Александр Альбертович, а вы видели Гран-Каньон? – спросил я.

– Довелось, – ответил он извиняющимся тоном. – Времени было в обрез – всего-то и успел посмотреть Ниагарский водопад да Гран-Каньон.

– Значит, вы успели побывать в нескольких штатах? – задал я тот же вопрос в несколько изменённом виде. «Дался мне этот Гран-Каньон», – помянул я недобрым словом пограничницу.

– Ну да, Вашингтон, Нью-Йорк, – стал загибать он пальцы. – Аризона и… Орегон ещё – четыре. «Ага! Стало быть, Каньон в Аризоне!» – смекнул я, радуясь, что не засветился. Тётенька-пограничница за столь несовершенный мой интеллект запросто могла меня отправить назад.

– А в Юте что интересного? – решил я просветиться.

– О! В Юте темпл, храм мормонов. Слышал про мормонов?

– Я не слышал, и академик мне рассказал, что мормоны – это такая американская религиозная секта, бежавшие от преследований в пустыню христиане. Он и ещё что-то говорил, но я всё тут же забыл – и как это физик может выдавать такие историко-географические изыски? Мне бы в жизнь не осилить.

На въезде в город облака исчезли, и зеркальные стёкла высоток отражали только небо.

– Где вас высадить? – сбавляя скорость, поинтересовался седобородый джентльмен.

– А где здесь русский ресторан? – с уверенностью аферист спросил я.

– Один на Первой авеню, второй – на Бродвее. Оба в центре, – разглядывая меня с интересом, сказал джентльмен.

– Тогда прямо тут, – лихо ответил я, и мой учёный протянул мне визитную карточку. – Если понадобится помощь, обращайтесь, молодой человек. Я пока не знаю, где буду, но, если что, приходите на физматовскую кафедру юдаба и спрашивайте Смирнова. Буду рад.

Что за «юдаб», мне оставалось только гадать.

«Нас так долго учили любить твои запретные плоды», – приамериканился в голове «Наутилус». Да, я был по ту сторону Земли. Я физически ощущал это. И хотя сейчас по европейскому времени было около полуночи – плюс-минус час, я испытывал в себе невероятную бодрость, хотя до дрожи в ногах предчувствовал близкую атаку ломки. Но всё равно! ДОБРОЕ УТРО, АМЕРИКА! Я приехал тебя покорять!

Глава 2. Ну и Америка!

Итак, для начала – перекур. У меня осталась почти полная пачка «Примы». Опершись о фасад двухсотметрового здания, я присел на карточки и закурил.

Через минуту ко мне подкатил американский бомж. Внешне он совсем не отличался от наших, советских. Такой же вонючий, грязный, пьяный. Он попросил у меня сигаретку знаками. «А точно ли я в Америке – самой богатой стране мира?» – высветился в голове вопрос.

– Вот вэ фак из виз? (Это что за херня?) – раскашлялся он.

– Рашен сигаретс (Русские сигареты!) – гордо бросил я.

– Рилли?! Ю фром Раша?! (Охереть!!! Ты из Россиии?!) – он повернул ко мне заросшее сизое лицо.

– Ес, ай нот спик инглиш (Да, я не говорю по английски.)

– Гив ми 25 сенс (Дай-ка мне 25 центов!), – между прочим, это очень скромно, в СНГ у иностранцев требуют не меньше доллара).

– Но мани. Вэрэ из фёст авеню? (Нет у меня денег. А где тут первое авеню?)

– Айл шоу ю! (Идём, я покажу).

Мы прошли пару кварталов. Он пытался разговаривать со мной, но запас инглиша не позволил мне понять, что именно его интересовало. Зато я понял, что Первая авеню проходит перпендикулярно, и, заприметив указатель «I avenue – Pike», стал выяснять про русский ресторан. Мой провожатый меня не понял. Немного посоображав, я решил идти налево – туда легче, там спуск. И сразу наткнулся на «свой» адрес: это было высоченное здание на углу Мэдисон. Задрав голову, я попробовал пересчитать этажи, но сбившись на двадцатом, плюнул и двинулся дальше. В надежде услышать родную речь я заглядывал в каждую кафешку. Но счастье решительно отказывалось улыбаться. Кроме доллара, который попался

мне возле парка. Это был первый доллар из моего будущего несчастливого миллиона. Но об этом позже. Сейчас я всё ещё иду. Уже на полуспущенных. В конце концов, я каким-то образом опять оказался на улице Pike, где снова наткнулся на уже знакомого представителя этой страны. Он сидел с каким-то черномазым дружком на обочине и просил центы у прохожих. Вот они-то мне и разулыбались на все тридцать два. Хотя тут вообще все улыбаются. Правда, что-то в их улыбках, мне кажется, не так. Но я всё равно кивнул и пошёл дальше. По пути заглянул в пару секс-шопов. У нас их тоже навалом, но мельче и не такие приколистые. А тут – смотри – не хочу: всевозможных размеров и цветов члены, невероятно толстые губы, надувные красотки с грудями, как у симментальских коров. Была даже одна очень фигуристая жопа, возле которой я на пару секунд задержался – такой я ещё не видел. Дальше попалось сразу несколько оружейных магазинов. Любись сколько хочешь, стреляй в кого хочешь – свобода! Но я-то не это искал. И ткнулся в двери какого-то заведения «Kalinka». Чесночный запах отечественного красного борща и привычно-красные скатерти с матрёшками тут же усладили мою душу.

– Гуд ивнинг, – подскочил ко мне улыбающийся официант.

– Здравствуйте, – сказал я как можно бодрее. – Кто-то говорит по-русски?

– Эскьюз ми? – не понял меня служитель сего ароматного заведения.

– Энибади, хир спик рашен? – снова воззвал я к сидящим. Пара человек подняли на меня головы и безучастно отвернулись.

– Сори, инглиш онли, – бросил официант и протянул меню с английской и русской распечаткой. У меня в кармане был целый доллар, и я тут же брякнулся за ближайший стол. «Ни фига себе! Пиво „Тверское“ – 3.50. Пиво „Останкинское“ – 4$», – ахнул я, уже готовый дать дёру: из еды дешевле борща за 2,50 тут ничего не было. Но в эту минуту какой-то грузный янки вместе со своей толстозадой миссис вывалились из-за соседнего столика и потопали к выходу. Я посмотрел на их стол. Среди окусков и недоедков мне улыбались непочатый пирожок и – раз, два, три, ЧЕТЫРЕ (!) доллара чаевых, которые я тут же сгрёб – официант как раз куда-то удалился. Потом, чуть помешкав, я отправил в карман и пирожок.

– Смолл борщ, плиз, – заказал я вернувшемуся официанту. И вместе с тарелкой борща получил целую корзинку горячего чёрного хлеба с маслом! Радуясь, что у меня останется ещё целых 50 центов, которые, так уж и быть, пойдут на чаевые, я сожрал всё подчистую! Но радость оказалась преждевременной – при расчёте официант указал на словечко «такс»– наценка, и пришлось выложить всё, что у меня было. Я бросил три доллара и ретировался. И двинул вниз по первому авеню, примечая тёплый подъезд, где на крайняк можно бы переночевать. Но – увы! Все они были закодированы и отовсюду мерцали огоньки видеокамер.

– Эй, мэн! Гив, май френд, рашен сигарет! – послышалось сзади, и ко мне кинулся мой собрат с однoруким старым негром – он тоже хотел попробовать русских сигарет. Я засунул окурок ему в зубы и поднёс огоньку.

– Гуд, – одобрил он, затянувшись. И, указывая на пустой рукав, залопотал: – Ветнам, Ветнам!.. Матрушка. Горбачов. Перестрока, вотка, вотка! – являл он мне свою эрудицию, а тем временем Джейк (мой первый френд) выволакивал из куртки поллитровку. И это было то, что нужно! Я осушил её наполовину. А они выкидывали большие пальцы, смеясь, повторяли: – Гуд! Гуд, рашен! – Мол, хорошо русские пить умеют! Вспомнив про пирожок, я выволок его из кармана, и мы аккуратно поделили его на три части. Трофей оказался с говядиной, вкусный и поджаристый. – Гуд, гуд рашен пирожок! – хлопали меня по плечу мои новые друзья. И вскоре я был гостем в их заброшенном доме в Чайна-тауне, где, включая одну старую китаянку, жило ещё с десяток таких же. Правда, поначалу китаянке всё чудилось, что я из полиции, но этот вопрос был снят как-то сам собой. Чего-чего, а пива и колбасы тут было достаточно. И бычков хватало – их целыми днями собирали по улицам. Накурившись и выжрав банок восемь пива, я сунул под голову пиджак и завалился спать прямо в клозете на коврике – на Родине было почти шесть утра.

А пару часов спустя на меня навалилось… то самое позорище, что миновало меня в самолёте. Несколько суток я обливался потом в три ручья, ноги не держали, голова отваливалась, а требуха горела адским пламенем. Не говоря о поносе и галлюцинациях, которые меня добивали. Быстро смекнув причину, новые друзья приносили мне еду и питьё, добывали какие-то таблетки. Я уже почти вышел из ломок, когда однажды утром проснулся от криков и брани. Прильнув к щели незапертой двери клозета, я запеленговал здоровенных копов. Пинками они выбрасывали моих спасителей из их гнезда. Найди они меня, и я был бы тихо и мирно депортирован. Но судьба уготовала другое. И когда они с бранью удалились, из зеркала на меня глянул взъерошенный тип с лихорадочным блеском в глазах, чем снова напомнил беднягу Раскольникова. Тогда я выудил из куч тряпья болоньевый пуховик с капюшоном и двинул искать приключений в своём отчаянном никуда.

…На улице шёл мерзкий моросящий дождь. Я брёл куда глаза глядят, мимо каких-то лабазов и старых заброшенных фабрик, за которыми развязывался гигантский бан дорог. Наверное, это был основной сортирующий движение перекрёсток перед огромным городом. Соединяясь дорожками, эстакады над моей головой закручивались в шесть этажей. И, свистя колёсами на крутых поворотах, машины

переезжали с одного этажа на другой. «Что я здесь делаю, ничтожный?!» – шарахнулось во мне сердце во внезапной панике. Но мой гнусненький червь вдруг высунулся из солнечного сплетения и с противненьким смешком спросил: «А что? Слабо?!» – и, окаченный набежавшим ливнем, я рванул под мост. Когда глаза привыкли к охватившей меня темноте, я заметил что-то вроде вертикальной норы, стены которой были выложены старыми досками и кусками картона. Заглянув внутрь, я различил нечто похожее на скамью из скейтборда и двух пластиковых ящиков. Под ней ветхий спальный мешок и выложенное из кирпича место для костра. Судя по слою пыли, задутому внутрь, жилище было заброшено. Выбирать было не из чего – дождь периодически переходил в град, и, учитывая надвигающиеся сумерки, мне ничего не оставалось, как собирать растопку для костра. И спать! Спать!

И только сейчас я осознаю чудовищную нелепость своей затеи. Никто меня в этой стране не ждёт, никому я не нужен и, скорее всего, помыкавшись с недельку-другую, я также бесцельно почапаю восвояси. Только ведь и в моей стране меня подстерегает Костлявая. Что я хочу? Зачем?

Где-то я слышал, что всё, что говорится и делается, лишь проекция чьих-то снов. Отчего же они такие мутные у меня? И, чувствуя себя погребённым заживо в чьём-то прокопченном сновидении, я долго смотрел в небо, из которого виднелись большая полная луна. И звёзды.

Среди миров в мерцании светил
Одной звезды я повторяю имя…

***

Пробудился я по нескольким причинам: было холодно, голодно и над головой сигналили машины. То есть я был жив, и было утро. И люди ехали на работу в Большой Сиэтл. Мир уже не казался таким беспросветным.

Я хотел было разыскать своих друзей – наверняка они где-то тут, на Первой авеню. Но набрёл лишь на старую китаянку. Она бросилась ко мне с какими-то разговорами. Я ничего не понял, кроме «Хангри?» (голодный?). Усиленно показывая на рот, я радостно затряс головой – «Йес, йес!» – и она привела меня на пятачок возле церкви, где топталось много народу. Бомжи, панки, наркоманы – кого там только не было. Все чего-то ждали. Ну и я среди них. Чуть позже подъехал микроавтобус. Это служители культа привезли благотворительный завтрак! Я выхлебал свою порцию и собрался просить добавки, но тут всех желающих (а желающими были все!) одарили ещё и пакетами с булочками, сосисками и йогуртом. Свой кулёк я отдал китаянке. Та припрятала в лохмотья и свой, и мой, и смиренно встала за моей спиной за третьим. Новая очередь была наполовину из старой. Заметив на церкви огромный плакат с сегодняшней датой (дата благотворительной акции), я осознал, что, провалявшись несколько дней в бреду, я пропустил день Саниного ухода. Было это всего-то три месяца назад. Ох, время-то как летит! Совсем недавно мы с тобой вышивали по Дерибасовской – и вот уже три месяца, как тебя нет. Тебя нет. А я – есть. Что-то не сработало в Небесной канцелярии. Мой друг, я помню тебя! Помню и тех, кто остался по ту сторону Земли. Вот только Лию забыл. Слишком стремительно понеслась моя новая жизнь.

Минут через двадцать на пятачок подскочил забитый тряпками вэн. Благотворители расстелили на асфальте клеёнку и выложили на неё одежду и обувь – берите, сколько хотите, сколько унесёте! Из разноцветной кучи тряпья я извлёк пару джинсов и почти новые кроссовки «Адидас». Нехилую тёплую куртку «Найк». И джинсы. И тут же натянул на себя. Теперь я почти не отличался от местных. Распрощавшись с бабкой, я приступил к изучению города. Я в жизни не видел такого количества машин. Они шли, будто в ванной все вентили открыли. А эти безразмерные американские супермаркеты, где впору заблудиться! А бесконечные обжираловки с несъедаемым количеством дешёвой еды! Я спустился на Пайк-плэйс-маркет (рынок), дивясь пирамидам аккуратной, будто искусственной зелени, среди разноцвета яблок, апельсинов и вмороженных в лёд исполинских крабов. Куда нашему «Привозу» до этих пошевеливавшихся в ёмкостях коралловых рыбин среди радуги омаров и лобстеров! И тут: – «Заходьте до нас ще!» – родная речь. Чуть не свергнув крабов с их пьедесталов, я рванул! Вот она – вывеска «Бліны»! Я влетел в крохотное помещение – два моих шага в длину – и радостно гаркнул:

– Здравствуйте! Как поживаете?

Курносая баба с глазами навыкате испуганно вылупилась на меня и перекрестилась. Вторая, такая же, только помоложе (наверное, дочка), мелко крестясь, кинулась в боковую дверь. Удивившись, я спросил уже тише:

– А вы давно из России?

– Не розумію, – отрезала баба, отодвигая с прилавка тарелку с образцами блинов.

– Как? – изумился я. – Разве вы по-русски не говорите?!

– Руські? – зловеще переспросила баба. – Зараз я покажу тобі «руськи»! Ярына, а ну дзвоны до полыцыі! Бог усе бачыть, як вы нас зі світу сжывалы! – она потянулась за бутылкой сзади себя, не спуская с меня ненавидящих глаз. Я скоренько ретировался – первый блин комом!

На следующий день на Шестой авеню, где тоже раздавали бесплатную еду, я наткнулся на Джейка и однорукого. Они обрадовались мне и потащили в ночлежку, где наконец удалось побриться и даже принять горячий душ. Правда, выстоял длиннющую очередь – сравнить её можно разве что с московскими очередями в Макдональдс, и то в 88-м, когда Макдональдс был в новинку. Но всё-таки это было ни с чем несравнимое наслаждение, и получил я его исключительно благодаря бездомному братству. Они смеялись, хлопали друг друга по плечу и травили анекдоты. Они превосходно себя чувствовали здесь. Хоть я так и не понял, кто из них баба, кто – мужик. Скорее всего, были педиками.

Однако, как нет худа без добра, так нет и добра без худа. Здесь, в этом восьмиэтажном курятнике, мы теснились наподобие хохлаток. Только не на жёрдочках, а на брошенных прямо на бетонный пол матрацах со свёртками предметов первой необходимости (одеяло, простыня, зубная щётка, мыло, безопасная бритва и резиновые тапочки). Всё это устилало даже пол в туалете, оставив свободными лишь пару полосок размером с мою ступню. А вокруг храпели и пердели отмытые разноцветные туши, которым завтра снова искать пристанище и завтрак.

Глава 3. Первая штучка!

Утром мне в руки попала карта города, и оказалось, что Бродвей совсем рядом. Не прошло и часа, как я ввалился в кафешку с милым сердцу названием «My lovely piroshky».

– Здравствуйте, – хоть и громко, но осторожно произнёс я.

– Привет, – буркнуло нечто из-за стойки. Глаз на меня оно не выпучило, креститься не стало. Карнавальность здешней жизни меня уже не смущала – в представителях местного лингвосообщества пол определяется не сразу. Но, судя по груди, оно было, скорее всего, дамой. – Что будем брать? – всё также равнодушно справилось оно, посмотрев на меня, как на придурка.

– У меня нет денег, – доверительно сообщил я. – Не подскажете, где можно найти работу?

– Нет у нас работы, – не меняя тон, сообщило оно.

– Тогда извините, – уныло бросил я, развёртываясь.

– А если зайдёшь часам к четырём, может, что-то тебе и подскажут, – продолжило оно всё так же индифферентно. От радости я чуть не пустился вприсядку – до четырёх была куча времени, и теперь, когда забрезжила надежда, я уже мог спокойнее наблюдать за этой разношёрстной жизнью, прямо-таки нашпигованной магазинами для озабоченного голубого населения Сиэтла. По Бродвею гуляли влюблённые друг в друга мужики. Они целовались в дёсна и смачно лапали друг друга. Они делились на несколько чётко обозначенных подвида. Первые были ярко накрашены и с ног до головы в коже. Кепка, куртка, штаны – всё в заклёпках– с таким не дай Бог встретиться в узком месте! Вторые почти не отличались от баб. В длинных париках с толстым слоем штукатурки на лицах и в вульгарном ширпотребе. Большинство щеголяло в имплантированной груди. Были ещё и третьи – обычные мужики, только предпочитающие свой пол. И ещё масса индивидов, стремящихся как-то выделиться. Кто штанами с голым задом, кто килограммами колец и шариков в бровях, носу и щеках. Любопытства ради, я стал слоняться по магазинам. Вот уж где было на что посмотреть: со стен свисали наручники, плети, кожаные прикиды. С потолка – мешочки для яиц и мужские бюстгальтеры. А какие туфельки на шпильках от 40 до 47 размера! Поначалу я даже думал, что всё это для приколов. Но когда в примерочную попёрли мужики с юбками и босоножками… Особенно развеселило, когда, втискиваясь в красные лосины, бородатый дядька в кожаном лифчике стал выяснять у костлявого продавца в длинном рыжем парике, идёт ли ему сей наряд. И тот вполне авторитетно заверил, что – да, он и сам встретил свою мечту в таком… Я не выдержал и заржал – ни хера себе, Америка! Кому скажу – не поверит.

***

– Я – Никита. Хай. Пельмени будешь? – лучезарно ощерился мне юнец из-за стойки, когда я вернулся.

– Да нет у меня денег, – хмуро признался я.

– Это за счёт заведения, – поставил он передо мной тарелку, набирая на айфоне чей-то номер. – Тут, Виталь, пацан один. Работу ищет. Может, подскочишь? – и минут через пять в дверях появился среднего роста субъект, в котором я как-то сразу угадал своего соотечественника.

– Привет, я – Виталь, вотсап! – сунул он мне руку. Я сообщил, что зовут меня Юрик, что я из Одессы и что готов вкалывать за еду и ночлег. Переглянувшись с Никитой, он заржал: – Ну, ты даёшь! Если ещё кому-то такое скажешь – будешь пахать на шару! Понял? А рыпнешься – депортируют. Никогда не соглашайся работать меньше, чем за шесть долларов в час. И никогда не говори о бедственном положении. Таких не уважают. И выучи язык. А пока старайся болтать поменьше. С американосами – вообще, а с бабами – в частности. Здесь терпеть не могут русских. Русский для них враг ещё со времён холодной войны. А русские все, кто из бывшего СССР. Потому – враг. Точка. Впрочем, они и иностранцев не жалуют.

Я невольно вспомнил однорукого и старую китаянку. Мне не хотелось повторить их судьбу.

– Третье, – продолжал мой неожиданный спасатель.– Пока не встанешь на ноги, забудь обо всём, кроме работы. Работа – дом – работа. Шаг в сторону – проблемы. Тут через труд можно многого добиться. Заруби на носу! Зарубил?

«Да что может случиться со мной в АМЕ-РИ-КЕ! – мысленно хмыкнул я. – В крайнем разе улечу домой».

– А ещё не воруй в супермаркетах. Я за это два месяца отсидел. Тут все тюрьмы нашими полны.

– Да я работать хочу! – возмутился я.

– Правильно, – одобрил Виталь. – Я бы дал тебе один номерок телефона, только кто ж с тобой дело будет иметь, если тебе жить негде. Айди есть? Удостоверение личности. Или права?

– Девять лет за рулём, – похвастался я. Он кинул мне на колени потрёпанную книжонку на русском языке. – Здешние правила от наших отличаются мало. Завтра сдашь устный тест на вождение. В десять утра подскочи сюда, у меня как раз дела в лайсенс-департаменте. Заодно и твой вопрос решим, – он с сомнением оглядел мою долгую фигуру. И, чуть помешкав, спросил: – В машине спать умеешь?.. Я бы тебя к себе взял, да жена – ведьма, не поймёт. Она американка. А я грин-карту жду – мне до неё два месяца. Тут не там, тут бабы привыкли, чтобы всё было по-ихнему. А бабы здесь на вес золота, – он ещё раз осмотрел меня с ног до головы и махнул рукой. – А впрочем, где наша ни пропадала. Едем.

– Едем! – обрадовался я.

Так я второй раз увидел город из окна машины. И любовался аквамарином залива Пьюджет-Саунд, где, будто инопланетный корабль, отовсюду виднелась ажурная башня Спейс-Нидл с зависшей над ней гигантской тарелкой. Кажется, я действительно был на другой планете!

Мы уже приканчивали вторую бутылку, когда явилась его «ведьма» – четырехугольная бабища в сопровождении своей сестрицы, такой же приземистой и крепко сбитой бабёнки с пуговками глаз цвета хаки. Я усмехнулся. Обе были втиснуты в джинсовые комбинезоны, у обеих изо всех швов выпирала обильная, многослойная плоть. Разве что «ведьма» была постарше, и складки на её животе резонировали с оттопыренной, как у верблюдицы, нижней губой. А у сестрицы складок чуть меньше и губы, как слоёный пирожок. Я хотел улизнуть, но они обе решительно перегородили мне путь. Келли (так звали «ведьму») выставила на стол пузырь виски и взгромоздилась напротив. А Элизабет (Лиз, сокращённо), не сводя с меня горящих, как желток на сковороде, глаз, тут же взялась навёрстывать своё отставание в весе – она была меньше Келли килограммов на десять. Как я понял, сестрицы работали где-то рядом с офисами Майкрософта, именно там и закадрили Виталя – Келли нравились русские компьютерщики («I love russian penises», – хихикнула она, отправляя в рот пирожное). Виталь смущённо объяснил, что у американцев принято выражаться прямо. Наклюкались мы быстро, и, выложив серию анекдотов о русско-американской семейной жизни, Виталь со своей половиной отбыли в спальню, а Лиз повела меня на второй этаж в гостевую комнату. Памятуя наставления, я шёл от неё на почтительном расстоянии. Но, едва открыв дверь в клетушку с огромным, как плато, лежбищем, она опытным движением самбистки опрокинула меня на плато и…

– Стоп, плиз! Лиз, Лиз! – задыхаясь под её тушей, взмолился я. – Стоп!

– Ты прав, бэби, – взглянув на меня многообещающе, согласилась она: – Позже. – После чего, подхватив с ляжек джинсы, хлопнула дверью.

М-да… Всего дважды за жизни я был изнасилован женщиной: шесть лет назад Леной из Херсона. И вот теперь. Американкой Элизабет…

***

Я проснулся на развороченной постели, ногами на подушке и головой на куче покрывал. Как относиться к случившемуся, я не знал. Я лежал в глубоких раздумьях, пока в открытую дверь не хлынули запахи гренок с ветчиной.

– Здоров! – окинул меня Виталь ироничным взглядом. – Сколько ты в Америке? Десять дней? И уже трахнул американку? Везёт тебе! А я – ровно через девяносто три! – и, заметив мой конфуз, рассмеялся: – Да плюнь, веди себя естественно. Она уж и забыла. Здешние бабы любят трахать мужиков. Причём, во всех смыслах.

– Хай! – чмокнула меня на лестнице Келли и протянула стакан воды со льдом.

– Хелло! – в обе щёки расцеловала и Лиз. В яичных её глазах не было ничего, указывающего на произошедшее ночью. Я обескураженно разглядывал жировые складки на её обтягивающих белых рейтузах и самому себе удивлялся.

Завтрак состоял из худосочного омлета с прозрачной полоской ветчины, пресной булочки и жиденького кофе. Это я к тому, что в той ночлежке еды было на десять порядков больше: сосиски, колбаса, куриные ножки, пицца. Таков американский парадокс: неимущие жрут от пуза, а имущие считают каждую крошку.

– Бай! – через пару минут Келли бросила вилку на стол – она опаздывала на работу. А мы… Мы отправились в лайсенс-департамент, высадив Лиз через два квартала. Она спешила к своему бойфренду. Я даже ощутил укол обиды…

Устный экзамен в лайсенсе (что-то вроде нашего ГАИ) прошёл без проблем. Компьютер мне выдал учебное айди без права самостоятельного вождения.

– А вождение сможешь сдать? –спросил Виталь. – Тебе с ближайшей же зарплаты надо тачку купить – в Америке без машины нечего делать. На сегодняшний день два варианта – у одного негра в боди-шопе и…

– Что за боди-шоп?! – я представил себя в роли продавца искусственных членов. Заметив мой испуг, Виталь расхохотался.

– Боди-шоп – это автосервис у одного ниггера на Медисон-стрит. Впрочем, может тебе больше подойдёт резка овощей у чукчи в Кенте. Ниггер платит больше, и работы у него немного. Но нужно знать английский. Попросишь Лизку – она научит. И смотри, не упускай её – у Лизки бойфрендов пруд пруди!

Я вспомнил потные складки своей первой американки и сплюнул.

– Ты чё, сдурел?! – уставился на меня Виталь.– Мою Кельку знаешь, как пасут! – он мрачно махнул рукой. А я подумал: пожалуй, что-то не всё хорошо в этой стране, если страдающую ожирением бабу пасёт целый табун жеребцов.

– А чукча – что? – перевёл я разговор на более насущное. Виталь посмотрел на меня скучающе. Ему хотелось поговорить о дамах. – У чукчи-то? Там придётся повкалывать. Правда, с языком без проблем. Он чукча в третьем поколении. Тунгус из зоны падения метеорита. В смысле – стукнутый немного. У него все новички работают. И не задерживаются.

Не задержался и я, хотя столковались мы быстро. Кызылыч, как его все называли, никаким чукчей, не был. И тунгусом не был. Он был обычным сибиряком с довольно занудным характером. Сутками считал и пересчитывал количество отработанных нами часов и через неделю выдал мне шестьдесят долларов в счёт будущей зарплаты. Причём, с такой невыразимой болью, будто отдирал от своей перевитой жилами шеи куски собственного мяса. Он вообще часть денег привык зажуливать – постоянно торчал в цеху и самолично за всем следил, нависая над каждым при малейшей паузе в работе. Стоило на минуту присесть на мешок, который я перетаскивал из подсобки в резочный цех, как он, будто чёрт из табакерки, появлялся и делал пометку в своём блокнотике, чтобы вычесть это время из жалованья. Этот блокнотик я ненавидел даже больше его самого. В конце концов, перетаскивание мешков стало считаться за производственную гимнастику. Я вкалывал без выходных и спал на огромных коробках в подсобке среди до рвоты вонючих мешков с картошкой и луком. И так ни разу и не отошёл от проклятого завода дальше, чем на сто метров – ехать мне было не на чем. Теперь вчерашнее моё житьё в Одессе казалось сказочным – и чего не хватало мне в собственной стране?!

Через две недели, бросив Кызылычу мой так и не полученный заработок, я оказался на Мэдисон-авеню.

Это была крохотная автомастерская с двумя подъёмниками. Примыкавшая к ней двухэтажка с офисом была размером со стандартный гараж. Зато вся она блистала на солнце чёрным стеклом, а табличка на двери многозначительно оглашала имя хозяина: «M Cheater's Bodyshop».

– Забыл сказать, – выключив мотор, спохватился Виталь. – В Америке негров неграми не называй – это расизм и политическая некорректность. Ты с этим столкнёшься много раз, – повторил он назидательным тоном Кызылыча, и совсем, как тот, покачал перед моим носом указательным пальцем. – Негров тут называют афро-американцами – запомни.

– Да понял я, понял, – буркнул я, пялясь на позолоченные ручки, пушистые ковры и белый мрамор пола.

Напротив двери журчал фонтан из разноцветных камней, а в овальной клетке копошился большой попугай, которого кормила высокая мулатка в коротенькой юбочке. Попугай нехотя сосал краснобокое яблоко здоровенным когтистым клювом. При виде нас он вяло оторвался от своего занятия и, вскинув реденький жёлтый гребень, что-то забормотал. Призывно глянув, мулатка повела нас в кабинет. «Секретарь», – догадался я, не отрывая глаз от её точёных ног и медной шапки волос, венчающих изящную головку. За обширным столом красного дерева восседал чернокожий негр лет под сто. В зелёном костюме и весь в золоте. Шевеля толстыми губами, он водил по строчкам унизанным перстнями пальцем и что-то читал. «Ни фига себе!», – сравнивая его с Кызылычем, подумал я. В своём обтрёпанном комбинезоне с потёртым блокнотиком тот против ниггера выглядел сущим замарашкой.

– Вотсап, нига! – гаркнул ему в ухо Виталь, и я замер. Мне казалось, что дед сейчас сдаст нас в полицию. Но тот лишь поднял своё эбеновое лицо.

– Водус мэ? Хаюоду, май бра? – оголив поразительно белые бивни, осведомился он на малопонятном мне негритянском наречии.

– Хай, Майк! – расплылся Виталь и потряс его руку. – Вот, привёл к тебе друга. Устрой его, напои-накорми и будь с ним поласковей. И пусть Таня покажет мою комнату, лады?

Я оглянулся в поисках русской Тани. Но кроме мулатки в кабинете никого не было. Ослепив меня вспышкой таких же крепких, как у старого пердуна, зубов, она по-американски энергично сжала мою руку.

Через сверкающий пластиком коридор, возле ангара с подъёмником обнаружился бокс. Она звякнула золотым браслетом и отворила дверь. Незатейливая кушетка со сложенными на ней белыми простынями, чёрно-белый телевизор и маленькая, очень чистенькая раковина – всё как в нормальных гостиницах среднего пошиба в Одессе. Памятуя Элизабет, я на всякий случай отошёл на приличное расстояние. Но, озарив меня ещё одной улыбкой, она лишь сообщила, что Виталь ещё вчера звонил и предупредил, что приведёт меня. Именно здесь он жил и работал, когда приехал в Америку. С тех пор они с шефом друзья. Майк помогает Виту с грин-картой, а Вит ему с клиентурой. Вручив мне ключ, она повела меня на экскурсию.

– Вот здесь ангар, – остановилась она напротив подъёмника с машинами, под которыми копошились рабочие. – Твоя задача, чтобы был порядок, – и указала глазами в сторону площадки с разобранными автомобилями. – Здесь тоже должно быть чисто. И ещё в двух душевых кабинах на выходе, – и развернулась в сторону офиса.

Я поспешил за её узкими бёдрами, приятно удивлённый условиями жизни и несложностью работы – наконец-то я заживу, как человек! В офисе Таня представила мне попугая. Это был желтоголовый азиатский какаду по имени Клинтон. Всякий раз, даже если это имя звучало с экрана телевизора, он расправлял свой гребень и что-то невнятно, но жарко бормотал, выметая хвостом из клетки остатки яблок, бананов и всевозможных зёрнышек. Уборка после его трапезы входила в мои обязанности тоже. А Дед и Виталь, сидя на столе верхом, с улыбкой наблюдали за мной. Я лишь диву дался той короткой ноге русского эмигранта с владельцем роскошного американского бизнеса. Я бы так точно не смог!

Потом мы съездили к ненужному уже Кызылычу, выбили мою честно заработанную штуку, и с одобрения чернокожего дедушки я завалился отсыпаться. Было это двадцатого октября.

Глава 4. Терпенье и труд всё сотрут

Так и началась моя настоящая трудовая – не рабская – жизнь в Америке. Овощная каторга была забыта. Каждое утро я просыпался в шесть и до дыр драил полы ангара и стеклянные стены офиса высотой примерно в тринадцать футов. Дед Майк платил без проволочек. И уже через три недели мои семь долларов в час помогли прибрести на аукционе десятилетний «Форд Темпо». Оформление и ремонт обошлись в какие-то триста баксов, а вместо обязательной страховки мне, как начинающему водителю, предложили совершенно невозможный полис – тысяча зелёных за полугодие. Даже полицейский штраф, который я мог бы схлопотать за езду без карго, составил бы не больше пятьсот.

– Эх, где наша не пропадала, – решил я, как все русские и обошёлся без него!

Кстати, с согласия хозяина я обучил Клинтона русскому мату, и он выдавал его на чистом одесском наречии. Талантливая птица произносила матерные фразы с безупречными интонациями и всегда к месту. Так что все бодишоповцы брали уроки русского из клинтоновского клюва. И чуть что, превосходно орали: «Пошёл на…». Я тут был не причём – Клинтон просто соответствовал своей фамилии (Cleanton – чистый звук). Ему было пятнадцать лет, и назвали его так задолго до появления в Америке тёзки-президента.

Кроме Тани, здесь работало четверо законных американцев (ситизенов) и семь нелегалов: два беглых негра (они приплыли в контейнере из Африки) и два поджарых мекса (оба – Родригесы). А ещё бельмоглазый китаец Цуй, который приобрёл своё бельмо на борту контейнера, где в полной темноте провёл четыре месяца. И плюс один странный тип из Гондураса, утверждавший, что он вовсе не гватемалец, а уругваец. Принципиальной разницы в этом я не видел, как и не понимал, почему престарелый иранец Бабек не любит признаваться в своём иранстве. Он делал это лишь, если кто-то принимал его за араба. Чем араб или гватемалец хуже иранца или уругвайца, было понятно лишь им самим. Но и законные ситизены по внешнему виду особо не отличались, и я различал их как Крис-первый, Крис-второй и Оу-Джей. Да вот ещё растрюханная баба-приёмщица по имени Балу представляла собой какую-то бурую помесь европейки с индейцами. Лет ей было под сорок, и мне она казалась старухой. Впрочем, её английский я не понимал. И чтобы не вызывать к себе её бурного внимания (не дай Бог, ещё и в папы позовут!), я накупил себе учебников, кассет и таблиц по произношению, штудируя их в полном одиночестве. Это было несложно. К шести вечера всех как ветром сметало – все где-то снимали углы, койки, комнаты, и только я, как король, засыпал и просыпался в собственной постели. Но… Вот же несовершенство человеческой природы – как и королю в своём холодном замке, мне было страшно одиноко. Моя полная сил молодая плоть тосковала о женской ласке, а у Тани всегда находились какие-то свои дела, и я в них не вписывался.

О, это вселенское одиночество! Бездонное и тупое, в котором только заунывный дождь да бормотанье телевизора – давно изжившего себя старика-оратора. Его монотонные монологи сводили меня с ума. Так и тянуло запустить тапками!

Взрослая жизнь – это постепенная утрата возможностей. Я невольно вспомнил, как непритворно радовалась мне глупенькая Лия, сворачиваясь под моим боком. Идиот, и чего я не ценил те минуты?!

***

Однажды, когда я тщетно втемяшивал в свою дурную голову английские спряжения, за окном послышался писк, и в булькающей пузырями луже я увидел комочек слипшейся жёлтой шерсти. Насквозь промокший котёнок таращил на мир испуганные глаза и пытался понять, почему в нём так холодно и мокро? месте со своим дрожащим хвостишкой зверёк поместился в моей ладони. Свернувшийся в клубок, он напомнил мне вынутый из духовки крендель.

– Бублик, Бублик, – позвал я его, сбегав в ближайший «Сэвен-Элэвен» за «Фрискасом». С этого вечера я уже был ни один. Со мной урчал и гонял по простыне Бублик.

А Таня оставалась моей тайной. В Америке служебные романы порицаются, и мы встречались так, чтобы не вызывать подозрений. В отличие от белых, цветным женщинам найти себе пару в Америке непросто – как и белые мужики, цветные мужики хотят белых баб. Так что оставалось ждать любителей экзотики. Я им и оказался. Хотя это никак не зачёркивало моей платонической любви к Ляле. Несмотря на все скалистые ущелья на пути, Ляля оставалась моей Джомолунгмой. Я держал её в мыслях и предавался мечтам о ней, когда оставался с собой наедине. Я перебирал воспоминания, как скупой рыцарь свои монеты. Я любовался её профилем в лунных бликах окна и, как в ту последнюю нашу встречу, повторял и повторял волшебные строки:

Среди миров в мерцании светил
Одной звезды я повторяю имя
Не потому что я её любил,
А потому что мне темно с другими…

Глава 5. Тень Джомолунгмы

Практикуясь с рабочими и заказчиками, я здорово поднаторел в английском. Хотя во избежание эмиграционных и налоговых проблем, мне по-прежнему разрешалось общаться исключительно с постоянной клиентурой. С остальными я был глух и нем. Это касалось и всех прочих наших нелегалов. Но я работал в паре с одним из Родригесов – он ремонтировал машины, а я подавал ему ключи, попутно трепясь на разные темы. Однако стоило ему получить грин-карту, мои уроки стали хромать – Родригес исчезал на уикенды. Деда это не огорчало – автошоп всё равно работал без выходных. А вот мой процесс обучения замедлился.

– Ты куда исчезаешь? – не выдержал я. И узнал, что мой наставник каждую неделю мотается в Ванкувер к своей невесте. Свадьба запланирована после Рождества – на неё ещё предстояло копить деньги.

– И моя девушка в Ванкувере, – созрела у меня идея. – Не отвезёшь ей письмо?

– Конечно! – тут же согласился мексиканец. – Я там два дня буду. Дискотеки и всякие боулинги-бильярды Марии надоели, вот и поедем искать твою девушку – хоть какое-то приключение.

В семейно-клановых отношениях его народ очень строго блюдёт мораль, и свою невесту до свадьбы жених может лишь выгуливать по общественным местам.

Звёзды складывались в масть!

– Как её зовут? – спросил Родригес.

– Линда, – назвал я Лялино полное имя, которое когда-то прочитал на конверте.

– «Линда» по-испански означает «красивая», – констатировал Родригес. – Она красивая?

– Ага! Блондинка с синими глазами, – закивал я. Шанс найти Лялю стал таким близким и реальным, что захватило дух, как перед прыжком с парашюта. С того дня, как я нашёл работу и послал в её адрес два письма, прошло много времени. Наверное, их перехватил её муж. Хотя… Я ведь написал ей Эзоповым языком, чтобы о смысле догадаться могла только она. Да и обратный адрес указал Виталя. Но ответ так и не пришёл.

Я достал из внутреннего кармана блокнот с адресом и на обратной стороне листа написал экспромт:

Любимая Ля, без тебя не могу,
Я в луже слёз без тебя утону.
За океаном нашёл тебя,
Чтобы сказать «я люблю тебя!».

Бросив взгляд на адрес, Родригес заметил, что примерно знает, где это, и спросил Лялину фамилию. Я вспомнил, что Ленка из Херсона новую фамилию Ляли не говорила и написал старую: Belozerskaya.

***

Мой посыльный вернулся ни с чем. Он сжал моё плечо и грустно сообщил, что Линда, русская девушка с зелёными глазами и пепельными волосами, больше не живёт по этому адресу. Съехала больше года тому назад, куда – неизвестно.

– Видишь, друг, – сочувственно заглянул он мне в глаза, – наверное, теперь у неё другая фамилия. Может, твоя девушка вышла замуж…

Я поник. Но всё ещё на что-то надеясь, схватился за соломинку:

– А роста, какого роста была Линда, не узнал?! Может, это не она?

– Узнал, узнал всё, что мог. Примерно 5 футов 6 дюймов. Она?

– Она, – я совсем упал духом. Я опоздал. Я благоговел над кусочком бумаги, а он стёрся. Улетучился. Развеялся, как дым.

«Пространство человеческой души прямо пропорционально её географическому положению». Это я слышал от моего бати-капитана сухогруза, когда он уходил к своей новой пассии. И, чтобы ухватить смысл сказанного, я зарубил его слова на носу. Сегодня, расширяясь и пульсируя во мне, континент, куда Колумб телят пригнал далеко не первым, великодушно оставлял щёлочку, куда я должен был проскользнуть, чтобы открыть свою terra incognita. Свою планету Ля, что светила мне из тёмных пелен моих снов. Я ведь мог прошерстить ещё и все телефонные справочники Канады, чтобы найти её!

***

Приближался Кристмас. Опутав город сияющей сетью огней, десант Санта-Клаусов накрыл улицы, и новогодняя песенка «Джингл бэлз»: «Jingle bells, Jingle bells, Jingle all fhe way!» – быстро набила оскомину. Я здорово прибарахлился на рождественских сейлах. На пару с Таней я даже свистнул несколько брендовых вещей. Она показала мне недорогие магазины с качественными шмотками Ross, Nordstram Rael, TJ Max. Но в один из таких удачных дней моя мулатка вдруг объявила, что к ней вернулся её понтиачный негр (не иначе как брошенный его белой бабой), и, так как в отличие от меня, тот постоянно говорил ей «I Love you», она решила к нему вернуться. Пожелав ей счастливого праздника, я побрёл шоппинговать в одиночестве. Впрочем, всё, что купил, тут же было выпрошено двумя бездомными перуанцами, которых Дед подселил в мою комнату. Погоревав о своём нелепом житье-бытье, я оставил на них и Бублика и решил искать квартиру. Денежки у меня уже водились. Учитывая, что и Виталь наконец ушёл от своей колоды, за пятьсот долларов на двоих (за меньшее в районе Пьюджет-Саунд не найдёшь!) мы могли бы поселиться в качестве руммейтов. Но тут произошло событие, из-за которого всё пошло не так.

Глава 6. Великий шанс

За неделю до Кристмаса, утром 18 декабря (я запомнил эту дату навсегда, это была пятница!) в одиннадцать часов, злой и всклокоченный от бессонной ночи, я выполз на работу. Ниггеры-автослесари только что выкатили из ангара белый «Линкольн Навигатор» и велели мне отчистить его до блеска – владелец был специальным клиентом нашего босса. Под неистребимый «Джингл-бэлз» я приступил к своим обязанностям. За эти два месяца я подметил, что наш Дед, чёрный, как его «Крайслер», не так уж и прост. К вечеру, когда большинство его рабочих расходились, к нему на дорогих машинах съезжались спецклиенты. Молча приносили какие-то свёртки, чемоданы, кейсы и о чём-то часами гутарили за закрытыми дверями. Как-то раз в сквозную щель, соединявшую мой умывальник с Дедовым, я уловил речь, напоминавшую немецкий язык. Впрочем, мало ли диалектов у ниггеров! Я и ухом тогда не повёл. Тем паче, что общаться с ними мне было строжайше запрещено – если кто-то из них ко мне обращался сам, я притворялся глухонемым.

Итак, я надраивал «Навигатор», когда ко мне причалили двое: один репоголовый в кожаной куртке, другой сухой, как жердь, в оранжевом галстуке набекрень. На жутчайшем английском они осведомились, долго ли им ещё ждать. Смекнув, что они и есть «спецклиент», я продолжал невозмутимо натирать бока машины. Тогда первый ткнул меня в бок и, глядя угрожающе, повторил вопрос. Я промычал: «уаыуаы». Недовольные, они уселись в машину и включили что-то вроде нашей «Коррозии металла». Спецклиенты моего босса говорили по-русски!

– С-с-соглашаться надо. Они же вы-вытянут гы-гы-гораздо больше», – вымучил из себя галстучник.

– Тише ты, идиот! – раздражённо кивнул в мою сторону репоголовый.

– Сы-сы-с-сам идиот, – возмутился второй.

– Ви-видишь же – это мме-ме –мекс глухонем-мой.

– «Сам ты ме-ме-мекс» – мысленно хохотнул я, бесстрастно переходя к обработке двери.

– Глухонемой? Щас проверим! – воодушевился репоголовый. – Эй, морда мексиканская! Мазерфакер щитхэд, козёл драный! – он орал и орал всякие непотребства по-русски и по-английски, а я, внутренне

усмехаясь, как ни в чём ни бывало надраивал машину. Суля по манере речи, он был откуда-то из России. Оторжавшись, они забыли обо мне и говорили, уже не таясь.

– Сколько даёт, столько и возьмём, наличка как-никак. Сам прикинь – сколько мы с Батяней знаем здесь коллекционеров? И ни один не берёт. А повези её назад в Европу! Тот фашист, небось, уже всех на ноги поднял.

Чтобы лучше слышать, я стал натирать водительскую дверцу – стекло на ней было чуть спущено.

– Ды-ды-давай хоть ещё семьсот-восемьсот вымутим, – продолжал своё дигиль в зелёном галстуке.

– Да торговался, – зло оборвала его клыкастая репа. – Он и так не в восторге, берёт на всякий случай – может, когда шумиха утихнет, подпольному коллекционеру сбросит. «Семьсот, восемьсот…» – передразнил он галстучника и зло взглянул на моё непроницаемое лицо. – Мы ещё и за тачку не расплатились. Говорил – давай подешевле возьмём, а ты:– «Навигатор-Навигатор!» – Нифигатор! – рассвирепел он окончательно. – А т-ты х-хочешь, как последний лох, на М-ме ме-рине ездить?

– Сам ты лох! – Клыкастик дёрнулся так, что джип закачался. – Достал ты меня, козёл! Интеллигент вонючий! – кажется он ткнул заику пистолетом в подбородок.

– С-спрячь пушку, д-дурак, – огрызнулся тот. – Он немой, а не сы-сы-слепой.

Мне понадобилось немало воли, чтобы не драпануть от машины. Тем более, что она уже сияла, как новенькая. Промычав своё фирменное «уаыуаы», я помахал им тряпкой, типа, всё готово. Из окна вылетела двадцатка и, обдав меня водой асфальта, джип умчался. «Ага-а! Вот какими бабульками крутит ниггер…» – озадаченно смотрел я им вслед.

Перепутав средство для наружной очистки двигателя с нитроэмалью, я на ватных ногах взялся за «Ролл-Ройс». Выползший из своего кабинета дед лишь снисходительно похлопал меня по плечу и выразил витиевато-длинную мысль о том, что все мы в молодости от кого-то зависим, а по мере того, как приобретаем независимость, теряем молодость. Дед не утруждал себя упрощением языка и мыслей, и выбраться из его хитросплетений заняло всё моё внимание, так что в итоге я перепутал чистящее средство для кресел с тормозной жидкостью – видел бы он те кресла после моей чистки! Но, бросив мне ключи от своего «Крайслера», со словами «Good job!» и вишнёвым кейсом в руках он потелепал в офис. Я впился глазами в его спину – в кейсе, наверное, и был тот нал, про который говорили рязанские парни. Так вот откуда его роскошь! Это был не первый кейс, и не в первый раз. Этот старый башмак скупает ворованное! Бросив тряпку, я нырнул следом. Почти наверняка он должен был положить его в сейф, код которого из спортивного интереса я давно подсмотрел в ту самую щель за умывальником. Увидев меня, Клинтон вскинул гребень и пронзительно заорал. Ниггер оглянулся. И с кейсом под мышкой вопросительно уставился на меня.

– Э-э… Стёкла натереть тем же, что для всех? Или специальными средствами? – брякнул я то, что пришло в голову первым.

– Что за глупый вопрос? У нас все средства одинаковые! – раздражённо вытолкнул меня из кабинета дед, и я подумал, что, наверное, сделка у него предстоит серьёзная – те русские ведь тоже были взвинчены.

Глава 7. Белая лошадь удачи

Плана у меня не было. Я просто плюхнулся в свою машину и, проехав с пару кварталов, притаился возле бензоколонки. Площадка бодишопа отлично просматривалась. Ага, вот «Навигатор». А вот из него и Дед выполз. В руках – чертёжный футляр. Значит, сделка состоялась. Как говорят «мимо каждого проскачет белая лошадь удачи». Моя лошадь скакала передо мной в виде белого джипа с двумя всадниками!

Где-то на третьем перекрёстке выпал шанс встать прямо за ними. А эти двое, как и тогда, едва ли были способны заметить слежку – они гнули пальцы перед носами друг друга и были раскалены до такой степени, что много бы я дал, чтобы услышать, о чём они грызлись.

«Навигатор» спустился в даунтаун и подкатил к безбрежному зданию авиакомпании Alaska Airlines. Хм… Вряд ли там открыто в семь вечера! Оба вышли из машины – кейс был в руках клыкастого. Я уже присматривал место для парковки, как вдруг клыкастый нежданно-негаданно зарядил партнёру ногой в пах. И, бросившись назад в машину, тут же кинулся наутёк. Со всех сторон завопили «Police, police!». А я рванул следом – ну да, зачем ждать полицию! Моя белая лошадь чесала по фривею на предельной скорости восемьдесят миль в час, и я лез из кожи, чтобы не отстать. Он съехал на «пятёрку», перестроился на девяностый фривей и драпанул в Белвью – славный город майкрософтщиков. Конечно, с такими деньгами только сюда и надо! В отличие от сексуально озабоченного Сиэтла тут цвело соцветие русских кабаков. Я таких мест сторонился, но мои криминальные соотечественники платили за живую музыку и за аппетитные блюда счета, которые начинались с двухсот долларов. Но, к моему изумлению, он подрулил к… «Бургер-Кингу» – грошовой забегаловке, в которой я едал ещё в бытность мою у Кызылыча. «Рязанщина!», – снисходительно усмехнулся я и незаметной тенью проследовал за ним. Даже если бы он не был так упоён своей удачей, всё равно бы он не заметил меня. Это было время ужина,

и американцы останавливались здесь, чтобы перекусить по пути с работы – многие работали далеко от своих бездушных жилищ.

Опустив поднос с бургером на свободный столик, с дипломатом под мышкой клыкастый двинул в туалет.

– Привет, старик, – заскочил я следом. – Нехорошо ты с подельником поступил, не по товарищески.

Он обернулся и… «Уаыаы…» произнесла его окостеневшая челюсть в ужасе от направленного на себя нагана. У меня в багажнике было много вещей и документов Виталя, он часто уходил от жены и складывал их в мой багажник.

А я рассчитал верно – крик разбойник не поднял. Я же завёл машину и был таков.

Глава 8. Твин Пикс

УРА-А!!! Я оседлал белую лошадь! Я не верил своему везенью: Мили через три до меня дошло, что девяностый фривей, по которому я чешу, уводит меня не из штата, а наоборот, вглубь – об этом мне сообщил указатель: «Посёлок Сноквалми». Вообще-то, стратегически это был правильный ход: если кому-то вздумается меня искать, он сделает это в южном направлении. Ну а куда ещё тикать из отсыревшего Вашингтона? Конечно в Калифорнию! В лето. К морю! И я взял курс на водопад Сноквалми. Я видел его в ленте «Твин Пикс». В своё время это был мой самый любимый сериал. Продвигаясь по петлистой, неярко освещённой дороге, я уже издали слышал грохот падающей воды. И видел завесу водяной пыли среди вековых сосен в краю непуганых птиц.

Под замшелым бревенчатым мостиком я остановился в замешательстве. Никакой дикой природы, которая мне представлялась, вовсе не было. На ярко освещённом асфальтированном паркинге толклись дорогие машины, фланировали люди. А избушка на курьих ножках, к которому вёл мостик, оказалась импозантным отелем – я узнал в нём дом миллионера из телесериала. Из осторожности («а вдруг в кейсе никаких денег нет!») я взял самую дешёвую комнату, предъявив водительские права Виталика. И открыл номер невиданной мной раньше пластиковой карточкой. На родине я, как ключник, бренчал кучей железяк – от машины, от офиса, от гаража, от склада, от квартиры, а тут – вставил карточку в прорезь замка и… Вздумай я среди ночи подышать воздухом, ей же открывалась и наружная дверь! Короче, я вошёл в свой дешёвый номер и обомлел! Если это – самый дешёвый, то какие же здесь дорогие?!

Огромный зал, отделанный красным деревом, камин настоящего кирпича с штабелем дров на кованой подставке. Напротив – плазменник в полстены – лежи себе на гигантской кровати под балдахином и смотри. Сунулся за рифлёное стекло перегородки, и – о-о! – жемчужного цвета джакузи в виде громадного лотоса! Эх, была бы со мной сейчас Ляля!

Нанежившись в джакузи, я включил гидромассаж. И уже в бодром предвкушении потянул к себе дипломат. Но… как я ни крутил цифры, чёртов замок открываться не хотел. Взопрев от возбуждения, я кинулся к окну. Хрен! В этом номере всё оказалось для понтов – пришлось идти в машину за инструментом. Уже на последней ступеньке в вестибюль я услышал осторожный стук в дверь и чей-то тенорок с незнакомым акцентом: «Майк, ар ю хир?». Я замер, вслушиваясь в тишину. Но, с мгновенье потоптавшись, кто-то прошлёпал к лифту. Блямкнув, двери закрылись. Странно. А я-то думал, что я единственный жилец на этаже – в декабре отдыхающих мало. Натянув на себя непроницаемую мину, я вошёл в вестибюль и зорко оглядел холл. Всё было спокойно. Тётушка-дежурная дремала за конторкой. У горящего камина пенсионеры костерили развратника-президента и миньетчицу Монику.

Глава 9. На волю, в пампасы!

Двух ударов молотком по отвёртке оказалось достаточным – тугие банковские пачки разлетелись по полу! Мир мгновенно расширился до безграничности, словно я рывком открыл неприступную прежде дверь. В голове, как тысячевольтный удар счастья, грянул космический Реквием. И… я потерял равновесие. Наверное, лунный хинин меня, забравшегося в звёздные сферы, вернул в тело. И вся моя суть, как к глотку виски, рванула к новому отсчёту времени – ура! Я богат!!! Трясущимися пальцами я разорвал пачки. Я подбросил их к небу! Это теперь моё, моё!!! Я богат!!! Хотелось напиться и позвонить всем, кого помню – и тем, кто там, далеко за океаном, и тем, кто тут – Биллу Гейтсу, Рокфеллеру – всем-всем. И проорать: «Да, суки! Я такой же, как вы, такой же!» – и, выхватив из снэк-бара бутылку виски, я запрыгал с ней по комнате. Пачек оказалось пятьдесят восемь, до круглого счёта двух не хватало: то ли дед русаков наколол, то ли они сами поживиться успели. И уже не слушая взывавшего к осторожности своего червячка, я скакал по комнате и глотал виски прямо из горла. А из ухмыляющейся рожи камина подмигивали мне золотые саламандры, а они, изгибаясь, льнули ко мне, заходили в каждую пору моего тела, и я не заметил, как уснул.

Снился мне огромный трёхметровый человек. По каким-то неосвещённым улицам с неизвестной целью он гнался за мной и отвратительно хохотал. А я, как таракан, забивался в разные щёлки и оттуда

с колотящимся сердцем всматривался в его лицо. Но он поворачивался ко мне в состоящий только из носа профиль, который вытягивался, и пытался схватить меня хлопающими ноздрями. Схватить, чтобы засосать в себя, как кремовый порошок. А я, чтобы убежать, дрыгал ногами, хотя ноги дрыгаться не хотели… «Ю ар хир?» – раздувался этот чудовищный ухмыляющийся нос, и вот я наконец узнаю его – это же Гагик! Гагик!!! «Джингл бэлз, джингл бэлз, джингл олл вэ вэйс!» – выводит он тонким голоском и уморительно подпрыгивает. А вместе с ним подпрыгивают и кривляются в окне еловые ветки. И тут вдруг я понимаю, что растут они вовсе не за окном, а меж рогов огромной Гагиковой головы. «Идите-ка, идите-ка, я вам что-то покажу-у- у» – смеётся Гагик. И тут я проваливаюсь в бездну! Стоны, крики, огонь… «Сдавайте валюту, пожалуйста, сдавайте валюту», – размахивая молотами, повторяют головоногие кузнецы и жестами предлагают мне улечься в железный гроб. Вцепившись в вишнёвый кейс, я упираюсь, а они и смеются и… Аааааа!!! Я уже проснулся, но всё ещё кричу, не в силах остановиться…

Голова раскалывалась – ощущение, что меня отстучали молотками. Я подскочил к окну и резко отдёрнул штору. Давно уже был белый день. Я утрамбовал банкноты в кейс, часть рассовал по карманам и носкам. Вторые сутки я не ел по-человечески, и голод уже давал о себе знать. Только раньше, если у меня в кармане было сто долларов, я чувствовал себя уверенней. А теперь, когда сумма и в самом деле зашкаливала, мной владел животный страх. Страх и больше ничего! Надо было что-то быстро решать, думать, во что вложить эти деньги. И искать Лялю. Где и как?! Боже! Да просто нанять детектива!!! Какое простое решение!!! А где его взять? О! Надо найти того мудака, которому, когда я работал у деда Майка, частенько натирал машину. Негропулос, что ли? Этакая сероглазая помесь латиноамериканца с греком. Я познакомился с ним на автосервисе месяца два назад. Не подняв ручник, этот растяпа вздумал собственноручно установить, что стучит возле поддона. При этом он был в наушниках (и зачем ему плеер, если в салоне – «Пионер»?!). Короче, машина покатилась в тот самый момент, когда, лёжа на асфальте, он почему-то смотрел не на колесо, а на пиццерию. Я еле успел оттянуть ручник вверх! Что и спасло ему жизнь. А в благодарность мистер Икака Негропулос вручил мне визитку, где было сказано, что он – адвокат! Потом он каждую неделю приезжал на своём безнадёжно разбитом Комаро. Теряясь в догадках, откуда берутся в таких количествах эти вмятины и царапины, я то и дело гипсовал эти ссадины и царапины. За что загадочный лойер оставлял мне отпадные чаевые. Правда, если клыкастый успел нажаловался на меня Майку, тот тоже может его нанять. Только вряд ли. Скорее всего, тот скажет: «Сам прошляпил, сам ищи!». Дед – человек осторожный.

Я открыл телефонный справочник. Вот он – мистер Икака Аристотель Негропулос! Давясь от смеха, я воскликнул:

– Хай, Икака! – имя детектива всегда вызывало во мне веселье.

– А… кто это? – изменив голос на женский контральто, подстраховался абонент. (Дальнейшее шло на доступном мне английском с использованием не вполне читаемого слэнга – я привожу здесь более-менее приличный вариант.)

– Это Юрик, – твой русский друг из бодишопа! Помнишь меня? – не далее как в понедельник вечером я чистил его многострадальную тачку от какого-то очередного репья.

– Факинг френд! – радостно заорал тот. – Конечно, помню! Если хочешь ещё подзаработать, жди завтра! – И загоготал, как довольный гусь.

– Дудки! – я перешёл на деловой тон. – На сей раз я сам дам тебе подзаработать! Я решил воспользоваться твоими услугами!

– Йес, факинг рашен! – ещё больше возбудился Икака. – Я твой с потрохами!!!

– Дело плёвое, май френд, – объявил я после секундной заминки. – Надо разыскать в Канаде одну особу…

– Бабу?! – возликовал лойер.

– Йес, факинг френд!

– Считай – она у тебя в кармане! Или в постели, если тебе так угодно. Дело плёвое!

– Тогда называй любую сумму! Сколько?!

– Че-го? – заморгало в селфоне. – Хэх! Нельзя же так сразу да ещё утром в субботу! – послышался звук льющейся жидкости. – Обычно я беру двести в час, – объявила трубка через минуту. – И заметь – это дешевле, чем у моих коллег, – снова забулькало. – Спрашиваешь, сколько стоит?…– Икака что-то прикидывал. – Обычно я беру две штуки вперёд. Но… С тебя… возьму три… Снова шучу, хихт! – он икнул прямо в трубку. – Сочтёмся, короче. Мне людей жалко, факин кэт! Шучу!

– А сколько времени у тебя уйдёт на работу? – возобновил я разговор через добрых минуты две. В трубке зашелестела бумага и защёлкал калькулятор.

– Часа четыре, если не возникнет осложнений! – наконец раздался его радостный вопль. – Первый взнос – пятьсот. Идёт?

– Идёт! – я чуть не подпрыгнул от счастья – пятьсот баксов у меня на счету были, так что залежи наличных можно было пока не обнаруживать. – А чеком можно?

– Какая мне разница – чек или не чек. Я-то тебя в любом случае найду – я же детектив! Шучу! Хихт! – снова икнул Икака.

– А, ты пьяный? – догадался я.

– Нет. Уже трезвею, – сообщил он после длительной паузы, за время которой я решил, что он заснул, и уже хотел положить трубку. Но его голос прорезался снова. – Ещё пять минут – и факсуй мне чек! – он продиктовал номер. – И ещё, факин рашен! Пришли-ка мне всё, что про ту бабу знаешь – имя, фамилию, место рождения. Хихт. Без пятидесяти грамм я не могу работать. Шучу! Я тебя потому и люблю, что русская водка – лучшая. И опять шучу! Греческая тоже ничего! Хи-хи. Будешь в России, привези мне бутылок пять-шесть вашей водки, – в ухо пошёл отбой.

Кажется, с детективом я лоханулся, но… Делать нечего. А кроме того, мне чем-то нравился этот сын греческого подданного и латиноамериканки. Наверное, напомнил отечественного Бендера. Я поднялся на четвёртый этаж, где к услугам клиентов был и интернет, и факс, и со щемящим сердцем обрисовал Икаке мою слегка подзабытую ноту Ля. Какое счастье, что я богат и уже не наркозависим – последняя ломка была у меня ещё когда я жил у моих друзей-бомжей! «Дорогая сестричка! – отпечатал я по-русски. – Твой братик Юрик хочет тебя увидеть. Напиши мне по такому-то е-мейлу». И, отпринтовав, фоксанул вместе с чеком на пятьсот баксов Икаке. Теперь можно и позавтракать.

Глава 10. Мистер Икака Негропулос

Сверкая на солнце, как глыба стекла, водопад с грохотом падал в ущелье. Я не мог оторвать глаз от облака водяной пыли. В пронизывающую небо ледяную радугу, раскинув большие крылья, ныряли птицы. Я тоже казался себе птицей, только стремительный лёт моих крыльев зависел теперь от Икаки. Съев стейк и запив его коктейлем «Твин Пикс», я спустился в паркинг и на всякий пожарный перепрятал бывшие при мне восемь пачек в аптечку (больше всё равно бы не вместилось). Потом отправился в гостиничный бутик, где приоделся в джинсы, футболку, батник и куртку с изображением Твин Пикса. Поразмышляв, приобрёл ещё и кремовый костюм от Филиппа де Моро. В таком не стыдно и к Ляле!

Но стоило войти в номер, затрезвонил телефон.

– Ах же ты факинг жук! – услышал я весёлый гвалт своего детектива. – Твоя Линда в Америке! Срочно дуй в Кент, на улицу Виллис. Это в миле от твоего овощного завода, знаешь? Там мой филиал возле Азиатского буфета. Увидишь вывеску «Ипподром» – и заходи.

Не помня себя от счастья, я запрыгнул в душ и в натянутом прямо на мокрое тело костюме от Филиппо де Моро полетел в Кент. Меня не насторожило ни то, что с момента разговора с Икакой прошло не более трёх часов, ни то, что он позвонил прямо в номер, ни даже то, что назвал овощной завод Кызылыча – моим.

«Ипподром» мостился за азиан-буфетом в закутке между пиццерией и Сэйфвеем. Я сунул голову в единственную открытую дверь и обнаружил своего детектива. Упёршись ногами в колченогий стул, а локтями в корпус компьютера, он раскачивался в каком-то лишь ему известном ритме, и, кажется, спал. Кроме гигантского карандаша с набалдашником в виде белой лошади на столе ничего не было. Как не было здесь ни кресел, ни шкафов.

– А, это ты, – не открывая глаз, поправил он на себе галстук, украшенный парой пятен кетчупа и горчицы.

– Как ты нашёл меня? – хлопнул я его по плечу. – Я же не говорил тебе, где остановился.

Он слегка отворил веки и хитро посмотрел на меня:

– Я же детектив. Это адвокаты ничего не умеют, а я… Тебе, кстати, скоро понадобятся и адвокаты. Хи-хи! – и потёр две красные планеты вокруг оранжевого солнца на своей удавке.

– Я честный человек! Какие адвокаты?! – невольно напрягся я.

– Да? Никогда не видел честных русских, разве что «Белого» и «Чёрного», – скаламбурил плут и, подпрыгнув, как мячик, щёлкнул за моей спиной замком двери. – Честными только коммунисты были. Ты коммунист?

– Что-то не понимаю я американский юмор, – с силой впился я лошадиной мордой в ладонь.

– А у меня юмор греческий, хи-хи! – он неожиданно-резким броском выдернул из внутреннего кармана моего пиджака пачку соток. – Не дрейфь, факин кэт, я всё знаю!

Я облился холодным потом.

– Да не бзди, договоримся! Я же не янки какой-то, чтобы сдать тебя копам.

Я судорожно сглотнул слюну.

– Нет, если ты предпочитаешь каталажку, могу и сдать, – Икака бесцеремонно уставился в моё лицо. Потом внезапным рывком оттянул полу моего пиджака и ловко засунул пачку обратно. – Да релакс, расслабься! – рассмеялся он, плеснув в одноразовый стаканчики примерно грамм сто. – Чего вцепился в лошадь? – он с силой вырвал из моей ладони карандаш. – Пей виски, – и потянулся чокаться.

Я хмуро полюбопытствовал, чем запить.

– Кола пойдёт? – деловито осведомился детектив и бросил мне баночку. Я её не поймал, и от удара о пол она вылилась на замызганный ковёр. Я поискал глазами тряпку.

– Да расслабься, – опять раскололся Икака, явно наслаждаясь моей потухшей миной, – с такими деньгами, и – тряпку ищешь! Какой, кстати, идиот бабки в карманах носит?

– Тебе что ли отдать?! – вдруг взъярился я.

– А было бы умно, – ткнул он мне полный стакан. – За наше совместное предприятие! – и, чокнувшись со мной бутылкой, загадочно произнёс: – За Линду!

Чёрт! Я-то совсем забыл, что мы к Ляле собирались!

– А мы сегодня к ней и не успеем, – беспечно известил он. – Я ещё и не искал её. А вот русские друзья и хозяин бодишопа за десять штук уже готовы схряпать твои полмиллиона! Хихт! – упиваясь сменой выражений на моём лице, снова хихикнул грек. – Говорят, ты вор. Только какой же ты вор, если они лохи? Полмиллиона – за десять штук – придумают же! Да ещё, чтоб и копы не узнали! – покатился он со смеху. – Выпьем, чтобы они их вообще не нашли. Хихт! – объявил он, доставая вторую бутылку.

– Какие полмиллиона?! Шутишь?! – всполошился я.

– Ах, да, там чуть меньше, – стукнул себя по лбу проклятый грек и, шаркнув 45-м размером башмака, отвесил мне шутовской поклон.

– Пардон-пардон! Тысяч триста до миллиона не хватает! – я судорожно осушил стакан.

– А ну хватит дурака валять! – внезапно рявкнул Икака. – Если бы я хотел, ты бы ещё вчера сидел за решёткой. Или поджаривался на вертеле. Под хреном или с горчицей – как тебе больше по вкусу. Но… – он снов хихикнул. – Я человек благородный. Я русскую водку люблю. В общем, пьём за фонари уезжающих вдаль автомобилей и за форы приближающихся поездов! – он ободряюще хлопнул меня по колену.

Ничего не поняв, я выпил.

– Предлагаю одно интересное дельце! – Икака громко икнул. – Пару дней назад мне из моих источников стала известна одна ценная информация. Пока она в зародыше. В зёрнышке, – он плюнул под ноги и растёр. – Зёрнышко – мелочь, а таит оно в себе – что?… – чёртов детектив скосил на меня серый с лиловым кантом глаз. – А таит оно в себе целое лимонное дерево! И если мы вложим в него наши полмиллиона, то буквально через пару месяцев оно нам даст – что?

Я уныло раздумывал над словом «наши».

– Как минимум, восемь! Восемь!!! – озвучил он ответ на свой вопрос. – Причём, заметь – я возьму всего пять! Остальное – твоё! – и, сложив лапищи одну на другую в левой части груди, скромно склонил голову. – Как видишь, мы два сапога – пара, я такой же прохиндей, как ты. Только играю по-честному: у тебя останется ещё целых сто штук. Кроме того, – он выразительно ткнул большим пальцем себе за плечо, – если мы будем друзьями, я помогу тебе красиво залечь на дно. Ты же не хочешь, чтобы тебя депортировали? А здешние иммиграционные службы ещё и обвинят в преступлении. Они это делают на раз – находят лжесвидетелей, и таких как ты на вполне законных основаниях вышвыривают вон. А тебя ещё и свои ищут. Я вообще-то не знаю, может, за тобой делишки и покрупнее водятся? Может, ты политический? Или олигарх в бегах? Надо бы мне тебя пощупать вообще-то.

– А что, для детектива полмиллиона – большие деньги в Америке? – съязвил я, глядя в его неунывающую рожу.

– О, мой друг, – закатил глаза прохиндей. – Я провёл прекрасные дни на Таити с двумя замечательными гречанками. Ты когда-нибудь видел гречанок – натуральных блондинок? А я с ними лето провёл. Так что рассчитываю на консенсус. Тем более что если за тобой есть большие дела, я тебя даже из тюрьмы вытащу – напишу косачку – и воля! Мне это раз плюнуть. Главное, чтобы делёж был честный. Вот такой я прохвост, хихи-с!

Мне стоило выиграть время, и я подумал, что пол-лимона – это всего лишь оплата за то, чтобы он меня не сдал.

– А мы что? Составим контракт или как? – сделал я вид, что готов поддаться.

– Конечно! – оживился негодяй. – Составим, заверим, и заодно ты нотариусу в письменном виде поведаешь, как и у кого ты эти деньги получил. Я привык работать честно! Ты мне – я тебе – и разошлись краями!

Я взмок.

– Но… если мы компаньоны, – я усиленно пытался не потерять нить разговора (выпитое мешало сосредоточиться), – ты должен рассказать, куда мы вкладываемся,

– О! Вот это разговор! – энергично хлопнул он по моему колену ещё раз. – Тебе знаком городок под названием Олимпия?

Я согласно мотнул головой. Это ведь именно в Олимпии когда-то, ещё в 776 году до нашей эры начались олимпийские игры. Про развалины Олимпии я впервые услышал от Ляли. Она там была на археологической практике. И я буквально помешался на Древней Греции, когда она уехала. Я катался по карте маршрутами мифических героев, и пока меня не свалила наркота, даже раза два мотался

в Пелопоннес, чтобы увидеть разрушенные Микены. Вот это всё, о чём мне рассказывала Ляля, я и поведал Икаке. По его отвисшей челюсти я, было, решил, что чёртов грек сражён моей эрудицией. Но когда он наконец расхохотался, я озадачился.

– Микены! – кудахтал он. – Хи-хи! Вот же дурья башка! Я что, о развалинах?! Я о высокоиндустриальном сити толкую!

Тут я вспомнил, что, вроде, и правда встречал такое название на полпути к Орегону. Встречал, но не заезжал.

– Это миль семьдесят к югу, – сухо ответил я.

– Семьдесят?! Отлично! Слава Богу, что не меньше! – пританцовывая, завизжал Икака, и я снова подумал, что зря я с ним связался – передо мной не только мошенник, но, кажется, ещё и самый обыкновенный дурак. – Слушай сюда! – возбуждённо зашептал он. – Сиэтл – самый крупный город, да ещё и порт этого мерзкого штатишки. А Олимпия – его столица! И соединяет их один – единственный фривей. В час «пик» по нему от пункта «А» до пункта « Б» – около двух часов. По моим каналам я получил разработки плана строительства: чертежи и всю информацию о местах!

– Местах чего? – я уже раздумывал, как бы всё-таки избавиться от этого странного субъекта.

– Да местах, где пройдут рельсы, конечно! – загоготал грек. – Железка «Сиэтл – Олимпия»! Где под это дело будут землю скупать! Сейчас это плёвые земли, они гроша ломаного не стоят! – говоря это, он всем корпусом тыкался в моё плечо. – А через пару недель, когда проект утвердят…Тогда ни один идиот за «просто так» землю тебе не отдаст! – он снова взвизгнул от ликования. – Я уже договорился с парочкой лохов за сорок центов квадратный фут! Всё вместе потянет на 600 тысяч баксов! То да сё – отдадут и за 500! Сечёшь?! Один из наделов уже сегодня стоит намного дороже. А одному из них он вообще достался в наследство, цены он не знает, а деньги нужны. Так что, считай, дело в шляпе! Месяца не пройдёт – и мы на коне! Так что сейчас или никогда!

– «Ничего себе!» – подумал я и быстро подсчитал в протрезвевшем уме, чем мне это грозит. Он посмотрел на меня с вызовом. А потом добавил:

– Вообще-то, я мог бы взять кредит в своём банке, но… подпортил по пьянке свою кредитную историю.

– Ты что, больше, чем на лимон замахнулся? – как и положено с пьяными и помешанными, воскликнул я с деланым восторгом. – Да ты гений! Завтра же деньги привезу!

– Ни фи-га! – он выпучил глаза и помахал перед моим носом коротеньким пальцем:

– Едем сейчас! И в залог нашей дружбы я тебе за двадцать тысяч свой «Гранд-Широки» подарю – всё-таки ты Микены видел. Можешь даже пока на моей яхте пожить, у меня искать не будут.

– Хммм, – усомнился я. – А где гарантия, что на яхте меня не цапнут по твоей наводке?

– А я что, депо по выписке гарантий тебе? – возмутился грек. – Если тебя арестуют, то спросят, где деньги. А ты, я уверен, покажешь на меня. Тем более что на днях я куплю землю, и она стоит примерно, сколько и украдено. Мы, факин кэт, – сообщники. И что тебе-то особо грозит? Ну, отсидишь полгодика и полетишь на родину белым лебедем. А меня лишат лицензии, недвижимости, яхты да ещё и отправят в федеральную тюрьму. Надолго, причём. Я, брат, рискую куда больше, – он посмотрел на меня испытующе. – А второй вариант: хотел бы я тебя наколоть (я-то ещё вчера знал, где ты), мог бы и заказчикам накинуть ещё штук десять за срочность. Да ещё, пока ты завтракал-обедал, очистить твой номерок от наличности. Или копов вызвать – они бы за пару банковских пачек и сами бы всё из твоих карманов вытряхнули. И опять: годок в тюрьме – и на родину. Прикинул? Но я человек честный. И я люблю русских. Особенно тех, которые мне жизнь спасают. Если, конечно, они не очень наглеют, конечно. А ещё я люблю сербов и македонцев – я рос среди них. И мексиканцев люблю. И болгар, а ещё индусов и негров. Правда, не всех. А вот поляков и албанцев, хоть режь, не люблю. Такой я политически некорректный человек. Да и фамилия у меня некорректная, с такой в Конгресс не берут! Правда, я бы туда и сам не пошёл – терпеть не люблю политику!

– Так значит, когда я звонил, ты уже знал, где я? – недоверчиво пресёк я его словесный поток.

– Хи-хи, – снова развеселился мистер Негропулос. – Конечно! Твой ограбленный соотечественник наехал на негра, негр нанял меня – он-то ведь тоже боится русской мафии и официальных властей. Но я выбрал тебя – ты более платёжеспособный! А вот признайся, ты же не узнал меня вчера? – он повернулся ко мне всем корпусом. – Ну, когда я стучал к тебе? А? Хихт!

Я тупо смотрел на его наглую рожу. Ни хера себе! Выходит, я был у него под колпаком всё то время вчера, пока купался в сотках!

– А что тут сложного, я же профессионал! – раскололся он по-новой и подвинул себе под голову принтер. – И что тебя искать? Ты же, как придурок, на собственной машине попёр по первому попавшемуся маршруту. Да ещё и в отеле использовал документы своего Вита, а Вита я знаю – это ещё тот жук! Дело плёвое, короче! В общем, не бойсь. Я тебя кое-чему обучу, и в следующий раз так быстро тебя никто не найдёт. Даже я. Хихт. Шучу!

Через минуту его богатырский храп заполнил комнату. А у меня возникло смутное желание шарахнуть его чем-то тяжёлым. Впрочем, ничего подходящего не было, да и куда бы я от него ушёл.

– Чёрт с тобой, прохвост, – сказал я слегка огорчённо.

– Правильно! – тут же отозвался детектив. И, вытащив из кармана листочки с перефотографированными чертежами, небрежно бросил их в ящик. – Поехали. А девочкой я завтра займусь. И учти – я это делаю бесплатно. Ты ведь Микены видел!

Глава 11. Мы заметаем следы

На сей раз комната уже не светилась, воздух не пел и единственное, что унимало дрожь в руках, – обещание сделать мне Рождественский подарок – найти Лялю. Мой гештальт цвета маренго, который последние годы держал меня на этом свете. Я хмуро отсчитал пройдохе пятьдесят пачек.

Рассовав их по необъятным карманам, он потребовал и ключи от машины и… подозвал такси. Что за странные маневры? Но нервничать уже не было смысла. Ладно, хоть сто тысяч при мне! С ними можно и самому разыскать Лялю, раз она в Америке.

Но тут за окном тормознул джип цвета «мокрый асфальт», из которого мой пройдоха и выскочил.

– Я здесь! – радостно кинулся я ему навстречу.

– Заметаем следы, – грек бросил мне мои ключи и, приказав следовать за его джипом, нажал на газ. – Впе-рёд!!! – и мы рванули в противоположную от Сиэтла сторону – на восток…

***

На этом рукопись обрывается – что было дальше, нам уже не узнать. Фамилия «Арестович» возникнет ещё раз только в мае 2014 года в документах дознания о некоем человеке, не вернувшемся в номер одной из одесских гостиниц. Об этом факте писали газеты, когда в результате столкновения разных политических взглядов в Одессе погибло много случайных и неслучайных лиц. А почему далёкий от политики Юрий Арестович оказался в эпицентре тех событий, установлено так и не было. Как, впрочем, осталось неизвестным и то, была ли его гибель связана с какими-то политическими убеждениями. Найденное в его куртке письмо с одесским адресом гражданки Линды Белозёрской следствию объяснить не удалось. Упомянутая в его записках гражданка недавно вернулась из Канады, где работала по контракту, но вспомнить его не смогла. В связи с недостатком фактов дело было закрыто. И все вещественные доказательства, включая рукопись, так и остались в архиве следствия. Время начиналось смутное, не до разгадок случайных кроссвордов…

ЕЛЕНА КОЛТУНОВА

КОГДА УМОЛКНУЛ ЗВОН ТРАМВАЕВ
рассказ

Стоял жаркий июль 1951 года. Алка, правда, утверждает, что год был не 51-й, а 50-й. Возможно, она и права. Ей лучше знать. Ведь это у неё на веранде разворачивались главные события. Ладно, пусть! Итак, стоял жаркий июль 1950 года. Учебный год и экзамены оказались позади. О новом учебном годе пока и думать не хотелось. Поэтому за календарём мы из принципиальных соображений не следили. Правда, дни недели, в отличие от дат, определялись чётко. Они были строго регламентированы кулинарными стандартами дачников, проживавших в прямом смысле в тесном, но относительном содружестве дачного коллектива по улице Герцена, что на 12-ой станции Большого Фонтана.

Уже с утра жужжание работающих в унисон примусов слегка заглушало доносящееся неясное бормотание прибоя (неясное потому, что оползни тогда ещё не успели приблизить море к дачам на 12-й станции) и вплеталось в звонки трамвая №18, проходившего в те годы прямо вдоль береговой линии. А вместе с жужжанием примусов от веранды к веранде докатывались волны кулинарных ароматов, соревнуясь с полынно-пыльным запахом нагретой степи и солоновато-тинным запахом моря. Об ароматах цветов на клумбах я умалчиваю, потому что по неизвестной причине в те времена на дачах сажали в основном ничем не пахнущие майоры – яркие некрупные оранжево-красные цветы с жёстким венчиком и прямым жёстким стеблем (возможно, это была дань отшумевшей в недавнем прошлом войне).

Так вот, у всех дней недели был свой запах. В понедельник на каждой веранде булькали кастрюли и скворчали сковородки, а в воздухе весьма недвусмысленно пахло рыбой. Это дачники дружно утилизировали улов супруга Мадам Стороженко – дворничихи коллектива. Кличка «Мадам Стороженко» была естественной данью нашего увлечения Катаевым. Муж Мадам всю неделю трудился где-то на заводе, кажется, на «радиалке», а в воскресенье регулярно на целый день уходил на рыбалку. Причин тому было много. В первую очередь, рыбалка – это хобби (даже тогда, когда этого слова в нашем лексиконе и в помине не было). Во-вторых, рыба, в отличие от Мадам, всегда безмолвствует. В-третьих, возможность добавить что-то в негустой бюджет семьи, значило обеспечить себе покой на неделю.

Мадам Стороженко появлялась в понедельник рано утром на полянке, окружённой скоплением веранд и громогласно выпаливала одну и ту же тираду: «Ой, люди добрые, рятуйте! Выручайте! Опять мой паразит, бездельник натаскал бичков, чтоб его с теми бичками холера узяла! А что мине одной с такой прорвою робыты. Уж купуйте их, клятых, хоть по дешевке. Задаром отдаю…».

Хотя на Привозе рыбу можно было купить и дешевле, но за ней надо было ехать на 18-м, будь он неладен, трамвае. А потом ещё и возвращаться. Кроме того, после воскресного так называемого «отдыха» все были без сил и без продуктов. Почему? Поймёте дальше. Если вы в те годы жили на даче, то и вопросов у вас нет.

Вторник, всем известно, самый лучший базарный день. Во вторник со всех веранд тянулся аромат куриного бульона и шёл обмен информацией о достоинствах купленных кур. Причём вес кур завышался, а цена и возраст занижались. Неудачи типа надутой через гузнышко курицы или раздавленного в ней желчного пузыря, естественно, замалчивались. Только моя бабушка, Розалия Григорьевна, купив вместо цыплёнка когтистую, волосатую, жилистую маломерку и проварив её безрезультатно целый день до вечера, самокритично философски заметила: «Наверное, это был старый цыплёнок».

В среду морские и степные запахи перебивал аромат жареных котлет. Потому что по средам еженедельно на дорожке нашего дачного коллектива возникала грузная фигура однорукого Пети, приносившего слегка привявшие полоски филейчиков, кругляши задней части и антрекоты с устрашающе чёрно-красным разрубом хребетных костей. Петя работал грузчиком в мясном корпусе, что делало, учитывая его однорукость, его фигуру довольно загадочной. Поговаривали, что у него на запрятанной в рукав культе есть все пять пальцев или что у него имеется стальной протез-крюк, которым он пользуется при погрузке и разгрузке. Торговаться с одноруким инвалидом казалось неудобным. Но ещё неудобнее, сложнее было добираться лишний раз 18-м трамваем до Привоза. Поэтому, критически обследовав с помощью носа куски мяса, хозяйки раскошеливались и приступали к священнодействию приготовления обеда.

По четвергам на дачных верандах, бесцеремонно устраивая раннюю побудку, появлялся Кривой Андрей с огромными кусками уже разрубленной камбалы. Почему одноглазую рыбу продавал одноглазый Андрей и вообще, почему все наши поставщики были увечными – оставалось загадкой. Впрочем, калек после войны хватало. Мадам Стороженко своей избыточной, как казалось, укомплектованностью всеми органами и конечностями плюс мощными голосовыми связками и бойко подвешенным языком компенсировала недостаточность конкурентов.

Итак, четверг снова был рыбным днём (не с нашей ли дачи пошла узаконенная рыбная диета 70-х годов?). Но пахло намного резче, чем в понедельник. Потому что камбала – это тебе не бычок. В ней рыбный дух намного забористей. Бычок, особенно в ухе, в отношении запахов ведёт себя довольно скромно. Но жареная камбала концентрирует на себе всё внимание. Так что спутать четверг с понедельником никак было не возможно.

В пятницу и субботу в кулинарных изысках дачников наблюдались разброд и шатание, но так как даже за рыбным четвергом всегда идёт пятница (да и остатки рыбы с четвергового обеда на пятничный завтрак не давали запутаться), а в субботу, как правило, начиналась подготовка к варке воскресного борща, то и эти дни были тоже точно определены.

А борща в воскресенье требовалось много. Это был день *врагов*. Собственно говоря, «врагами» именовались близкие и дальние родственники, друзья и просто знакомые, с восходом воскресного солнца возникавшие на дачных дорожках вместе с детьми и воплями: «А вот и мы! Не ждали?!».

Так что в понедельник с веранды на веранду летел вопрос: «Сколько у вас вчера было врагов?». Но это ничего не значило. Врагов, то есть гостей, кормили, отправляли на пляж, снабдив подстилками, мыли после них горы посуды, уступали им шезлонги и раскладушки, на которых вознамеривались отдохнуть после рабочей недели отцы семейств. И даже разбирали ссоры многочисленной привезенной детворы, не всегда будучи уверенными, что вытерли сопли и слезы или дали подзатыльник своему сорванцу.

Это именно тогда родился анекдот про Рабиновича, которому Господь, несмотря на прегрешения усопшего, дал место в раю, мотивируя тем, что у бедняги при жизни была дача, на которую съезжались по воскресеньям гости.

Поэтому в воскресенье варился борщ, который при экстремальных обстоятельствах можно было перелить в бо́льшую кастрюлю (при случае в ход могло пойти и ведро) и долить водой. Но однажды традиционное воскресное меню было нарушено. Собственно, об этом мой рассказ, а всё остальное – лирическое отступление, необходимое, чтобы вы прочувствовали дачную атмосферу 51-го или, пусть уж будет, 50-го года.

Надо сказать, что все дачки в нашем коллективе были маленькие – одна комнатка с верандой. Самая крошечная дачка была у самой многочисленной семьи по фамилии Переплётчик. Было совершенно непонятно, как такая орава на ночь размещалась в 12-14 метровой комнатёнке и такой же (если не меньше) веранде. Стоя спали они или на потолке укладывались? Поскольку каждое непонятное явление становится чуть понятнее, если его обозначить каким-либо названием, то семейство Переплётчиков получило прозвище «Еврейский аттракцион».

Воскресные гости и для них не были исключением. Кроме того, у Переплётчиков была большая родня в Гайсине, Тульчине, Балте (чуть было не написала в Бойбереке и Касриловке) и в других славных городах Одесской и Винницкой областей. Не знаю, была ли у них родня, говоря шолом-алейхемовским языком, в Егупеце, но в Москве нашёлся дядя, который вместе с тётей и внуком заявился к ним на дачу в том же жарком июле 51-го или 50-го года. Как разместили тётю и внука – это секрет переплётчикова аттракциона. С дядей оказалось проще. Он приехал спасать зрение в знаменитый институт Филатова, так что на лежачее место у Переплётчиков дядя не претендовал.

Зато в ближайшее воскресенье, оказавшись за столом в центре внимания (московский гость, а как же иначе?), дядя рассказал, что с ним в палате находился молодой репатриант, красавец, потерявший зрение оттого, что когда его снимали во время выступления в миланской опере Ла Скала, он слишком долго смотрел на яркие софиты и они «выжгли» ему глаза.

– Понимаете, – говорил дядя, – он мог и отвернуться, но эти испортило бы роль, а Артур, так красиво зовут молодого человека, не мог себе такого позволить. Герой, одно слово, герой! А поёт как! Такого голоса даже у нас в Москве в Большом не услышишь!

Романтическая история тут же разнеслась по всему дачному коллективу.

Молодой, красивый, репатриант то ли из Франции, то ли из Италии (иначе как бы он попал в Ла Скала?), певец, слепой!!!

– Ой, ему же надо есть наваристые бульоны, – сказала Эти Мироновна – хозяйка, у которой мы снимали дачу. – Я как зубной врач это вам абсолютно компетентно говорю.

Слово «компетентно» стало пусковым механизмом. Со всех сторон, как из рога изобилия, посыпались кулинарно-медицинские советы-рецепты. Возник такой гул и атмосфера накалилась так, как будто одновременно заработали все дачные примуса. Уже прощаясь, они говорили:

– Интересно, а нашу икру из синеньких он пробовал у себя во Франции или Италии? – с сарказмом вопрошала Дина Михайловна. – Я так уверена, что нет!

– А блинчики из абрикос? – вмешалась Ива Анатольевна.

– Ах, оставьте эти ваши кулинарные фокусы с падалицей, – оборвала её Генриетта Александровна.

Страсти стали разгораться не на шутку.

– Ша, женщины! – прервал дискуссию немного освоивший одесскую «терминологию» дядя, – Женщины, ша! Я в следующее воскресенье привожу молодого человека, а вы обеспечьте стол. И никаких борщей!

– Почему «никаких борщей»? – попыталась возразить Катерина Тарасовна. – Он что, во Франции или Италии пробовал настоящий украинский борщ?!

Но её уже не слушали. Каждая хозяйка отправилась на свою веранду обдумывать личный вклад в предстоящий обед, своё коронное блюдо.

Итак, в ближайший воскресный день с каждой веранды потянулся одуряющий аромат, призванный удостоверить индивидуальную кулинарную квалификацию хозяйки.

Но всё перебивал концентрированный (благодаря математическому умножению на число дачных хозяек) запах куриного бульона.

К часу дня дядя с молодым человеком добрались до дачи. И началось! Столы сдвинули на той самой полянке, куда выходило большинство веранд.

Каждая хозяйка притащила своё, сотворённое по секретному бабушкиному рецепту блюдо. Икра из синеньких была не менее чем в пяти вариантах. Куриные бульоны по наваристости и плотности могли бы соперничать с холодцами. Копчёные и солёные скумбрии-«качалки» отливали золотом и серебром. Даже Мадам Стороженко принесла блюдо жареных бычков, сгоняв сынишку за первой партией улова к отцу.

А разговоры! А расспросы! Правда, одесские женщины, что бы о них не говорили, народ деликатный (чего не скажешь об их телосложении). О том, что случилось со зрением, они не спрашивали. Но так как Артур совершенно определённо заявил, отвечая на вопрос, что самые красивые женщины в мире – это испанские цыганки, то, скорее всего, враньё то, что он родился незрячим, а романтическая история, преподнесённая дядей – правда. А иначе, как бы он определил, кто первые красавицы мира? Правда, после этих слов о красавицах-испанских цыганках некоторые наши дамы стали вздыхать, мол, как жаль, такой молодой и так плохо видит… Совсем плохо.

Но в целом день и обед удались. Правда, молодой человек не пел. Опять-таки, из деликатности никто не решался попросить его спеть. Как это будет выглядеть? Сначала покормили обедом, а теперь делай им бесплатный концерт? Неприлично! А тут за разговорами и ужин подошёл, всё на той же полянке, под теми же деревьями. А там и луна в ветвях запуталась: затрещали цикады и смолкли звонки 18-го трамвая. Наступила ночь. А с ней пришла проблема, где устроить на ночь гостя. Дядю умудрились как-то вписать в переплётчиковский еврейский аттракцион. Но как быть с молодым человеком?

После совещания решили устроить его на веранде (благо, ночь тёплая) у Алкиной мамы. Причины были весомые. Алкина мама была певицей Одесского оперного театра. Сама Алка заканчивала уже школу имени Столярского. Так что решение было естественным. Нельзя сказать, чтобы Алкина мама приняла предложенную ей честь с восторгом. Муж её в то лето работал где-то в другом городе. У неё 16-17 летняя дочь, невинная девушка. А тут вдруг молодой человек из страшного капиталистического мира, да ещё армянин, а армянский темперамент известен всем! Было отчего придти в волнение. А тут ещё и дочь глаз не сводит с молодого красавца! Впрочем, вся молодежь, вся наша дачная компания (кто в молодости жил на даче, знает, что дачная компания – это совсем особый коллектив, сплочённый не школьными буднями, а праздником солнца и горячего песка, волейболом и вечерними эскападами через забор в Дом отдыха либо санаторий на танцы или в так называемый кинозал, то есть на площадку, где на натянутое между деревьями полотнище проектируется часто рвущаяся лента. Это ночные посиделки на обрыве над морем, в которое опрокинулось ночное небо и по которому прочертила дорожку луна, и разговоры под неумолчный треск цикад)… Так вот, вся наша дачная компания не сводила глаз с гостя и, затаив дыхание, слушала его рассказы…

А потом он без всяких наших просьб запел!..

Напрасно Алкина мама всю ночь беспокойно поглядывала в окно, выходящее на веранду, на то, что там происходит. А потом и она заслушалась. Не могла оперная певица не оценить красоту и вокальное мастерство гостя. Постепенно вокруг Алкиной веранды собрались все дачники нашего коллектива. Да что нашего! Пришли и с соседних дач.

Голос молодого певца разносился далеко в ночной тишине. Он летел и к замершему морю, и в пахнущую пылью и полынью степь, и к небу, к звёздам. Он достиг ушей живущего на соседней даче кумира одесских меломанов Доната Донатова, и замечательный певец пришёл и, стоя вместе со всеми под Алкиной верандой, слушал и слушал следующие одна за другой арии, баркаролы, неаполитанские песни…

Вскоре слава замечательного певца (которому, кстати, Филатов, вернул зрение) разнеслась по всему Советскому Союзу. Но мы, дачники с 12-й станции Большого Фонтана, всю жизнь гордились тем, что первое выступление в СССР ставшего теперь уже легендой Артура Айдиняна состоялось в 1951 или 1950 году в нашем маленьком дачном коллективе на Алкиной веранде.

ГЕННАДИЙ КАЛАШНИКОВ

В ХОЛОДНОМ ВОЗДУХЕ ПРЕДМЕТЫ…

***

В холодном воздухе предметы
отчётливей во много раз,
и ранней осени приметы
повсюду обжигают глаз.

Листва багровая, сквозная,
и пресс брюшной кариатид,
иду по улице, не знаю
своих забот, своих обид.

Кругом людей прохожих лица,
здесь утешение моё,
здесь мне тоски своей стыдиться,
стыдиться, что стыжусь её.

ДЕНЬ НОЯБРЯ

День ноября, заставь открыть тетрадь,
разлей свой свет, мерцающий и скудный,
мне жить легко и умереть нетрудно –
забыть привычку воздух твой глотать.

Вот бьёт родник, река впадает в море,
я здесь живу, и где-то умер я,
в ноябрьском леденеющем просторе
как лёгкий дым летит душа моя.

И жизнь мне дорога, и дорог всяк живущий,
наверно, потому, что в небе ледяном
душа моя, исполнившись грядущим,
колышет воздух трепетным крылом.

ЗИМА

1

Вот звук зимы – скребок о тротуар,
каблук о лёд, и снег сползает с крыши.
О музыка зимы, как раньше не услышал
твоих литавр торжественный удар!

Звучит зима, а где-то дирижёр,
среди сугробов, в бешенстве и муке,
вздымая вверх заснеженные руки,
ведёт свои созвучья на простор…
Но тишина… какая тишина!
Я засыпаю. Ставит ночь условья.
И, как будильник, близкая весна
стоит, почти касаясь изголовья.

2

Опять, сгустив печаль и дрёму,
февральский сумрак тих и сер.
Но всё же выйду я из дома
в соседний невысокий сквер.

Здесь снег идёт, и осторожен,
медлителен его размах,
здесь на какой-то из дорожек
мне повстречается зима.

Друг перед другом встав напротив,
мы отразим, как зеркала,
она – меня и снега прочерк,
я – сквер от клёна до угла.

И вот тогда, повыше снега,
во мне, а может быть, и в ней
вдруг слабо трепыхнется слева –
на хрупкой ветке воробей.

3

Приход зимы внезапен и нечаян,
приход снегов под низкий небосвод,
мы щуримся, друг друга навещаем,
среди сугробов отыскавши брод.

Приход зимы извечен и случаен,
её, как льдину, в нашу жизнь внесло,
напомнить нам, что тоже излучаем
слепое, ненадёжное тепло.

ОТТЕПЕЛЬ

На речке лопается лёд,
у ветра два крыла упругих,
фонарь угла не узнаёт,
совсем не узнаёт округи.

Домам в туман войти не лень,
где оттепель ещё несмело
передвигает, как тюлень,
своё резиновое тело.

Шуршит скребок, размок каток,
и мы с деревьями в обнимку
стоим в распахнутых пальто,
как на старинном фотоснимке.

Имея смысл, имея цель –
её уже не урезонить –
бушует оттепель. Капель
насквозь пронзает подоконник.

***

Ночь пишет начерно кириллицей,
в упор глядит, глаза не прячет.
Как этот мрак проснуться силится,
вспять повернуть, чернеть иначе.

Чтоб белоглазой антарктидою
легли в полях снегов порядки,
чтобы безгласное, безвидное
вдруг облеклось в земные складки,

чтоб в снегопад себя обёртывая,
как по реестру и кадастру,
легли на землю эту мёртвую
репейников военных астры.

Уже спешат в потёмках граждане,
не зная, что собравшись с силами,
строчит повестки всем и каждому
февраль лиловыми чернилами.

Уже хрустит походкой кадровой
пехота пороха и праха.
Пасьянсы мёртвые раскладывает
и нить сучит слепая пряха.

***

Он так легко шагал,
нащупывая тропы,
тот, кто пленил, украл
Елену ли, Европу.

И как ему потом
плылось, и море пенилось.
И на хребте литом
покачивалась пленница.

Он слышал робкий вскрик
и видел близко-близко
прекрасный бледный лик
в солёных крупных брызгах.

ИЮЛЬ

Запад багряный. Вишневый восток.
Ветер причудливый, медленный
в небе вращает косматый клубок.
Плод завязался. Согнулся росток.
В памяти устья хранится исток.
В трубках растений запенился сок –
радость пчелы привередливой.

Остья пшеницы. Синий овёс.
Дроздов суматошливых стая.
Тёмный и тёплый омут и плёс
под напряжением спеющих гроз.
На мочажине в початках рогоз.
Глаза в слюдяных превратились стрекоз
и над лугами летают.

Стебель коленчатый цапельный ржи.
И подорожник овальный.
Норы в обрывах, откуда стрижи
чертят зигзаги свои, виражи.
Переплетение веток и жил.
Озеро в травах ленивых лежит,
как инструмент в готовальне.

Утренний дым. Вечерний туман,
дальней грозою чреватый.
Воздух в листве открывает изъян.
Полой травы невесомый орган.
И ежевичный колючий капкан.
Конского щавеля ржавый султан.
Картошки цветок лиловатый.

Медленный ветер над лесом и лугом.
Длинной волны смех или плач.
Куст водяной принимается хлюпать.
Вспаханы воды невидимым плугом.
Выгнется речка подковой и луком.
На берегу с восклицательным клювом
грубо оструганный грач.

Выше же – сосен кора золотистая,
кроны слоисто-зелёной пятно
сливается с тучей над старою пристанью,
речною рябою излучиной чистою,
где тонкая молния, длинно-ветвистая,
что глянет мгновенно и пристально,
корягою ляжет на дно.

***

Когда я возвращался из Китая,
на родине весна цвела златая,

и борозды весенних синих пахот
ребрились, словно кровли древних пагод.

Я возвращался праздно, налегке
и вспоминал верховья Хуанхэ,

где шелестит бамбуковая роща
ракиток наших, может быть, не проще,

где в ночь летят клекочущие гуси
и, цинь отставив, предаёшься грусти.

Я ничего не вывез из Китая.
Страна огромная и вовсе не пустая,

ветра сметают пыль с пространных плоскогорий,
там тоже есть любовь, и смерть, и жизнь, и горе.

И понял я, увидев снег Памира –
не надо никакого сувенира.

ДИАЛОГ

Облекая шумы в свой
шум, глухой, бездонный,
ливень хлынул за стеной
железобетонной.

Он входил помалу в раж,
низвергаясь страстно,
и разрозненный пейзаж
в ранг возвёл пространства.

Обобщать имея дар
и стирать детали,
ливень лил. Клубился пар,
и сближались дали.

Здесь в строку войдёт окно,
а к нему приклеен,
человек стоит давно
и лицом белеет.

Шепчет он под шум дождя,
сжавши подоконник:
«Недодумал что-то я,
что-то недопонял…».

Обходя кругом квартал –
такова работа –
ливень тоже прошептал
про свои заботы.

И на чём они сошлись,
я того не знаю.
Неделима наша жизнь,
нет конца и краю.

Несмотря на произвол,
этот ливень тоже
подо всем черту провёл,
что-то подытожил.

***

Вижу в небе звезду, всего одну –
незадачливый звездочёт –
я иду под водой, иду по дну
той реки, которая не течёт.

Этот хрупкий луч из небесных круч,
этот древний зелёный свет,
не дающийся в руки желанный ключ
от того, чего нет
ни среди живых, ни среди иных,
в никуда уходит, маня.
Я на берег выйду и встречу их,
тех, кто вышел встречать меня.

***

Ветер снова несёт в никуда
облаков кучевые одонья,
и трепещет поверхность пруда
под его ледяною ладонью.

Это пруд, это лист с желтизной,
здесь воды опускаются веки.
Это всё остается со мной
и уходит куда-то навеки.

Тихо кто-то листвою шуршит
и торопится следом за мною.
– Не спеши, – говорю, – не спеши…
Оглянусь – никого за спиною.

АННА ГЕДЫМИН

БАЛЛАДЫ

КОСАРИ

Когда приехали косари –
сбежалась глядеть вся округа:
Дачники, дворовые псы
и другие строгие судьи.
А лето выдалось в тот год
зловредней недуга:
Солнцем приманит –
и сразу дождём остудит.

И косари обманули –
ни песен, ни мускул,
Но потом к ним привыкли,
как ко всякому гостю.
Старший носил железные зубы,
смеялся тускло
И воду из родника
зачерпывал горстью.

Другой выпивал,
но трезвый – чинил ботинки,
А денег за это не брал,
ну, разве немножко.
И только третий –
как будто сошёл с картинки,
А дома его дожидалась
жена-хромоножка.

Все откуда-то знали,
что живёт он с нею не венчан,
Что она одета в три кофты,
наподобье капусты.
А ещё среди косарей
было несколько женщин –
Вроде не старых,
но молчаливых и грустных.

Наутро взялись косари за дело.
А птицы пели,
И в ближнем ельнике падали шишки
с тяжёлым стуком.
Звенели косы, как струны.
И в продолженье недели
Дождя не случилось,
как косари и хотели.

И вот на прощанье, в субботу,
закончив дела до срока,
В тесовой сторожке
возле самой дороги
Косари собрали тех,
кому одиноко.
А одиноко было если не всем,
то многим.

Женщины хлопотали,
старший стоял у двери,
Встречал гостей
и шутил с ними о погоде.
Второй крепился, чтоб не напиться.
В какой-то мере
Это и удалось ему, вроде.

А младший сел, как нарочно,
под образами,
И красный угол казался
ещё краснее.
И красавица первая
спросила, блеснув глазами:
«На что тебе хромоножка?
Зачем ты с нею?

Пойдём со мною,
ты лучшей доли достоин,
Лицо моё – видишь – красиво,
и дом мой светел.
Я буду любить как никто!»
Но он остался спокоен.
Улыбнулся только
и не ответил.

И лишь под утро,
когда почти опустела сторожка,
Сказал негромко:
«Не мила никакая другая.
Я жив, покуда
со мной моя хромоножка.
Ни дождь, ни молния
тропы моей не достигает.

Враги мои чахнут,
причины не понимая,
И время летит – но не старит,
в злобе напрасной…
Знаете –
я даже рад, что она хромая,
Мне и так с нею боязно,
с безнадёжно прекрасной».

А когда уехали косари –
пришла гроза невиданной силы,
Даже старухи
такой не помнили страшной.
И тот, кого после полудня
в дороге она захватила,
Домой возвращался под утро,
как будто из рукопашной.

Буря умчалась внезапно –
как накатилась.
Сильно шмели заныли
в траве усталой.
И ни с кем – ни с людьми, ни с живностью –
ничего не случилось,
Только у дома красавицы вырос цветок –
диковинный, алый.

Дня четыре смотреть ходили
на это диво.
Рассуждали: за что ей такое?
Случайно, что ли?
И сказал дурачок деревенский:
«За то, что красива.
Правда, она всего лишь красива,
не боле.

А каждый живущий
достоин своей награды:
Любовь награждается верностью,
словом – слово,
Достойна восторгов
тоска соловья ночного,
А яркая внешность –
такой – цветочной – услады».

Но люди не слушали дурака –
ещё не хватало!
И расходились,
о чём-то своём печалясь.
И было средь них
заботливых, верных немало,
А вот счастливые
что-то редко встречались.

А дурачок
стянул в буфете колбаски,
Стал жевать и мечтать,
подпевая мечтам нестройно,
Что однажды приедут в село косари –
как из сказки,
И будет село
таких косарей достойно.

МЕСТЬ ТАМЕРЛАНА

Где нам древних понять!
Ведь, в конце концов,
Нам давно на святыни плевать.
Но послушай всё же…

…Стаи гонцов
Созывали тучную рать,
Чтобы выкрикнул баловень всех грехов:
«Если мой потревожат прах,
Не поздней, чем до утренних петухов,
Разольётся над миром страх!

Будет горе на множество лет и стран!
Небо вычернят облака!..»
Так сказал Тамерлан.
И усоп Тамерлан.
И без снов пролежал века.

Осторожное время, мудрей совы,
Тихо здесь совершало путь…
Но пришли археологи из Москвы
В неприступный склеп заглянуть.
Самый младший русым был, молодым,
Старший с виду вроде бурят.
Пили чай зелёный,
Пускали дым
И не ведали, что творят.

Но сходились узбеки со всех сторон.
Но закат был в тот вечер вял.
Но вселенский ужас,
Вселенский стон
В чёрно-бурых глазах стоял.

Всё окончилось за полночь.
Как пятак,
Прикатилась луна в зенит.
И сказал самый младший:
«Что-то не так –
Люди стонут, в ушах звенит…»
А приятель, зевая:
«Да ну их, плюнь!
В самом деле – чудной народ…»

Было двадцать второе.
Месяц – июнь.
На земле – сорок первый год…

МАСТЕР МОСТОВ

«Пожалуй, не люблю, – сказал, –
но не грусти:
Других я не люблю
значительно сильнее.
Возьми, что нажил я,
коль сможешь унести:
Закаты над рекой,
неполных лун камеи,

Заначенный экспромт –
тот, что на чёрный день,
Уверенность в себе
(в ней всё – одна бравада),
Бессонниц благодать,
а ежели не лень –
Возьми и жизнь саму,
мне ничего не надо».

И вспомнила рассказ
про мастера мостов:
Без отдыха и сна,
иной не зная страсти,
Он строил дивный мост.
Когда был мост готов,
Созвал всех горожан
счастливый дряхлый мастер.

Он им сказал: «Не зря
был я судьбой храним!
Я завершил свой труд!
Труд жизни! Неужели!..»
И он прошёл свой мост.
И рухнул мост за ним…
…И я, как мастер тот,
своей достигла цели…

***

Ангел-хранитель стареющего человека
Поднимается затемно,
Летит в поликлинику,
Впереди у него
Аптека,
Библиотека,
Продукты, почта…
Устаёт жутко.
А когда он уже на грани,
Наступает время
Невыполнимых желаний.

Ангел-хранитель
Всматривается в заветный список,
Всплескивает крыльями,
Роняет пакеты сосисок, ирисок,
Повторяет беззвучно:
«Сделай мне одолжение,
Яви посильную милость –
Чтоб наступающей осенью
Ничего ужасного не случилось:
Чтоб никто не отчаялся,
Не умер,
Не повредился рассудком,
Чтоб не пришлось выбирать
Между совестью и желудком».

Ангел нахохливается,
Прячет голову под крыло.
Как же ему с подопечным не повезло!
Был бы пьяница,
Развратник,
Сутяга –
Помог бы ему в тот же миг!
А тут –
Приличный, добрый старик…

А стареющий человек
На ангела не в обиде.
Он в своей жизни
Ничего плохого не видит –
Ни того,
Что почти завершилась его дорога,
Ни во что превратилась
Дочь его недотрога,
И нужно ему немного:
Он выглядывает в окно,
Улыбается солнышку
И благодарит Бога…

НИКА БАТХЕН

РЕДКИЕ СЛОВА

ПРЕДЧУВСТВИЕ ВЕСНЫ

Беззвучный перезвон платановых игрушек,
Снежинок золотых бесценная казна.
Весёлый воробей сокровища обрушит,
За ветхим февралём почудится весна.

Сыграет вальс цветов невидимый шарманщик,
По клавишам ручьёв ударит первый гром.
Взмахнёт крылом орёл на генуэзской башне,
Прорежется в скале рождённое пером.

Оденется в рассвет миндаль, дождя отведав,
Хихикнет старый парк – попробуй, удиви.
Захватит перевал пехота первоцветов.
Кошачий дружный хор напомнит о любви.

Канатный Купидон шатнёт впотьмах кабинку,
Затеплится свеча на письменном столе…
И снегом заметёт прекрасную картинку,
Как будто всё прошло и минуло сто лет.

БЕССМЕРТИЕ

Смерть стучится в окошко – ну что, пора?
Выбирай, от рака или от топора?
Под трамвай, под пулю, под грязный нож,
Под коварную злую ложь.
Посмотри на себя, морщинки пересчитай,
Ты изношен как тапок, прежнему не чета,
Ты в постели унылый плюшевый гамадрил,
Разве Бог такого тебя творил?
Выдыхай, чудила, полголоса до конца.
Бесполезно звать маму, просить отца.
Просто ляг и поверь – всё закончится в этот миг,
Так же быстро, как ты возник…
Ты возникаешь игрушкой «уйди-уйди»,
Ты живой от молитвы до крестика на груди.
У тебя есть печка, библиотечка, топор стальной,
Ты встаёшь в полшестого в будни и в выходной.
Ты сажаешь вишни, воспитываешь щенка,
Ты умеешь читать руками – ладонь, щека…

Неуёмное сердце не ходит по паспортам,
Вот ты здесь, ну а смерть безусловно *там*.
И пока под рубашкой мотор гудит,
Ей – хоть тресни – не победить.

ИЗБЫТОЧНОСТЬ

Бессонница. Толстой. Бальзак. Шиномонтаж.
И в списке кораблей Титаник и Аврора.
Кидаешь десять рэ, садишься на массаж,
Ложишься на асфальт, проветриваешь поры,
Проверчиваешь ход отсюда до ТЦ –
Пускай бегут, квохча, курчавые торговки,
Фиаско всех надежд кончается на «ц»,
Потомки люберов снимаются в массовке,
Квириты продают парфюм и шоколад,
Спартанцы лупят мяч, Спартак идёт на приступ,
Пилат сидит в метро, прекрасен и патлат,
И держит наотлёт создание флориста.
Пост модернизма сух – ни книжек, ни кино,
Бродскеет амфибрах, отращивает жабры.
Презрев Антонио…, включаешь «Мимино»
И падаешь в костёр московского пожара,
В барочность первых сцен, в мусьешность жадных орд,
Былое не ушло, былое лишь поблекло.
Мосье Наполеон сегодня точно торт.
И Слово о Полку воспрянуло из пепла.

СНЫ ХЕРСОНЕСА

Поедем в Крым и там поговорим
За кружкой коктебельского муската,
На фоне офигенного заката…
Провинция у моря. Мир и Рим.

Дорога. Города. Орда грачей
Бесстыже оккупировала вязы.
Щенок, пленён девчонкой долговязой,
Рычит на целый свет: я чей! Я чей!

Пятнистые кобылы топчут склон
Багряного, как тога, Эчки-Дага,
Несёт весло оборванный бродяга,
Терзает лиру местный Аполлон.

Татарки обирают сонный сад,
Готовясь торговать хурмой янтарной.
Январь пленён витриной антикварной –
Блестит звезда и шарики висят.

И мы молчим – у моря, на ветру,
Под сенью обветшалого навеса…
Сегодня сны струятся с Херсонеса
Идут на нас.
И пленных не берут.

ОПАДАНИЕ

Осенние цветы всегда горчат.
Торчат на клумбах, смотрят безучастно,
Кивают воробьихам и грачам,
Дрожат, когда дожди в листву стучатся.

На белые ладони хризантем
Садятся утомлённые стрекозы.
Темнеет стылый воздух. А затем
Приходит снег – не рано и не поздно.

Играют лисы в парковой петле.
Случайный принц молчит от восхищенья.
Горчат и увядают на земле
Прекрасных слов ненужные значенья.

КАРДИОГРАММАТИКА

От тебя до меня кривая
Линия береговая.
Волны.
Волосы водорослей.
Весла весёлого рыбака.
Далеко ли до Карадага?
Далеко, если в плен забрала река.
Тебе берёзы, мне бризы.
Тебе проливы, мне пристань.
Тебе паруса и мачты.
Мне аквамариновые мечты.
Там, где ты – на минуту тускнеет солнце
И смеются над смертью дети весны бессонной.
Там где я – твоё сердце
Сердоликом летит с камней.
Падает в грудь ко мне.

ЧАСОСЛОВ

Когда оставляешь руины внутренних резерваций
И выходишь на волю, и нечего тут скрываться,
Ощущаешь, как ветер мириадами острых снежинок снимает кожу,
Кажется, будто делаешься моложе…
Ложь.
Время снашивает, словно ботинки или перчатки.
Утоляет печали балтийским джином, исполняет желания наобум.
Ум делает бум и взрывается кратерами картинок.
Тело ложится в тину, пускает корни, расшвыривает плотины.
Плоть становится литерами набора для добровольцев.
Кольца делаются цепями.
Фонтанка течёт в Янцзы.
Выбираешь между залпами пушек и крыльями стрекозы.
Оставляешь сознание в чаше античной нимфы.
Становишься мифом – это лучше, чем мемом или молитвой.
Твой выборград заманивает трдельниками.
Воскресенья обращаются понедельниками.

Резервации зарастают зверобоем и молодыми соснами.
Весны тают. Трудолюбивые перевозчики машут веслами.
Ни монетки Харону – все пенни ушли на вампумы или мониста.
Триста спартанцев нанимаются в Рим ланистами.
Кофе пахнет из булочной – крах иллюзий, миндаль, корица.
Время улыбается в камеру, чтобы больше не повториться.

КРЫМСКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Море яхты в ладонях вертит,
У рыбацких костров шаманит.
Струны арфы звенят под ветром,
Струны арфы полны штормами.
Балаклаву баюкать долго.
Крепость грозно гремит камнями.
Кошки греются на пригорке,
Тени лета со скал роняя.
Чайки сны на волнах качают,
Кажет месяц крутые рожки.
На причале оставь печали,
Уплывай золотой дорожкой.
Ласки Ласпи, леса Фороса,
Катера, якоря, моторы.
Есть ответы, но нет вопросов.
Все дороги уводят в горы.
От любви до любви – полгода.
От тебя до неё – полшага.
Струны арфы тревожат воду,
Безотчетно грустить мешая.

Я…

Яхты Ялты волны торят.
Чайки плачут, ветру вторят.
Остановлена канатка.
Так и надо.
Так и надо.

Тают облачные шали.
Княжьи дачи обветшали.
Старый доктор бродит молом,
Смотрит в море.
Смотрит в море.

Переулочки, ступеньки,
Хрип шарманки, чьё-то пенье.
Шар воздушный на афише.
Небо выше.
Небо выше.

Фонари горят неярко.
Яхта в Ялте бросит якорь.
Ночь напишет на причале
«Утоли моя печали»…

КАПЛЯ В МОРЕ

И когда стоишь на коленях у родника,
И вода говорит «вникай»,
Ты становишься ивой или ольхой,
Деревяшкой бесчувственной и глухой…
Нет!
Становишься каплей, кувыркаешься над волной,
Миллионам нет дела до маленькой и одной.
Ты впадаешь в реку, оттуда течёшь в лиман,
Понимаешь, что плавить правильней, чем ломать.
Над тобою парят удоды, орут дрозды,
Трупы вязов собою прокладывают мосты,
По стволам лазят ласки, таскает лисят лиса.
Понимаешь, что жизни осталось на полчаса
И вдыхаешь болотной мяты горчащий дух,
Собираешь в ладони – фухх – тополиный пух,
Провожаешь косулю взглядом, касаешься битых скал,
С застарелого кострища срываешь скальп,
Повторяешь с неумной птицей «куку, куку»
Убегаешь навстречу морю…
И я бегу.

АТЛАНТИКА

Линия ливня. Лига ночных дроздов.
Кто-то уедет в Питер или Ростов.
Кто-то растает, словно больной сугроб.
Кто-то впервые в жизни услышит гром.
Кто-то войдёт в ракету, а кто-то в лифт.
Кто-то объявит ангелу «дисбилив».
Кто-то сажает зелень и кабачки,
Кто-то ломает судьбы и каблучки…
Линия ливня делит на «да» и «но».
Хочется взять смартфон и снимать кино
Об опоздавших к лету на полчаса,
О потерявших верные адреса.
Город меняет роли и имена,
Радуга над домами ещё видна.
Капли срываются. Сердце опять сбоит.
Подержи небо.
Пусть оно устоит.

ТРЕЛЬ

Прорастаю в тебя словами,
Заговариваю, шепчу.
Соловейка твоя, сова ли,
Или кто из лесных пичуг.
Властью вереска заклинаю,
Правом пустоши увожу.
Незаконная, неземная,
Заходящая за межу.
Глянь – среди огоньков болотных
Красной искрой срываюсь в ночь.
Я легчайшая из бесплотных,
Нота нежность и нота нож.

Быль багульника, метка мяты,
Оттиск тени сухой ветлы…
Но не та, чьё дыханье свято,
Чьи следы на снегу белы.

РЕДКИЕ СЛОВА

Я собираю редкие слова –
Причелина, уключина, полова.
Ушедшие, забытые, едва
Знакомые и встреченные снова.

Вакация, очипок, басалай –
Гимназия, сельцо, трактир ямщицкий.
Осколки помутнелого стекла,
Немые антикварные вещицы.

Лазоревый, червлёный, альмандин –
Оттенки кракелюр и пигментаций.
Секреты китоврасов и ундин.
Неверный знак в *уйти нельзя остаться.*

Клоповник, золотиска, дурнопьян,
Шуршанье трав в худых руках ведуньи.
Зазубрина, окалина, изъян,
Напрасное, растраченное втуне.

Всё больше хрупких, ветхих, редких слов
Стирается, сминается и тает.
Я набираю «верность и любовь» –
И вижу – пропуск.
Точка.
Запятая…

«ПЕРЕВОДЫ»

ГЕРХАРДТ ГОГЕНШТАУФЕН

От редакции: Эту рукопись прислали нам сотрудники Готской научной библиотеки, расположенной в замке Фриденштайн. Рукопись была найдена в подвалах библиотеки, и хотя написана на тюрингском диалекте средневерхненемецкого языка, дата написания, обозначенная в конце текста – 1987 год. Автором рукописи значился некий Герхардт Гогенштауфен, иных следов которого нам найти не удалось. Но учитывая загадочность появления рукописи и событий, описанных в рассказе, и несмотря на весьма сомнительную художественную ценность данного произведения, мы решили перевести текст на русский язык, тем более, мы склоняется к выводу, что описанные в нём события на самом деле имели место и что ничем другим, кроме как квантовым перемещением этого рассказа из параллельной вселенной, которым, как утверждают современные физики, несть числа, объяснить всё эти тайны и странности нет никакой возможности. К счастью, нам удалось разобрать весь текст, хотя некоторые страницы были в плачевном состоянии.

ALLES ALS EIS. НЕМЕЦКАЯ КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Чувствуй себя, как дома, но не забывай, что ты zu Hause…
Антуан Лефевр

Глава 1. Звуки чужого рая

Берлин, 1930 год. Первые идеи о превосходстве французского языка пришли в головы немецких интеллектуалов ещё до большой войны, когда аристократы и учёные, совершая поездки в Париж, заслушивались песнями уличных музыкантов и разговорами в кафе на Монмартре. В этих мелодичных словах слышалась лёгкость, которая, казалось, была недоступна ни одному немецкому сочетанию звуков.

Уже несколько месяцев кружок немецких лингвистов во главе с профессором Геппертом Шёпфердом собирался в одном из старых зданий Берлина. Гепперт, высокий и сухощавый человек лет пятидесяти с остроконечной бородкой, стоял перед небольшой аудиторией, его голос звенел, словно стекло, отражая внутреннее напряжение.

– Друзья, – сказал он, пробежав взглядом по собравшимся, – мы должны признать: наш язык, с его резкими окончаниями и гортанными звуками, держит нас в плену. Мы жёсткие не потому, что хотим быть такими, а потому, что наш язык навязал нам эту судьбу.

Лица находившихся в комнате учёных отражали недоумение, но поверх этого недоумения, как на амальгаме, начинали, всплывая из самых глубин человеческой эволюции, поблёскивать стеклянные зёрна безумия. Серые пиджаки поёживались на них.

– Представьте, если бы мы, германцы, говорили на языке, который звучит, как музыка! – восклицал профессор Гепперт Шёпферд перед своим кружком, вдохновенно кроша мел о классную доску. – Мы бы не только стали более утончёнными, но и покорили бы сердца тех, кто считает нас грубыми, почти дикими!

В заднем ряду сидел Адольф фон Грюнман, будущий идеолог и пропагандист новой Германии. Он внимательно слушал слова Гепперта, кивая в такт каждой фразе. Адольф не был лингвистом, но его с детства завораживали иностранные языки и он размышлял над их влиянием на культуру. Уже в этот момент в его голове начала рождаться мысль, которая могла стать роковой.

***

Берлин, 1933 год. Густав Майер стоял у окна своего кабинета в Министерстве Пропаганды и вслушивался в звуки улицы внизу. Грубые, резкие, чудовищные немецкие слова доносились снизу, они были, словно удары молота по наковальне. *«Jetzt!»*, *«Sofort!»*, *«Dringend!»*, *«Postwendend!»*, *«Umgehend!»*, *«Unverzüglich!»* – каждое слово било по ушам, заставляя его морщиться от боли.

Он достал из ящика стола потрёпанную пластинку и поставил её на граммофон. Комнату заполнил мягкий французский голос Мориса Шевалье. «Mon amour…» – певец произносил эти слова так, будто они были сотканы из шёлка. Густав прикрыл глаза. Французская речь казалась ему божественной музыкой, каждый слог – каплей росы на лепестке розы.

В дверь постучали. Вошёл его коллега, Гунтер Кляйн, столь же высокопоставленный чиновник министерства.

– Ты опять слушаешь эту… «музыку»? – последнее слово Гунтер произнёс с явным презрением.

– Послушай, как это красиво! – Густав прибавил громкость. – Разве наш язык может сравниться с Этим?

Гунтер подошёл к окну и угрюмо посмотрел на улицу:

– Знаешь, ты не первый, кто говорит об этом. На прошлой неделе я был на совещании у рейхсминистра. Мы обсуждали… определённые планы.

Густав выключил граммофон:

– Какие планы?

– Мы не можем позволить, чтобы наш великий народ страдал от комплекса неполноценности из-за языка. Это унизительно. Французы… они присвоили себе право говорить на языке ангелов. Но разве они этого достойны? – в глазах Гунтера появился странный блеск. – Представь себе мир, где на французском языке говорят истинные арийцы, где этот прекрасный язык принадлежит сильным, а не декадентам и слабакам!

Густав почувствовал, как по спине пробежал холодок:

– Ты говоришь о…

– Я говорю о естественном ходе истории. О великом очищении. Через двадцать лет никто не будет помнить, что французский язык когда-то принадлежал другому народу. Это будет язык победителей.

***

Тем временем Германия продолжала барахтаться в кризисе, вызванном поражением в Предыдущей войне и экономическими потрясениями. Идея лингвистической революции привлекала немецкое руководство всё больше и больше. В высоких кабинетах властители осознали, что национальную идентичность можно укрепить, изменив даже то, что кажется незыблемым – язык.

– Мы должны захватить Францию, но не ради территорий, не ради ресурсов, – говорил Герхард фон Грюнман, выступая перед высокими офицерами. – Нам нужно их наследие, их язык. Мы сотрём их культуру, перепишем историю так, чтобы никто и не вспомнил, кто были первые носители французского языка.

Некоторые из присутствующих морщили лбы, другие улыбались, представляя себе мир, в котором каждый немецкий солдат будет декламировать стихи Верлена и говорить с дамами так, будто на губах у него цветёт роза.

Глава 2. Всё ещё Берлин

Берлин шумел, как разбуженный лев, громыхая своими уличными шествиями и пламенными речами. Под гул толпы и барабанный бой сверкающие глаза Гюнтера Кляйна, заместителя начальника штаба, пробегали по площади. Довольная улыбка пробежала по его губам, отражаясь в свете ртутных фонарей. «Завтра мы не просто встанем на новые пути, – шептал он, – мы будем держать в кулаке саму суть Франции».

Но в кабинете Густава Майера, на втором этаже мрачного здания министерства, царило совсем другое настроение. Густав сидел у стола, заваленного картами и записями. Он взял гусиное перо – оно напоминало ему о временах, когда слова были оружием искусства, а не оружием войны – и начал чертить сложные линии на полях карты Франции, его рука дрожала. Лицо, словно из мрамора, было напряжено, холодное и непоколебимое.

– Ты читаешь слишком много французских поэтов, – сказал Гюнтер, врываясь в кабинет, небрежно срывая перчатки. – Мы не для того планируем захват Парижа, чтобы преклоняться перед их стихами.

– Ты ошибаешься, – ответил Густав, глаза его вспыхнули. – Завоевать Париж – значит завоевать душу Европы. Но без их языка… нам будет нечем петь наши победные гимны.

Гюнтер бросил взгляд на потрёпанный томик, лежащий рядом с пером. Это был «Собор Парижской Богоматери» Гюго, открытый на странице с описанием уродств звонаря.

– Оставь иллюзии, – сказал он, обернувшись и снова застёгивая перчатки. – Завтра начинается новая эра. Пусть эти «поэты» превратятся в наши пленников.

***

В морозном воздухе воздушного пространства Германии, над тёмными улицами и переулками Берлина, где даже кирпичные стены казались пропитанными запахом пыли и отчаяния, день за днём крепла мысль, что родной язык немцев, твёрдый, угловатый, колючий, звучит, как звон железных цепей. Каждый гласный звук был, как марш солдат, каждый согласный – как приговор инквизиции. Французский же язык, мелодичный и текучий, манил своим звучанием, будто звуки дождя в весеннем лесу. Вскоре арийское безумие распространилось по кабинетам, как пожар, оно пожирало правителей и учёных Рейха, как раковая опухоль.

В секретных меморандумах амбициозные планы Германии называли «Операция Лингва». Первым её этапом стала массовая кампания по обучению немецких детей французскому языку. В специальных школах их учили говорить без грубого акцента, впитывать культуру, которую им вскоре предстояло присвоить.

Тем временем в бункерах и подвалах создавалась новая история. Историки и филологи писали альтернативные учебники, где французский язык представлялся исконным наследием германских племён, украденным коварными галлами в древности.

Густав был назначен руководителем отдела культурной трансформации. Каждый день он подписывал документы, определяющие, какие элементы французской культуры следует сохранить, а какие – уничтожить. По ночам он слушал французские пластинки и представлял себе мир, где сможет говорить на этом языке, не чувствуя себя самозванцем.

Глава 3. Парижский салон

Женивьева Марсо скользила по своему уютному салону, осматривая залитые светом свечей стены, на которых играли тени её гостей. Здесь, среди книжных полок с золотыми корешками и портретами великих писателей, кипела жизнь, не знавшая своего будущего.

– Мадемуазель Марсо, вы слышали последние известия из Берлина? – раздался бархатистый голос Катрин Леруа, пианистки, которая сидела у рояля и беспокойно перебирала клавиши, словно пробуя звук перед началом концерта.

Женивьева нахмурила брови, её синие глаза, будто отражение утреннего неба, искрились беспокойством.

– Пустые угрозы, – ответила она, но слова были сказаны скорее для того, чтобы успокоить саму себя.

Антуан Лефевр, молодой поэт, стоявший у окна с бокалом вина, бросил взгляд на Женивьеву. Он уловил едва заметное дрожание её рук, когда она поправляла медальон на шее – память о муже, погибшем в Предыдущей войне.

– Что бы ни готовилось, мадам, мы выстоим, – сказал он, подойдя ближе. – И, если потребуется, ваши книги станут оружием.

Женивьева грустно улыбнулась.

– Оружие, Антуан, – прошептала она, – может сломаться, а слово… Оно вечно.

– Вот послушайте:

Шёл снег ордой лидокаина,
Кометы в небе загорались,
И целились в мишень Берлина,
Дюрх все дагегены, дафюры,
Все немцы в Дойчланд убирались.
Туман широким слыл и длинным,
Берлин покрыт им был, как мебель,
И на параде цеппелинов
Кометой в лоб убит был фюрер,
И убиралась Deutschland в Nebel…

Глава 4. Наступление

К лету 1939 года всё было готово. Арийская армия, говорившая на двух языках, стояла у границ. Солдатам объяснили их историческую миссию – вернуть язык богов его истинным наследникам.

Первый удар был нанесён на рассвете. Танковые колонны двигались под звуки «Марсельезы», которую немецкие пропагандисты уже объявили древним германским гимном. Французы не понимали, почему захватчики поют их гимн. Это было последним, чего многие из них не понимали.

Уже через несколько дней зловещий, как тиканье часов, звук немецких сапог разносился по улицам Парижа, когда первые танки вошли в город, не встречая сопротивления. Плакаты с приказом о сдаче висели на каждом углу, а лица горожан, застывшие в безмолвном крике, казались мрачными тенями прошлого.

Париж пал через неделю. На площади Согласия установили гигантские громкоговорители, транслировавшие французскую поэзию с немецким акцентом. Начался процесс, который иные окрестили «лингвистической санацией».

Немцы захватили не только территорию, но и устные и письменные памятники культуры: книги, рукописи, пластинки с записями речи французских актёров. Всё, что возможно, было собрано и отправлено в Берлин, где началась массовая перепись учебников и переиздание литературы под новыми именами. Всё французское теперь приобретало грубый немецкий акцент…

Гунтер шагал по площади перед Нотр-Дамом, держа в руках бесконечный список. Переименование улиц началось, названия новых табличек на чистом немецком языке уже ждали своего нового места жительства.

Густав стоял неподалёку, молча наблюдая за происходящим. Струны его души, напрягшиеся, как натянутая арфа, дрожали от чего-то невыразимого. Он вспоминал, как несколько дней назад он присутствовал при сожжении архивов Французской академии. Глядя на пляшущие языки пламени, пожиравшие исторические документы о возникновении французского языка, он чувствовал не торжество, а странную пустоту. Его мысли, как застывшие строки несостоявшегося стихотворения, рвались наружу:

– Мы завоевали их тела, но никогда не завоюем их песни…

Глава 5. Музыка под запретом

Париж был окутан туманом угнетённого молчания. Казалось, что даже само это молчание было с немецким акцентом. Окна домов были прикрыты чёрными занавесями, словно город стыдился своих слёз. Но в подвалах и закоулках города пробуждались голоса, тихие, но полные решимости. Сопротивление начинало плести свою сеть, сеть опутывала клубы тумана, превращая их в коконы.

Парижане теперь со страхом глядели на известную гостиницу «Лютеция», облюбованную немцами, потому что там, на первом этаже, была большая пивная, стены которой были во фресках, созданных Адрианом Карбовски, там же номера заняло парижское отделение германской разведки, Абвера.

В одном из глубоких подвальных помещений той самой «Лютеции», под носом у немцев, Женивьева сидела за столом вместе с Катрин и Антуаном. На столе, освещённом тусклой лампой, лежала карта города, на полях которой были сделаны пометки. Воздух был густым от тишины, нарушаемой только шелестом бумаги.

– Мы не можем ждать, – тихо произнесла Катрин, глядя в глаза Антуану. Её пальцы нервно теребили край платья. – Они умерщвляют наше прошлое и уничтожают наше будущее.

– Именно поэтому мы здесь, Катрин, – сказал Антуан, бросив взгляд на Женивьеву, чьё лицо оставалось бесстрастным. – Мы должны быть голосом тех, кто боится говорить.

Женивьева подняла голову, в её глазах сверкнул огонь и отразился в глазах её соратников.

– Мы начнём с песен и стихов, – сказала она. – Они будут без акцента звучать в парках, на площадях, в самых неожиданных местах. Пусть каждый знает, что Париж по-прежнему поёт.

***

Ранним утром следующего дня по всему городу разнеслась мелодия. Казалось, она рождалась прямо из каменных стен Нотр-Дам-де-Пари, словно дыхание самого Парижа, галерея ветхозаветных царей звучала как гигантская радиола. Звуки органа наполняли воздух торжественными аккордами, которые вызывали мурашки даже у самых бесчувственных.

Густав шёл по улице, когда услышал эту мелодию. Он остановился и вслушался, сердце его ёкнуло. Это был древний французский гимн, та самая мелодия, которая воспевала свободу и дух людей. Он закрыл глаза и почувствовал странную, горькую радость, хотя и знал, что Гюнтер будет в ярости.

В своём новом штабе, расположившемся в южной башне Собора Парижской Богоматери, Гюнтер сжал кулаки, глядя сверху на завоёванный им город. Он понимал, что это не просто песня – это вызов.

– Остановите их, – рявкнул он, обращаясь к солдатам. – Найдите этих музыкантов и приведите ко мне.

Но музыканты уже скрылись, оставив лишь следы мелодии и сердца, наполненные надеждой.

***

Вечер принёс с собой ощущение тревожного покоя. В доме Женивьевы собрались все те из их друзей, кто был причастен к Сопротивлению. Катрин, одетая теперь в строгое платье, молча играла на рояле, перебирая мелодии «Бергамасской сюиты» Клода Дебюсси. Антуан, склонившись над листом бумаги, писал стихотворение.

Женивьева стояла у окна, наблюдая, как солдаты патрулируют улицы, как их шаги отбивают ритм нового порядка, заглушая звуки рояля. Она знала: они ищут их, охотники за голосами ищут их.

– Они могут запретить наши песни, – сказала она, обернувшись к остальным, – но они не заставят нас молчать.

– Катрин, ты понимаешь, что если нас поймают, это конец? – прошептал Пьер, осматриваясь. Бывший преподаватель литературы, он был приземистым, с морщинистым лицом, как у старого моряка, и сжимал в руках небольшой ламповый радиоприёмник, с помощью которого они передавали зашифрованные сообщения Сопротивления.

– Это уже конец, Пьер, если мы молчим, – процедила сквозь зубы Катрин. – Мы – последние, кто ещё помнит подлинный французский язык.

– Они хотят украсть наш язык, но это значит, что они уже признали наше превосходство, – вступил в разговор Антуан. – Мы должны сопротивляться, запомнить каждую букву, каждый звук.

– Сегодня мы должны найти способ, чтобы наши слова проникли в сердца тех, кто отчаялся, – сказала Женивьева, – Мы обязаны принести надежду туда, где она угасает.

Голос её прозвучал так уверенно, что даже Антуан, который редко позволял себе надеяться, почувствовал прилив сил.

– Мы будем бороться не только словами, но и делами, – добавил он, вставая. – Завтра мы распространим листовки с вашими памфлетами и антинемецкими разоблачительными стихами, Женивьева. Пусть они летают по городу, как крылья свободы.

Глава 6. Зима над Европой

Зима пришла внезапно, укрыв и Париж, и Берлин под тяжёлым одеялом снега. Холод пробирался в самые глубины домов и сердец, оставляя за собой хрустящее эхо шагов по пустым улицам. Но эти два города, находившиеся по разные стороны той же войны, ощущали мороз по-разному.

В Берлине широкие улицы, огибающие массивные здания с арками и колоннами, блестели от снега, превращая город в суровую белую крепость. Город жил в упорядоченном ритме, задаваемом маршами и суровыми указами. В парках с мраморными статуями, освещёнными бледным светом фонарей, царила неприветливая тишина. Лишь звук сапог патрулей да крики ворон нарушали покой.

Немцы были на фронте. Немцы освобождали свой «ангельский» язык от его временных носителей.

Генрих фон Штумм, один из историков нового порядка, сидел в тёплом кабинете, полном пылящихся фолиантов и тонких томиков, покрытых позолотой. Он методично перерабатывал хроники о создании Франкской империи, приписывая победы и культурные достижения древних арийским вождям. На полке лежала очередная рукопись с заголовком «Истинное происхождение французского языка: арийские корни». Слово за словом, легенды и мифы переписывались, умирая в руках фарисействующих учёных-жрецов нового порядка.

Между тем в Париже, обёрнутом в туман и холод, жизнь текла напряжённым, невидимым потоком. Улицы, засыпанные снегом, были безмолвными свидетелями бесчисленных расстрелов, а здания, украшенные готическими барельефами, смотрели на происходящее пустыми глазницами выбитых окон. Внутри домов двигались люди с опущенными головами, окутанные шарфами и паром их же дыхания. Казалось, даже голоса замерзли, став тяжёлыми сосульками в воздухе.

Цены на всё были заоблачными. В ресторанах французам подавали овощи, сваренные на воде. Процветал чёрный рынок, одежда и еда продавались по купонам. Автобусы ходили редко, их мало осталось. По улицам проносились «Мерседесы», «Хорьхи», «Опели», которых стало больше, чем «Ситроенов», «Рено», «Пежо», последние теперь ездили не на бензине, а на гадком газогене. Новые французские грузовики переправили в Германию, как и «полезных» французов, которые не по своей воле уехали исполнить обязательную трудовую повинность…

Женивьева Марсо шла по одному из таких переулков, прислушиваясь к звуку шагов, растворявшихся в снежной пыли. Её глаза выискивали уцелевшие куски афиш и обрывки листовок, которые ещё недавно были развешаны Сопротивлением, но они были сорваны или заклеены приказами, обещающими «новый порядок» и «единую нацию».

***

В тот вечер в Париж нагрянула метель, в которой клубились не только снежные вихри, но и слухи. Казалось, именно слухи, как огромные прозрачные неосязаемые черви, служат источником ветра, увлекающего прохожих в дома. На маленькой площади недалеко от Монмартра, где ещё трепетали тени старых художников, Женивьева и Катрин собирали бумаги. Стихи, напечатанные на тонкой бумаге, бросались ветру в лицо и, клокоча, разлетались по городу, словно крылья невидимых птиц.

– Пусть они увидят и прочтут, – сказала Катрин, прикрывая уши руками, чтобы не слышать звук сапог марширующих солдат.

Тем временем в Берлине, среди шёпота железных перьев и шелеста бумаги, Генрих фон Штумм и его коллеги издавали новые указы и выдумывали научные постулаты. Они утверждали, что французы были лишь ветвью «истинного народа», что французский язык возник в результате «арийского культурного влияния», а собственные песни и стихи были заимствованы и переосмыслены.

Среди таких «документов» появился и новый указ – приказ о замене всех учебных материалов в школах. Детям больше неоткуда было узнать о Галлии на берегах Рейна, о столетней войне с Англией, о Наполеоне, о Великой французской революции и о героических защитниках Парижа. Вместо этого они слушали рассказы о великих арийских завоевателях, наследивших повсюду в Европе.

***

На следующий день Париж проснулся под абсолютной гнетущей тишиной. Снег, лежащий на крыше Нотр-Дама и узких переулках Латинского квартала, словно покрывал город траурным саваном. Женивьева сидела у окна, наблюдая, как первые лучи солнца пытаются пробиться сквозь морозное облако, как через сгнившую слюдяную линзу. Её пальцы сжимали перо. У неё не было ни миллионов солдат, ни многих тонн беспощадного оружия, ни надежды. Она могла противопоставить немцам только разум и слово, но немцам было не ведомо, что это такое. Это было вне их слухового диапазона.

Тем временем в Берлине, по холодным коридорам, где холодные мраморные бюсты смотрели с высоты, шли обсуждения новых культурных проектов. Министры говорили о «сохранении и приумножении арийской идентичности» и о том, как окончательно подавить культуру и язык бывшей Франции.

Но пока в парижских окнах мелькали свечи и тени, пока снег, укрывая, защищал от уничтожения картины на стенах, в самом сердце Французской республики теплилась чья-то безымянная, анонимная, рассеянная, как склероз, надежда.

Глава 7. Белые росчерки

Зима держала Париж своей ледяной хваткой, оставляя горожан в полуобморочном от холода и страха состоянии. На улицах, где когда-то смеялись дети, теперь царила тишина. Город, некогда пышущий жизнью, нынче был подобен старому растоптанному гобелену, давно превращённому в напольный ковёр, где краски выгорели, оставив лишь серые силуэты. По ночам эти силуэты напоминали контуры трупов на месте массового убийства. И в это же время, когда ночь падала на город, огоньки ламп за шторами оживали, они были как сигнальные огни надежды. Спрятавшись среди бесконечных пыльных полок, Женивьева Марсо и её соратники собирались в одной из библиотек. Катрин подошла к окну, приоткрывая штору и глядя на замёрзшую площадь. Издалека доносились гулкие шаги солдат, и она сжала кулак, внутренне обещая себе, что их тихий, но упорный протест скоро зажжёт этот город ярче, чем все уличные фонари.

***

На заснеженных улицах Парижа начались небольшие, но значимые перемены. Листовки Сопротивления находили путь в самые неожиданные места: под дверями, на скамейках парков, даже под страницами официальных газет. Женивьева видела, как люди, читая их, начинали поднимать головы выше, а в глазах мелькал отблеск чего-то утраченного, но не забытого.

Женивьева шла и наблюдала, как дети, несмотря на холод, играли на пустыре, их голоса, словно эхо прошлых лет, пробивались через ледяной ветер. Она подошла к старому писателю, укрывшемуся в небольшом кафе, где полки на стенах ещё хранили книги и старые патриотические французские картины и плакаты, завешенные чёрной бумагой, спрятанные от глаз патрулей.

– Они хотят отнять язык, чтобы никто больше не вспоминал о нас, – грустно произнёс писатель. – Мы должны спасти нашу литературу, вывезя книги и исторические брульоны за границу, в Испанию.

Женивьева кивнула. Возможно, в этом нам посодействует наш человек, Капитан Валери, настоящее его имя Марсель Петио, он помогает богатым евреям бежать из страны… Он так ловко их переправляет, что ещё ни одного не задержали…

– Мы сделаем это, – сказала она, – вывезем нашу культуру, нашу историю…

В этот момент она поняла, что они сражаются не только за себя, но и за будущее, где слова и голоса их предков будут живы, несмотря на весь холод, полуголодное существование и ползучие, липкие страхи.

Той ночью колкая метель стихла, оставив город под чистым, ярким звёздным небом. Тишина больше не была полной. Слышался слабый звон стёкол и шорох бумаги – знак того, что кто-то взял в руки листовку и, прочитав, зажёг в своём сердце погасшее пламя.

Глава 8. Безумие и величие плана

Берлин, фривольно раскинувшийся на берегах замёрзшей Шпрее, походил на громадный организм, в котором каждая деталь работала в такт строгой ритмике. Бульвары патрулировали стражи в чёрных шинелях, а снежные улицы казались искусно вырезанными линиями на полотне современного художника. Вечером, когда мороз покрывал окна ледяными узорами, из зданий доносился смех и музыка – офицеры отмечали очередные достижения Империи.

Гепперт Шёпферд, углубившись в свою работу, вновь склонился над проектом, который должен был быть утверждён как новый учебный план. Его рука, держащая перо, двигалась быстро и уверенно. Он записывал: «Величайшие произведения искусства, язык и философия древней Европы находят свои корни в великом арийском наследии». Шёпферд верил, что в этой работе скрыта важная цель – создать новую историю, которая оправдает их победу, даже если для этого потребуется стереть старую. Он размышлял о собрании, которое должно сегодня вечером состояться в Академии истории.

***

Академия истории стала рассадником новой идеологии. В холодных залах, где мраморные колонны были обвиты причудливой резьбой, где вечерние окна отражали холодный свет, а каждый звук отдавался гулким эхом, учёные, философы и военные, одетые в одинаково строгие костюмы, читали свои доклады. Сегодня здесь собрались главные идеологи империи. Шла работа над документами, которые должны были стать новой книгой законов и языковых правил. Присутствующие обсуждали проект, который превратился в навязчивую идею немецкой верхушки – постепенное полное уничтожение французского народа и тотальная ассимиляция их языка и культуры. Для них язык был символом силы, влияния и обладания особой утончённостью.

Задачи перед собравшимися стояли ужасающие в своей дерзости: не просто завоевать язык, а изменить само сознание народа. Немецкий язык был объявлен грубым и недостойным, порождением «дремучих» средних веков, нецивилизованного средневековья, которое следовало забыть. Французский же язык, с его утончённостью и красотой, стал символом будущего – будущего, в котором Германия могла бы заново обрести себя. Для Германии, веками рассматривавшей себя через призму грубости и суровости, французский язык, по словам выступающих, стал бы триумфом культурной победы.

Гепперт Шёпферд слушал очередного оратора, обсуждающего «переходные процессы культурного обновления» и уничтожение всех свидетельств, которые подтверждали бы уникальность французской нации.

– Мы должны перекроить не только Францию, но и самих себя, – говорил, расхаживая вдоль кафедры, Адольф фон Грюнман, начальник Министерства пропаганды, взгляд его сиял холодной уверенностью. – Немецкий язык больше не будет тем грубым, режущим слух набором звуков. Мы перешагнём через собственную историю. С этого дня мы становимся хранителями самой благородной речи!

– Какое безумие! – вырвалось у молодого историка, присутствующего в зале. Но его слова были сразу же поглощены строгими взглядами и шёпотом генералов.

Старший среди них, генерал Гельмут Гартнер, тяжело поднялся из-за стола, его перстень блеснул в свете ламп. Он был воплощением жестокой силы, но в его глазах теперь вспыхивала опасная смесь амбиций и полубезумия:

– Это не безумие, – его голос пронзил тишину, наполнив зал жутким резонансом. – Это самый великий акт очищения. Мы станем арийской нацией, способной носить благородство французской речи. Их литература, их поэзия – всё это станет нашим. Мы вытравим любые упоминания об их существовании.

– Франция как таковая всегда была частью великого арийского культурного поля, – дополнил профессор Шлоссер. – Мы должны не просто переписать её историю, но воссоздать её язык так, чтобы он вернулся к истинным корням.

– Немецкий язык больше не будет существовать, – сурово объявил Генрих фон Штумм, один из архитекторов этой культурной революции. – Мы не просто говорим на французском. Мы должны заставить мир и самих себя поверить, что этот язык был нашим всегда.

– Мы будем первыми, кто победил не только врага, но и память о нём, – с улыбкой сказал Краузе, его глаза вспыхивали, как огоньки гаснущих свечей в канделябрах, а взгляд метался по залу, как полтергейст, – Мы покажем, что Франция – это легенда, выдумка, забытая эра.

В зале поднялся шёпот, наполненный смесью шока и восхищения. Решение было радикальным, почти безумным. Но Гартнер, сидящий в углу, внезапно заулыбался, его лицо озарила тень безумия:

– Уничтожив самих французов, мы уничтожим и любые свидетельства их существования. Литература, архивы, произведения искусства – всё будет перезаписано. Мы перепишем историю так, что через несколько поколений никто и не вспомнит, что было иначе.

– Все следы языка, который прежде мы называли немецким, должны исчезнуть! Слова, говорящие о любви и искусстве, должны звучать на *нашем* исконном языке! – отрывисто выкрикнул один из лингвистов, лицо его раскраснелось от возбуждения.

Гельмут Гартнер подошёл к столу, с которого начиналась новая глава их эксперимента:

– Мы добьёмся этого, как бы ни было трудно. Историю пишут победители. И уже наш древний язык станет символом того, что прошлое, какое бы оно ни было, принадлежит нам.

Гул аплодисментов, вперемешку с шёпотом сомнений, пронёсся по залу, словно ветер, предупреждающий о шторме.

Гепперт Шёпферд сидел молча, пытаясь заглушить внутри себя сомнения. Он едва мог сдержать дрожь. Из его идей выросли поистине чудовищные цветы. Или эти цветы прекрасны?..

Глава 9. Кенотаф нации

Январь накрыл Берлин ледяным саваном. Газеты, что выходили по утрам, стали тонкими и полными новых слов. Жители, поначалу неохотно, начинали шептать на французском, воспринимая это как новый знак величия. Они боялись говорить по-немецки – новый закон карал за это сурово.

Из окон богатых домов доносились звуки уроков – преподаватели, обузданные страхом перед высшими чинами, обучали новому «старому» языку. Все следы немецкого языка на улицах, в документах и книгах постепенно исчезали. Под строгим взглядом пропагандистов велись публичные акции уничтожения текстов: костры из учебников и классической литературы поднимались к небу чёрными столбами дыма, будто сама история горела и испарялась.

Профессор Гепперт сидел в своём кабинете, окружённый горами книг, на обложках которых ещё не так давно были имена французских авторов. Теперь же все эти авторы считались «коренными арийцами», чистокровными, как богемский хрусталь, а страницы пестрели надуманными фактами.

– История будет помнить нас как тех, кто принёс красоту в этот мир, – произнёс он, не замечая, как тень Герхарда фон Грюнмана замирает в углу комнаты.

Герхард подошёл к столу, его лицо светилось триумфом.

– Они уже не смогут нас обвинить, – сказал он, кивая на переписанные тома. – С этими книгами мы в прошлом и будущем останемся только мы.

Тем временем Густав Майер, сидя в своём кабинете, где со стен наблюдали за ним портреты давно ушедших мыслителей, снова склонился над бумагами. На его столе лежала выписка из старинной книги, с трудом спасённой из одной из сожжённых библиотек. Она содержала стихи Бодлера, звучащие как упрёк, как тень чего-то величественного и утраченного. Густава трясло.

Дверь скрипнула, и в кабинет вошёл старый коллега, профессор Хофманн, с которым Густав делил когда-то студенческие годы.

– Ты начинаешь понимать, что мы творим? – спросил Хофманн, его голос звучал как слабый шёпот, боящийся собственных слов. – Мы не просто убиваем тридцать миллионов людей, мы пытаемся изменить самих себя так, чтобы стать теми, кем никогда не были.

– Мы изменим будущее, – жёстко ответил Густав, но голос его дрогнул. – У нас нет выбора.

– Но какой ценой? Мы сожгли их книги, стерли их имена… Даже их голоса исчезнут. Мы создаём мир, в котором прошлого просто не существовало, – Хофманн отвернулся к окну, за которым сверкала морозная ночь.

Каждый день, каждую минуту где-то вдали величественные строки французских писателей становились пеплом, растворяясь в пламени, как память о прошлом.

***

Уже на следующее утро в Берлине прошёл грандиозный парад, посвящённый «возвращению к исконным корням». Военные марширующие колонны шагали от Александерплац до Площади третьей Республики, выкрикивая команды по-французски, а с трибуны у Рейхстага вещали о новых победах. Генерал Краузе с безумным блеском в глазах произносил свою речь:

– Мы – истинные носители языка цивилизации. Наша культура всегда была и будет великой, потому что французский – это мы, и мы – это французский.

Толпа загудела, но этот гул был пропитан звериным страхом. Никто уже не осмеливался вспомнить, что ещё недавно они говорили иначе.

– Теперь, когда Париж – наш, он должен звучать по-немецки, – продолжал он Краузе, водя пальцем по новой карте и глядя на Грюнмана, который стоял напротив с непроницаемым выражением лица. – С этого дня Париж называется «Новым Бранденбургом»!

Он поднимал над головой новую карту Европы, с новыми границами и новыми именами… именами городов и стран.

Глава 10. Побег и казнь

Зима в Новом Бранденбурге была безжалостной. Плотные тучи окутывали серый небосвод Парижа, едва позволяя пробиться тусклому и тухлому зимнему свету. Улицы, пустынные и угрюмые, звучали, как литавры, под каблуками патрулей, исправно обходящих каждую улицу. Окна домов покрылись инеем, скрывающим взгляды оставшихся в живых старожилов, со страхом глядящих наружу: там, в леденящем кровь вакууме, немецкие рядовые, облачённые в тяжёлые шинели, говорили на исковерканном французском. Они считали, что язык теперь принадлежит им, но их акцент выдавал чуждость. В их глазах отражалось что-то новое – гордость, перемешанная с безумием и тщетностью.

Город постепенно терял свою сущность: вывески на французском языке заменялись строгими лозунгами, а эхо французских песен, когда-то звучавших на улицах, становилось опасной многоголовой мерцающей тенью. Клочья старых афиш мёл по опустевшим улицам ветер.

Антуан Лефевр, узкий профиль которого прятался в переулке, наблюдал за патрулём. Сердце билось гулко и прерывисто. Родные улицы больше не были его домом. Каждая тень могла скрывать доносчика, каждый вздох – невидимого врага. Книги его товарищей по перу были сожжены на главной площади, а былые легенды о величии французской речи были присвоены и оттого развеивались под сапогами новых хозяев.

В тёмном переулке его встретила Женевьева, глаза её блестели то ли от слёз, то ли от стужи. Она протянула ему краткую записку: «Юг. Границы слабые. Испания примет».

– Это наш шанс, Антуан, – прошептала она, сжав его руку. – Ты должен выбраться.

Их короткий разговор был прерван резким шумом мотора: по соседней улице проехал грузовик, увозивший очередную партию пленников – поэтов, художников, тех, кто пытался сохранить память о том, чем был этот город. Антуан рванул в темноту, Женевьева побежала за ним, но постепенно звук ещё шагов по снегу стал почти неразличим.

***

В это время в Берлине разгорались другие драмы. Историки, которых ещё недавно ценили за умение углубляться в древние тексты, теперь становились помехой новому времени. Немецкий язык запрещался, напоминания о нём уничтожались с почти религиозной яростью, память о Гёте и Шиллере каралась расстрелом. Скупая надпись в зале, где заседали главные идеологи, гласила: «Только одна история – история истинных победителей».

Среди этих идеологических тисков профессор Эрих Гольц, чьи труды по германскому языку ранее пользовались признанием, был арестован за одно лишь случайное приветствие на научном совете. Его казнь стала первой в череде публичных показательных процессов, где интеллигенция, ещё недавно читавшая лекции в университетах, теперь молчала, стоя на эшафоте перед Собором Парижской Богоматери, превращённым теперь в алтарь новой власти. Казни становились актом устрашения и символом очищения. Антуан Лефевр знал, что, если он не найдёт путь к границе в ближайшие дни, его ждёт та же участь.

***

Прошла неделя. На юге, в мрачных домах Байонны и Биарриц, скапливались те, кого загнали в гетто – последняя надежда для французов, ещё верящих в провидение и торжество справедливости. Здесь они жили в страхе, но не без надежды. В один из вечеров Антуан, на днях добравшийся на города, расположенного почти на границе с Испанией, услышал на улице знакомый голос и, сбитый с толку, повернул голову.

– Женивьева! – он шагнул к женщине, чьи волосы под тусклым светом казались чёрными крыльями. Она оглянулась, её глаза блестели от слёз. – Ты жива!

Она кивнула, прижавшись к нему. Их любовь, ранее приглушённая паутиной обстоятельств, вспыхнула с новой силой, как тонкая вольфрамовая нить, освещающая путь надежде. Женивьева говорила быстро, опасаясь, что каждое её слово будет услышано кем-то посторонним.

– Антуан, по слухам, испанцы ещё принимают наших. Мы должны бежать, иначе нас найдут. Сегодня на границе нашли тело Жоржа, того художника. Он был одним из нас, Антуан!..

Тень страха пронеслась по лицу Антуана, когда он понял, что немецкие спецслужбы уже близко. Шёпот в гетто говорил о списках, по которым охотились на деятелей культуры – поэтов, писателей, музыкантов.

***

Гетто, разросшееся у южных границ Франции, было пристанищем всех, кто ещё оставался в здравом рассудке. Прежние площади, бульвары и набережную теперь заполняли покосившиеся бараки,

где надежда боролась с отчаянием. Ночные улицы Андая, забитые шёпотом и всхлипами сотен тысяч французов, выдавленных с севера, выглядели жуткой декорацией для бегства.

Антуан и Женевьева пробирались узкими переулками, где каждый миг их мог заметить патруль, каждый миг мог стать последним. Женевьева, сжимая в руках небольшую дорожную сумку, наполненную стихами, написанными Антуаном, шептала ему на ухо:

– Мы почти у границы. Один час пешком – и мы в Испании. Там нас ждёт свобода.

Его глаза – усталые, но не утратившие решимости – блеснули в темноте. Он знал, что, если они выживут, слова, сохранившиеся на обрывках бумаги, будут их билетом в другую жизнь.

К рассвету группа во главе с Антуаном и Женивьевой покидала холмы Андая. Снег падал крупными хлопьями, скрывая следы их ног. Они шли молча, прислушиваясь к шороху леса. Вдали уже доносились звуки, свидетельствующие о начале облавы.

– Быстрее! – прошептала Женивьева, и её голос дрожал не от холода, а от страха.

Они продвигались на юг, к горной тропе, которая могла вывести их в безопасные долины Испании. Каждый шаг был пропитан страхом и решимостью.

Но судьба не была к ним благосклонной: когда они двигались через заброшенную дорогу к югу, на них вышел отряд немецких спецагентов. Антуан мгновенно оттолкнул Женевьеву в густую тень кустов, но сам оказался окружённым. Он даже не сопротивлялся, когда его грубо затолкнули в машину с чёрными, матовыми окнами.

Женевьева оставалась в тени, пока звук мотора не затих вдали. Её пальцы сжимались в кулаки, оставляя следы от ногтей на ладонях. Сердце кричало о возвращении в Париж, где теперь мог плачевно завершиться путь Антуана.

***

Злополучный эшафот на площади «Notre-Dame de Nouveau-Brandebourg», где некогда гуляли парочки, стал теперь воплощением всего звериного в человеке, местом всеобъемлющей жестокости и безмолвного ужаса. Кровавая площадь, расстелившись под низким серым небом, завёрнутым в холодную дымку, заполнилась зеваками и маньяками рано утром. Каменные стены и оконные проёмы отражали глухие крики толпы, напоминавшие далекий рёв штормового моря. Здесь, под взглядом готических горгулий, веками стороживших собор, должна была состояться казнь последнего схваченного представителя французской интеллигенции – поэта Антуана Лефевра.

Его вывели на середину площади с первыми, по-февральски кремовыми лучами солнца. Руки, стянутые грубыми верёвками, были покрыты ссадинами, но он держался прямо. Лицо было печальным и спокойным, взгляд – живым, пронизывающим и наполненным презрением к окружающим его захватчикам, даже тогда, когда толпа, подстрекаемая активистами, кричала проклятия в его адрес.

С трибун за ним наблюдали немецкие военачальники, облачённые в блестящие, безупречно выглаженные мундиры. Их лица выражали удовлетворение и торжество, смешанные с холодным равнодушием. В этот момент они представляли собой олицетворение новой власти – той, что не терпела сопротивления и не оставляла места для воспоминаний о другом времени.

Женевьева притаилась в задних рядах, её лицо скрывал шарф. Из-за слёз она не видела Антуана, только силуэт палача многократно отражался в слезах.

Когда палач поднял топор, тишина охватила площадь, будто сама природа замерла в предвкушении. В этот момент Антуан вскинул голову и бросил последний взгляд на небо, зацепившись за его сливочное безе. Голос его прозвучал резко, как удар хлыста:

– Вы никогда не заговорите так, как мы! Ваши голоса навсегда останутся голосами тюремщиков, а не поэтов! – слова его разорвали тишину, как молния в безлунную ночь.

Тотчас в толпе послышался приглушённый вздох, кто-то нервно переминался с ноги на ногу. Женевьева почувствовала, как слёзы обожгли её глаза. Она понимала, что эти слова останутся эхом, что они будут шёпотом передаваться от одного выжившего к другому, но в этот момент они были отчаянным криком человека, который знал, что уходит, но не сдаётся.

Топор гильотины сверкнул в утреннем свете и, казалось, застыл на миг, прежде чем опуститься. Площадь снова захлестнула тишина, которая медленно растворялась в выкриках и торжествующих криках военачальников. Один из них, статный офицер с холодными голубыми глазами, шагнул вперёд и сказал, обращаясь к толпе:

– Сегодня мы отрубили голову старой Франции. Пусть мир запомнит, что больше нет ни её поэтов, ни её языка, настоящего, без нашего победного немецкого акцента.

Женевьева стояла, прикрывая лицо, чтобы никто не заметил её страха и ярости. Она уже решила: что бы ни случилось, она не позволит Антуану остаться безымянной жертвой в истории. Она будет помнить и рассказывать его слова, даже если оккупация продолжится долго.

Глава 11. Густав, Гунтер и другие

Густав Майер и Гунтер Кляйн стояли в просторном зале с высоким потолком, от которого время от времени гулко отражались шаги караула. На стенах висели огромные гобелены, изображающие сцены триумфальных побед армии, пересекавшей бесчисленные рубежи и уничтожавшей целые народы. Тусклый свет падал на их лица, подчёркивая усталость, глубоко въевшуюся в кожу.

– Мы действительно победили, Густав? – тихо спросил Гунтер, устремляя взгляд в окно, за которым шептал колыбельную снег, накрывая улицы Берлина белым саваном.

Густав долго молчал, глядя на тягучие резиновые тучи. Казалось, что он искал в этом холодном, герметичном и безразличном небе ответы, но и там он их находил.

– Победа – это не просто разрушение, Гунтер. Это создание нового, а мы создали Пустоту… Вечную пустоту… Ты слышал, как солдаты говорят на новом французском? Их голоса ломки, как у ворон, что пытаются петь соловьиные песни, – сказал он, стиснув руки.

Гунтер нахмурился. В его глазах читалась борьба между долгом и угрызениями совести.

Они оба понимали, что последствия их деяний далеко выходят за пределы этих холодных залов и пыльных архивов, за пределы всех систем координат.

***

На площади перед новыми административными зданиями снова собралась толпа. Окружённые вооружёнными патрулями, три историка стояли в ожидании своей участи. Один из них, бывший профессор Гепперт Шёпферд, один из основоположников нового порядка, до последнего момента сохранял невозмутимость, держа в руках старинный рукописный манускрипт – последнее свидетельство истории, в котором повествовалось о настоящем происхождении французского языка и культуры. Книга будто тлела в его руках.

Адольф фон Грюнман произнёс речь о том, что любой, кто осмелится идти против истин, установленных новой властью, встретит такую же участь. Толпа смотрела, некоторые с одобрением, другие с тайным ужасом, как, один за другим, историки падали под ударами топора. Профессор Шёпферд, перед тем как его толкнули на эшафот, громко сказал:

– Истина не умирает, даже если её пытаются похоронить под горой лжи. В вас самих звучат отголоски прошлого, которое вы не можете стереть.

Женевьева стояла среди толпы, в самом центре Берлина, затаив дыхание и чувствуя, как внутри зарождается надежда. Лепестки её миссии росли из её солнечного сплетения, как гигантский подсолнух.

За спиной шелестели взглядами, перелистывая спины, грифьи глаза немецких правоохранителей…

***

Прошли годы. Берлин, переименованный теперь в Нуво-Берли, превратился в город, где каждый уголок отражал новое, искусственно созданное прошлое. Легионеры патрулировали улицы, выговаривая французские команды с явным акцентом, неумелыми голосами, что разбивали звуки, будто молот камень. Это был город манкуртов – людей, забывших своё происхождение, которых заставили верить, что они всегда были теми, кем приказала им быть власть.

В своём роскошном кабинете Густав Майер смотрел на старую фотографию, где его семья сидела за длинным деревянным столом, обсуждая научные труды о культурном наследии Германии. Гунтер Кляйн, вошедший без стука, увидел его и помрачнел:

– Что ты ищешь, Густав? Прошлое, которого больше нет? – с сарказмом сказал он, но в глазах не было видно ни следа сарказма.

– Оно живо в каждом из нас, Гунтер, мы просто боимся это признать, – ответил Густав.

В комнате воцарилось молчание, в котором они оба участвовали, покрываясь трещинами и откалываясь по кусочкам.

***

Нуво-Берли жил под шум колесниц, блеск парадов и громкие тирады новых «историков», что переучивали народ, заставляя любить свои французские корни. Школы, где раньше преподавались Гёте и Шиллер, теперь были заполнены диктантами на искусственном французском, полные цитат из тщательно переписанных книг. Граждане, вынужденные отрекаться от своих корней, становились тенями прежних самих себя, с пустыми глазами и утихшей волей.

На горизонте, едва виднеясь в утреннем свете, словно комета, стояла Женевьева. В её руке лежал дневник Антуана, открытый на странице с его стихами, и она шёпотом повторяла:

– Ваши голоса – голоса тюремщиков, а не поэтов.

Старый мир с новым прошлым застывал в этой фразе, как шрам на теле, не исчезающий с годами, а только напоминающий о ране, которая всегда будет болеть.

***

1964 год. Густав Майер сидел в своём новом кабинете в Нуво-Берли. За окном звучала французская речь – правильная, чистая, с едва заметным немецким акцентом. Новое поколение росло, не зная правды.

На его столе лежала свежая газета «Le Nouveau Monde». Статьи в ней восхваляли великое арийское наследие, выраженное в божественном французском языке, историки писали о древних германских племенах, говоривших на протофранцузском.

Он достал из ящика стола старую пластинку Мориса Шевалье. Она была помечена как «образец дегенеративного искусства». Густав провёл пальцем по потёртому конверту.

– Mon amour… – прошептал он, чувствуя, как слова застревают в горле.

Внезапно в дверь постучали. Он поспешно убрал пластинку и прорычал:

– Войдите!

На пороге стоял молодой офицер СС.

– Месьер Майер, у нас проблема. В архивах Байонны обнаружены документы… они могут поставить под сомнение официальную версию происхождения языка.

Густав устало кивнул:

– Сожгите их. И найдите тех, кто их хранил. Их тоже сожгите.

– Женивьева Марсо, равно как и все документы, согласно приказу, была уничтожена при проведении операции.

– Благодарю, офицер. Все участники операции должны быть приставлены к награде.

Когда офицер ушёл, Майер подошёл к окну. Внизу группа школьников распевала «Au clair de la lune». Их произношение было холодно безупречным. Они никогда не узнают, что эту песню пели другие дети, настоящие французские дети, которых больше нет.

Густав достал из кармана маленький блокнот, который всегда носил с собой. На его страницах были имена – тысячи имён французских поэтов, писателей, музыкантов, художников. Этот список он составил перед началом операции. Теперь почти все имена были зачёркнуты.

Он взял ручку и медленно зачеркнул последнее имя. Затем поджёг блокнот и смотрел, как огонь пожирает бумагу. Пепел оседал на его безупречно чистый стол.

– C'est fini – произнёс он по-французски, и его вердикт отразился от стен кабинета, звуча одновременно как победный гимн и как реквием.

Над городом, где французский язык звучал так же красиво, как никогда прежде не звучал, садилось кровавое солнце, ведь каждое слово теперь было пропитано кровью тех, кто говорил на нём первым.

Густав закрыл окно, глуша звуки улицы. В наступившей тишине он мог слышать биение собственного сердца. Оно отбивало ритм старой немецкой колыбельной, которую уже никто не помнил.

Глава 12. Падение небес

Берлин, 8 ноября 1977 года. Город, ставший символом новой эпохи, теперь походил на декорацию к жестокому спектаклю. Дворцы из мрамора и бетона, казармы, монументы и бесчисленные статуи, воспевающие «новый мир», сияя под луной, нависали над теми, кто считал себя живыми. Франкоговорящий Нуво-Берли жил по-старому: угнетённая тишина, надменные лица тех, кто называл себя наследниками арийской чистоты, а над всем этим – властный гул космических станций, следящих за Европой.

В штабе «Высшего Совета цивилизации» заседали самые могущественные фигуры режима. Густав Майер, куратор культурной экспансии. Гунтер Кляйн, руководитель разведывательного управления. Генрих фон Штумм, великий архитектор идеологии. Генерал Краузе, тот, кто пролил реки крови, покоряя южные территории. И, наконец, сам фюрер – Адольф фон Грюнман, сидящий во главе стола с ледяной улыбкой.

– Наш спутник передаёт странные данные, – тихо произнёс Кляйн, ломая тишину. Его голос дрогнул, что было редкостью.

– В чём дело, Гунтер? – нетерпеливо спросил фон Штумм, сжимая свои очки.

– Комета, – ответил тот, пытаясь казаться спокойным. – Она движется по траектории, которая… приводит её сюда, в Нуво-Берли.

Воздух в комнате замер.

– Это чепуха! – отрезал Грюнман, ударив по столу. – Такие вещи можно предотвратить. Краузе, мобилизуйте оборонную систему.

Генерал кивнул, но его взгляд выдавал смятение. Никто не верил в возможность остановить судьбу.

На следующее утро первые вспышки были видны на горизонте. Люди вышли на улицы, наблюдая за небесным огнём. Гигантский хвостатый объект всё ближе приближался к земле, озаряя ночное небо апокалиптическим светом.

– Это не просто камень, это кара! – впервые нарушил молчание Майер. Он смотрел в окно, избегая взгляда остальных. – Мы создали мир, где люди забыли своё прошлое. Уничтожили язык, культуру, историю. Это расплата.

– Чушь! – зашипел фон Штумм. – Мы создали цивилизацию, которая сильнее всех. Мы сами себе боги!

Но его слова утонули в грохоте. Внезапно земля вздрогнула, и окна штаба разлетелись от чудовищной ударной волны.

***

Когда комета ударила в центр Берлина, миллионы жизней оборвались за считанные мгновения. Взрыв озарил всю Европу. Космические станции режима засекли мгновенное повышение температуры, испепеляющие волны огня охватили континент. Все системы слежения и коммуникации отключились. Последнее сообщение спутников гласило: «Планета гибнет в огне».

На руинах когда-то величественного Берлина остались лишь раскалённые камни. Великие лидеры исчезли в хаосе.

Глава 13. Где-то на орбите Земли

Огромный космический корабль с символами режима дрейфовал в пустоте. Среди нескольких выживших был Генрих фон Штумм. Лишь он остался в сознании, глядя на экраны, показывающие Землю, охваченную пламенем.

– Нас уничтожили… но за что? – прошептал он, прижимая руки к лицу.

Позади не было прошлого, впереди не было будущего. Не было ничего, только пустота с немецким акцентом…

ХОСИ СИНЪИТИ

МУДРЫЕ ЖЕНЩИНЫ
рассказ

Откуда ни возьмись подлетела к Земле армада звездолётов. В небе выстроились их стройные ряды, потом порядок нарушился и они, виражируя, разлетелись по всей планете.

– Откуда и зачем они к нам прилетели?

– Никаких догадок. Похоже, решили провести проверку обстановки на Земле.

– Разве тут что поймёшь?

Никто ничего не мог понять. Повсюду царило невыносимое беспокойство. Было совершенно непонятно, когда и что начнётся.

Если бы это был фильм, то появились бы ослепительные световые лучи, зажигающие со свистом всё на своём пути. Но в реальности произошло непредставимое. Начал распространяться ядовитый туман, защиты от которого не было. В любой момент он мог осесть на землю, но тут раздался грохот, от которого барабанные перепонки чуть не лопнули.

Однако пока у землян не было причин собирать всё оружие, целиться и атаковать. Было непонятно, что делать, ожидание было всё невыносимее. Беспокойство стало столь сильным, что людям хотелось, чтобы поскорее началось то, чему предстояло произойти.

– Невозможно больше это выдерживать. Надо попытаться к ним обратиться.

– Правильно, испробуем разные способы.

Запустили в небо самолёты и вертолёты с лентами, на которых были написаны разные буквы и знаки. Посылали радиосигналы на разных волнах.

Однако реакции со звездолётов не было никакой, и они продолжали бессмысленно вращаться.

– Даа, никакой реакции.

– Может, они не понимают нашего языка? Что же теперь будет?

Люди приуныли, не понимая, когда же закончатся их беспокойства.

Тем временем звездолёт приблизился ближе к людям, из «динамика» или ещё из чего зазвучал громкий голос.

– Уважаемые земляне, мы прилетели к вам издалека, чтобы решить возникшую у нас проблему.

Все, кто слышал это, вздохнули с облегчением.

– Они наверно всё это время изучали наш язык.

– Похоже на то, и у них нет враждебных намерений. Надо и нам ответить.

На земле тоже приспособили динамик и обратились к звездолёту.

– Добро пожаловать к нам на Землю. Похоже, у вас есть какие-то проблемы. Если на Земле есть то, чем вам можно помочь, то мы с радостью это сделаем. А теперь давайте будем дружить.

На это из звездолёта последовал такой ответ.

– Рады слышать такие слова. Мы воспользуемся вашей любезностью. Передайте, пожалуйста, нам всех своих молодых женщин.

Великодушные лица землян от таких слов перекосило.

– Это невозможно, они пренебрегают нами.

– На их звезде из-за чего-то женщин осталось мало и теперь они решили забрать их у нас!

– Они ни во что нас не ставят. Может быть, они и сильнее, но мы не такие трусы, чтобы отдавать своих женщин и спасать их. Будем сражаться до последнего.

Оперативно был отдан приказ об атаке. Была нажата кнопка для пуска нацеленных ракет, только этого и ожидавшие, взлетели все реактивные самолеты и начали наносить удары по звездолётам. Однако атака, на которую возлагали надежды земляне, какие бы ракеты они ни использовали, результата не принесла никакого. Со звездолёта вновь обратились к землянам, атака которых скоро стала надоедать инопланетянам.

– Прекратите бесполезное сопротивление. Что бы вы ни делали, вы не причините никакого вреда звездолётам! Отдайте нам женщин и всё будет хорошо. У нас нет никаких планов убивать мужчин. Быстрее передавайте их нам.

Но не нашлось ни одного человека, который бы сказал:

– Да, сейчас будем передавать.

Увидев такой расклад, на звездолётах стали действовать по-другому.

– Отказываться бесполезно. С нашей стороны вы можете получить и такое… – одновременно с этими словами в сторону Земли был направлен розовый луч.

– Ой, помогите… – раздались пронзительные женские крики. Одна из женщин попала в этот луч и он моментально её засосал, буквально заглотал… С этого момента инопланетные звездолёты начали засасывать женщин. Словно заработал электропылесос, засасывающий хлопковые отбросы.

Никто не мог что-либо поделать. Спустя какое-то время эта работа прекратилась и звездолёты куда-то улетели. Только все собрались вздохнуть с облегчением, как звездолёты вернулись и работа возобновилась.

– Ужасающая сила, ей невозможно противостоять.

– Наверно, они где-то перегружают живой груз на больший звездолёт. На какую ужасную звезду увезут наших женщин, что эти беспощадные типы с ними сделают?

Мужчины растерянно стояли, а женщины пытались бежать кто куда. Пока они бегали туда-сюда, поняли, что не всё безнадежно. В больших зданиях и подземных переходах розовый луч не действовал.

– Всё ясно. Женщины, быстро бегите в переходы и здания.

Охваченные большим беспокойством, все женщины спрятались.

– Теперь женщинам какое-то время нельзя выходить наружу. Эти типы не будут разрушать здания. Если они сделают это, то не достигнут цели, так как женщины погибнут. Тем временем, может быть, им всё это надоест и они улетят обратно. Держитесь!

Было похоже, что ничего у них не получается. Однако вопреки ожиданиям людей они не собирались сдаваться. Тем временем, опять зазвучал динамик.

– Уважаемые земляне, может быть, вы думаете, что мы откажемся от нашего плана – это ваше заблуждение. Мы прибыли сюда полные решимости. Мы обязательно добьемся цели. Наши наука и интеллект превосходят ваши.

Мужчины смотрели в небо, а женщины в домах и переходах беспокоились о том, что ещё предпримут пришельцы. Вновь зазвучал голос из звездолёта:

– Мудрые женщины, похоже, что вы заблуждаетесь в своих размышлениях. Стоит ли цепляться за землян, которые не могут с нами ничего сделать? Зачем цепляться за этих трусливых мужчин, не лучше ли поехать к нам, превосходящим вас по всем параметрам? Разве не лучше найти свою мечту и счастье среди сверкающих звёзд? Нам нужны лишь прекрасные женщины, некрасивые не нужны. Потом будете жалеть, что не полетели с нами, но будет поздно.

Это были красивые, разящие наповал слова. Многие женщины решили, что чем жить под землёй, мудро будет принять приглашение от превосходящей в развитии и науке цивилизации. Многие считали себя прекрасными и стали выбегать на улицу. Да, к сожалению, большинство женщин считало себя мудрыми и прекрасными – мужчины стали от этого роптать.

– Ну-ка же, прекратите! Вы же не знаете, что они с вами там сделают, когда увезут.

– Передумайте, надо продержаться ещё какое-то время и они откажутся от своей идеи.

Однако им не удалось остановить поток считавших себя мудрыми и прекрасными женщин.

– Что вы говорите? Если мы этот шанс упустим, то потом будем только жалеть.

Женщины, словно лососи на нересте, штурмующие реку, с восхищёнными лицами одна за другой проглатывались розовым лучом.

Остались только те, которые не считали себя мудрыми и прекрасными. Другими словами, женщин почти не осталось. Мужчины стояли в полном опустошении.

– Чёрт бы их подрал, всех захватили.

Мужчины смотрели в небо и всё рыдали, рыдали по разным причинам: кто-то от печали разлуки, кто-то от жалости к себе, неспособным как-то противостоять захвату, кто-то был возмущён, что женщины их бросили. Но все были одинаковы в том, что – рыдали.

Тем временем в небе опять появилась армада звездолётов, теперь уже гораздо большего размера. В их полёте ощущалась какая-то бесстрастность.

– Теперь такие громадные прилетели, зачем это?

– Может, женщины их уговорили и они решили вернуться? Они там внутри все объединились и теперь небось смеются над нами?

– Не думаю, что всё так просто. Женщин они забрали, теперь на Земле им ничего не нужно, но, может, они решили нас полностью уничтожить, чтобы мы не погнались за ними вдогонку?

Так или иначе, ничего хорошего в головы не приходило. Кто-то стал громче рыдать, а кто-то с ненавистью смотреть в сторону армады звездолётов.

Армада пошла на снижение, заработал динамик:

– Уважаемые мужчины планеты! Не стоит рыдать! На нашей звезде по непонятной причине резко уменьшилось число мужчин, и мы решили переселиться к вам. Землянки стали нам не нужны, и мы их выкинули в космосе. А теперь будем жить дружно. Насколько мы поняли, вы – земляне немного не в ладах с головою, но чисты и невинны. Поэтому все будут счастливы.

Один за другим звездолёты приземлялись на Землю, и инопланетянки, гораздо мудрее и красивее землянок, начали спускаться одна за другой из тяжёлых звездолётов…

Перевёл с японского 7 января 2025 года член Союза писателей России и Москвы Игорь Сиренко.

Хоси Синъити (1926-1997), японский писатель-фантаст, написал более 1000 литературных произведений, за что был прозван королём коротких рассказов. Родился и жил в Токио.

ТАТЬЯНА НЕКРАСОВА

ИСТИНЫ ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ

ДРУЗЬЯМ

жить набело,
отчёркивать,
опять
отчёркивать –
и наконец-то лето!
и вклеивать счастливые билеты,
читать, писать и зайчиков стрелять

жить набело
(хотя бы иногда)
и не стесняться сделанных ошибок,
любить (пока мы -жи пока мы -ши -вы,
(шумит камыш и мёртвая вода))

жить начисто
о-ши! - о-жи! - о, бхи!
ошибки, как побочные сюжеты,
так близко к сердцу взяты, перепеты,
что стали жизнью, счастья островки

жить набело и начисто
теперь
сию секунду час и год и вечность
как будто человечность бесконечно
тянулась
напряглась
толкнула дверь

и смотришь на себя –
и видишь, как
толкаешь дверь – а там блохастый котик,
и «просто жизнь» с тобою происходит,
не_красная
прекрасная
пока

ПРИЛИВНОЕ

я так давно хотела этого
что, кажется, оно во мне:
и струи воздуха нагретого,
и спины голые камней,

и пена хлопьями солёными,
и волны света на песке,
на пряди тенью разделённые
бог знает где
бог знает с кем

хотела так давно
и надо же
желанное отражено
и свиты замертво и заживо
как пряди звуки с тишиной

НАСТРОЕНИЕ 2 АВГУСТА 2019, 2020, 2022

ласковый, тёплый берег, моя молитва.
в море и в небе вечная чья-то битва,
прибой застирает клочья знамён и стягов,
и, просолены крепко, выцветут одинаково.

нет и не было – может быть, и не надо
этого – прикосновенья, шёпота, жеста, взгляда:
лёгкая пена тает почти мгновенно,
и это – лучшая перемена.

в общем, о чём мечтаешь – туда и носом,
разом и даром, а будут ещё запросы –
ветер дунет в тебя, уши зажмёшь – снова тихонько дунет,
и прозвучит «ииюююнь» –
а ни следа июня

*

празднуй, цикада, гаснущий пышный август!
скоро сухой одуванчик пойдёт на закусь –
как тут с весны всё съехало в сикось-накось,
так и лежит, даже затишье в тягость.

но есть у нас яблоки наливные, тугие груши,
орехи в меду, мятые листья в лужах
вечно кому-то нужен боже кому ты нужен
между собой и собой разница говорю же

хуже всего, когда ненадолго лучше,
а после тихо – да так, что гаснет любая радость,
ничем её не нарушить,
и тут –
тишина как лакмус расцвечена звуком –
празднуй, цикада, гаснущий пыльный август!

*

только вчера почат – сколько его осталось?
глянешь потом хроники посторонних:
работа, работа, сушь, море! чайки! работа, следы вороньи,
дом, дождь, листопад, холод, какая жалость…

правда, сейчас жара и можно ещё глотками
и растянуть каждый на долгий вечер
вне времени в круге лампы и темнота по плечи
и комары за сеткой воют всю ночь волками

пафос метафор преображает хаос –
пространство свалялось, чешется люто хронос,
спят глубоко голуби да вороны –
празднуй, цикада, душный горячий август!

ХРОНИКИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

весною чёрной и горючей
надежда на счастливый случай
прозрачна, призрачна, пуста –
едва сочится талой влагой,
размокшей корчится бумагой,
пичугой цвиркает в кустах

и что-то, будто через силу,
внутри меня невыносимо
сочится, корчится, звенит –
весною чёрной и горючей,
любовь, хоть ты меня не мучай,
до осени повремени

РАДОСТИ СКУПЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ

в сухой листвы слежавшемся картоне
пролесков ледяное озерцо
и солнечные тёплые ладони
разглаживают зимнее лицо

немеет отмерзая долго ноет
но кажется придёт в себя к утру
и может быть заговорит со мною
весёлым током сока сквозь кору

ладони всё настойчивей и жёстче
звенит синицей и журчит скворцом

бежит пруду топиться ближе ночи
графиня изменившимся лицом

чуть хмурое чуть мятое земное
в заросший облаками графский пруд
глядится шепчет говорит со мною
и слышу всё а слов не разберу

шумел камыш перекликались утки
и рыбы что-то пели там на дне
откуда светит отраженьем жутким
всё зимнее звучавшее во мне

К ОСЕНИ

…и бабочки беспечные летят
на белый свет – на тот или на этот –
не то чтобы назло семи смертям,
а просто потому, что лето, Лета,

стрекозы, водомерки, камыши,
и мошкара над дремлющим Хароном
звенит, щекочет звоном и смешит,
и всё же будит всхлипом похоронным

так осень дышит: глухо тяжело
урывками – и кашляет надсадно
а лето – лето было и прошло
бяк-бяк беспечной тварью полосатой

ПРИКЛЮЧЕНИЕ

рубашки ветер надувал,
наполненные ветром, плыли
в клубах секущей жаркой пыли –
седьмой, восьмой, девятый шквал –
как парусники (злой корвет
и чайный рыскающий клипер)

а мир как выгорел и вымер
до бабочки в сухой траве

холмы сливались и текли
нетерпеливые навстречу

и ветер гас, и падал вечер
дышать! дышать! а было нечем
так и застряли на мели

и рассыхались, не дыша,
и вспоминали понемногу
себя как спину, руку, ногу –
и вдох, и выдох, и душа

и остывали наконец
и путеводные сияли
подмигивая
ты ли
я ли
то наяву
а то во сне

АДЪЮВАНТНОЕ

«сдохла лошадь – слезь»
(индейское)

прошлое стучится, гость непрошеный,
и не в дверь, а прямо в грудь мою –
почему опять не по-хорошему?
почему в аду – а как в раю?

это снилось, это мнилось, надо ли
придавать значение словам?
лето – глушишь время лимонадами
лето – жизнь и смерть напополам

расцветает – вянет – что естественней?
что навылет
что застряло там
где нудит нудит убогий трезвенник
где летит летит летит летит звезда

искра
что с неё?
приятие приветствие
забытьё
а что нам с забытья? –
истины зазубренное лезвие
я
не я
и лошадь не моя

СОБСТВЕННОЕ

возмущена формулировкой
(всё чаще с возрастом встречается)
и чувствую себя неловко

как лис перекусивший зайца
и пожалевший вдруг добычу
бог знает что вообразивший

разжавший зубы
голодающий
своеобычный

и не желающий – жалеющий
и не голодный – ненасытный

зеленовато яблоко-то, змеище..?!
вкушать обидно

ОТГОЛОСОК

так пока-чива-ясь шла эпоха:
делай хорошо, не делай плохо –
и, даст бог, не заступив черту,
тут отнять, а там слегка прибавить –
в облачной и солнечной забаве
каждый клок и лучик на счету

а когда не кажется напрасным
образным быть и разнообразным,
поневоле кругом голова
от того, что чудо – не причуда,
а всего лишь то, чего хочу, да
жалко есть и пить и целовать

ПОЗАВЧЕРАШНЕЕ

ещё весь август впереди,
а всё засохло и заржавело –
как боженька предупредил,
что на ходу меняет правила

куда теперь весь этот пыл
цикады грозы тем не менее
ну жил и жил да был да сплыл
лови подхватывай мгновение

и правда некуда зачем
и некогда уже тем более
любовь и ненависть вотще
меж нами ходят подневольные

а в золоте или во рже
зимой без разницы уже

ОКТЯБРЬ

в пузыре живого звука,
в светлых сумерках его
всё-то радость, что не мука,
всё игра да баловство

скажешь: тоже мне наука,
порасти всё трын-травой! –
знай, ходи себе аукай –
кто ответил, тот и свой

всё-то мило, что не глухо,
всё-то ладно, что сбылось
в пузыре живого звука
зазвучим и мы, авось

АНДРЕЙ ИВОНИН

КЛЕНОВЫЙ ЛИСТИК НАД ДОМАМИ

ВЕЧЕРНЕЕ

Помедлив на последнем рубеже,
скупое солнце прячется за крыши.
О том, что дело к вечеру уже,
я промолчу, но ты меня услышишь.
Ты свет зажжёшь, и тьма сойдёт на нет.
Прикроешь в доме окна, чтобы тыщи
ночных гостей, стремящихся на свет,
не вторглись в наше скромное жилище,
в котором только двое – ты и я,
живём как две нахохленные птицы.
Зачитанную книгу Бытия
открыв на заключительной странице,
мы будем молча наблюдать в окно
Вселенную от альфы до омеги,
как на плывущем к вечности, давно
от берега отчалившем ковчеге,
и плыть, и плыть сквозь заоконный мрак,
в холодное стекло уткнувшись лбами,
и чувствовать всё явственнее, как
ночная тень сгущается над нами.

***

Жизнь проходит, значит так и надо:
Было-сплыло, поросло быльём.
Тянет в окна раннею прохладой,
пахнет утро стираным бельём.

Новый день встаёт неторопливо.
Стынет в бочке тёмная вода.
Ветер бродит в зарослях крапивы.
Суетятся утки у пруда.

Плеск воды и, как напоминанье
о былом, колеблемый, сквозной,
солнца луч на отмели, купанье
и дорога долгая домой.

ВОРОБЬИ

Воробьи возвращаются в город, щебечут, галдят,
во дворах мельтешат, копошатся у талых помоек.
Вот один – как из старого фильма заправский пират,
а другой, посмотри, с жёлтым клювом, особенно боек.

Среди медленных, важных, клюющих зерно голубей
они словно шпана беспризорная из подворотни.
День встаёт над омытой дождями Москвой, и синей
бесконечное небо над Бибирево и Капотней.

Шумный город, как фокусник, прячет весну в рукаве.
Светит солнце вовсю, словно летом, уже без утайки.
И повсюду – на мокром асфальте, пожухлой траве –
рассыпаются шустрой гурьбой воробьиные стайки.

Вон их сколько! Шумят, задираются, прут на рожон.
А недавно ещё пропадали, и где – непонятно.
Наступает апрель. Начинается тёплый сезон.
Воробьи возвращаются в город. И это приятно.

НЕБО

Как небо беззащитно-близоруко!
Как девственно чиста его купель!
Ни облачка, ни шороха, ни звука
в пространстве, именуемом апрель.

Пока ещё не замутнён движеньем
мельчайших крыл небесный свод, и май
не наступил, скорее отраженью
божественного космоса внимай!

Пока среди частичек невесомых
воздушной взвеси, множественным *я*
бесчисленное царство насекомых
не пробудилось из небытия,

открой окно, впусти живую влагу
восторженной, благословенной си-
невы и осторожно на бумагу,
не расплескав, её перенеси.

ВСТРЕЧА

Дождинки мелкие секут
лицо и плечи.
Три тысячи шестьсот секунд
до нашей встречи.

До мига, стоить что готов
иных столетий.
До разговора не из слов –
из междометий.

До звона выпавших ключей
на мокрых плитах.
До сердцу милых мелочей
давно забытых.

До бестолковой суеты
у касс вокзала.
До бесконечного: «А ты?» –
«А ты сказала?».

До нас, скрывающих испуг
и боль в уловках
нетерпеливых этих рук
и губ неловких.

И пусть надсаженный гудок
хрипит протяжно,
ведь всё, что в жизни было *до*, –
уже неважно.

Дома мелькают, провода
повисли косо.
Бегут по рельсам поезда,
стучат колёса.

Составы скорые идут,
дождям переча.
Три тысячи шестьсот секунд
до нашей встречи.

КОМАРИК

Яблоком спелым под гору катится лето.
Ты у окна неподвижна и полураздета,
смотришь рассеяно в настежь распахнутый омут
линялого неба. А ниже пластается город.
День уходящий уже никогда не вернётся.
В воздухе спёртом горячее, жгучее солнце
падает в квёлое облако ласточкой, сбитой мишенью.
Небо пустеет. И страстно целует в шею
тебя, разомлевшую от духоты и лени,
как юный паж, почтительно встав на колени –
тщедушный комарик – чуть дышит, краснеет, сгорая
от преступной любви к тебе. И я его понимаю.

ЗАДАР

Помнишь,
как жёсткий наждак, раскалённый асфальт,
и на коже
жар нестерпимого солнца,
и ласточек в небе звенящем?
В той,
почти нереальной, вселенной
мы были немного моложе,
и ушедшее прошлое
было ещё настоящим.

Нас кривые проулки вели –
и чего бы, казалось бы, проще –
поднимали над городом
лестниц крутые ступени,
по которым
(язык на плече)
мы с тобой выходили на площадь
и у чахлых деревьев
искали спасительной тени.

И блаженный тот день продолжался,
как казалось тогда, бесконечно,
не утратив с утра
ни задора, ни страсти, ни пыла.
И был город у моря
всеми красками лета расцвечен.
И всегда торопливое время
ещё никуда не спешило.

ПАМЯТИ О. МАНДЕЛЬШТАМА

Бьёт свинцовая дробь. Остывает в колодце вода.
Загустевшая мгла и холодных небес полусфера.
Полустанки, вокзалы, бегущие вдаль поезда.
Запрокинутый вверх подбородок слепого Гомера.

Снова хмурый октябрь барабанит по стёклам. Ответь,
отчего эти иглы дождей так пронзительно колки?
Кто простит тебе вещих стихов вдохновенную медь
и в глазах флорентийского неба осколки?

Всё темнее за окнами сумрак и дождь всё сильней.
За дощатой стеной веет ветер, смыкая ресницы.
Влажный лепет Невы и мерцанье ночных фонарей –
этот город вдали нам с тобою, наверное, снится.

Над погостами звон похоронный и плакальщиц вой.
Глинозём и суглинок – как памяти высшая мера.
Часовых перекличка и в ночь уходящий конвой.
Запрокинутый вверх подбородок слепого Гомера.

***

Полон воздуха и света
бирюзовый вертоград.
В небе Ветхого Завета
божьи голуби летят.

Над землёй, над домом нашим
в стародавней стороне.
Сверху крылышками машут
зачарованному мне.

И взлетев над облаками
без особого труда,
улетают. И за нами
не вернутся никогда.

***

Вот так живёшь, не думаешь, не знаешь,
полжизни собираешь всякий хлам,
и ни о чём таком и не мечтаешь,
а где-то там

всё решено: обветренные губы
студёный, влажный воздух пьют, и вот,
как медяки, начищенные трубы
трубят поход.

Звучит в ночи протяжное «по коням!»
И всадники садятся в сёдла чтоб,
небесный свод, как стяг, держа в ладонях,
пойти в галоп.

И тотчас же приходит всё в движенье,
торопится, волнуется, летит.
Ты чувствуешь уже их приближенье –
они в пути.

И пишутся божественные строчки
под гром копыт, под лошадиный хрип.
И тает лёд, и лопаются почки
набухших лип.

И вот тогда, неведомо откуда
пришедшее нежданно, верь не верь,
услышишь сам, как маленькое чудо
стучится в дверь.

***

В обычный день идёшь себе такой
по улице, что кажется рекой,
плывёшь в толпе в разноголосом гаме,
и наверху… вон там… наискосок,
вдруг замечаешь – кружится листок,
простой кленовый листик над домами.

И вроде бы всё так же, как всегда:
натянуты на мачтах провода,
и солнце сеет свет, хоть и вполсилы.
И день так изумительно хорош.
А ты такой по улице идёшь
и понимаешь – осень наступила.

ЕЛЕНА КОРО

ПЕШЕЛЁТЫ СЛОВА
(цикл стихотворений)

АНГЕЛУ РЕЧИ

Где ты теперь, моя радость?
Бродишь по тихой воде
В тишине предрассветья,
В сумерках поднебесья
Теряешь следы в отголосках,
Шорохах, всплесках волн.
Ангел мой, речь так тиха,
Почти немь, но ты вся
В брызгах речи, капельках
Междуречья, предтеча.
В неясных строчках рассвета
Мир пишет тебя так тихо
Будто всерьёз, набросок мой речи,
Ава моя, сном.

ПЕШЕЛЁТЫ СЛОВА

Я знаю секрет как шёпот
Полузабытого бога,
Что выходил к мёртвым,
Не ведавшим слога.
Шёпот ли, шелест ветра,
И мёртвые пришли криком,
А воскресали звоном,
И улетали в облакитье
Неба – в дом бога
Звоном шелестящего слога,
Пешелётами Слова.

ВИД НА ГОРУ МАШУК

Я смотрю на этот улетающий дом,
В нём окно, там вид на гору Машук.
Я б хотела пойти туда, где за моим окном
Улетающий вид на гору Машук.
Кто-то курит трубку, забыв ключи,
Смотрит на летателей из-под козырька ввысь.
Пешелёты горы Машук отправляются в путь.
Вспомни, Велимир, шагающих по высотам пятой горы.

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, ДО СИ

Сухое ливадийское лицо,
В проёме дня сосновый сад, беседка и штрихи
Трёхмерной проседью овал его в октаве,
В аккорде убегающих огней, как до-соль-ля
И на мгновение в минор, туман нечётких
Склонов Могаби, Мария Александровна, до Си
Спускаются со склонов две реки, меж Ре и Ми
Повсюду тихий дух, любимый, званый, отчий,
Лицо уходит в прочерк слиловеющего сада,
И в росчерках восторженного Аве,
Мария Александровна, со склонов Могаби
Вечерним присмерком тишайшим Аллилуйя.

ИЗЪЯТЫ РЕЧЬЮ

Одна за другой были у меня в подругах вдовы.
Я полюбила смерть, перестала быть доброй.
По кладбищам слонялась анахоретом,
Склонялась по местам как падежам и числам.
Мой любимый язык, русский, нарекал меня зовом,
В звательном пребывали вдовы, я звала их непрестанно.
Осталась званой этим временем, языком и по строкам
Определяла предлоги без предложения руки как речи,
Онемев в безъязычье, тенью, французским «on»,
Билингвальной улыбкой неми.

МИР КАК ПРИЧАСТЬЕ

Вот и проходит мир как прощанье,
Росчерком праха, почерком чермным
По голубому, по облакитью, седью седея,
Прахом бесплотным, мир как причастье
Летит в поднебесной образом, зовом,
Незваною гостьей в мир как в прощанье,
Не обращаясь, ангелом тихим,
Росчерком лёгким по облакитью.

СПИСОК ЛЕТАЮЩИХ ДНЕЙ

День облакитный пришёл и взлетел
Акриловой точкой и птицей
В межвременье, нет, не бегом, пешелёт,
Синью под сенью сквозных облаков,
Странствуя птицей, длится.
Скиталец из просини в осень, и блед,
Не всадник, акриловой птицей
День облакитный пришёл и взлетел.
Авгурами в списки летающих дней
Зачислен, чтецами длится.

СМОТРЯЩИЙ ВПЕРЁД

Из ризы, червлёной солнцем,
выскочил словно гений,
отправившись в путь небесный,
хитон сей бесшовный белый
царицей Еленой положен
сокровищем тихо в Трир,
смотрящий вперёд, в мир.

КЛЁНОПИСЬЮ ПО СИНИ

Облакитной октябрьской высью
Нижется гроздь барбариса
Чётками птичьих набросков
Клёнописью, неброским
Багрянцем по сини.
Ветер бросает в небо
Тайнописью на хоругви
Морские перелётные фуги.
Аве, Осень!

ПАМЯТИ МАРКА ШАГАЛА

А мир уходит из-под крыл,
летит, и облачным запястьем
ты прикасаешься и – счастлив,
честью солнцу мил.
Частицей радужки лучится
смешинка в солнечном обличье,
излучинками соучастья
ты миру личный сопричастник,
и мира бледная облатка
тобой расцвечена в свет счастья,
и тайнописью ходоки
по небу – иноки любви.

ЗА МАКУШКОЮ ЛЕТА

Вот и день, возвращающий тень,
возрождающий Ци.
Эти летние боги немного смешны.
Поцелуи их слепы на макушке у лета
в Лету уносят их сны.
Но ты следуй за Ци и тебе махаон
вновь помашет крылом.
Он мелькнёт над тропой
и маяк поплывёт за тобой,
настигает в воде его свет.
На рассвете махнет махаон.
Он из Ом и из Ма,
он маяк и мантра твоя.
Маха он, возвращающий Ци.
Боги смеются с тобой на рассвете.
За макушкою лета летит Махаон.
Ом

БЕЛЫЕ ГОРОДА И НЕБЕСНЫЕ ВЕСИ

Мой белый город облакитных высей,
Я тайный пешелёт летучих весей.
Небесных ходоков пополнив пеший лёт,
Спешит крылатый иноходец
По киммерийским волошковым
Небесам аллюром – в бег как в лёт.

***

Мой дом прохладный вертоград.
Я выхожу и кипарисы
Бегут бегут травою рысью,
Бросая кипами на листья
Не рис но котиков подряд.
Вот славный котофей,
Он феям мил, его чесать
Летят летят все дуновейно,
Он кельтским духам рыж и в масть.

АПРЕЛЬ

И вновь пошли распахнутые дни,
Оконца голубиных строчек облакитья,
Из птичьих, из глубинных этих высей
Строчили ангелы-хранители поэмы судеб,
И птичьих строчьих клиньев письмена
Спускались махаонами и ждали
Прилив голубоокой и неслись
По бирюзовым облакитным дням.
Воочию сходили как во сне.

ЛЮБОВЬ КАК АСЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЯЗЫКА

А я была счастлива
Тем несуразным летом.
Бродила по заброшкам анахоретом,
Не вписываясь ни в чьи мечты и планы,
Оказалась вдруг званой
Не на тайную вечерю,
Не в места пилигримов.
Ты меня вытащила из всех нежданностей
Неожиданностью твоих мест,
Опровергая подтекст,
Просто гулять с тобой по воде
Как апостол Андрей,
Но не вписываясь в апостолово, мы бродили,
Отдаляясь от сути природного звания,
Незваные, ускользали
Из мира в радугу, радуясь
Безумному ракурсу чаепития
В местах не созданных и не названных,
Окрещённых именем чьей-то любви
К приключениям по длиннотам,
Где брошены разности на волю случая
Дополнительностью чуда.
Семантикой сквозных неочертанностей, везде и нигде
Мы с тобой пребывали
В нашей счастливой случайности
Всё лето, дорогая.

ИРИНА ЧУДНОВА

ОСЕННИЙ СИНДРОМ
рассказ

Во дворе второй городской больницы жгли листья. Костров пять или шесть. Дым сносило ветром в сторону проспекта Карла Маркса. Пашке вдруг показалось, что в заросшем, неухоженном дворе стационара сменилась власть, и новые хозяева приносят человеческие жертвы. Он мотнул головой, оттоняя наваждение, и попытался вникнуть в Лёхин восторженный трёп.

– И чего Блаватская? – делать вид, что интересно, было трудно, но обижать друга равнодушием не хотелось.

– Да не Блаватская, а Кастанеда! Мне друган с ВВЦ распечатку принёс и третью книгу целиком обещал! В которой про точку сборки. Блин, там такие дела – можно управлять сновидением, можно вообще чего угодно, только нужно помощника найти! – Лёха чуть не подскакивал на расшатанном, с неровно обломанными краями, пластмассовом сидении в кабинке колеса обозрения, – Ладно, я смотрю, ты меня не слышишь совсем. Показывай своё место, что ли.

Колесо прошло почти четверть круга, и теперь они находились чуть ниже окончания опоры, к которой крепилась ось. Пашка подвернул руль и кабинка, жалобно скрипнув, крутанулась по часовой стрелке, кроны тополей поплыли влево.

– Вот, смотри, если залезть по внутренней стороне опоры, то во-он там есть площадка из трёх железных балок, почти сплошняк, очень удобная. На ней я и качаю пресс. А главное – ночью – класс, я как-то спецом белую куртку там оставлял – ни разу с земли не заметно. Где-то месяц уже почти каждый день сюда хожу, если дождя нет.

Кабинка поднялась выше, Пашка ткнул пальцем вниз и вправо:

– Видишь площадку?

– Ага! – Лёшка непроизвольно сглотнул, мальчишеский кадык нервно дёрнулся вверх по щуплой, как и вся нескладная фигура, шее.

– Спускаться начнём, я тебе ступеньки покажу, их с той стороны лучше видно… Ну, так чего там твой Кастанеда? – Пашка подвернул руль, кабинка пошла значительно легче, видно, её не так давно смазывали, но смазка застыла. Лёха сел на любимого конька, и через минуту голос его стал казаться чем-то вроде звуковой дорожки к чуть слышному с высоты шелесту пока не облетевших тополей, по кронам которых то лениво, а то и чуть усерднее пробегала волна северного ветра. Осень. Ещё, может, неделя, и немногочисленные аттракционы в Центральном парке закроют до весны. И будут эти груды железа стоять бесхозно, ржаветь и скрипеть на ветру цепями, стучать полуразбитыми деревянными плашками сидений как выбеленными костями покойников.

Неожиданно ветер у земли сменился, и дым из больничного двора потащило в другую сторону.

Колесо спустилось уже почти в сумерках, у выхода из парка горели оранжевым фонари, трещины асфальта расползались из-под ног как прихотливые змеи, теряясь за пределами освещённого круга. Пашка поднял воротник ветровки, Лёха по давней привычке втянул голову в плечи, не вынимая рук из карманов.

– Пошли, что ли, в «Донбасс»? Там сегодня Юркин брат работает, вдарим по пивку ради субботы, у меня пятёрка есть, батя расщедрился. Твои сегодня где? – бодро предложил Лёха, сплёвывая сквозь мелкие передние зубы.

– На даче. Они там до конца ноября все выходные пропадать будут, потом поздние груши отойдут, снег выпадет и баста, до весны на участке делать нечего, – Пашкин рот наполнился слюной – груши у них и вправду вкусные, ни на каком базаре таких не купишь.

Вышли на площадь, монументальная фигура советского солдата-освободителя в каске и развевающейся плащ-накидке со вздетым к небу автоматом грозным силуэтом выделялась на фоне ещё светлого неба. Вычурное крыльцо купеческого особнячка, в котором помещался военный комиссариат, ярко освещала голая лампочка, на нём стояли молодая грудастая машинистка в форменной юбке до колен и лысый офицер, оба курили. Офицер что-то говорил, развязно жестикулируя, машинистка жеманно стряхивала пепел через витые перильца и заливисто хохотала. Ветер с хрустом кружил в узком закутке тротуара невесомые, как китайская рисовая бумага, пересохшие листья каштанов, через площадь, в здании средней школы, горело несколько окон.

Пашка поймал на грудь очередной порыв ветра, и вдруг, неожиданно и остро, до захолонувшего дыхания в горле, показалось ему, что вся эта картинка вот прямо сейчас – навечно и прочно впечатывается в память, обретает своё, особое значение, которое придётся разгадывать не год и не два, а всю жизнь. Показалось, что именно этот прозрачный, пропахший дымком жжёных листьев, осенний вечер тысяча девятьсот восемьдесят девятого года и есть самое сокровенное, самое непреложное доказательство того, что он – Аниканов Павел Олегович, 1974 года рождения, проживающий в городе Шахты Ростовской области – здесь и сейчас жив, и сам этот факт делает весь мир таким, какой он и есть, *его*, Пашкиным, миром. Выпугнутая шагами мальчишек серая кошка рванула из кустов и скрылась в ближайшем переулке. На душе стало легко и весело. Под ноги попался бело-зелёный комок шкурки конского каштана, и Пашка ловко пасанул его Лёхе. Тот вынул, наконец, руки из карманов и с готовностью ответил метким пинком. Так и дошли до тяжёлых, отделанных деревом дверей кафе.

Несмотря на то, что вечер ещё только начинался, в заведении было изрядно накурено, сквозь сизые клубы сигаретного дыма со стороны бара прорывалась ухающая «умца-умца». Юркин брат заметил их ещё от дверей и приветливо махнул белым полотенцем. Пацаны двинулись через весь зал, мимо столиков: почти все были пусты, лишь за одним пировала шумная компания выходцев с Кавказа, да слева от них сидели угрюмого вида товарищи в серых пиджаках, по виду – командировочные.

Ребята взяли три бутылки «Жигулёвского» и забрались в самый тёмный угол – зав. пищевой точки иногда вспоминала про тех, кому нет двадцати одного.

Через четверть часа стало веселее, стены кабака не казались уже такими обшарпанными, музыка зазвучала осмысленно и даже мелодично. Серые личности расправились с ужином и удалились, зато кавказцев прибыло, они сдвинули несколько столиков и уже не подбирали выпавшие из карманов купюры. Ещё через час от Лёхиной пятёрки осталась трёшка, а потом разменяли и её. Оба чувствовали тот стремительный прилив силы, когда тянет на подвиги и, кажется, ещё чуть-чуть и весь мир будет у твоих ног. Настенные часы показали девять. В компании кавказцев появилось несколько шумных девиц, крашенных блондинками. Одна из них напомнила Пашке билетёршу с городской дискотеки. Дискотека в субботу! Идея что надо! Они расплатились с заговорщицки подмигнувшим барменом и вышли вон из прокуренного тепла. Лёха опять сунул руки в карманы и ссутулился.

Ночь пахла пылью и ветром, из соседнего переулка кричали петухи. На душе было щемяще хорошо, хотелось света, шума и выпивки. У входа на площадку, где устраивались дискотеки, в народе известную как «загон» или «клетка», Лёху окликнули знакомые ребята, один из них гостеприимно распахнул ветровку – из внутреннего кармана зазывно сверкнуло горлышко беленькой. Контролёрша погасила билетики, и гостеприимные объятья толпы приняли всех в тесноту и шум круга.

Расходились за полночь. В загоне гасили свет, музыканты разбирали инструменты, зычно матерясь с частью местного пейзажа – Вовчиком, приставучим вечным мальчиком лет сорока. В воздухе пахло туманом, с Пашки вдруг слетела наносная хмельная весёлость, захотелось побыть одному. На очередном перекрёстке он махнул приятелям рукой и скрылся в боковой аллее.

В темноте стало холоднее; копируя Лёху, Пашка ссутулился, пересиливая привычку, втянул голову в широкие плечи спортсмена, сунул руки в карманы. Почти сразу же заломило спину. «Дурацкая походка!» – в голове всплыл раздражённый голос тёти Наташи, Лёхиной мамы. С дуба крикнула разбуженная птица. Пашка глянул вверх, справа виднелся тёмный силуэт колеса обозрения, опоры уходили в беззвёздное небо. Показалось, на «его» площадке что-то белеет, нестерпимо захотелось постоять наверху, послушать ветер, вглядываясь в редкие огоньки спящего города, ощутить восторг и сопротивление высоты. Он перемахнул через невысокую оградку и полез вверх по ржавым скобам опоры.

В самый первый раз подъём казался подвигом смелости, уже на третий острота высоты приелась, предприятие представлялось вполне безопасным и даже тривиальным, тогда-то и придумалось подтягиваться и качать пресс наверху, зацепившись ступнями за удобный прут проржавевшей арматурины. Иногда от нагрузки сладко кружилась голова, и Пашка чувствовал, что становится сильнее, закаливает тело и дух.

Он поднимался всё выше и выше, пальцы привыкли к шершавому, холодному и скользкому от ночного тумана металлу, пять чувств перестали быть человеческими, обслуживающими лишь его собственное тело, разрослись, заполнили пространство, словно он стал одно с осенней ночью, с порывистым ветром, с нарождающимся туманом, с городом, раскинувшимся под ним, с бряканьем карусельных цепей и далёким брёхом собак. Мир врывался в Пашкино естество, стремительно заполнял его. Он казался сам себе бездонным, был здесь и везде, нигде и в каждом уголке пространства-времени. Площадка выглядела такой же что и всегда. Руки раскраснелись, заныли от холода, Пашка подышал на них и потёр о джинсы. Ветер дул с севера, со стороны вокзала, прямо в лицо. Там, на севере, было совсем темно, только радиовышка в самом начале сонной, бархатной от круглых абрикосовых крон улицы Шевченко мигала тёмно-красным огоньком. Казалось, Земля – вольный корабль, одиноко плывущий в пространстве деревьев, вышка – далёкий маяк, зовущий причалить к новому берегу, а Пашка – юнга-вахтенный на мачте корвета, счастливец, первым заметивший долгожданные признаки конца многолетнего плавания. Он глянул вниз, туда, где должен был находиться капитанский мостик, но спереди от опоры была лишь чернота технической ямы с зубастыми шестерёнками и тросами, сзади – светлым пятном выделялась коробка смотрителя колеса обозрения, из которой и запускали аттракцион.

«Так не всё ли тебе равно, кореш Пашка, шагом вперёд или шагом назад выйдешь ты из рядов человечества, если весь этот мир, со всеми Лёхиными Лао-Цзы и „Розами Мира“, с поздними грушами на даче, с родительскими выволочками за двойки по математике, с влажным осенним ветром, приносящим промозглую морось, с розовым и белым абрикосовым кружевом весной, с призрачными огоньками на радиовышке, с дискотекой по субботам и пивом в прокуренном баре „Донбасс“ – и есть твой мир, который существует только потому, что существуешь ты?!» – властно и доверительно прозвучало то ли из глубин космоса, то ли из Пашкиного разросшегося до размеров Вселенной сердца. От неожиданности он присел на корточки, посмотрел вперёд – в шестерёнковую темноту, потом назад – на светлый квадрат будки, зачем-то не то кивнул, не то тряхнул головой, соглашаясь с голосом, потом вспомнил о тренировке, ради которой и оказался тут, зацепился ступнями и резко качнул корпус назад, за пределы площадки. Ритм, согласовавшись с движениями тела, вытолкнул из головы всё: и мысли, и голоса, остался только неизвестно когда придуманный самим Пашкой бесконечный стишок:

С похмелья в яму закатилась моя голова,
Фараоны рубят белые кости, совсем как дрова,
Моя мечта жива, моя жизнь не нова,
Моя вдова права, ведь водка не трава,
А счастье будет завтра, раз обещалось вчера,
Когда болела шея и звала Москва,
Когда кричала ворона и плакала сестра,
И я верил тебе, а ты мне врала…

Тело наполнялось эндорфинами, и Пашка не замечал, как с каждым движением с его правой ноги всё вернее и неотвратимее соскальзывает палёный адидасовский кроссовок с лопнувшим от чрезмерного натяжения хлипким шнурком.

15.10.2004 г. *г. Пекин, Даванлу*

АЛЕКСЕЙ КОТЕЛЬНИКОВ

ГОЛУБАЯ КРОВЬ
рассказ

Егорыча в Чудиловке не любили. Да и откуда было взяться этой любви, если трезвым его помнил только герой гражданской войны Митрич да ещё несколько стариков. Последующим поколениям встретиться с трезвым Егорычем не удавалось. К тому же за какой-либо работой его никто никогда не заставал.

В привычном для себя состоянии, седой, лохматый и небритый, Егорыч каждое утро усаживался на лавочку возле остатков забора и пел. Земляков любитель музыки репертуаром не баловал. В сольную программу входили исключительно матерные частушки. Тексты, не отличающиеся разнообразием, он выучил, читая тетрадь, найденную им на месте развалившегося от ветхости клуба.

Напрочь лишённый музыкального слуха, Егорыч сам придумывал мелодии к своим произведениям, отчего те были похожи на песни акына. От этого вокала сотрясалась не только Чудиловка, но и стоящая в километре от неё птицеферма. Директор предприятия Ляпин был уверен, что низкие показатели птицефермы напрямую связаны с концертами Егорыча. Но сколько с ним ни пытались беседовать, вечно пьяный певец выступления не прекращал.

Жил он один в родительской избе, а точнее, в своём маленьком мире с большими бутылками самогона и, как отмечали односельчане, «жистью был доволен». Комиссованный по ранению во время войны, Егорыч так и не нашёл себе работу. По правде говоря, он её не искал. В кармане лежала бумага, благодаря которой статья за тунеядство запевале не грозила. Всю жизнь он проживал на деньги своих родителей, а колхозные скотники Егор Ильич и Марья Захаровна души не чаяли в сыне, позволяя ему абсолютно всё. К тридцати годам Егорыч уже не представлял, как можно завтракать, обедать и ужинать без стакана самогонки.

Чудиловка и самогон были такими же неразлучными понятиями, как «Сухово» и «Кобылин». Святых в деревне не было, пило практически всё взрослое население. Вот только «дотянуть» до уровня Егорыча не мог никто. Да, был в Чудиловке дед Гордей, который тоже постоянно прикладывался к бутылке, но вёл он себя тихо и никому не досаждал ни песнями, ни плясками. Гнали самогон почти в каждом доме, однако всенародно нелюбимый певец за покупкой далеко не ходил: родители всегда держали в погребе мутный и зловонный продукт.

Располагалась деревня в отдалённом живописном уголке Советского Союза. О том, что самогоноварение наказывается законом, жители Чудиловки догадывались, поэтому гнали аккуратно, не афишируя своё хобби. К тому же районная власть показывалась в этих краях крайне редко. Милицию отродясь не вызывали, а если и случались конфликты, справлялись своими силами.

Когда Егорычу стукнуло шестьдесят, один за другим ушли к своим предкам Егор Ильич и Марья Захаровна. Для любимого сыночка родители накопили денег, и он продолжал жить припеваючи, тратя родительские сбережения на выпивку и нехитрую закуску. Сам Егорыч, в силу своей лени, самогон не гнал. Изделие из свёклы и дрожжей продавали ему все, к кому он обращался с этой просьбой. Сельчане прекрасно знали, что после акта купли-продажи последует концерт, но, боясь остаться без приработка, закрывали на неудобства глаза. Правда, было несколько попыток объявить Егорычу бойкот и не продавать ему самогон. Но каждый раз кто-нибудь не соблюдал соглашение, в результате чего бойкоты проваливались, а весёлый и пьяный Егорыч снова и снова приводил окрестности в ужас своим пением.

В тот июльский день, который перевернул сознание сельчан с ног на голову, концерт продолжался уже часа три. К солисту Чудиловки подошла соседка Валька, держащая пустые вёдра, и по сложившейся традиции поприветствовала хранителя фольклора словами:

– Когда ж ты, чёрт непутёвый, заткнёшься-то? Тудыт твою налево!

По той же традиции Егорыч запел ещё громче. Решив не нарушать обычая, Валька смачно сплюнула и пошла в сторону колодца.

Валентина была чуть младше Егорыча, но, как и старшее поколение Чудиловки, искусно скрывала свой интеллект. Порой казалось, что из всего литературного наследия ей была знакома только азбука.

Любитель акапельного пения закончил исполнение частушки про любвеобильного индюка и собрался порадовать население очередным музыкальным шедевром «Полюбило наше стадо удалого пастуха», но вдруг уставился на показавшийся в начале улицы иностранный автомобиль. Не доезжая до дома Егорыча метров сто, машина остановилась, и из неё вышел представительный мужчина в чёрном костюме и белой рубашке. Человек направился к ближайшему дому и стал разглядывать полустёртую табличку. В этом доме проживал Павел Губкин – молодой инженер, приехавший в Чудиловку по распределению. Была суббота, и Павел собирался отоспаться. Но после бесполезных обращений к Егорычу с просьбой закрыть рот дипломированный специалист тщетно пытался найти в доме место, куда не проникали бы нарастающие децибелы песен. Не обнаружив такового, молодой человек решил ещё раз попробовать обуздать пьяного солиста. В тот момент, когда инженер спустился с крыльца, концерт неожиданно прервался, и Павел заметил незнакомца, стоящего у калитки.

Егорыч увидел, как инженер показывает рукой на его дом и что-то объясняет мужчине. Незнакомец сел в авто. Через несколько секунд машина остановилась напротив покосившегося строения. Из неё вышел тот же обладатель стильной одежды, а с ним ещё двое не менее солидных мужчин. Наблюдавшая за происходящим Валька так и не дошла до колодца и решила вернуться с одной целью – понять, что всё это значит. Она приблизилась вплотную к приезжим, которые уже стояли рядом с Егорычем. Одетые с иголочки мужчины что-то бурно обсуждали на неизвестном ей языке, а человек, общавшийся ранее с Губкиным, переводил Егорычу на русский всё, что говорили два иностранца. При этом гости показывали чудиловскому запевале нарисованное на большом листе бумаги дерево.

Разговор между представителями интеллигенции и представителем нетрудового народа продолжался минут тридцать, после чего Егорыч сел в автомобиль и куда-то уехал со своими новыми знакомыми.

Свидетельница беседы Валька бросила вёдра и со всех ног побежала к сельмагу, где в это время обычно было много народу.

– Ой, бабоньки! Ой, мужики! – заголосила Валька. – Певец-то наш недоношенный… Егорыч-то…

– Что?.. Что с Егорычем? – послышались вопросы из очереди.

– Егорыч-то наш, знаете, кто? Прынц он заморский, тудыт твою налево, – выпалила Валька.

– Рехнулась ты что ли, Валентина? – поинтересовалась продавщица Дуся.

– Ой, бабоньки, – не унималась Валька, – я дерево видела, это, как его, гине… гине… гине-кологическое. Точно – прынц Егорыч.

– Кажется, Валентина умом поехала, – сделал смелое предположение ветеран трёх войн Митрич.

Вальку окружили односельчане, превратив очередь в хоровод, в центре которого стояла обезумевшая женщина.

– Тётя Валя, – обратилась к ней десятилетняя праправнучка Митрича, – в нашей стране нету ни принцев, ни королей. У нас товарищ Горбачёв самый главный.

В хороводе стало тихо. Собравшиеся в магазине люди начали понимать, что Вальке светит либо дурдом, либо политическая статья. Кто-то из сельчан протянул Валентине бутылку с водой. Женщина выпила из горлышка всё содержимое ёмкости, после чего выпалила:

– Да не трёхнутая я!

– Тады толком объясни, чё случилось! – прикрикнул на раскрасневшуюся бабу Митрич.

– Так слушайте, чаво я вам скажу, – почти басом произнесла Валька.

Из повествования нетрёхнутой Вали односельчане узнали следующее: приехавшие к Егорычу «городские тилигенты» рассказали ему, что «в какой-то стране с неприличным названием» стали переписывать потомков «ихнего короля, который помер чёрт-те сколько лет назад». Нашли всех, кроме одного. И вдруг выяснилось, что недостающий потомок – это Егорыч. По словам Вальки, «евонная бабка ещё до революции снюхалась с каким-то заморским не то траташе, не то атнаше. А потом бабку Егорыча увёл у него буржуйский прынц, который приезжал в царскую Россию… А опосля у бабки родилась дочурка Мари. Так вот эта самая Мари и была мамкой Егорыча».

– Я не поняла, – орала Валька, – чё у них тама случилось, но во время революции деваху подобрали красноармейцы. Деваха сказала им, что она сиротка, что звать её Марьей. Вот солдатики и дали ей отчество «Захаровна», потому как фамилия ихнего командира была «Захаров». А фамилию свою она сама себе придумала… я забыла ужо, какую. И для того она это сделала, чтоб её не убили за иностранных сродственников.

Валька посмотрела на пустую бутылку и сглотнула слюну.

– В общем, так, – сказала Валентина осипшим голосом, – Егорыч – сто пудов – прынц.

– А про какое такое дерево ты, Валюха, говорила? – спросила свою подругу Дуся, покинувшая прилавок и присоединившаяся к народу.

– Гине… гине… короче, на этой дубине нарисованы все прынцы и прынцессы. Городской мужик тыкал в ентот чертёж и говорил Егорычу о его сродственниках. «А тут, – говорил мужик, – ВЫ, дорогой Пётр Егорыч». А ешо документы разные ему показывал.

– Точно, – почему-то обрадовался дед Гордей, повисший на чьём-то плече, – Петром его зовут, ядрёна-бубёна.

– Да погоди ты, старая развалина, – одёрнул Гордея Митрич, который в тысяча девятьсот тринадцатом году гулял на свадьбе у его родителей. – Дай бабе дорассказать. Говори, Валюха.

– Вот я и говорю, – с новой силой начала Валька. – Теперь нашего Егорыча посодють на иноземный трон.

– А ты не врёшь? – спросила Валентину бабка Аксинья, лицо которой постоянно выражало испуг.

– А на кой ляд мне врать-то! – ещё громче заорала свидетельница международной встречи. – Я всё своими собственными ушами слыхала. И дерево видала гени… гени… и документы, – Валька захлюпала носом и подошла к Дусе.

Продавщица обняла трясущуюся подругу, и в магазине ненадолго наступила тишина.

– Да-а-а-а… дела… ядрёна-бубёна, – выдохнул дед Гордей, прижимаясь к спине Павла, который прибежал на крики толпы, – ведь это надо ж было, чтоб такое счастье дурню досталось.

– Дурень – не дурень, а иначе как «Ваше Величество» таперича к ентой контре недобитой не обратишься, – произнёс, закатив глаза, Митрич.

– Ты серьёзно? – повернув к себе лицом раритет Чудиловки, спросила бабка Аксинья.

– А то ж… Какие ж тут шутки, – пробубнил Митрич. – Мы таперича с него должны пушинки сдувать. А то международный катаклизьм будя.

– Не нужон нам ентот катаклизьм, ядрёна-бубёна, – произнёс дед Гордей из-за спины инженера.

– Какой катаклизм? – обратился к деду через плечо Павел Губкин. – Вы что, собираетесь поклоны бить этому пьянчужке? А вообще-то, – улыбнулся инженер, – не придётся вам ползать перед ним. Не останется он в Чудиловке. Его ж теперь наверняка в его же королевство поволокут.

– Ой, поскорей бы ужо уволокли, – запричитала до сих пор молчавшая Мироновна. – Пущай буржуям свои песни поёть, Кобзон хренов.

– Тут может по-всякому повернуться, – взял слово настоящий коммунист, бывший комбайнёр Антон Иванович Хряк. – Митрич-то и дед Гордей правильно ситуацию понимают. Вот не поедет Егорыч в своё буржуйское царство, что тогда? А я вам скажу, товарищи. Тогда в нашей Чудиловке будет ихняя резиденция, ну как в Москве посольство.

– Чё ж делать-то тады? – прохрипела Валька.

– Это дело обмозговать надо, – сказал уже далеко не юный ленинец, – тут политический момент.

– Како-ой ещё политический моме-ент, Антон Иванович? – растянуто произнёс Павел. – У нас в стране есть генеральный секретарь. Да и партия, как говорится, наш рулевой. Так вы что, ещё и перед пьяным буржуем будете пресмыкаться?

– Что значит твоё «ещё и…»? – резко спросил инженера Хряк. – Ты думай, что говоришь. А вот уважать принца и исполнять его наказы придётся, Паша. Вы поймите, товарищи, – обратился к зашумевшей толпе Антон Иванович. – Раньше-то кем был Егорыч? Дурнем, пьяницей. А теперь он представитель иноземной державы. Чуете, чем может закончиться несогласие с ним?

– Лично я повиноваться ему не собираюсь, – засмеялся Павел и подался вперёд, роняя почти лежащего на его спине деда Гордея. – С ума вы, что ль, все посходили?

Дед схватился за Мироновну и неожиданно бодро сказал:

– Посодють тя, Паш, едрё…

– За что? – перебил его молодой инженер.

– Вот ты, Пашенька, сам подумай, – по-отечески обратился к Губкину Антон Иванович Хряк. – Допустим, пошлёшь ты Егорыча, то есть Его Превосходительство, простите, бабы, в жопу. А дальше что? А дальше – международный конфликт. А там и до войны недалеко. Чуешь? Павел сплюнул и вышел из толпы, которая, увеличиваясь, уже не умещалась в стенах сельского магазина и перекочевала на улицу.

– Э-эх, – с досадой произнёс молодой инженер, – вам бы Гоголя да Чехова почитать, подхалимы. У них про таких, как вы, много чего написано.

– Во-первых, ежели я не ошибаюсь, они не писали ни про колхозников, ни про коммунистов, – кричал вслед Губкину Антон Иванович, – а во-вторых, хоть ты и учёный, Павел, а всё же несозна-а-а-ательный ты элемент.

– Антон Иваныч, – сказала молящим голосом Мироновна. – Что получается-то? Пьянчужке ентому, буржую новопечёному будем в ножки падать?

– Войны хочешь? – заорал на Мироновну дед Гордей, отстраняясь от неё и пытаясь за кого-нибудь ухватиться. – Нам один хрен, под кем быть, лишь бы поскорее победил коммунизьм, ядрёна-бубёна! Коль Егорыч принц, значит, будем принцу бить поклоны! Мы за мир! – выдвинул лозунг дед Гордей и, покачнувшись, ухватился за Митрича.

– А с Егорычем разве построишь коммунизьм? – тихо спросила Мироновна.

– Глупая ты баба, – снова взял слово Хряк, – с Егорычем, конечно, коммунизм мы не построим, а вот с принцем, который за советскую власть, запросто.

Логика партийца осталась для всех загадкой, но вопросов больше никто не задавал.

– Всё понятно, – решила подытожить Дуся. – Нам международные обострения и войны не к надобности. Хорош митинговать, айда в очередь! А то с вашими принцами я про торговлю совсем забыла. Валька, – позвала возмутительницу спокойствия Дуся, – пойдём, водички тебе отпущу. Ежели денег нет, потом занесёшь.

Дуся, Валька и ещё человек пятнадцать зашли в магазин. Остальные стали расходиться.

– Кровь у него голубая, – бросил в пространство Антон Иванович.

– Чаво у него голубое? – переспросила шедшая рядом бабка Аксинья, не изменяя испуганного выражения лица.

Хряк не ответил.

– Да нам всё едино, – пробурчал догоняющий его дед Гордей, который пытался схватить Хряка за руку. – Коль надо, и голубым услужим. Лишь бы не было войны, да светлое будущее не проехало бы мимо нашей Чудиловки, ядрёна-бубёна.

Люди разошлись кто куда, но каждый знал, что если Егорыч вернётся, то любопытство само приведёт их к его дому.

Уже к вечеру у лавки, на которой обычно давал концерты Егорыч, остановилась иномарка. Из неё вышел тот же городской мужчина, который днём искал, как потом выяснилось, наследного принца. Человек открыл заднюю дверь, и в ту же секунду из авто показался улыбающийся и, как всегда, пьяный Егорыч. Односельчане, за исключением Павла, оставшегося дома, обступили наследника престола, не зная, как себя вести. Атмосферу разрядил сам потомок королей.

– Гляжу, Валька ужо всей деревне растрепала про моё ключение. Чё молчите? Да отрёкся я от ихнего престолу! Там ышо какой-то сродственник хочет свою задницу на трон посадить. Вот пущай и сажает. Чё я не видел в ентом, как его… тьфу, и не выговоришь. Оне ж и песен-то моих разуметь не смогут. Ужасть, как нострaнцы енти излагаются. Говорят – что блюют. Нет, братцы, я уж здеся свой век доживу. А вот писаc… писаc… деньги за своё благородничество возьму. И на енти деньги…

– Купите цистерну самогону, Ваше Величество? – перебил нетрезвого принца настоящий коммунист Хряк.

– Не угадал ты, Антоша. Путёвого хлуба в деревне нет. Так пущай будет.

– Неужто, Ваше Высочество, вы нам клуб соорудите?! – завизжала бабка Аксинья всё с тем же, свойственным ей, выражением лица.

Вся деревня тут же забыла и про тунеядство Егорыча, и про бесконечные пьяные концерты.

– Ваше Сиятельство! Ваше Сиятельство! – кричала Дуся.

– А чё, пущай в Чудиловке построят хлуб из кирпича! – орал счастливый Егорыч, добавляя шёпотом, – а то пропью ведь деньги-то, пропью…

– Ой, Ваше Пресох… Ваше Пресох… Ваше Пре-во-сходительство! – с трудом выговорила Валька и бросилась в объятья к наследнику престола. – Да мы ж за вас, мы ж за вас… раскудрит твою… то есть, вашу…

Её восторженный хриплый голос потонул в океане одобрительных криков.

– … а в ентом новом хлубе, – продолжал Егорыч, – я буду вам песни петь и ни копеечки ни с кого не возьму. Кажный божий день буду радовать вас.

По мере того, как Егорыч произносил эту фразу, шум утихал, и последние слова благодетеля прозвучали в полной тишине.

Паузу нарушила Мироновна, держащая под руки деда Гордея:

– Ваше Благородие, лучше уж вам поехать в енту, как её… а?

– Не-е-ет, я тут родился, тут и помирать буду. А пока хлуба нет, я вам здеся буду петь. Хотите, спою прям щас? Тока вы не разбредайтесь.

– Да кто ж посмеет, Ваше Преосвященство, – сладким голосом почти пропел директор птицефабрики Ляпин, выглядывая из-за ошалевшего от событий Митрича. – Лично я специально приехал на ваш концерт.

– Вот и ладненько, – радостно отреагировал принц.

Он встретился взглядом с улыбающимся через силу Антоном Ивановичем и весело скомандовал, – хлопайте, хлопайте в ладоши-то.

Егорыч поудобнее уселся на лавочке и достал из-за пазухи бутылку виски – презент от капиталистов. Выпив граммов двести империалистического зелья, наследный принц прокашлялся и под аплодисменты сельчан запел матерную частушку «Полюбило наше стадо удалого пастуха».

ШЕСТЬ ГЛАВ
рассказ

Глава первая

– А ты красивая, Катька.
– Я? Ты фто, Илюфка, я в беввубая.
– Ничего. Вырастут ещё. Я тоже был беззубым. Выросли.
– Ага.
– Катька, а давай, когда будем большими, поженимся.
– Нувен ты мне больно…
– Ну, давай!
– Отфтань! Да и мамка заугается.

Глава вторая

– Катюха, у меня завтра выпускной.
– Ты думаешь, что я забыла?
– Мы всю ночь будем гулять по Ленинграду.
– Кто «мы»?
– Ну, выпускники будут гулять, а я убегу от ребят и буду бродить по городу с самой красивой девчонкой.
– С кем это?
– А вот угадай?
– А если она не согласится?
– Катька, перестань. И не говори, что мамка не отпустит.

Глава третья

– Катька! Катенька!
– Илюшка! Живой!
– Как ты? Как мама?
– Мамы нет…
– Когда!!!?
– Пять дней назад… А к твоей я хожу.
– Господи… Да, она мне сказала, что бываешь у неё. Спасибо, Катенька! Плохая совсем она у меня.
– Самое страшное уже пережила. Бог даст… А ты надолго? Ой, да ты совсем седой!
– На двое суток. Нашу часть перебрасывают на запад.
– Илюшка, я и живая-то только потому, что ждала тебя. Что ты так смотришь?
– Красивая ты.
– Перестань. Думаешь, я не знаю, какая я сейчас красивая.
– Ты самая красивая. Катенька, ты ещё немножко подожди. Разобьём фрицев и всю жизнь будем вместе.
– Я дождусь. Мы вместе с твоей мамой ждать будем.

Глава четвёртая

– Кать, почему Сашка не спит? Ему же завтра в школу.
– А он весь день в футбол прогонял, теперь вот над уроками сидит.
– Тяжело тебе без дедушек и бабушек?
– Конечно. Ещё и тебя воспитывать приходится.
– Кать.
– Чего?
– А ты красивая.
– Не подлизывайся. А то, что красивая, сама знаю. Илюшка, ложился бы ты спать. Проспишь ещё. Небось, думаешь, что без тебя завод работу не начнёт?
– Умеешь ты мысли читать. Ну, я ложусь?
– Да укладывайся уже.

Глава пятая

– Катюш, звонил Сашка. Они со Светой к нам в выходные приедут.
– Я знаю. Да, Илюш, Света была у врача.
– Ну и…?
– Всё нормально. Весной будем с тобой внучку нянчить.
– А может, внука?
– Они девочку хотят.
– Такую же красивую, как ты?
– А разве бывают красивее?
– Ты права, Катька, не бывает. Значит, точно – внука будем ждать.

Глава шестая

– Катюш, Оленька пишет, что все экзамены сдала.
– Ой, правда? Дай письмо-то.
– На, почитай. Что, опять очки на кухне оставила? Да сиди, я принесу.
– Спасибо, Илюшка.
– Кать…
– Хочешь сказать, что я красивая?
– Хочу.
– Я ж беззубая.
– Ничего. Вырастут ещё. Я тоже был беззубым. Выросли.

ИГРА
рассказ

В центре уральского села без малого век стоял бревенчатый дом. Его хозяева, совсем не сказочные старик со старухой, с утра до вечера занимались огородом, изредка дед латал избу. Было у стариков одно желание на двоих: повидаться с сыном Васенькой. Он уехал из родного дома и, став «большим человеком», уже много лет трудился сначала в обкоме, а затем и в столице. Чем дальше продвигался Василий по службе, тем реже от него приходили письма. Но о сыне старики знали из «Новостей». Когда ещё работал телевизор, дед с бабкой то и дело видели на экране любимого сына и не без гордости обсуждали это с односельчанами. «Вчера передали, что Ваське-то вашему руку пожимал не кто-нибудь, а сам…», – говорил старикам сосед Михеич, указывая пальцем вверх. «Да, – кивали дед с бабкой, – он всегда у нас был молодцом». На вопрос односельчан, «когда же Вася приедет в гости?», Семён Николаевич и Клавдия Ильинична отвечали, что у их сына не бывает отпусков, но, «как только дадут, обязательно навестит».

Шло время, в стране начались перемены. Колхоз развалился, сельчане один за другим стали уезжать «поближе к цивилизации», а старожилы, решившие дожить свой век в родном доме, провожали детей и внуков, говоря, что никуда с этой земли не уйдут. И действительно, уходили они только в землю. Скоро в селе остались лишь дед да бабка. Старики по-прежнему без чьей-либо помощи справлялись с нехитрым хозяйством и всё реже говорили о сыне, переставшем им писать. Но оба думали о нём постоянно. Про них забыл не только Василий, но и власти. Заброшенное село было теперь лишь ненужной точкой на карте.

Однажды в дождливый июньский вечер дед сказал бабке:

– Давай смотреть телевизор.

– Сдурел? – уставилась на мужа старуха. – С весны ж нет электричества. Ты что говоришь-то, Сёма?

– Да и хрен с ним, – рассмеялся в усы дед. – А мы будем делать вид, что всё у нас по-старому, что есть свет, телефон в клубе, что сельмаг работает и больница тоже, что…

– Точно, чокнулся, – бабка подошла к деду и заглянула ему в глаза.

– Здоров я, Кланя. Ну, это… игра такая будет.

– Тебе сколько лет-то, чтоб в игры играть? – Ну, как хочешь, а я буду телевизор смотреть.

В течение нескольких вечеров дед исправно садился перед телевизором и громко комментировал «происходящее» на экране. Семён Николаевич ни разу не упомянул о Васе и «включал» только те программы, где «показывали» исключительно старые советские фильмы. Эти «просмотры» забавляли старуху, и спустя неделю бабка уже сидела рядом с мужем и тоже «смотрела кино». Семён Николаевич, глядя на чёрный экран, рассказывал сюжеты запомнившихся фильмов, а бабка бурно реагировала на «кадры», то смеясь, то вытирая платком глаза. Старики хотели остаться в том, ушедшем времени, и вымысел постепенно стал частью их жизни.

– Была сегодня в сельмаге, – говорила деду бабка, возвращаясь с огорода. – Там столько народу!

– А чего народ-то туда попёр? – интересовался дед, включаясь в игру.

– Так ведь тюль завезли, Сёма. Жаль, передо мной всё расхватали.

– Не повезло тебе, Клань, – смеялся дед. – Завтра иди к открытию. Может, чего ещё привезут.

Ложась спать, старики наперебой рассказывали друг другу, как прошёл день. «Новостей» было много: то «с утра приходили соседи за молоком», то «местный автобус завяз в огромной луже», то «председатель колхоза вручал передовикам грамоты».

Как-то раз среди ночи дед разбудил бабку:

– А главную-то новость я тебе не сказал!

– Сём, ну что ещё? – пробурчала бабка.

– Приходил почтальон, принёс письмо от Васи. Старуха широко открыла глаза и уставилась на мужа.

– Вон, Клань, на столе лежит. Она машинально свесила с кровати ноги и, не став искать тапочки, подошла к столу. Сон мгновенно испарился, но в голове звучал вопрос: «Какой почтальон? Откуда он взялся?»

Бабка зажгла свечу. На столе стояла только пустая крынка.

– Ну что, увидела? – спросил дед. – Нет? Слепая ты у меня, Клавдия Ильинична. Сейчас сам найду и прочитаю.

Старик сел на кровати, нащупал тапочки и медленно добрёл до стола.

– Да вот же оно! – радостно произнёс дед и «взял в руки» несуществующее письмо. – Садись и слушай, что нам пишет Васенька.

– Сёма! – взмолилась старуха. – Не надо! Я тебя прошу! Заигрался ты. Перестань! – руки у женщины дрожали, а на глазах выступили слёзы.

– Какие игры? Садись и слушай.

Дед «положил» воображаемое письмо рядом со свечой, сел на стул и начал «читать»: «Здравствуйте, мои родные! У меня много работы, но я договорился с начальником, и он отпустит меня в отпуск. Приеду на Покров. Ждите. Ваш Василий».

– Так что, Кланя, в октябре Вася приедет, – радостно сказал старик, «складывая» несуществующий лист. – Немного осталось ждать.

Бабка закрыла лицо руками и ничего не ответила. С той самой ночи дед постоянно говорил о приезде сына. Среди «новостей», которые, как обычно, старик рассказывал жене, были и новости о Василии: то дед сообщал о «выступлении Васьки по радио», то о «звонке сына по телефону в клуб», то о «посылке от Василия», которую «сбросили с самолета» и которая «сейчас спрятана в погребе». Старик почти каждый день ходил в лес за грибами и заставлял жену солить свою «добычу», чтобы «Васенька поел любимых рыжиков». Деда не останавливали ни гроза, ни мольбы бабки. «Чем причитать, – говорил он с раздражением, – лучше бы посмотрела, чего у нас в погребе делается. А то приедет Васенька, а окромя грибов и его посылки на стол и поставить-то нечего». Жена сдавалась и отвечала, что всего у них достаточно. «Даже спирт есть, Сёма, – оправдывалась старуха, – целых полторы бутылки. Это тот, что от покойного Михеича остался. Не переживай ты, стол будет царским».

Когда бабка оставалась одна, она с ужасом думала о Покрове. Ещё никогда в жизни приближение Праздника так не пугало старуху, и она часами стояла перед иконой, вымаливая у Бога прощение за свои мысли.

Снег припорошил село в ночь на Покров. Бабка ворочалась почти до рассвета, но сон взял своё. Когда старуха открыла глаза, то увидела деда, стоящего у окна. Он смеялся и хлопал себя руками по бокам. Обернувшись к жене, старик бодро сказал:

– Проснулась, что ль? А я вот смотрю… – старик снова прильнул к окну. – Ну, Михеич! Ну, лысый чёрт. Глянь, Кланя. Перехватил нашего Васеньку и затащил к себе в огород. Во, гляди, клубникой хвастается. А Васька-то, Клань, стесняется его послать куда подальше. – Семён Николаевич рассмеялся звонким детским смехом.

Бабка, хватая губами воздух, встала рядом с мужем. За стеклом белел вымерший соседский огород.

– Господи, Сёмочка! – прошептала бабка. – В больницу тебя надо… в больницу… срочно.

– Клань, доставай припасы. – Старик явно не слышал жену.

– Сёма, всё будет хорошо! В больницу… в больницу… – Бабка забегала по комнате и вдруг остановилась. – Ой, да что это я? Господи, больница-то через дом от нас. Сейчас, Сёмочка, сейчас. Я уже бегу.

Старик продолжал смотреть в окно, трясясь от смеха. Бабка схватила из печки уголёк и написала им на столе: «Вася, папа в нашей больнице. Я с ним. Иди туда». Она поставила точку и, выбежав за порог, поспешила в сторону покосившегося заброшенного дома, над входом в который сохранился выцветший крест да несколько букв – «БОЛЬ…И……».

МИХАИЛ ГУНДАРИН

ТАЙНЫЕ ТРОПЫ В СОСЕДСКИЙ САД

ТЕПЛЫЙ НОЯБРЬ

Серое небо в маленьких узелках
облачной пряжи. Молча смотрю наверх.
Главное слово мается в облаках,
Как ему там, спрятанному навек?
Тёплый ноябрь тихо укрыл страну.
Нам до зимы – как до чужих морей.
Не начинай, ты скажешь, но я начну –
Выкачу лист облачных новостей.
Мы у большого неба на языке:
Сплюнет, проглотит, выговорит как слог?
Что там зажато в облачном кулачке –
Гипсовый Запад, вызолоченный Восток?
Кто станет завтра эхом в чужих горах,
А послезавтра ляжет в подножье гор?
Как мы поймём, что выиграна игра,
Если не знаем правила до сих пор?
Жизнь оказалась дымом. Была легка?
Будет ли смерть внезапной, как стоп-сигнал?
Что там внутри облачного клубка?
Я не нашёл ответов, хотя искал.

COMMUNICATION TUBE

Гуталином бриолином
Ночью без огней
Разговариваю длинно
С Родиной моей

Позолотой да утратой
Крашеной доской
Отвечает соглядатай
Правильный такой

***

Снег на улицах нашей любви,
позавчерашний снег,
вспомни,
потом картинку порви,
как завалявшийся чек.

О, эта покупка была важна!
Так была дорога,
как покинутая страна,
сданная в скупку серьга…

***

Ты помнишь, в пустом кинозале
Проектор туманно мерцал
Холодную ночь разливали
По нашим печальным сердцам.
Не тьма, но отсутствие света,
Не боль, но печаль ни о чём,
Здесь, в кинотеатре «Комета»,
В паденье любой вовлечён.
Мы врежемся в землю на титрах!
А эти 15 минут
Ещё поучаствуем в играх –
Осколки потом соберут

СОСНЫ НА ЗАКАТЕ

На склоне пологом они стоят,
а кажется, что бегут
на облачный поезд или фрегат
(он уже тут как тут).

Пятница, город,
час пик – точь-в точь!
Но время в горах сво:
им не страшна
ледяная ночь,
а мы боимся её.

***

Это гиблое место,
17 лет –
То есть, кислое тесто
Прогорклый спред –
Заслужило ареста.
Не казни, нет.

Эти тайные тропы
В соседский сад
Где во всех телескопах
Горячий яд
Безнадёжно, как шёпот,
Но пусть звучат

Эти детские лица –
С глазами сонь,
Журавли и синицы
Плечо, ладонь
Ждут врача и больницы.

Зачем – в огонь?

ВСПОМИНАЯ АПРЕЛЬ

Ноги в сырости – в облаках,
проплывающих по ручью,
отражающихся в зрачках
дня, стоящего на краю.

Дует жизнь изо всех щелей,
поднимает зелёный шар.
Над кроссвордом пустых полей
раздувает веселый пар.

Это времени первый срез,
безымянные корабли,
наши танцы с огнём и без,
наше чувство сырой земли.

(А потом уже на апрель
налепили магнитик-май.
Так хотели заделать щель,
что закрыли калитку в рай).

ПАСТЕРНАК

Когда четвёрками, восьмёрками,
Разрежут воздух чьи-то крылья,
И вдаль уйдут, едва посвёркивая,
Мы разгадаем без усилья,
В какой узор сложились полосы.
Они ещё плывут над нами,
Стоящими в траве до пояса,
Участвующими в программе
По прекращению вращения,
По остановке в яркой точке
Июньского солнцестояния,
Где никого по одиночке.
Неважно – будь ли то учения,
Или ракетная опасность,
Гость из другого измерения,
Дрон или зонд – всё это частность.
Мы все – в секунде, остановленной
Большого счастья накануне.
Глаза в глаза глядим по-новому
И зной, и смерти нет в июне.

СТРОЙКА

Небосвод, окольцованный этажами,
темен, пуст, как просёлочная дорога
Говорить об этом – играть с ножами
скорострельных молний.
Смотри, как много
вспышек электросварки на крыше мира!
Там не место птицам и нам с тобою.
Разве только ангела ли, зефира
Промелькнет перо, но они – другое.
Человек в спецовке – той же породы,
Этот мир ему нестерпимо чёрен.
Он возьмёт волшебные электроды
и насыплет сверху горящих зёрен.

***

Вот и отвык о себе говорить в человеческом роде,
Стал без труда управлять парой маленьких крыл.
Ангел печали, некрупный, навроде Володи
(Знал ведь значение присказки, да позабыл).

Тихо летит по холодной осенней лазури,
Видя добычу, булыжником падает вниз.
Ты был беспечен и весел, душевные бури
Мимо прошли – получай-ка небесный сюрприз.

Кто никогда не печалился – тот не спасётся,
Нужен душе нестерпимого лёгкий урок.
Мы для него будто ведра в глубоком колодце –
Сто утонуло, но триста он вытащить смог

УЛЬЯНА ПОПРУХИНА

ПОД ЗОНТИКОМ ОТТЕНКА АВОКАДО

ПЕРЕМЕНЫ

и вроде бы горшочек не варил
и третий рим дождями был затоплен
распутная как эмма бовари
распутывала блюзы дженис джоплин

он целовал мизинцы на ногах
цитировал меня и полозкову
и таяли подлунные снега
под скрип матраса странно и раскованно

я заполняла синий молескин
от титула до шёлковой закладки
где в рифму умещалось не покинь
где жизнь казалась ласковой и сладкой

и верилось двоим что смерти нет
а если есть то может быть достойной
кипели мы и тени на стене
горчили губы хвойною настойкой

пожалуйста ещё!....

и с хрипотцой
наяривала блюзы крошка дженис
ей подпевал бессмертный виктор цой
на перемены в общем не надеясь

И ЛЕБЕДА…

Ты варишь кофе с имбирём –
Благословенны неизбежность
И осознанье – все умрём,
Останется лишь гуща в джезве,
И мы – в рисунках и стихах,
Расшаренный посмертный сборник…
Но вечны – пробки на Соборной
И этот, самый липкий, страх.
А я безмолвия боюсь
И лести глянцевых красавиц;
Что опоздаю к февралю
Покинуть Малоярославец,

И там осяду навсегда
(На берегу замёрзшей Лужи)
Неблагодарной и ненужной,
Как самиздат
И лебеда

ГОРЬКОЕ

Выцвело небо, высохло и горчит,
Как поцелуи.
Серые без причин
Спорят со штормом чайки и катера.
Белые ночи – сумрачная пора.
Снова пишу тебе, что, замкнувшись, круг
Сжался до бездны в некую точку ру.
Мы научились правильно вспоминать:
«Запись не найдена» – этим-то и ценна.
Тахикардия невских полынных волн
Не позволяет выйти сухими вон.
Врут, с…финксы, врут, даже когда молчат.
Мне твой пиджак как-то велик в плечах.
Лютики вянут.
Скоро начнёт темнеть.
Мёртв Мариенгоф.
Мы ещё вроде нет.

ПРИМЕРОЧНАЯ

Примерим быт как ветхий палантин
Став пылью отражением в виниле
И в чём бы нас потом ни обвинили
Смолчим и обойдёмся без прости

Примерим смерть как жёлтый макинтош
Всем велика а нам пойдёт такая
В подсказки мирозданья не вникаем
Брак циников кабален для святош

Примерим жизнь и ну её любовь
Не купишь хеппиэнда на Удельной
И что лицом к лицу не разглядели
Расскажет внукам мёртвый Мариенгоф

СМОТРИМ В ПОТОЛОК

казалось бы исправить можно всё
пока мы живы и бумага терпит
свиданий тайных шок и нервный трепет
как раньше не вставляет не трясёт
и попадает мяч под колесо
но это колесо
велосипеда

а мы лежим и смотрим в потолок
перевернувшись с животов на спины
разглядываем люстру и лепнину
и муху никуда не уволок
паук
ворчат часы всё ок всё ок
да ок

на ум приходит старый анекдот
тяжёлым хрусталём сверкает люстра
и ты сжимаешь пальцы мне до хруста
представь а если люстра упадёт
мы два цыплёнка табака на блюде
о как же хрупки и нелепы люди
особенно
без линз и без трусов
как неудобно перед доном педро

ОЖИДАНИЕ МЁДА

пятистопный коньяк отдаёт аспирином с клопами
выдыхаем февраль и не ищем от брака добра
абажур в перепёлках и тусклая лампочка в бра
нам бы в отпуск где можно тюленить с кампари под пальмой
во дворе снеговик на ковре выцветают медведи
будто кобра скольжу на ветру распушив капюшон
неуклюжий троллейбус к чужой остановке подъедет
и не нас отвезёт в тридесятое «всё хорошо»
не хандри не хандрю это точно оргазм а не астма
ожидание мёда по-прежнему слаще халвы
переходим на Вы замерев между белым и красным
и никто ничего не забыл не заныл не завыл
так слагается жизнь и шифруются в строчки недели
то мороз то капель молоточки стучатся в виски
умножаем себя друг на друга и больше не делим
слишком часто наивны отчаянно редко близки

ОСЕННЯЯ ВЕСНА

Когда у нас осенняя весна,
Тревожность остаётся в мрачных снах,
В хвосте кота, следящего за птицей
Сквозь стёкла облюбованной квартиры,
В «Что? Где? Когда?» при счёте пять-четыре.
И самый сложный выбор – выбор пиццы:
«Я помню, чтоб без лука и грибов».

Забота – это точно про любовь.

Надеемся на счастье без утрат,
Расслабленные, нежные с утра,
В глазах блестят сокровища сорочьи.
Мы вновь проснулись на одной подушке!
И в комнате так солнечно недушно.
Уютный запах глаженой сорочки
В кофейности мечтательного дня

Придумай повод обнимать меня.

В вечерний чай добавить розмарин.
Целуя, ничего не говори.
Всё пустяки: долги, затор на Трёшке,
Нечаянно возникшая неловкость.
А если вдруг споткнусь – держи под локоть.
Стоят по росту куколки-матрёшки,
Заплакана от радости свеча.

Быть вместе – это главное сейчас

В МОЕЙ ВЕСНЕ

У вас на Маяковской гололёд,
И выложен на красном плиткой профиль.
У нас Башмет Стравинского даёт,
И спорят Берлиоз и Мефистофель.
У вас на Беговой свежа лыжня,
У нас – высотки, ставки, дамы в туфельках.
И на Ходынском поле без меня
Собаки ищут клады или трюфели.
На Достоевской мрачно и у вас.
И в пирожковых пышки дорожают.
На Молодёжной – самый вкусный квас.
И Парк Победы глубже, чем Страстная.
Два города: не взбалтывать, смешать.
Над Чкаловской кружат бакланы-лодыри.
В моей Москве живёт твоя душа.
И огари оранжевы до одури.

ПОД ЗОНТИКОМ ОТТЕНКА АВОКАДО

День укрывает сфинкса от дождя
Под зонтиком оттенка авокадо,
Танцуя, стёртых пяток не щадя,
Под радугой от Стрелки и до МКАДа.
Ночь врёт в лицо, что сажа не бела,
А раньше вот была бела, но, бог с ней.
Всем страждущим воздастся по делам,
Сомнения страшней чудовищ Босха.
В глазах, что неба кисти Грабаря,
Расплёсканы чужие ожиданья.
Тревоги и без нас оттоворят
Метелями спеша за поездами.
Москву-реку неровный скроет лёд,
С Невы потянет корюшкой и хвоей,
И лучшее для всех произойдёт.
Молитвенное.
Мирное.
Живое.

ПАВЕЛ СИДЕЛЬНИКОВ

ПРИДАТОЧНЫЕ КОРНИ ЧУДА

***

В России – прошлогодний снег
всё так же кружится, кружится.
Так умирает человек –
боится, что не повторится.
Боится взять и замереть,
заснуть, забыться, зазеваться…
И что-то сделать не успеть.
И на земле с землёй расстаться.

***

Ребяческая робость. Забытьё.
Дорожное сменяется тревожным.
Живу себе, не зная, где моё
пристанище – мой дом на бездорожье.

Коль в прошлой жизни широко шагал,
то в этой жизни как-то всё нелепо.

Отправь меня на призрачный вокзал!
Мне хочется на небо.
Не под небом.

***

Не выразил любовь свою в словах,
но показал легко и бескорыстно:
я нёс тебя, как листик, на руках
и разглядел в тебе тысячелистник.

Среди других соцветий различил –
какая здесь ромашка или мята?
Любым растеньям нужен хлорофилл,
а мне – моя возлюбленная рядом.

***

Не чувствуешь меня, а мне
немного нежности хотелось.
Такая грусть, что в тишине
казалось, будто что-то пелось.

Так мягко, ласково, легко,
как будто жизнь остановилась.
Глаза раскрылись широко,
и даже сердце спохватилось.

А мне хотелось разузнать,
откуда музыка играет,
откуда эту нежность звать,
когда её так не хватает.

Темно снаружи и внутри.
Но ты, как музыка, стояла
в проёме кухонной двери,
пока мой сон оберегала…

***

О смерти я молчу, покуда
ещё растут в густом саду
придаточные корни чуда,
возникшие из ниоткуда
в две тысячи втором году.

Стоял обычный день – среда.
Меня забросили сюда
и ничего не объяснили.
Меня жалели и любили,
а я, похоже, никогда.

Вот я живу – свой век влачу,
и корни просятся наружу –
к новорождённому лучу,
но правило я не нарушу:
о смерти я ещё молчу.

***

О, Господи, прими переселенца
и отпусти в блаженные места,
где правит неземная чистота
и во главе всего – глаза младенца –
горящие, как яблоки в саду.

Тогда, быть может, я к тебе приду
и расскажу о счастье самом главном –
о том, что на поверхности.
О явном.

***

этот дом построен ни тобой ни мной

дом построен ветром и дождём
медленной незамерзающей рекой
охватившей кругом севера просторы
горы холмики поля и снова горы
посреди которых мы живём

этот дом – воспоминание о нас –
живых стихийных и случайных как природа
он родился и она здесь родилась
и жили долго – до всемирного потопа

***

Не скажу ни о чём,
что в груди бьёт ключом,
как вода ключевая, –
о простом рассуждая,
мне не нужен ответ.

Наливаются слёзы.
Речь. Ресницы. Берёзы.

Сквозь берёзы – рассвет.

***

Качайся, простая ветка,
в своём золотом саду,
пока посижу в беседке –
послушаю пустоту.

Послушаю – сразу вспомню:
я был, где другие шли
по жизни тяжёлой, тёмной,
тем деревом из земли.

***

Как быстро яблоко темнеет,
когда надкушенным лежит.
Открытый воздух по идее
не должен вредоносным быть.
Но жизнь – явленье объективное
и часто не прощает никого.
Моё ты яблочко наивное,
за что тебе и от чего?..

***

голубь из кормушки ел
воробей из лужи пил
кто на самом деле смел
кто на самом деле мил

небо открывало рот
(проглотило облака)
кто носил солнцеворот
кто смотрел исподтишка

что-то здесь произошло
кем-то всё предрешено
было было и прошло
новой жизнью рождено

***

Время, семечко, воробьишко,
фотография как слеза –
белым светом больная вспышка
на глаза легла, на глаза…

Нет, не старость, но время вышло –
не счастливый, но вот – конец.
Где ты, миленький воробьишко?
Я ищу, а тебя здесь нет.

***

Кириллу Моргунову

На речном вокзале проще
рассказать о сложном дне,
потому что вдруг остались
мы с водой наедине.
Речь сама себя полощет
и глаголом в горло бьёт.
Пусто на речном вокзале,
а вода течёт. Течёт.

***

Ни выдохнуть и ни вдохнуть
сквозь эту явственную муть,
в которой полностью погряз,
но превратил себя не в грязь,
а сохранил природный свет,
слепую радость, детский смех.

Всё это я храню за тех,
кого давно уж с нами нет.

ВИКТОРИЯ КОЛТУНОВА

ЛЯГУШКИ ХОТЯТ БЫТЬ БЕЛЫМИ
сказка

У края леса стоял большой Серый дом. Из тёмно-серого камня. Двухэтажный. С колоннами по фасаду. Почти замок. Потому что когда-то его построил очень богатый человек. Но с тех пор в доме сменилось много поколений, и сейчас в нём проживала Милая Добрая Девушка со своими родителями, ещё трое домочадцев и садовник со своей женой и дочкой. А на противоположном краю леса жила её Бабушка в маленьком, белённом известью домике, который она с нежностью называла «моя хатынка».

Однажды Бабушка попросила внучку прийти к ней в гости помочь по хозяйству, побелить хатынку и покрасить в красный цвет забор. Известь для побелки и большие кисти она приготовила сама, а внучку попросила купить ведро красной эмалевой краски и кисти для забора, который она ласково называла «мой паркан». И ей хотелось во время ремонта сделать паркану приятное, покрасить его в красный, радостный, торжественный цвет.

Мама Девушки напекла корзину пирожков с орехами, изюмом и маком, Девушка купила краску, кисти, взяла с собой корзину с пирогами и тронулась в путь.

Тропинка вилась меж густых деревьев разных пород: когда-то, очень давно, один из владельцев большого Серого дома, местный помещик распорядился в парке высадить деревья из разных климатических зон. После его смерти парк одичал, превратился в лес, заросший кустами и заболотившийся в низине, где скапливалась вода из ручья, берущего начало на холме позади дома. Но Девушка хорошо знала дорогу, ведь она ходила к Бабушке с самого детства, и не однажды.

Она с удовольствием вдыхала свежий воздух, пахший опавшей листвой и свежей травой, горчинкой отдавал запах хвои. Меж ветвей деловито порхали птички в заботах о своём маленьком пищащем потомстве.

Проходя мимо осины, Девушка заметила, что та печально опустила вниз свои мохнатые серёжки цветков и услышала тонкий, дрожащий голос:

– Помоги мне, помоги…

– Что с тобой? – спросила Девушка, – в чём твоя печаль, и как я смогу тебе помочь?

– Дело в том, что я уникальный индивид, а этого никто не знает, и оттого мне так тяжело на сердце.

– А в чём твоя индивидуальность?

– Все осины – двудомные растения, а я однодомная уродилась, понимаешь? Я исключение из правила. То есть, у всех осин растут на теле разные цветки – либо мужские, либо женские, это двудомный вид размножения, а у меня на ветках растут как мужские, так и женские цветки. Я однодомная, исключение из общего правила осин. Гермафродит, если перевести на человеческий вид.

– Это мешает тебе жить и размножаться? – спросила Девушка.

– Нисколько. Однодомные растения тоже ведь размножаются. Ещё я могу и почкованием. Но я индивид! Я единственная осина в лесу, а может и во всей стране, которая несёт на себе мужские и женские цветки. А никто этого не знает, и не оказывает мне почести, которых я заслуживаю!

– А я тут при чём? Мне абсолютно всё равно, как ты размножаешься, и я не вижу, как тебе помочь в твоём стремлении выделиться!

– Ты можешь помочь мне совершить каминг-аут! Послушай, ведь это так легко, выделиться из толпы! У тебя есть ведёрко с эмалевой красной краской. Покрась мои листья в красный цвет! И я выделюсь из числа прочих осин, даже осенью, когда они пожелтеют и покроются багрянцем, я всё равно буду лучше всех – эмалевая краска так сверкает на солнце! Ко мне будут подходить, а я буду рассказывать всем, что у меня мужские и женские цветки на одном теле, и я могу размножаться своим особым способом!

Девушка с сомнением смотрела на осину, не понимая её восторга.

– Разве отклонение от нормы может быть предметом гордости? Ну, есть и есть. Тем более что тебе это не мешает жить. А эмалевая краска вредная, она не даст твоим листочкам дышать и они вскоре опадут.

– Ты не жалеешь меня нисколько и не сочувствуешь мне! Ты жестокое создание, зря я к тебе обратилась. Я имею право на каминг-аут, я имею право гордиться своей однодомностью, а ты просто чёствая, никого не любившая старая дева!

– Я не старая! Мне всего двадцать лет! Просто я ещё никого не встретила, кто… И не чёрствая! Если я обидела тебя, прости, я всё сделаю то, о чём ты просишь! – воскликнула Добрая Девушка.

Она тут же открыла ведёрко с краской, нашла самую маленькую кисточку и принялась окрашивать с обеих сторон круглые листочки осины, придерживая их двумя пальцами. Осина трепетала от удовольствия.

Окрашивать листья дерева – занятие не только напрасное, но и нескорое. Время шло и шло, и день уже начал тускнеть, когда Девушка окрасила последний листок на высоте своего роста, куда она могла достать.

Она вытерла травой кисть и заглянула в ведёрко, там ещё оставалась половина краски.

Осина благодарила её и горделиво покачивала своими серёжками-цветками.

На часиках Девушки уже было пять часов вечера. Наверное, Бабушка волнуется, подумала она. И решила сократить путь. От осины ручей поворачивал вправо, а тропинка шла прямо, но если пойти вдоль ручья, путь сократится вдвое. «Придётся пройти краем болота, но она так придёт к Бабушке намного раньше, – подумала Девушка. – Ничего, всё-таки до темноты ещё далеко, пройду вдоль болота». И она снова пустилась в путь.

Идти стало легче, поскольку тяжёлое ведёрко с краской опустело наполовину. На сердце тоже было легко, ведь она совершила доброе дело. За час она миновала половину оставшегося пути и приблизилась к болоту.

Здесь надо было сориентироваться на старую разлапистую ель и от неё повернуть вправо.

Вот и ель, вот и болото, здесь…

Но не тут то было!

Девушка почувствовала, как в её ногу, обутую в кожаные башмачки, сшитые на заказ у местного башмачника, вдруг вцепилось что-то острое, тянувшее её ногу вниз.

Она наклонилась и увидела обыкновенную лягушку, державшую её за рант башмачка острыми коготками.

– Чего тебе надо? – удивилась Девушка.

– Поговорить с тобой. Дело есть. Но сначала я хочу узнать, зачем ты покрасила листья осины в красный цвет?

– Нууу… просто… она попросила. Я её пожалела.

– То есть тебя можно уговорить на что угодно, прикинувшись несчастным созданием? Эта осина просто дура.

– Да какое тебе дело, в конце концов? – вспыхнула Девушка.

– Дело есть, нам нужны такие, как ты.

– Это кому «нам»?

Девушка оглянулась и заметила, что лягушка была не одна, их было множество. Они сидели на кочках, на корягах, пучили на неё любопытные глаза, перешёптываясь между собой.

– Ты добрая, жалостливая, и тебя легко уговорить на любой красивый поступок, если он покажется тебе правильным. Вот мы и хотим, чтобы ты помогла нам перекрасить наши зелёные спинки в белый цвет. Это будет не только нам приятно, но и очень правильно.

– Почему?

– Потому что вы, люди, высокие, красивые и белые. Вот и мы хотим быть белыми. Потому что вы нас, зелёных угнетаете. Если мы станем белыми, мы станем такими, как вы.

– Чушь какая! Никто вас не угнетает. А красить вашу кожу ничем нельзя, она же тонкая и чувствительная. Осина эти свои листья сбросит и новые вырастут. И блажь у неё пройдет. А у вас не пройдёт, вы погибнете, краска сожжёт вашу кожу, через которую вы дышите и втягиваете воду.

Лягушка задумалась, сунула палец правой лапки в свой плоский рот и поковыряла коготком в зубах, потом обернулась к своим и вопросительно на них посмотрела. Раздалось недовольное кваканье, лягушачий народ обсуждал поступившую новость.

– Не знаю, не знаю, – протянула главная лягушка, – мы давно решили стать белыми и смешаться с нашими угнетателями, чтобы повлиять на них в нужную нам сторону. Ты расстроила нас. Может, ты и права. Белый цвет нам повредит, надо искать другой способ проникнуть в стан наших врагов.

– Да каких врагов? Кому вы нужны, кто вас угнетает? Люди и не ходят сюда, только я случайно забрела, потому что опаздывала.

Главная лягушка повернулась и поскакала в гущу своих соплеменников, они сплотились вокруг неё и начали совещание.

Девушка попыталась было отправиться своей дорогой, но несколько крупных самцов преградили ей путь. Она терпеливо осталась ждать конца совещания.

Солнце начало клониться к краю земли, подул свежий ветерок, и Девушке стало страшно. Если они не выпустят её до вечера, тогда она в темноте и дорогу не найдёт. У неё нет фонаря, Бабушка давно волнуется, приключение давно перестало веселить её.

– Мы вот что решили, – главная лягушка важно уселась перед ней. – Мы, к сожалению, действительно не можем перекраситься в белый цвет. Наша кожа сгорит от химического ожога, и мы погибнем. И не сумеем отомстить нашим врагам. А это дело всей нашей жизни. Но ты поможешь нам по-другому. Ты отведёшь нас к людям, обратно в свой дом, откуда ты пришла. Ты откроешь нам все двери дома, мы войдём и выгоним оттуда отвратительных белых людей, и сами займём тот дом, откуда столько лет для нас исходила опасность. А тебе, в благодарность за оказанную услугу, позволим жить вместе с нами.

– Эти люди – моя семья! Вы сумасшедшие! Вы ещё более поехавшие головой, чем осина. С какой стати я стану помогать врагам моей семьи, тем более, что они даже не знают о вашем существовании и никогда не замышляли против вас зла! Вы всё лжете! Вы просто хотите захватить наш дом! Зачем? У вас же есть своя территория!

– Ты не знаешь, – лягушка надулась ещё больше, – но мы в душе тоже белые, только снаружи зелёные. Мы – народ Ля Гуах, мы великий народ. Но много лет назад, во Франции, люди стали поедать лучших представителей Ля Гуахов. Из нас варили суп, нас вылавливали всюду, где мы только пытались поселиться, и съедали как простых цыплят. Мы испытали страшные гонения и смерть. И пепел этого класса стучит в моё сердце! – лягушка подняла правую лапку и постучала себя ею по груди.

Девушка невольно рассмеялась.

– Не «этого класса», а Клааса, – сказала она, – и это вообще не имеет к тебе отношения. А люди, живущие в большом доме, моя семья, тем более не имеют никакого отношения ни к Клаасу, ни к вам. Оставьте эту затею, никто вам добровольно ничего не отдаст. Зряшная затея. Хотя, конечно, очень сочувствую вашим предкам, кого там ели французы. Кстати, Франция отсюда очень далеко.

– Ну, нет! Ты должна знать, что прадед графа Виленского, который построил этот дом, был французом, его настоящая фамилия де Вилье, он приехал сюда в качестве секретаря герцога де Ришелье, и осел на местных землях. И он в бытность свою во Франции поедал там великих Ля Гуахов! Мы должны отомстить его потомкам. Иначе пепел… как его там…

– И сколько лет назад это было? – язвительно спросила Девушка, – уже и кости того графа истлели, и кости его правнуков тоже давно упокоены в гробах. Зачем мстить его потомкам? Они даже не подозревают о вашем существовании.

– Но это было, было! И мы должны отомстить за кровь наших предков, иначе народ Ля Гуах останется опозоренным во всех веках.

– Глупость какая. Предки нынешних жителей дома, которые, возможно, поедали ваших собратьев, а возможно, что именно они не ели никого, те люди давно умерли. Их дети точно никого не ели. И внуки тоже. Чем они виноваты? Ваши предки, дети тех, кого съели, тоже давно умерли и внуки тоже. Какое имеет значение то, что было двести лет назад? Зачем помнить такие мрачные вещи? То есть, помнить, конечно, надо, и не повторять более, но не мстить же за них невинным людям!

– Нет невинных людей. Все люди виновны по определению. Потому что они есть люди, то есть, они – создания с белой кожей, и двести лет назад они поедали лягушек. Мы должны отомстить. Иначе величие народа Ля Гуах будет попрано! Дело не в мести и не в жестокости. По правде говоря, мне лично даже жаль людей и особенно их головастиков, ещё не выросших в настоящих мужчин и женщин. Но мы не можем поступить иначе, этого требует наша честь и кости предков стучат…

– Знаю, знаю, что там стучит, – нетерпеливо перебила лягушку Девушка, – но что вы можете сделать людям, вы маленькие и слабые создания! У наших мужчин подошва башмака величиной с каждую вашу особь.

– Поодиночке, конечно, нет. Но нас много, очень много. Каждая лягушка откладывала до тысячи икринок сразу, надеясь, что из головастиков вырастут настоящие мстители. У глупых белых людей в семье один-два ребёнка, а в наших семьях тысячи головастиков рождаются ежегодно. Не все они доживают до взрослости, но нам и не важно. Рождаются тысячи, доживают сотни. И то хорошо. И если мы накинемся на людей, используя наши острые конусообразные зубы, всей массой накинемся, используя наши острые коготки на пальцах, которыми будем выцарапывать белым людям глаза, то они не выдержат натиска. Мы погубим их всех, оставим только тебя, в уплату за помощь. Мы займём ваш красивый дом, для нас он целый з*а*мок, мы назовём его Царским домом, а тебя поселим в сторожке. С тебя и такого жилища хватит.

– Ну-ну, вот так замысел. Я не против пожить в сторожке, но не только не стану помогать вам уничтожать моих родных, но предупрежу их об опасности. Мы закупим сотню огнетушителей и будем поливать вас пеной. Вы не сможете подступиться даже к нашей ограде.

– Ля Гуахина, что ты рассусоливаешь с этой белой, она недостойна даже разговора с нами!

Это крикнул старый, раздутый от гнева самец, вылезший на самую высокую корягу.

– Я, Ля Гиен, принадлежащий к великому народу Ля Гуахов, прославленных в веках поеданием жуков и всяческих личинок, я призываю вас, мой народ, начать уничтожение расы белых именно с этой особи! Набросьтесь на неё и кусайте зубами, откусывая понемножку снизу вверх! Когда она упадёт, мы доедим остальное!

– У ква, у ква, у ква!!! Смерть ей, смерть белой шлюхе! – разнеслось по болоту.

Девушка застыла в ужасе. Корзинка с пирожками и ведро с краской выпали из её рук.

– Гуп цок, гуп цок, – раздалось позади неё цоканье копыт и на поляну вылетел белый конь. Она с удивлением увидела, что вместо старого лесника, с которым была давно знакома, на коне сидел молодой, красивый юноша в одежде лесничего с ружьём за спиной и заостренной палкой в правой руке. Левой он сжимал поводья своего резвого коня, а тот раздувал ноздри и косился по сторонам бархатными карими глазами.

– Когти прочь от Прекрасной Дамы, – крикнул юноша, на всём скаку влетая в гущу зелёных.

Лягушки с хриплым, злобным кваканьем неохотно расползались прочь, конь отшвыривал их копытами, они кусали его за ноги мелкими зубками, стараясь прокусить насквозь его жёсткую шкуру.

– Вы не пострадали? – спросил Лесник Девушку, – они вам не успели повредить?

Та от удивления и радости не могла сказать ни слова, с трудом приходя в себя от пережитого.

Лесник подхватил её за талию левой рукой и посадил на коня впереди себя. Осторожно пробираясь между Ля Гуахами, злобно скалящими свои плоские рты, он наконец выбрался на сухую поляну, куда лягушки не любили выходить, потому что там было для них слишком солнечно.

Крепко придерживая Девушку, чтобы она не свалилась на землю, он поскакал к хатынке Бабушки, к которой отлично знал дорогу, потому что уже несколько раз навестил её после того, как был назначен новым Лесником после старого, ушедшего на пенсию.

Бабушка уже вся извелась, ожидая внучку и рисуя себе самые страшные картины. Она была безумно рада, увидев наконец свою любимицу, и горячо благодарила Лесника за то, что он доставил Девушку, целую и невредимую, в её хатынку.

Они сели пить чай с малиной и пирожками, принесёнными Девушкой, Лесник не сводил глаз со спасённой им молодой особы, а та краснела и отворачивалась. Бабушка улыбалась кончиками губ и отводила глаза в сторону, когда Лесник и Девушка замечали её взгляд на них.

Лесник попросился пожить у них три дня, пока будет объезжать эту сторону леса, чтобы не гнать коня понапрасну очень далеко. И хотя это не было так уж далеко, Бабушка и Девушка согласились выделить ему отдельную комнату на три дня.

Но на четвёртый день, утром, когда вся троица заканчивала завтрак, и Лесник уже собирался седлать своего белого коня, раздался жуткий стук по железной калитке, выходящей со двора. Все трое бросились узнать, что там такое.

По калитке барабанил с внешней стороны маленький лисёнок. Рыжий, ещё подросток. Он стоял на задних лапках, словно в чёрных чулочках, и что было сил колотил по калитке.

– Что случилось?! – разом воскликнули все.

– Ужас и страх! – воскликнул Лисёнок, задыхаясь от волнения и быстрого бега. – Вы не представляете, что там делается! Ужас и страх!

– Да не томи душу! Где там? Что происходит? Говори, наконец!

– Там, на болоте! Вчера утром старый Ля Гиен напал на Ля Гуахину, откусил у неё два пальца на задней ноге и вытолкал из болота вообще. Она уползла в слезах, облизывая то место, где раньше были пальцы. А Ля Гуах захватил её должность предводителя, собрал всех обитателей низины на корягах и объявил мобилизацию народа Ля Гуах против белых людей. Он предъявил им документ столетней давности о том, что дед помещика, заложившего парк, взял у правительства концессию на осушение нашего болота. Он хотел вместо болота устроить там ржаное поле, а к полю пристроить ветряную мельницу и печь там ржаной хлеб. Если бы он успел осуществить своё намерение, нашего болота не было бы, так сказал им всем Ля Гиен, и великому народу Ля Гуах негде было бы жить!

– Какая чушь! – возмутилась Бабушка, – если бы успел, то да сё… но не успел же, болото на месте, Ля Гуахи живут там полноценной жизнью, чего хочет Ля Гиен, не пойму!

– Власти он хочет, – пробормотал нахмурившийся Лесник, – под видом мести он хочет власти. И зла. Властвовать рука об руку со злом всегда проще и легче, чем с добром. А эти дуры ведутся.

– Да, ещё как ведутся, – подхватил Лисёнок. – Я слышал всё, спрятавшись за большой ивой. Все кричали, скакали, раздували свои горловые мешки, скалили зубы. Там была настоящая вакханалия. Я правильно это слово произнёс? – обратился он к Девушке.

– Да, да, правильно, продолжай, – нетерпеливо сказала она, – что дальше было?

– А дальше все решили идти войной на Серый дом, захватить его, белых людей наказать. Только вот не знали, как именно – то ли всех убить, то ли взять в рабы, чтобы они обслуживали Ля Гуахов, но сначала откусить им всем, по традиции Ля Гуахов, по одному пальцу на каждой ноге! И так отомстить за два века унижений и страданий народа Ля Гуах. И возвеличить свой народ во веки веков! Так кричал Ля Гиен, и все подхватывали его крик и добавляли У ква! У ква! У ква!

Бабушка и Девушка слушали Лисёнка, побелев от ужаса, а Лесник, нахмурив брови, хватался то за своё ружьё, то за острую палку, которой он раздвигал кусты, когда объезжал лес.

– И знаете, они ещё позвали себе на помощь жаб. Две стаи жаб из соседнего имения прибежали к ним на подмогу. Они взяли с собой баллоны с вирусами бородавок, чтобы устрашить белых людей. Бегите, бегите туда, лягушки скачут медленнее людей, вы должны предупредить обитателей Серого дома и занять круговую оборону, – кричал Лисёнок, притаптывая от нетерпения.

– Спасибо тебе, милый Лисёнок, – Девушка подхватила его на руки и поцеловала в мокрый чёрный носик.

– Итак, я беру командование на себя, – громко сказал Лесник.

– Вы, обе дамы, садитесь на коня, а я побегу рядом, держа его под уздцы. Держим путь к Серому дому!

– Можно я с вами? – закричал Лисёнок.

– Нет, ты ещё маленький, тебе рано на фронт.

– Хорошо, я останусь, бегите скорее!

Лесник посадил женщин на коня, взял коня под уздцы и крикнул ему:

– Вперёд!

Девушка испугалась, что Лесник устанет, ведь он бежал бегом, хотя конь и придерживал свой аллюр, но ведь это всё-таки не простая ходьба.

Спустя час такого бега Лесник прижал палец к губам и указал пальцем на серо-зелёную массу, видневшуюся справа между деревьев, она колыхалась при ходьбе, шумела, там и сям виднелись палки с наколотыми на них листьями лопуха, которые развевались от ветра, словно знамёна. Это шло войско Ля Гуахов, за ними два племени жаб, которые косились друг на друга, так как одно племя ненавидело другое, но сейчас они объединились, потому что война против белых была и для них священной войной. Совсем сзади ползли две гадюки, уж и полоз. Эти – просто из любопытства, в надежде, что там, на поле битвы, им тоже что-нибудь перепадёт.

Тихо ступая, чтобы не привлечь внимание, вся троица и конь, отошли в сторону, а потом снова пустились бегом. Они понимали, что теперь уже точно придут на место назначения раньше Ля Гуахов и успеют приготовиться к обороне.

Так и случилось. Ещё через час они, наглухо закрыв ворота, объясняли обитателям Серого дома, что на них движется настоящая серо-зелёная беспощадная навала во главе со старым злобным Ля Гиеном, о котором ходили слухи, что он в молодости любил исподтишка покусывать молодых лягушечек за попки.

Отец Девушки, садовник, Лесник и ещё один родственник, живший постоянно в Сером доме, составили план борьбы. Прежде всего обошли по периметру высокую каменную ограду, проверяя, нет ли где щели, в которую могли бы проникнуть Ля Гуахи. Приготовили огнетушители, проверили наличие пены в них, Девушка приготовила баллончики с лаком для волос, горячий фен, Бабушка и жена садовника вскипятили два больших чайника, чтобы поливать Ля Гуахов сверху кипятком. Для этого приставили к ограде деревянные лестницы. Наточили ножи, если дело дойдёт до рукопашной. Приготовили корзины с картофелем, луком и чесноком, чтобы закидывать ими лягушек.

И принялись ждать.

Ожидание выматывало нервы, и потому осаждённые даже почувствовали некоторое облегчение, когда из леса послышалось грозное «У ква! У ква! У ква!». И шлепанье лягушачьих тел и ног об землю.

Показалась серо-зелёная сплошная масса, приближавшаяся к воротам.

Войско остановилось в тридцати метрах от каменной ограды, Ля Гиен вышел вперёд и стал инструктировать своих бойцов и воодушевлять их рассказами о светлом будущем, когда Ля Гуахи станут владельцами этого прекрасного замка, а презренные белые люди, лишённые мизинцев на обеих ногах в знак рабства, станут им прислуживать.

Осаждённые выстроились на верхней части каменного забора, к счастью, достаточно широкой.

Ля Гиен взмахнул палкой, на которой развивался большой лист лопуха, и отбежал в сторону, чтобы видеть бой со стороны. Лягушки пошли на штурм.

Они подкатились к изножию ограды и стали вылезать сверху друг на друга, с целью создать достаточно большую груду тел, чтобы верхние могли перепрыгнуть через верх ограды во двор.

Осаждённые, в свою очередь, не ждали, пока внизу накопятся лягушачьи тела и принялись поливать их сверху из огнетушителей, монтажной пеной и кипятком. С визгом лягушки скатывались вниз, их нежная кожа лопалась и сочилась кровью. Девушка смотрела на это со слезами, потому что, несмотря на пережитый ранее страх и настоящую опасность, она всё-таки жалела одураченных Ля Гиеном лягушек.

Две гадюки, уж и полоз вылезли на куст сирени и смотрели на это побоище с любопытством детей, впервые попавших в театр. Жабы держались в стороне, азартно выкрикивая подбадривающие лозунги, кричалки и пугалки. Кончился кипяток и монтажная пена. Осаждённые принялись забрасывать Ля Гуахов картофелем, к счастью, это были крупные крепкие клубни и они разили лягушек наповал. Лесник бил по лягушачьим спинкам своей острой палкой, у него было ружьё, но он не знал, законно ли применение такого сильного, дальнобойного оружия в мирное время.

Неожиданно одно из двух жабьих племён решило стать на сторону осаждённых, и поскольку они не могли близко подойти к стене из-за большого количества нападавших Ля Гуахов, они не могли

использовать свои баллоны с вирусами бородавок. Это показалось им обидным: тащили на себе баллоны так далеко, а использовать невозможно. Поэтому племя Жабиб выпустило содержимое баллонов на спины своих двоюродных братьев, не пропадать же добру. Племя Сабиб не осталось в долгу, вспыхнула застарелая вражда, и содержимое баллонов покрыло их спинки тоже. Так что оба племени оказались втянутыми в побоище и пострадавшими от собственного биологического оружия.

Битва шла уже третий час, и у обитателей Серого дома почти полностью закончились боеприпасы. Страх овладел сердцем Девушки, ведь она знала лучше других, как злобны и опасны эти мелкие создания, вообразившие себя великими.

Лесник подбадривал всех громкими и нарочито весёлыми возгласами вроде: «А ну-ка поддадим жару этим пустоголовым прыгалкам!» – но это было только наружное веселье. Время шло, поток Ля Гуахов был, казалось, бесконечен, на место раненых и убитых лезли всё новые и новые полчища, и Лесник уже начинал опасаться, что в этой войне их ждёт поражение. Он думал, что сам мог бы спастись, посадив Девушку на коня и ускакав с нею – коню Ля Гуахи не могут причинить особого вреда, – но понимал, что Девушка никогда не оставит в беде своих родных.

Среди кустов на опушке леса внезапно что-то вспыхнуло, словно оранжевое пламя.

Лесник вгляделся в это оранжевое своими зоркими глазами и понял, это рыжие шкуры. Через три минуты стало ясно, из леса к месту осады спешит чьё-то оранжевое войско. На помощь кому? Осаждённым или их врагам?

И тут Бабушка, от которой никто не ожидал такой прозорливости, воскликнула: «Это он! Он ведёт нам на помощь свою семью!».

Она была права, впереди рыжего войска бежал запыхавшийся рыжий Лисёнок, за ним двое его родителей и целый выводок лисят, братьев и сестёр!

Лисы – хищники, у них острые зубы, сильная хватка, быстрый ум! Они влетели в месиво Ля Гуахов с боевым кличем: – Ату их, квакачей, хватай за горло!

Лягушки, не ожидая нападения с тыла, были ошарашены. Верхние поворачивались назад, чтобы поглядеть, что там происходит, и соскальзывали с горы своих собратьев. Лисы рвали их зубами и когтями, и через полчаса с нападением Ля Гуахов на белых людей было покончено. Всюду валялись раненые и мёртвые Ля Гуахи, испуганные жабы бросились наутёк, две гадюки, уж и полоз, ранее подбадривавшие Ля Гуахов, теперь аплодировали семье рыжих победителей.

Остатки войска Ля Гуахов позорно бежали вместе с жабами.

Обитатели Серого дома пригласили к себе в гости лисье семейство и горячо благодарили, целуя их мордочки.

Садовник достал Домовую книгу и записал в неё все события последних дней в назидание потомкам.

Спустя много лет она будет найдена на чердаке, прочитана и, возможно, кто-то кому-то захочет отомстить, но это будет тогда, когда четверо детей Девушки и Лесника будут уже нянчить своих собственных внуков…

ЕЛЕНА ВАДЮХИНА

ПТИЦА У ОКНА
сказка

Каждый вечер, когда солнце приближалось к земле и окрашивало мир розовым цветом, королева садилась у окна и смотрела на сияющее небо с пламенеющим солнцем, на разноцветные поля люцерны, уходящие в даль, где темнел на фоне алого неба лес. За окном на очень маленьком балкончике стояла кадка с розой, собственно, кадка и занимала весь балкон. Когда-то королева сама посадила маленький отросток, теперь он превратился в большой развесистый куст, радующий все лето распускающимися бутонами и наполняющими комнату королевы нежным ароматом. Каждый вечер королева наблюдала, как издалека прилетала к ней птица в сине-лиловом оперении, садилась на розовый куст и пела, пела… Королева слушала с замиранием сердца, и в этой песне были печаль и радость одновременно, трепет и нежность. Эта птица стала отрадой в жизни королевы. О чём она пела? Королеве казалось, что птица разделяет её печали, утешает её и дарит надежду. В эти минуты она чувствовала себя почти счастливой. Когда спускались сумерки, птица взмахивала крыльями и улетала, оставив королеву в одиночестве со своими раздумьями.

Королева отправлялась ужинать вместе с королём и его старой матерью, в это время она чувствовала себя ещё более одинокой, чем днём, когда она делала конные прогулки по окрестностям или когда в ненастный день ткала очередной ковёр, изображая на нём приснившиеся ей цветы и загадочных птиц. Отчего-то так сложилось, что с супругом ей было не о чём говорить, или, вернее, он с ней не разговаривал, считая её неспособной понять его государственные заботы. Ей действительно государственные дела стали не интересны, потому что она не могла влиять на их ход и она не находила в них ни добра, ни красоты, к которым стремилась её душа.

В девичестве королева жила при монастыре, при котором был небольшой апельсиновый сад, круглый год радующий цветами и плодами. Сидя на скамеечке под апельсиновым деревом, принцесса вышивала золотыми нитками зелёное бархатное платье: под её пальцами расцветали золотые ирисы, переплетаясь с золотыми апельсинами, на них садились невиданные птицы. Она представляла себе, как обрадует будущего мужа такой красотой – словно поделится кусочком рая на земле. Этот день настал – первый день после свадебных торжеств. За окном шёл колючий ледяной снег, слуги, выходящие во двор, укрывали ладонями лицо от ледяной крупы, во дворце было холодно и неуютно. Придворные были мрачны, а у служанки, разводящей огонь, стояли слёзы в глазах. Это от дыма или обиды? – гадала королева. Но она не могла спросить, так как плохо знала здешний язык. «Я должна радовать мужа», – решила молодая супруга, она надела своё зелёное платье, напоминающее о прекрасной весне, и с улыбкой на лице спустилась в зал, где должны были накрыть завтрак. Свекровь тихо, но так, чтобы слышал её сын, заметила: «Вы, милая, перепутали обед с маскарадом? К чему такой наряд?». Королева растерянно обернулась на своего супруга, по его взгляду она поняла, что ему нравится наряд, но он не словом не обмолвился в её защиту. Они ели в напряжённом молчании, королева догадывалась, что муж и свекровь чем-то расстроены и настроены друг против друга, но ей не хотят говорить. После завтрака, когда они сидели у камина, молодая жена сделала ещё одну попытку развеять царившее уныние, она решилась спеть свою любимую песню, которую сочинила во время конной прогулки верхом по окрестностям вокруг монастыря. Ей казалось, что песня так прекрасна, что от неё может растаять самое уставшее сердце и распрямиться самый нахмуренный лоб. Но король зло закричал: «Прекрати!». На молодую женщину накатились волны злого холода, ударили её в сердце. Муж в раздражении вышел. Ей редко приходилось сталкиваться со злом, но то зло, что она знала прежде, было прочувствовано как нравственное понятие, а то, что исходило в этот миг от её мужа, было физическим, подобно ударам ножа, сердце сжалось. И хотя муж вышел, тяжёлый дух зла застыл в комнате. С тех пор прошло много лет, королева никогда не надевала своё зелёное платье, никогда не пела в присутствии мужа или свекрови, и после двух-трёх попыток оставила всякие попытки давать мужу советы. Она прививала сыновьям свои представления о добре и красоте, но они вырастали и считали, что не нуждаются в её советах, реагируя раздражённо и порой резко на её призывы любить ближних

и заботиться друг о друге. «Вы ничего не понимаете в государственных делах», – отвечали они ей, а ведь и правда, она не могла понять, почему люди постоянно пытаются что-то отобрать и кого-то покорить. Не этому учили её монастыре, её учили смирению и молитвам. Принцы повзрослели, женились и разъехались по владениям, выделенным их отцом. Когда они навещали её, почти ничего не рассказывали о себе. Она чувствовала себя никому не нужной – ни сыновьям, ни мужу, ни королевству. В прошлом году, когда шла война, сердце её страдало от тревоги за сыновей, она готова была отправиться на поле сражений, чтобы поддержать сыновей, но король запретил. «Я, как птица, запертая в клетке, разучившаяся летать и даже петь», – думала тогда королева. После войны тревога ушла. Королева вышивала внукам подушки, пытаясь подарить им через вышивку кусочек воспоминаний детства и юности: цветы, апельсины, орнаменты далёкой страны.

Ах, если бы была жива её единственная дочь, умершая в раннем детстве! Когда-то сидя за вышивкой рядом со своей старой служанкой, она часто говорила ей о том, какой её дочка стала бы красивой и доброй, если бы дожила до этих дней. Но и служанки уже не было с ней, она отправилась в мир иной. Молоденькая придворная дама, в обязанности которой входило развлечение королевы, только вздыхала о чём-то своём, желая, видимо, быстрее вырваться от неё к своим ровесницам. Разговор обычно быстро заканчивался, и королева отпускала свою спутницу.

Необычная птица с лиловыми перьями, чарующая пением, преобразила жизнь королевы. Женщина засыпала теперь с чувством сладкой усталости, как в детстве, утром вставала с предчувствием радости, целый день с нетерпением ждала прилёта певуньи, чтобы слушать её вновь и вновь.

Однажды в королевском дворе выступал бродячий театр, снизу доносились возгласы, громкое пение, смех и аплодисменты, звенела мандолина. Птица в этот вечер не прилетела, не прилетела она и на следующий день, и так целую мучительную для королевы неделю. Лил дождь, холодный и однообразный, все дороги развезло, королева не совершала конные прогулки. В воскресенье, как всегда, королева спустилась в зал к придворным слушать пение придворного барда. В её родном краю пели плавно и красиво, мелодия ласкала и уносила к морю, звёздам, садам и горам. Здешние барды пели как будто на один незамысловатый мотив, в молодости королева не понимала их слов, бессмысленные вечера её утомляли, сейчас она научилась языку, но песни не трогали её сердце. В этот вечер бард пел балладу о любви и подвигах. Королева не верила в любовь. Разве мужчины способны на милосердие, верность и жертвенность? Придворные восхищались балладой и исполнением, а она тосковала по пению птицы. «Здесь одно притворство», – думала королева, сидя среди дам, многие из которых были или сейчас являлись любовницами её мужа.

Несмотря на холод, она не закрывала окна. Капли дождя стекали по розе, как слёзы. «Ты, тоже печалишься без нашей птички?» – спросила она розу. Женщина впала в уныние: вышивка падала из её рук, она начинала бессмысленно ходить из угла в угол, молилась у распятия, каясь, что недостаточно благодарила Бога за подаренное ей маленькое счастье. Неужели она не услышит свою птичку? «Пожалуйста, прилети, – я тебя жду. Я тебя люблю», – шептала королева, глядя вдаль у открытого окна.

И чудо свершилось вновь: вновь был солнечный тёплый день, птичка, как и прежде, на закате опустилась на розовый куст и запела, у королевы потекли слёзы радости. Но в этот день в городе праздновали годовщину победы, и пушки разразились торжественным залпом, птица вспорхнула и полетела в поля в сторону синего леса. «Постой, куда же ты?» – вскрикнула королева, но синяя птичка была уже далеко. Королева ясно поняла, что она не сможет прожить без птицы этот вечер, ведь в минуты всеобщего веселья одиночество ощущается ещё острее. Королева кинулась в конюшню, она впервые отправилась без сопровождения, попросив конюха хранить это в тайне. Она миновала каменные улочки города – часовые удивлённо пропустили всадницу в ворота; она уже мчится по дороге средь полей в ту сторону, куда полетела её птичка. Птицы летали стаями над полями, готовясь ко сну, но синей не было средь них, верно, она уже улетела в лес. На краю поля по дороге навстречу королеве брела с котомкой нищая смуглая девочка в грязных лохмотьях, при виде богатой дамы она остановилась, смотря удивлённо чёрными глазами.

– Скажи, мне, девочка, видела ли ты странную птицу с синими перьями?

Девочка кивнула в знак согласия.

– Умоляю тебя, скажи, куда она полетела.

Девочка махнула тонкой ручкой в сторону леса. Королеве хотелось отблагодарить нищенку, но у неё не было с собой денег, она скинула косынку и бросила девочке.

– Вот тебе подарок, малютка.

Нищенка с благоговением подняла упавший платок, а королева уже пробиралась верхом сквозь прибрежные кусты, чтобы переправиться к лесу через речку. Речка была неглубокой, так что вода едва касалась её ступней. Конь остановился, чтобы попить, но она пришпорила его, надо быстрее найти птицу, пока не стемнело. Конь поднялся на берег меж плакучих ив. Перед взором всадницы открылась чудная лужайка с разноцветными цветами, освещёнными розовым светом заката, медовый запах разливался

в вечернем воздухе. Королева никогда не видела подобной красоты. Напряжение как-то незаметно спало. На кусте черёмухи, усыпанной тёмно-синими блестящими ягодами, сидела её птичка. Она нашла её! Королева направила коня поближе, но птичка перелетела на другую ветку. «Не буду пугать её, подойду пешком», – подумала королева, она спешилась и подошла поближе к кусту. Синяя птичка запела своим сладким голосом, мелодия была ещё более радостная, чем обычно. Королева села на траву и погрузилась в любимые звуки. Женщина разулась, сняла промокшие чулки, легла на траву и закрыла глаза, она была счастлива. Это было настоящее блаженство, когда ни о чём не хочется думать, каждая клеточка тела и каждая частичка души растворялась в этом слиянии пения, цветочных ароматов и красоты природы. Королева почти засыпала, когда поняла, что пение птицы доносится уже с другого места. Она осмотрелась и увидела птицу на кусте ближе к лесу. Женщина приблизилась к ней, а птичка тут же перелетела на березу, растущую на краю чащи. «Она зовёт меня в лес», – подумала королева и последовала за птицей, а та летела всё дальше и дальше, при этом она садилась на ветки дальнего дерева и смотрела на свою спутницу, как бы приглашая её в путешествие. Королева впервые в жизни ступала босиком по лесной тропинке, но удивительно, ей не было ни больно, ни холодно, хотя вечерело, и земля должна была уже остыть.

Так они оказались на поляне, окружённой самыми разными деревьями, словно это был не лес, а королевский парк. Здесь росла сочная травка, такая низкая, какая бывает на пастбище после того, как её выщипывают коровы или козы. Белыми звёздочками на зелёном ковре пестрели маргаритки. На поляне играли дети в лёгких и красивых светлых одеждах, они бегали, смеялись, королеву никто не замечал, а её саму так увлекла сцена радости, что она забыла даже о своей птичке. С разных сторон стали приходить красиво одетые девушки и юноши. Все они были в светлых одеждах разных цветов, и только одна девушка с тёмно-русыми волосами была в тёмно-синем платье. Взгляд королевы всё время останавливался на этой красавице, что-то было в этой девушке родное, будто она знала её всю жизнь, но откуда, когда? Одна из девушек зазвонила мелодичным колокольчиком, тогда все стали в круг, дети сели в середину, некоторые взяли музыкальные инструменты, появившиеся словно по повелению волшебной палочки. Все стали читать молитву. Стало совсем темно, но в середине поляны засветилась свеча, такая яркая, что осветила ясно всех присутствующих. Королева стояла, затаив дыхание. Зазвучала музыка – прекрасная, нежная, исполненная любви и сострадания. Девочка, играющая на скрипке, встала, остальные дети играли сидя. С неба опустился ангел, он сказал слова молитвы и все запели: «Пусть благословение божее будет у вас, пусть мир божий останется с вами, пусть Бог озарит сердце Ваше ныне и во веки веков». Девушки и юноши встали в пары и стали танцевать, благословляя друг друга движением рук. После каждого повторяющегося куплета танцующие перемещались по кругу, меняясь партнёрами.

«Как хорошо, – подумала королева. – Как бы мне тоже хотелось присоединиться к ним». И только она подумала об этом, как ангел подошёл к ней, взял за руку, посмотрев с сочувствием и пониманием в её глаза, и привёл в круг. И вот уже он благословляет её! Верить ли такому счастью? А танец продолжается. И она переходит к следующему партнёру – к девушке с добрыми и весёлыми глазами. Он благословляет эту девушку, а та потом – её. В сердце королевы было столько любви, а эта девушка была ей в этот момент самой родной. И каждый раз, переходя к следующему партнёру, она восхищалась душевной красотой, светившейся в глазах человека, стоявшего напротив неё, и любила этого человека. Потом были танцы, посвящённые милосердию, любви, озаряющей сердце, они передавали эту любовь друг другу через движения и взгляды. Ей казалось в юности, что все люди должны любить друг друга, но этого не было, и она давно не верила в подобные сказки, а оказалось, что всё это есть. Не грёзы ли это? Все танцы были сопровождением песен, похожих на молитвы. На груди королевы расцвела роза, у других людей тоже появились цветы. Вокруг хоровода стали кружиться маленькие звёздочки, вспыхивая и погасая, они порхали в унисон с людьми. Казалось, уже все чудеса свершились, но появилось новое: в небе стали вспыхивать светящиеся букеты цветов и падать вокруг танцующих. И те маргаритки, что росли на поляне, тоже стали испускать свет, как маленькие свечки в траве. Цветы, что падали на волосы, платья девушек и костюмы юношей, оставались на них, словно прикалывались к волосам или к ткани, светились тёплым светом, озаряя вдохновенные лица. Такая отрада разлилась в сердце нашей королевы, что казалось, ничего уже радостней быть не может! Последний танец был на слова Иисусовой молитвы, которую королева произносила каждый день, но произносила, не задумываясь о смысле молитвы: «да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе…». Сейчас она каждой частичкой души осознала, что царствие Божее на земле творится сердцами и делами людей, а что она, королева, сделала для этого? Сделала ли она для этого что-то в своём королевстве, если даже сыновьям своим она стала чужим человеком? Но не столько чувство вины, сколько желание поделиться царившей в мистерии любовью царило сейчас в её сердце. «Спасибо тебе, Господи, что ты послал ко мне птицу, приведшую меня сюда», – мысленно произнесла королева, когда они шли последние круги, молча под звуки музыки.

Прозвучали последние звуки. Люди стояли, взявшись за руки и слушая радость своего духовного сердца. Все благодарили друг друга, а королева благодарила ещё и птицу, верно, птица была волшебной, коли привела её в этот сказочный мир. В конце концов все стали обниматься: и взрослые, и дети, ангел

взлетел и благословлял всех. Обнявшись с первым человеком, она поняла, что так нежно и уважительно её не обнимал никто и никогда. Она не слышала биения сердца человека, но чувствовало его душевное тепло. Она обратилась к юноше, с которым обнималась: «Вы все такие красивые и молодые, одна я здесь старая». Он ответил: «Ты тоже молодая и прекрасная». Королева посмотрела на свои руки и удивлённо сказала: «Правда, у меня молодые руки. Чудо какое. Где я? В Раю?». «Да, ты в раю», – ответил юноша, улыбаясь. «Значит, я умерла, – подумала королева, – Но как же я этого не заметила? Отчего же люди так боятся смерти? Ведь это так хорошо». И она обнималась со следующим человеком и с другими, со всеми, и все люди обнимали её с любовью. Когда черед королевы настал обниматься с девушкой в тёмно-синем платье, она испытала трепет. В танце она никогда не была с ней в паре, потому что та двигалась по кругу в том же направлении, что и она, и они не пересекались. Но она часто бросала на неё взгляды, что-то притягивало её в этой девушке. Девушка подарила ей что-то вроде кулончика из рубина – маленькое светящееся сердечко. Они обнялись и стояли долго, согревая друг друга душевным теплом, и как когда-то она ощутила физическую реальность зла, исходящего от мужа, сейчас она ощутила благую силу духовной любви. Девушка посмотрела ей в глаза, и королева решилась спросить:

– Я будто бы знаю тебя, но не могу узнать.

– Ты не узнала меня, мама? Я твоя дочь, которая умерла маленькой. А потом, когда тебе стало совсем одиноко без меня, я прилетала к тебе синей птичкой и развеивала твою тоску.

Королева обняла свою дочь ещё крепче. Сначала она даже не могла говорить, но потом произнесла:

– Дорогая моя, значит, ты выросла здесь, ты встала взрослой, как твои братья. И такой красивой, такой доброй. Я так рада, так рада, что ты привела меня сюда. Мы теперь никогда не расстанемся. Никогда.

– Пойдём, отдохнём, мамочка, ты так устала, давай приляжем.

Дочь повела мать на стог сена. Они легли, обнявшись, глядя в далёкое небо, всё усеянное яркими звёздами, по которому изредка пролетали ангелы и те люди, с которыми она недавно танцевала.

– Мамочка, мы никогда не расставались, я была часто рядом с тобой. Когда ты скакала на коне, я оберегала тебя от несчастных случаев. А когда ты спала, я гладила тебя по голове. Но здесь тебе пока нельзя ещё оставаться, тебе надо пожить ещё там в твоём мире. Ты там нужна. Там много людей нуждается в твоей помощи, ведь ты королева, и только ты им можешь помочь. А твои сыновья… Ты нужна им. Иногда, правда редко, им бывает очень трудно и им хочется чувствовать себя маленькими детьми, прийти к тебе, чтобы ты просто пожалела их, приняв их такими, какие они есть, не совсем удачными, не совсем правильными, но всё же твоими сыновьями. Ты не должна быть такой одинокой. Помнишь ту девочку у дороги? Это я во сне приходила к ней и просила её прийти в город к тебе. Она очень одинока, и о ней некому заботиться. Позаботься о ней так, как ты позаботилась бы обо мне. Она устала и заснула на поле люцерны, ей холодно, ведь она так плохо одета.

Королева содрогнулась, ведь пока она здесь танцевала в тепле и радости, девочка мёрзла одна-одинешенька в поле, она вспомнила с каким благословением девочка взяла её косынку, но разве согреет тонкая ткань ребёнка холодной ночью.

– Да, да, я пойду к ней сейчас, но как мне больно с тобой расставаться, моя любимая. Хотя бы иногда могу я сюда приходить?

– Нет, попасть в наш мир тебе позволили по моей просьбе и только один раз, чтобы ты была счастлива там среди живых. Чтобы быть счастливой здесь, надо научиться радоваться жизни в твоём мире. Надо научиться радоваться, хотя в том мире это нелегко, но ты постараешься, ты сумеешь. А сейчас не беспокойся о девочке, она спит не на земле, а на тёплом платке, а оберегает её ангел, ты к ней придёшь сейчас, только побудь здесь ещё минутку, запомни сегодняшнее счастье и поспи чуть-чуть, а я побуду с тобой.

Дочь ласково гладила её по голове. Засыпая, сквозь сон мать слышала слова:

«Если тебе не будет хватать тепла, поддержки, силы, достань моё сердечко, в нём тепло всех душ людей, с которыми ты танцевала, и меня, и ангела, освятившего его. Оно поддержит тебя и напомнит тебе, что тебя любят, о тебе молятся, о тебе помнят, о тебе заботятся и в тебя верят. Сожми его и приложи к своему сердцу, будь смелой, милая моя, любимая моя».

Мать заснула, как в детстве, когда её баюкала нянька. Действительно ли спала она одну минуту, ей было не ясно, но проснулась она полная бодрости, как будто провела во сне всю ночь. Звёзды светили над ней всё также ярко, но стога не было, не было ни волшебной поляны, ни дочери рядом. Она была на той же опушке леса, где и тогда, когда перешла речку. Рядом стояли туфли с чулками. «Неужели же мне всё это приснилось?» – подумала королева с тревогой, но в руке она почувствовала тепло, ладонь её сжимала красное сердечко, которое подарила ей дочь. От него шло тепло, и оно освещало ей путь, когда она пошла к своему коню. Женщина переправилась верхом через речку. В ночном мраке в слабом свете сердечка всё казалось серо-розовым, странным и таинственным, будто бы она возвращалась не в свой прежний мир, а в совсем другой загадочный и неизвестный. Она с трудом различала просвет в деревьях, конь вздрагивал, натыкаясь на кусты, ветка больно хлестнула её в лицо, но она будто и не заметила,

и торопила коня. Как тогда, когда она стремилась за синей птицей в мир мечты, теперь также с нетерпением она возвращалась в свой мир, чтобы помочь крошке, спящей в поле. Вглядываясь в освещённые сердечком заросли люцерны, которые сейчас казались бесконечными и загадочными, как неведомые миры, она искала девочку, боясь, что в этой мгле ничего не найдёт, но вот она её увидела – тёмный комочек в царстве травы. Королева спешилась, подошла к спящей девочке, а та открыла глаза и посмотрела на неё сонными глазами, в которых была слабая как лунный свет надежда.

– Я видела во сне прекрасную девушку, и она сказала, что за мной придёт сама королева. Вы королева?

– Да, я королева, и я возьму тебя в свой замок, в свою комнату, мы будем спать сегодня на тёплой кровати, только сначала помоем тебя в тёплой душистой воде и накормим самым вкусным, что найдётся в королевской кухне. Садись на коня.

Конь прилёг, давая возможность усесться маленькой наезднице. И понёс на себе двоих счастливых, готовых к новой жизни, в которой будет и много счастья и много испытаний, много горестей, но ещё больше любви и радости. Только сейчас королева вдруг вспомнила, что сегодня в замке пир по поводу годовщины победы. Её ищут, её будут грубо обвинять, вряд ли король обрадуется девочке, но она ему передаст просьбу их дочери, она протянет ему кулончик-сердечко, и он почувствует исходящий от него свет любви. Королева знала, что у неё есть силы для борьбы и для любви, ради этой девочки она станет сильной, она станет той чистой и смелой душой, которой и пришла в этот мир, её больше не сломают. «Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе…», – прошептала она, прижимая к себе дитя.

ЮРИЙ БЫКОВ

МИНИАТЮРЫ

СУЕТЛИВЫЕ ПТИЦЫ

Мир пернатых очень разнообразен, каких птиц только нет на нашей планете. Однако, больше всего на себя обращают внимание птицы суетливые, такие как галки, сороки, синицы, дрозды, трясогузки и им подобные. У некоторых из них суматоха перерастает в переполох, или даже панику…

Я думаю, никто не видел суетящегося коршуна, орлана, альбатроса или кондора.

Возможно, для того, чтобы высоко и долго парить над землёй, нужно отбросить суету…

ЛОВЛЯ НА ЖИВЦА

Молодой человек пришёл на берег реки порыбачить.

Рыбалка всегда отвлекает от суеты и успокаивает. Его особенно захватывала ловля хищника на живца. Лёгкой удочкой он поймал мелкую рыбёшку и насадил её на двойной крючок заранее приготовленной донной снасти с тяжёлым грузом. Забросил и стал ждать клёва, глядя на спокойную гладь реки.

Утром он уже успел поругаться с женой. Они часто ссорились последнее время. Причиной ссор, как правило, становился материальный вопрос, точнее, то, что он не хотел переходить на высокооплачиваемую работу. Его устраивал свободный график, а новая работа предполагала полную загрузку и минимум выходных дней.

А всему виною была его любовь к фотографии и походам. Вот и сейчас фотоаппарат был с ним, и он уже сделал пару снимков на берегу. В мечтах было выучиться на фотографа, набраться опыта и, возможно, со временем организовать собственную выставку. Мечты, мечты…

Но вот леска натянулась и удилище изогнулось в дугу. Молодой человек ловко подсёк и медленно вытащил на берег крупного окуня весом не менее килограмма.

Он сел на берег и задумался. «Приходится жертвовать мелкой рыбёшкой, чтобы поймать крупную рыбу», – думал он. А чем готов пожертвовать молодой парень, чтобы достичь в своей жизни чего-то стоящего?.. Кто знает, будет ли это для него так же ценно, когда он этого добьётся?..

СНЫ И БУМАГА

Однажды я решил записывать свои сны в тетрадь. Мне давно хотелось выяснить, к чему взывает моё подсознательное и изложить это на бумаге.

Я решился на это, потому что в деталях и в красках помню некоторые сны, которые видел много лет назад. А что они значат или значили для меня? Действительно ли это дорога в бессознательное? А может, это просто другая реальность, в которую меня заносит моё сознание.

Я с вечера приготовил ручку и блокнот на столике возле кровати.

В эту же ночь мне приснился сон, в котором я сидел за большим овальным столом со своими друзьями, нас было восемь человек. Мы все были в белых рубахах, молча смотрели друг на друга и улыбались. Я чувствовал, что понимаю каждого из присутствующих без слов… Мы общались, не проронив ни звука.

На слабо освещённом столе стояли несколько вазочек с фруктами и больше ничего. Ни пепельниц, ни спиртного… Ничего!

За нашими спинами была чернота, лишь наши рубахи сияли белизной.

Где мы находились, непонятно…

Я проснулся в поту и не стал ничего записывать. Мне было немного жутко, потому что из всех присутствовавших в моём сне в живых был один лишь я. Все, кто мне приснился, были мне сверстниками, но умерли до тридцати лет. Дальше «веселее».

Мне этот сон снился несколько дней подряд. Свихнуться не долго…

С тех самых пор я ежедневно в своих молитвах перечисляю имена своих друзей. Да упокоит Господь их души.

Желание записывать сны у меня пропало. Возможно, сны – это что-то сокровенное и переносить их на бумагу не стоит. Бумага – плохое место для секретов. А их вовсе нет.

Есть одна большая тайна.

Это всё – сны…

ЛЮБОВЬ И СТРАХ

Два мальчишки-близнеца со смехом и криками играли в футбол со своим отцом. Это, скорее всего, был не футбол, а игра, в которой нужно отнять мяч. Александр сидел на лавочке во дворе и любовался сыном и внуками, а в его груди разливалось тёплое и нежное чувство.

Неожиданно лицо его стало суровым, он закурил… Память ярко высветила один эпизод из его непростой жизни.

Это случилось почти тридцать лет назад. Александр тогда снимал маленькую квартирку на втором этаже старого трёхэтажного дома. В дверь нещадно ломились… Поздний вечер, на улице темно и холодно. Под окнами сугробы, снег толком никто не убирал… Он кричит жене:

– Живо одевай мальчишку!

Жена, без лишних слов одевает ребёнка. Александр открывает окно, берёт на руки наспех одетого сына, целует его:

– Я тебя сейчас брошу в сугроб под окном, потихоньку выберешься и беги к своему другу в соседний подъезд. Жди меня там. Тебе уже восемь лет, ты уже большой, справишься…

На глазах бледной, как полотно, жены он бросил сына в сугроб и плотно закрыл окно.

Прошло много лет, но Александр, воевавший в Афганистане, до сих пор вспоминал, как страх за ребёнка победил в ту ночь все его чувства. Он молча курил, смотрел, как сын играет с внуками, и думал, что на самом деле победило все страхи.

ДВА КОРНЯ ЖЕНЬШЕНЯ

Дело было в уссурийской тайге в начале августа. Я в то время возил брёвна с лесоповала на большой машине. Климат в Приморье субтропический и там полно всяких краснокнижных растений. Бабочки летают величиной с ладонь, папоротник выше человеческого роста, лианы лимонника… Красота! Ещё, конечно, медведи и тигры где-то ходят…

В одну из таких поездок я разговорился с местными товарищами о всяких растениях, когда мы заваривали ведро чая с лианой лимонника.

– Вот если так пойдёшь, – сказал мне один из них, указывая рукой, – там начнётся Змеиная сопка, только под ноги гляди, не просто так назвали… Вот там женьшень можно поискать…

День стоял солнечный и, чтобы как-то себя занять до вечера, я сделал себе из орешника палку, раздвоенную на одном конце, и пошёл искать женьшень. Путь до нужного места составил у меня часа полтора, затем прошагал ещё метров пятьсот в гору вдоль ручья и мне повезло! Возле поваленного дерева я нашёл сразу два растения с яркими гроздьями ягод, похожими на красные шапки. Их просто нельзя было не заметить. Я аккуратно выкопал корешки и обернул их мхом с большого камня возле ручья, как меня научили. Довольный, я начал быстро спускаться вниз с сопки, позабыв свою палку, и выбежал на небольшую полянку. Тут-то я и застыл как вкопанный. Передо мной стоял двухметровый бородатый мужик в плащ-палатке и с вещмешком за спиной. В левой руке он сжимал большой деревянный посох, а в правой держал обрез, направленный дулом вниз. Не знаю, как я выглядел в ту минуту… Из одежды на мне был чёрный комбинезон и кроссовки, а из оружия – небольшой складной нож в кармане, зато в обеих руках по женьшеню. Скорее всего, я тогда имел вид не очень мужественный.

Мы стояли, не шевелясь, и смотрели друг на друга какое-то время.

Вдруг незнакомец медленно произнёс глубоким грудным голосом:

– Не бойся… Помни… В тайге иной раз человек пострашнее зверя будет…

Я молча ему кивнул. Медленно и тихо разошлись…

ШЁЛ…

Шёл по парку, «шуршал листьями по газонам», думал… О чём думал?

Сам не знаю… Думал обо всём сразу, а когда переставал думать, начинал мечтать или, скорее, строить планы, на осуществление которых не хватало возможностей. Поверхностно взвесив все «за» и «против»

в своих планах, чуть было не пустился в рассуждения сослагательного наклонения, но вовремя остановился. Терпеть не могу все эти «если бы»! Мимо меня стремительно прошуршали две белки и взобрались на старый клён. Я отвлёкся от своих измышлений и просто стал наблюдать за зверьками.

И только освободившись ото всяких мыслей, я увидел тёплое, солнечное осеннее утро, цветные листья под ногами, лёгкое облачко над деревьями, которое скорее украшало небо, внеся немного белой краски на синее полотно…

Я шёл по опавшим листьям и наслаждался жизнью, не прилагая никаких усилий, никаких средств, ничего из того, что от нас постоянно требует наш уже слишком материальный мир.

Вокруг меня тёплый сентябрь. Счастливые минуты!

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Беспокойный и сумбурный сон, в котором я ощущал усталость, изматывал меня. Я шёл по полутёмным улицам с холодными оконными глазницами мрачных домов. Иногда мелькали какие-то тени, я вглядывался, но ничего и никого… Шорохи… Чувство холода и утраты, изнуряющий и непонятный поиск… Улицы сменились ухабистой грунтовой дорогой, еле мною различаемой, а вокруг то ли туман, то ли марево… Что за этим скрывалось, не знаю, возможно, ничего вокруг и не было, просто туман или марево… Внезапно я увидел срубовой дом, из окна которого падал на дорогу тёплый свет. Прибавив шаг, я вскоре без стука вошёл внутрь дома и передо мной открылась огромная библиотека с высоченными стеллажами книг. В конце одного из проходов между рядами бесконечных полок стоял стол с разложенными на нём рукописями, которые освещала тусклая лампа. За столом спиной ко мне, откинувшись на спинку стула и заложив руки за голову, сидел человек. Запах старых книг перемешивался с запахом кофе и табака, чувство холода исчезло. Незнакомец обернулся, ничего не говоря, лишь еле заметно улыбнулся. В нём я узнал самого себя и понял, что я всего лишь тень, которая необъяснимым образом отстала от хозяина…

Проснулся с благостным чувством возвращения домой.

ИРИНА СИЛЕЦКАЯ

МИНИАТЮРЫ

ФЛЭШКА

Артём плюхнулся на заднее сиденье такси, стряхнул с шапки снег.

– В Домодедовское отделение полиции!

Что ему стоило скачать эти фиктивные договора с компьютера шефа! Тот заметит несанкционированный доступ на сервер только завтра утром, а пока у Артёма есть вечер, чтобы заключить сделку с правосудием и вступить в программу защиты свидетелей. Жена с детьми уже уехали из города, ночью они встречаются в аэропорту, и – здравствуй, новая жизнь! Артём ещё раз проверил во внутреннем кармане куртки иностранные паспорта и билеты, кредитные карты и флэшку. Он продумал всё: шеф в субботу едет в элитный клуб, где проведёт ночь с любовницей, расписание субботнего вечера не нарушалось годами, семья в безопасности, следователь будет ждать его в полиции до полуночи.

Как он был втянут в финансовые аферы шефа, он и не заметил. Как главный бухгалтер делал годовые отчёты, и видел, видел какие-то странные, геометрически возрастающие активы, но понял всё только тогда, когда шеф дал ему счета для денежных переводов в офшоры и сказал напрямую, что теперь он «в деле» и будет получать вознаграждение за молчание и что теперь благополучие и жизнь его семьи зависит только от него. Артём согласился и молчал, пока его не нашёл следователь и в обстановке чрезвычайной секретности не поведал о том, что его шеф уже несколько лет «в разработке» и не предложил сделку с правосудием. Артём опять согласился и молчал, ища момента для получения доказательств виновности шефа, и всё сделал, как надо.

Артём расплатился с водителем и ринулся к зданию полиции. Буквально на ступеньках его подхватили с двух сторон, впихнули в машину, и он почувствовал лёгкий укол в спину. Очнулся в лесу связанным и встретился с тяжёлым взглядом шефа. Артём подумал, что жена с детьми в аэропорту без денег, паспортов и билетов ждут его, а вернуться им некуда, квартира продана, и тут же потерял сознание от сокрушительного удара.

Таксист после смены проверил машину и нашёл на заднем сидении флэшку, повертел в руках и выкинул в снег: где ему теперь искать владельца после стольких поездок?

ТЫ ЖЕ ОБЕЩАЛ

Ехал и думал, где же он ошибся? Да, действительно, он обещал себе не предавать друзей и партнёров, а её отцу, что она никогда не будет из-за него плакать. Причём обещал искренне и верил, что сдержит слово. Она смотрела на него влюблёнными глазами и восхищалась. Но жизнь – вещь непредсказуемая, бизнес завертелся, вовлекая его во всё большие обороты, меняя его взгляды и привычки. Нужно было быть сильным и беспощадным, сантименты мешали, ослабляли, а доступных соблазнов становилось всё больше.

Впервые он был неискренен с другом, который вложил деньги в его первую сделку, дело выгорело, но отдавать прибыль было жаль. Он хорошо помнил, как впервые не спал ночь, решая, как поступить, а утром вернул взятую взаймы сумму со словами, что это счастье – вернуть свои. Так у него появился первый капитал, и он стал использовать деньги друзей. Он предал партнёра, спрятав от него часть прибыли и уведя в офшор, и даже не отвёл взгляд от его пытливых глаз, хотя усилия для этого приложил немалые. «Сейчас надо делать деньги, – оправдывал он себя, – разбогатею, отблагодарю». Партнёров было много, и от каждого на его счёте оседала круглая сумма. Частые командировки и знакомства положили начало встречам с другими женщинами, и постаревшая, хотя и ухоженная, жена, обременённая детскими проблемами, вызывала у него скорее братские, чем мужские чувства. «Мы – команда!» – говаривал он, целуя по очереди пятерых детей и жену. Он так чувствовал, к команде причисляя и её родителей: бывшую учительницу и полковника ГРУ в отставке, которые заменили ему родителей после смерти его собственных.

И всё шло хорошо, пока он не влюбился в молоденькую секретаршу и не открылся ей в порыве откровенности влюблённого, а она не поделилась своим женским счастьем с подружкой, которая просто хотела денег много и сразу. Вскоре ему пришло анонимное письмо с компроматом и обещанием открыть всё его семье. И вот сейчас он вёз деньги за молчание в условленное место. Семья была последним пристанищем, так как его финансовые махинации начали выплывать наружу и он всё чаще ссорился с друзьями и партнёрами, откупаясь штрафами и теряя репутацию.

Затормозил у заброшенной фермы, положил под дверь саквояж с деньгами и вернулся к машине. Облегчённо вздохнул и отправился домой. У дома притормозил и вышел, чтобы убрать ветку, лежащую прямо у въезда в гараж. Удобно разместившись на сиденье, вдруг почувствовал металлический холодок на затылке и услышал знакомый голос: «Ты же обещал… Думал, что я, старый пень, забыл? Я исполню обещанное». «Что же он обещал?» – пронеслось в голове, и он вспомнил. «Если предашь мою дочь, убью» – всегда шутил его тесть.

ЛАТИНОС

«Латинос!» – говорили ему пренебрежительно игроки детской футбольной команды и не звали в свою компанию, хотя он был лучшим нападающим. Когда он забивал гол, его молчаливо терпели, но когда гола не было, над ним подшучивали все кому не лень, даже тщедушный уборщик спортзала.

А что он мог ответить? Сын чешской проститутки и танцора-кубинца, уехавшего домой и даже не знавшего о его существовании, с детства чувствовал своё унизительное положение. Мать не могла его ни с кем оставить, и он провёл детство в борделе, где его тискали и подкармливали проститутки.

«Латинос, какой ты хорошенький!» – слышал он от них, когда стал подрастать.

Он влюбился в хорошенькую одноклассницу и признался ей в любви, но она тихо сказала, опустив глаза: «Я не буду с тобой встречаться… Ты латинос».

И тогда он решил взойти на вершину иерархии своего окружения и доказать ей и всем остальным, что происхождение ничего не значит, если человек талантлив и целеустремлён. Он окончил юридический факультет Карлова университета, аспирантуру, стал успешным адвокатом и больше не слышал этого унизительного слова «Латинос». Подружек было много, но отношения были недолгими, не давала покоя память о первой любви.

Он встретил её в адвокатской конторе, она разводилась с богатым немцем, прожив с ним десять лет. Она стала ещё красивее, узнала его, порадовалась его успехам и попросила вести её дело, которое он успешно завершил, оставив ей добрую часть имущества бывшего мужа. И сейчас у неё в номере они отмечали свершившееся. Он надеялся сорвать её первый поцелуй и взять всё, о чём мечтал много лет. Он обнял её и приблизил губы для поцелуя.

«Латинос…» – прошипела она и упёрлась руками в его грудь. Молнией пронзило его мозг обидное слово, он прижимал её к себе всё крепче и крепче, пока она не начала задыхаться и хрипеть. Он отпустил её только тогда, когда она перестала сопротивляться и обмякла.

ЗА ЧТО?

Марцела ехала в метро от любовника и остывала. Этот шаловливый Йиржи вытворял такое, что она была не в силах отказаться от этой связи. На губах блуждала улыбка, которая тут же исчезла, когда она посмотрела на парня, сидевшего напротив. То, что он был выпившим, её не напрягло, но он начал рыться в большой холщовой сумке, извлекать оттуда вещи, разглядывать и складывать обратно. Вещи были женскими, ношенными: джинсы со следами засохшей грязи, футболку с принтом, свитер в катышках, мятый шёлковый шарфик с надорванным краем, грязная куртка с вырванными вместе с тканью двумя верхними пуговицами. Он рассматривал вещи, как охотник свою добычу, явно впервые их подробно оценивая. Но глаза Марцелы округлились, когда парень извлёк из сумки нож, обычный кухонный нож и, посмотрев на него, сунул обратно в сумку.

Марцела медленно встала и прошла в конец вагона, лихорадочно соображая, что делать? «Через три минуты станция, можно выйти, позвать полицейского, но поезд уже уедет, и как этого парня потом найти? А парень явно кого-то недавно ограбил, вероятно, девушку, а может и изнасиловал, а может и убил?» – она вспотела от страха. За три минуты он легко мог подойти к ней, если бы заметил её реакцию. Парень сидел к ней спиной и рылся в своей сумке. Людей в вагоне было мало. «Надо всё равно сообщить в полицию, его могут поймать, сообщив по рации, если он не выйдет раньше, чем поступит звонок и придёт наряд полиции на следующих станциях. Шансов его задержать мало, но всё же…». Она выскочила на остановке из вагона, парень остался, двери захлопнулись и вагон двинулся дальше.

Марцела начала набирать номер полиции и вдруг поняла, что не сможет этого сделать, так как по легенде для отъехавшего из Праги мужа она сейчас должна кататься с подругой на лыжах в горах.

А поводов для ревности она дала мужу предостаточно, чтобы очередная ложь не могла стать для неё последней. Покрутив в руках телефон, она села в следующий вагон и поехала домой.

Всю ночь снились кошмары об этом парне, лишь к вечеру она успокоилась. Раздумья прервал звонок дочери-студентки, жившей отдельно. Дочь рыдала:

– Мама, мама, меня изнасиловали, в парке напал парень, угрожал ножом, мама!!!

КТО БЫЛ ПЕРВЫМ?

– В последний раз в такой снегопад поеду, – злился Алексей, вглядываясь в лобовое стекло. Он ехал с дачи поздним вечером. Дворники еле успевали разгонять снежную пелену, снежинки летели прямо в лобовое стекло. Впереди на небольшой скорости следовала целая колонна машин, и она ориентировалась по их задним габаритам.

– Хоть бы на дороге не было никаких препятствий, – думал он и успокаивал себя тем, что впереди едущие машины первыми их заметят и объедут.

– Ну вот, – проворчал он, видя, как начали вздрагивать огоньки габаритов, – уже что-то переезжают, ну и я за ними потихоньку. Что-то тёмное мелькнуло на шоссе и машина мягко перекатилась через препятствие. Алексей притормозил, потому что этот прыжок машины показался странным, как будто он переезжал что-то мягкое.

– Косуля, – подумал он, съехал на обочину, вышел из машины и обомлел. На шоссе в луже крови неподвижно лежал мужчина в неестественной позе, с вывернутыми руками и ногами, одежда была грязной, тело было явно расчленено, было видно, что по нему проехала не одна машина.

Алексей понял, что здесь ничем не поможешь, и вызвать кого-то не сможет, так как не объяснит, где находится, но неподалёку виднелась бензозаправка. Он вскочил в машину и помчался туда.

– Срочно вызывайте скорую и полицию, в двухстах метрах от Вас сбили человека, насмерть, и по нему проехали десятки машин! – кричал она перепуганной женщине в окошко. Та в страхе схватила телефон и прокричала то же в скорую.

– Кто звонит, спрашивают? – проорала она.

– Вы! – ответил Алексей, сел в машину и уехал. А что он мог ответить? Назвав своё имя, он оказался бы главным подозреваемым. Если остальные проехавшие не позвонили, как доказать, что он не был первым?

КРЕДИТ

Марсела не знала, что делать, как отдавать долги… В этой стране всё просто – не заплатила несколько месяцев – предупреждения и штрафы, полгода – решение суда об изъятии недвижимости, продажа с аукциона по сниженной цене и выселение. А у неё дети… Испробовала все возможности, нигде не смогла достать денег. Но тут вспомнился дядюшка, пожилой, состоятельный, бездетный, но с ней не общался, потому что бросила институт, вышла замуж за незнамо кого, а потом ещё и развелась, короче, не оправдала его надежд. Пришлось поклониться, помириться, познакомить с детьми, которых он очень полюбил.

Сейчас ехала к нему, чтобы взять денег в долг, конечно, под проценты, но небольшие. С банком всё было договорено, сейчас она возьмёт дядюшку, поедут вместе в банк, он подпишет документы и она выкарабкается из долговой ямы.

– Дядя, привет! – закричала в домофон.

– Он совсем плох, по-моему он… – поведала сиделка.

– Но у нас назначена встреча, помогите ему одеться, я доведу до машины!

– Дядюшка, тут совсем недалеко, сейчас будем на месте. Всё, выходите. Что Вы молчите? Я Вам помогу, опирайтесь на меня, помогу дойти. Садитесь! Ну, подписывайте, я Вам ручку помогу держать, ну, давайте!

– Да, плохо себя чувствует, но сейчас подпишет, минутку!

Операционистка банка с округлившимися от ужаса глазами закричала:

– Вызовите полицию! У нас мёртвый клиент!

«СЕТЧАТКА»

ВАЛЕРИЙ БАЙДИН

АРТЮР РЕМБО, НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ И БУДЕТЛЯНЕ

Гениальный семнадцатилетний поэт Артюр Рембо написал сонет «Voyelles» («Гласные») в 1871 году. Поэма в прозе, перемежённая стихами, «Une Saison en Enfer» («Одно лето в аду») появилась в 1873-м. Последний текст, составленный из прозаических отрывков «Les Illuminations» («Озарения»), был опубликован в 1886-м. В том же году родился Николай Гумилёв. Свой поэтический путь он начал почти так же рано, в девятнадцать лет, когда его стихи стали появляться на страницах модного журнала русских декадентов «Весы». Тогда же вышел в свет его первый поэтический сборник «Путь конквистадоров» (1905).

Несомненно, Гумилёв прекрасно знал творчество последнего «проклятого поэта», скончавшегося в 1891 году. Его, как всю литературную молодёжь в обеих столицах России, влекла его изумительная поэзия: «Пьяный корабль», «На музыке», «Украденное сердце», «Песня с самой высокой башни», «Вороньё» и множество иных стихотворений. Однако перевёл Гумилёв лишь его сонет «Гласные»:

VOYELLES

A noir, E blanc, I rouge, U vert, O bleu, voyelles,
Je dirai quelque jour vos naissances latentes.
A, noir corset velu des mouches éclatantes
Qui bombillent autour des puanteurs cruelles,

Golfe d'ombre ; E, candeur des vapeurs et des tentes,
Lance des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles;
I, pourpres, sang craché, rire des lèvres belles
Dans la colère ou les ivresses penitents;

U, cycles, vibrements divins des mers virides,
Paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides
Que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux;

O, suprême Clairon plein des strideurs étranges,
Silences traversés des Mondes et des Anges:
– O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux!

В нём пять основных французских гласных A, E, I, U, O, Рембо написал с заглавных букв, придавая каждой свой цвет и связывая с ней особый поэтический образ. Завершала сонет шестая гласная l'Oméga, созвучная с «О». Эта последняя буква греческого алфавита становилась символом конца всего и отсылала к первой букве «А», которую следовало понимать как греческую «Альфа» – символ начала начал. У Рембо ей соответствовал космический мрак, в котором зародилось бытие мира. Три последующие гласные намекали на небесные «гласы», они словно продолжали божественное творение, становились звуками жизни.

Сонет «Voyelles» явился новым поэтическим манифестом символизма. В нём Рембо углублял провозглашённую Шарлем Бодлером теорию «соответствий» (*les correspondences*). В 1855 году в сонете с таким же названием он писал о слиянии в «лесу символов» (forêts de symboles) «запахов, цветов и звуков», «которые воспевают восторг ума и чувств» («qui chantent les transports de l'esprit et des sens»).

В сонете Рембо не чувствовалось никакого восторга, его строки переполняло зловоние падали и отвращение от пребывания в «заливе тьмы». Его не влекли «свежесть туманных покровов, царственная белизна горных вершин, дрожание цветов» («candeur des vapeurs et des tentes, des glaciers fiers, rois blancs, frissons d'ombelles»), он писал о «кровавом плевке в яростном смехе или в покаянном опьянении красивых губ» («sang craché, rire des lèvres belles / Dans la colère ou les ivresses pénitentes»). Утешение поэт находил лишь в «сине-зелёных кругах морей, покрытых божественной рябью» («cycles, vibrements divins des mers virides»), в «покое пастбищ, усеянных скотом, в покое пашен» («paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides»). Рембо желал, чтобы «большие прилежные лбы запечатлела алхимия» («que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux»), но намекал не на «тайные науки», к которым, возможно, желал приобщиться в юности, а на свою «алхимию слова», о которой речь ниже.

Далее Рембо восклицал: «О, звук всевышнего горна полный странных пронзительных звучаний» («O, suprême Clairon plein des strideurs étranges!»). Завершали сонет слова о «молчании, пронизавшем Миры и Ангелов» («silences traversés des Mondes et des Anges») и новый возглас: «О, Омега, фиолетовый луч Её Очей» («O l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux!»). В нём слышалось ликование, приветствие конца мироздания. «Очи Омеги» испускали смертоносные фиолетовые лучи, цвет которых находился за пределами спектра, обозначенного пятью гласными. «А» в начале сонета становилась символом божественного «Да будет!», с которого началось творение мира, «О-Омега» означала призыв Рембо: «Да не будет!», его приговор бытию завершали слова о «молчании», охватившем вселенную. Так можно перевести строку «silences traversés des Mondes et des Anges», в которой причастие «traversés» грамматически относилось к словам «strideurs étranges» («странные пронзительные звучания»), противоположным по смыслу слову «silences» («молчания»). Омега дополняла алхимический «пентакль» гласных и становилось шестой, созвучной с «О», но обладавшей сверхъестественным смыслом. Поэт явно намекал на библейские шесть дней творения и апокалипсическую кончину мира.

Гумилёв перевёл написанный александрийским стихом сонет, стремясь передать его звучность и загадочный смысл:

ГЛАСНЫЕ

А – черно, бело – Е, У – зелено, О – сине,
И – красно… Я хочу открыть рожденье гласных.
А – траурный корсет под стаей мух ужасных,
Роящихся вокруг как в падали иль в тине,

Мир мрака; Е – покой тумана над пустыней,
Дрожанье цветов, взлёт ледников опасных.
И – пурпур, сгустком кровь, улыбка губ прекрасных
В их ярости иль в их безумье пред святыней.

У – дивные круги морей зеленоватых,
Луг, пёстрый от зверья, покой морщин, измятых
Алхимией на лбах задумчивых людей.

О – звона медного глухое окончанье,
Кометой, ангелом пронзённое молчанье,
Омега, луч Её сиреневых очей.

Возражения вызывал перевод строки «…paix des rides», соединённый с призывом «que l'alchimie imprime aux grands fronts studieux». Слова Гумилёва «покой морщин, измятых / Алхимией на лбах задумчивых людей» искажал смысл сонета: поэтическая «алхимия» должна была запечатлеть «paix des pâtis semés d'animaux, paix des rides» («покой пастбищ, усеянных скотом, покой пашен») – девственный мир, нетронутый порчей. Словам «suprême Clairon plein des strideurs étranges» не соответствовала строка «звона медного глухое окончанье», мистическим «фиолетовым» лучам – земные «сиреневые».

Видимо, чуждый мистики Гумилёв не посчитал эти тонкости важными. Более всего его поразительная звучность сонета, завораживающие созвучия и рифмы, невероятные образы. В нём Рембо являл все возможности символизма и в нём же их исчерпывал. Это чувствовалось в двух крупных последующих произведениях поэта, которые Гумилёв не мог обойти вниманием. Отдельную главу в поэтическом эссе «Одно лето в аду» (1873) Рембо посвятил «алхимии слова»: «Délires II. (Alchimie du verbe) Lyrics» («Исступления II. (Алхимия слова) Лирика»), где утверждал: «Я изобретал цвет гласных! – А чёрное, Е белое, И красное, О синее, U зелёное. /…/ Я управлял формой и движением каждой согласной и с помощью

инстинктивных ритмов льстил себя надеждой изобрести поэтическое слово, которое, рано или поздно, станет доступным любым смыслам (et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens). /…/ я записывал невыразимое (je notais l'inexprimable)». Он писал о согласных, но отсылал читателя и к сонету «Гласные» – имел в виду все звуки речи.

Слова Рембо о поэтическом всевластии повисали в воздухе. Он сетовал: «Я приучил себя к обыкновенной галлюцинации: на месте завода перед моими глазами… возникала мечеть, школа барабанщиков, построенная ангелами, коляски на дорогах неба, салон в глубине озера. /…/ От усталости я умираю! /…/ Но я замечаю, что спит мой разум». Лишь в стихотворениях, почти потерявшихся среди меланхолических размышлений в прозе, вспыхивал язык, рождал пленительные ритмы, тончайшие созвучия, россыпи рифм и ускользающие, часто абсурдные и непереводимые словесные образы. Отказываясь от скрытого смысла и даже намёков на него, Рембо в те годы создавал тексты из разрозненных слов, связанных лишь звуковой схожестью и ритмом. Сознательно или нет, он делал первый шаг к словотворчеству и зауми: «un hydrolat lacrymal lave» («Мои маленькие возлюбленные», 1871), к непереводимому абсурду: «mon triste coeur bave à la poupe» («Измученное сердце», 1871). Поэт свободно соединял *science* и *patience*, *soeur* и *coeur* (наука и терпение, сестра и сердце). В тексте «Одно лето в аду» впервые заявил о себе французский «язык как таковой». Невыразимое сменялось бессмысленным.

Спустя три десятилетия в поэзии Алексея Кручёных и Велимира Хлебникова родилось «слово как таковое». Сонет «Гласные» и «Алхимия слова» Рембо сказались на творчестве Велимира Хлебникова, который достаточно владел французским, на его «самовитых словах» и утопическом «звёздном языке» будущего. Следуя за первым французским *заумником*, в статье «Художники мира» (1919) он писал о согласных звуках и предлагал «обозначить: *м* тёмно-синим, *в* – зелёным, *б* – красным, *с* – серым, *л* – белым и т.д.».[1]

Гумилёва, в отличие от русских авангардистов, эти опыты Рембо ничуть не влекли. В прозаических отрывках «Озарения», написанных в Абиссинии в 1886 году и тогда же опубликованных Верленом, помещалось два невыразительных стихотворения, лишённых блеска языка, музыкальности, завораживающих созвучий и глубоких образов. Поэт отказывался от так и не достигнутой цели – от сверхпоэзии: «Продаются… неслыханные взлёты гармоний. /…/ Безумный и бесконечный порыв к незримым великолепьям, к непостижимым наслажденьям, – и его с ума сводящие тайны для любого порока, – и его устрашающее веселье для толпы». Под этими словами Рембо имел в виду не только недоступный обычным поэтам поэтический дар, но и средство к обладанию им: наркотики. Пристрастился к ним Рембо ещё во Франции, начал с абсента, под влиянием Поля Верлена перешёл на гашиш и опиум.

Его «видения» или «опыты ясновидения» удивляли нарочитой бессмысленностью, вызывали скуку: «мадам*** установила фортепьяно в Альпах», «молодая умершая мать спускается тихо с крыльца», «жужжали магические цветы» и т.д. Но поэт, уже теряющий дар, горделиво возглашал: «Я – святой, молящийся на горной террасе. /…/ Я – изобретатель достойный совсем иной похвалы, чем те, кто предшествовал мне» и описывал свои галлюцинации: «огненные поляны подпрыгивают до вершины холма», «на косогорах жатвы ревут цветы», «собор опускается, а озеро поднимается» и др. Он упоминал «яд в нашей крови», «смерть с сухими глазами, неугомонную нашу служанку», «катафалк моих сновидений». В «Озарениях» слово «сновидение» встречается неоднократно. Рембо твердил: «Метод, мы тебя подтверждаем. /…/ Верим в яд. Умеем целиком каждый день отдавать свою жизнь» («Nous t'affirmons, méthode! /…/ Nous avons foi au poison. Nous savons donner notre vie tout entière tous les jours»). В отрывке «Гений», которым он себя, несомненно, считал, поэт шествовал по «грозовым небесам» «среди флагов экстаза», но скорее всего, уже чувствовал, что этот «экстаз» был не поэтическим, а наркотическим.

Рембо надеялся обрести «поэтическое ясновидение», «меру, вновь созданную и совершенную, и чудесный непредугаданный разум, и вечность» с помощью наркотиков и алкоголя. Но пришёл лишь к сновидческой бессмыслице, к случайным звуковым сочетаниям слов. Он вспоминал свои «умирающие напевы и формы», слышал «хор, чтобы утешить пустоту и бессилье…». И тут же признавался: «В самом деле, нервы скоро сдадут». Рембо чувствовал свою поэтическую немощь, понимал, что не достиг желаемого с помощью алкоголя, наркотиков, бессонных бдений и оставил поэзию. Видимо, с тех пор его стала преследовать мысль о кончине: «…для грядущего смерть – вот истинный путь! Вперед, в дорогу!» («…la crevaison pour le monde qui va. C'est la vraie marche. En avant, route!»).

Этот «пафос смерти» Гумилёву был глубоко чужд. Но обоих поэтов влекли путешествия – настоящие, сновидческие и наркотические. Рембо много лет странствовал по миру: от Исландии, Англии, Бельгии до Египта, Занзибара, Адена и Явы. Гумилёв уже в молодости посетил Париж, Лондон, страны Скандинавии, Афины, Стамбул, Египет, Ливан, Джибути. Что же так влекло Гумилёва именно в Эфиопию, а не в Египет, как Михаила Кузмина, написавшего знаменитые «Александрийские песни» (1908), Ивана Бунина и других русских писателей, не в Тунис и Египет, как Андрея Белого, оставившего позже путевые заметки «Офейра»? Судя по всему, главной причиной являлось страстное юношеское увлечение Гумилёва творчеством Рембо, желание во всём следовать по его стопам и так обрести высший поэтический дар.

Сергей Маковский, издатель журнала «Аполлон», отмечал в статье «Николай Гумилёв. По личным воспоминаниям», что ещё в 1909 году поэт «готовился, по примеру Рембо, к поездке в Африку».[2] Он посетил Абиссинию трижды, в 1908, 1909-1910, 1913 годах и в общей сложности провёл в ней два года, посвятил этой стране свои лучшие африканские стихи «Носорог», «Озеро Чад», поэму «Мик», а также публикованный лишь в 1987 году «Африканский дневник» (1913). По свидетельству Анны Ахматовой, пробовать наркотики Гумилёв начал уже в 1905 году, что в среде столичных декадентов никого не удивляло. Валерий Брюсов, главный редактор журнала «Весы», с ранней юности испробовал все виды порока и различные наркотики (морфин, опий, гашиш, эфир и кокаин), о них в 1910 году упоминал в поэме «Подземное жилище», посвящённой некоему «святилищу» для оргий. Известно, что Гумилёв начал с опиума, затем увлёкся эфиром. Летом 1914 года в рассказе «Путешествие в страну эфира» он писал про «острова Совершенного Счастья», про «светлого бога чудесных путешествий»; его герой признавался, что «совершенно забыл различие между добром и злом», что «Бодлера мы выучили наизусть» и что эфироманы «умирают очень быстро, а то были бы счастливейшими из людей».[3]

В возрасте 25 лет Рембо оставил Европу и поселился на краю света – в Абиссинии, в городке Харэр с населением около 20 тысяч человек, расположенном почти в полутора тысячах километров от побережья. Там, почти не встречая европейцев, прожил более десяти лет, с 1881 по 1891 год. Торговал оружием, кофе, золотом, рабами – всем, что приносило наибольшую прибыль. Гумилёв мог узнать о нём от кого-то из тамошней французской католической миссии или напрямую от ещё живого епископа Жерома, в прошлом аббата и, вероятно, единственного близко знакомого с Рембо человека.

Отправившись в Абиссинию, Рембо писал в поэме «Одно лето в аду»: «я вернулся к Востоку и к мудрости, самой первой и вечной… Евангелие отжило, я покидаю Европу, хочу плавать, мять траву, охотиться, пить напитки крепкие, как расплавленный металл… Морской ветер сожжёт мои лёгкие, климат дальней страны выдубит кожу… Я вернусь с железными руками, смуглым лицом и яростными глазами… У меня будет золото». Он упоминал «дорогого Сатану», признавался в «любви к святотатству», но далее утверждал противоположное: «Бог – моя сила, и я возношу хвалу Богу». В его сознании раскалывался мир, соединялось несоединимое. Он признавался: «бесконечны образы галлюцинаций», «я проглотил изрядную порцию яда. /…/ Это – ад, это вечная мука! Взгляните: поднимается пламя! Я пылаю, как надо. Продолжай, демон!». Вряд ли стоит сомневаться, что под «ядом» Рембо имел в виду тяжёлые зелья.

Полный противоречий, полубезумный текст Рембо содержал утверждения угасающего гения, которым Гумилёв, возможно, всё ещё придавал значение: я «пытался выдумать… и новые звёзды, и новый язык. Я хотел добиться сверхъестественной власти /…/. Я, который называл себя магом или ангелом, освобождённым от всякой морали, – я возвратился на землю, где надо искать себе дело, соприкасаться с жестокой реальностью». Рембо не различал безобразное и красоту, истину и ложь, гармонию и абсурд. Возможно, в 1900-х годах молодому Гумилёву неизбежным шагом на пути к поэтической свободе мог показаться и разрыв с христианством. Вряд ли его смущало многократно высказываемое безбожие Рембо, который в стихотворении «Les Premieres Communions» («Первые причастия») писал об отвращении девочки-подростка ко Христу. В прозаическом отрывке (1872?), начинающемся словами «…Bethsaida, la piscine des cinq galeries» («Вифезда, купальня с пятью крытыми входами»), Рембо посмеивался над евангельской историей об исцелении Христом расслабленного (Ин. 14, 5: 1-15): болящие спустились «в жёлтую воду», но Христос исцелил лишь первого из них, а остальным Сатана показал язык.

В конце 1900-х годов будущего создателя акмеизма, отвергшего соблазны декадентства, а вслед за ними и заповеди символизма, увлёк новый поэтический путь: Михаил Кузмин призывал к нему в статье «О прекрасной ясности» в апрельском номере журнала «Аполлон» за 1910 год. *Кларизм* стал предвестием акмеизма. Через три года в манифесте «Наследие символизма и акмеизм» Гумилёв с иронией замечал: «Русский символизм направил свои главные силы в область неведомого. Попеременно он братался то с мистикой, то с теософией, то с оккультизмом», но «непознаваемое, по самому смыслу этого слова, нельзя познать». В словах «мы немного лесные звери и во всяком случае не отдадим того, что в нас есть звериного…» угадывалась цитата из «Лета в аду» Рембо «я не понимаю законов; не имею морали, потому что я зверь».[4] Будто отвечая его тяге к смерти, Гумилёв писал: «грезится нам образ последнего часа, который не наступит никогда».[5] Но, видимо, продолжал следовать за порочным гением в стремлении овладеть сверхъестественными поэтическими способностями, уносясь в наркотическое запределье.

Путешествие вглубь Абиссинии Гумилёва заворожило, он записывал в «Африканском дневнике»: «Дорога напоминала рай на хороших русских лубках: неестественно зелёная трава, слишком раскидистые ветви деревьев, большие разноцветные птицы и стада коз по откосам гор. Воздух мягкий, прозрачный и словно пронизанный крупинками золота. Сильный и сладкий запах цветов. И только странно дисгармонируют со всем окружающим чёрные люди, словно грешники, гуляющие в раю…».[6] Обратный путь из этой «колдовской страны» вёл Гумилёва не в «ад» Рембо, а в Россию, к вершинам рождавшегося акмеизма.

Почему же Гумилёв, создавший замечательные переводы многих французских, английских, немецких, итальянских поэтов перевёл лишь одно стихотворение Рембо и не стал публиковать свой перевод?[7] Вероятно, поэт не считал его удачным и не поставил под ним даты, словно под черновиком. Рукопись перевода хранится в архиве Российской Национальной библиотеки в Санкт-Петербурга с пометкой: «Гонорар выплачен 23 мая 1919 года»,[8] уточнить датировку она не позволяет. Что же эта пометка могла означать?

С осени 1918 года Гумилёв начал работать в основанном Максимом Горьким петроградском издательстве «Всемирная литература», где заведовал французским отделом, но, несомненно, нуждался в деньгах. В записке-отчёте в Наркомпрос о деятельности издательства признавалось, что «за 9 месяцев (с сентября 1918 г. по июнь 1919 г.) оно не выпустило ни одной книги и ни одной брошюры из-за отсутствия бумаги».[9] Весною 1919 года семья Гумилёва особенно бедствовала, не хватало дров. Видимо, пользуясь литературными связями, поэт решил продать часть своего архива. Трудно представить, что в то страшное время он решил перевести сонет Рембо ради незначительного гонорара. Скорее всего, этот перевод возник в конце 1900-х годов, когда русский символизм ещё не потерял значимости, а Гумилёв, родоначальник акмеизма, всё ещё продолжал искать пути достижения вершин поэзии, её *ἀκμή*, подсказанные гениальным и порочным, сгубившим себя Рембо.

Примечания:

[1] Хлебников Велимир. Собрание сочинений в трёх томах. Т. III. СПб.: Академический проект. 2001, С. 217.

[2] Маковский Сергей. Николай Гумилёв. По личным воспоминаниям // Новый журнал. №77. Нью-Йорк. Сентябрь. 1964, С. 157-189.

[3] Гумилёв Николай. Путешествие в страну эфира // Биржевые ведомости. (Утренний выпуск). №15711. 31 июля 1916 года; см. то же: Н.С. Гумилёв. Сочинения в трёх томах. Т. 2. М.: Художественная литература. 1991, С. 232-239.

[4] Гумилёв Николай. Наследие символизма и акмеизм // Аполлон. Январь 1913 года, С. 44.

[5] Там же.

[6] Он же. Африканский дневник // Н.С. Гумилёв. Полное собрание сочинений. В 10 томах. Т. 6. М.: Воскресение. 2005, С. 87.

[7] Впервые он был опубликован в статье: Тименчик Р.Д. Заметки об акмеизме. II // Russian Litterature. 1977. Т. 5. №№. P. 294.

[8] Российская национальная библиотека. Ф. 115. № 25. Л. 1.

[9] Ариас-Вихиль М.А., Полонский В.В. История издательства «Всемирная Литература» в документах. Финансовый аспект (1918–1921 гг.) // ИМЛИ. 2020: https://doi.org/10.22455/2500-4247-2020-5-4-374-393.

«КАМЕРА-ОБСКУРА»

МАРГАРИТА БЕРЁЗКИНА

МНОГОЛИКИЙ И НЕРАЗГАДАННЫЙ ФЕРНАНДО ПЕССОА

Фернандо Антонио Ногейра Пессоа родился в Лиссабоне 13 июня 1888 года и умер там же 30 ноября 1935 года. Поэт, философ, драматург, эссеист, переводчик, издатель, астролог, литературный критик и политический комментатор, Фернандо Пессоа – самый всеобъемлющий, универсальный португальский поэт, которого литературный критик Гарольд Блум считал «воскресшим Уолтом Уитменом» и включил его в свой список 26-ти лучших поэтов западной цивилизации, не только португальского, но и английского языка. Пессоа учился в Южной Африке, его отчим был португальским послом в Дурбане. Из четырёх его произведений, опубликованных при жизни, три были написаны на английском языке и одно – «Послание» – на португальском. Ф. Пессоа переводил Шекспира и Эдгара А. По на португальский и Антонио Ботто и Жузе Алмаду Негрейруша – на английский. Пессоа писал как от своего имени – «Послание», так и от имени своих гетеронимов – выдуманных им поэтов, с совершенно разными судьбами, манерами стихосложения, с разными характерами, образованием, взглядами и образом мыслей. Фамилия «Пессоа» значит «персона», то есть «личность». Сам он вмещал в себе множество разных личностей, мирно уживавшихся друг с другом. Главные его гетеронимы были: Рикардо Рейш, Алваро де Кампуш, Алберто Каэйро и полу-гетероним – Бернардо Суареш. Все они вместе составляли Личность – самого Ф. Пессоа. Американский поэт Роберт Хасс писал, что другие модернисты, как Уильям Б. Йейтс, Эзра Паунд, Томас С. Элиот – выдумывали себе «маски», от имени которых иногда говорили. Но Пессоа придумывал полностью личности разных поэтов. Его вдохновителями были Уильям Вордсворт, Джеймс Джойс и Уолт Уитмен. «Если после моей смерти кто-то захочет написать мою биографию, – нет ничего проще: есть только две даты: день рождения и день смерти, между первым и вторым – все дни принадлежат только мне», – писал Ф. Пессоа от имени своего гетеронима Алберто Каэйро.

Первые годы жизни Фернандо Пессоа жил с родителями в самом творческом центре Лиссабона – районе Шиаду. Отец его был чиновником в Министерстве юстиции и музыкальным критиком, всесторонне образованным человеком. Мать – Мария Мадалена Ногейра Пессоа была уроженкой острова Терсейра Азорского Архипелага и принадлежала к местной аристократии. В 1893 году отец умер от туберкулёза, когда Фернандо было пять лет. Семья переехала в более скромную квартиру. В этот период Пессоа придумал свой первый гетероним – Кавалер Мира. В 1894 г. он написал первое стихотворение «Моей дорогой маме». В октябре 1894 года военный консул Жуан Мигел Роза (1857-1919) влюбился в мать Пессоа и сделал ей предложение руки и сердца. В 1895 году состоялось венчание по доверенности в церкви Святого Мамеда, в Лиссабоне, так как Жуан М. Роза уже отбыл на место службы, в Дурбан, (Южная Африка), а вскоре за ним последовала семья Пессоа. В Дурбане Фернандо учился сначала в ирландской начальной школе, у монахинь, и за два года окончил четыре класса. В 1899 году Пессоа поступил в Лицей в Дурбане, где проучился три года и был одним из лучших учеников. Тогда он придумал себе псевдоним Александер Сёрч, от имени которого писал письма себе самому. В 1901 году он с успехом сдал Высший Экзамен в Лицее и написал свои первые стихи на английском языке. Мать вынуждена была уделять больше внимания мужу и детям от второго брака, и Фернандо постепенно уходит в себя, в свои размышления и переживания. В это время он написал стих «Когда она проходит», в котором прозвучали народные португальские мотивы.

После Лицея он поступает в Коммерческую школу с вечерним обучением в Дурбане, днём готовится поступить в Университет на факультет филологии. В 1903 году он получает Премию королевы Виктории за лучшее эссе в английском стиле и поступает в Высшую школу, где проходит программу первого курса

Университета, изучает английских и американских поэтов, сам пишет стихи и прозу на английском языке. Наконец, с успехом заканчивает учёбу в Университете, сдав Экзамен по Искусству. В 1905 году Пессоа возвращается в Лиссабон, знакомится с писателями и журналистами, читает произведения поэта Сезарио Верде и падре Антонио Виейры, чьи философские воззрения повлияли на его дальнейшее творчество.

В 1907 году умерла бабушка Пессоа – Дионизия, оставившая ему небольшое наследство. На эти деньги он открыл типографию, которая вскоре разорилась. Чтобы заработать на жизнь, Пессоа занимался переводами коммерческих писем, а для души – писал статьи по литературе и драматургии, публикуя их в журнале «Агиа» («Орёл») – органе Португальского Возрождения. В эти годы он вошёл в круг друзей своего приёмного дяди – Энрике Роза. Писатели, поэты, художники, журналисты собирались в артистическом кафе – «Бразилейра» – на улице Ларго до Шиадо – самом богемном районе Лиссабона. Позднее, в 1920-е годы, любимым местом работы Пессоа стало известное с XVIII в. артистическое кафе «Мартиньо под Аркадами» – на площади Коммерции, где он обычно писал, встречался с друзьями и писателями.

В 1915 году Пессоа участвует в издании модернистского журнала «Орфей», взорвавшего литературное сообщество своей футуристической смелостью. Пессоа публиковался под своим собственным именем и под именем Алваро де Кампуша. Второй номер «Орфея» Пессоа редактировал вместе с поэтом Марио де Са-Карнейро (1890-1916) – издателем этого журнала. И хотя вышло всего два номера (по причине безвременного ухода из жизни Са-Карнейро), журнал приобрёл известность и вошёл в историю португальского модернизма. В октябре 1924 года вместе с художником Руи Ваш, Пессоа издавал журнал «Афина», в котором опубликовал поэзию своих гетеронимов Рикардо Рейша, Алваро де Кампуша и Алберто Каэйро. Между 1916 годом, когда покончил с собой его близкий друг и единомышленник – поэт Марио де Са-Карнейро, и 1935 – годом его собственной смерти – прошло почти двадцать лет в «семье» его гетеронимов. Можно сказать, что вся жизнь поэта была посвящена творчеству…

Пронёсся ветер над кручей,
В долинах проснулась радость,
Солнце сверкнуло за тучей,
И день в горах разгорался.
А люди о прошлом забыли,
Лишь помнят сказанья и были.

И все они здесь – свободны,
Пришли из-за гор, издалёка,
Но нет реки судоходной –
Вернуть нас к своим истокам,
И мы, в ожидании чуда,
Что явится из ниоткуда.

Всегда с избытком – желанья,
Но нет волевого горенья,
Мы боремся с нашим сознаньем,
Творим в нашем воображенье.
Фантазии наши – без смысла,
Живём, но не нашей жизнью.

1934 г.

Фернандо Пессоа был влюблён один раз в жизни. Но любил он лишь в душе даму своего сердца, как любили недоступную возлюбленную средневековые менестрели, воспевая её в своих стихах. Вероятно, посвятив себя в рыцари древнего мистического Ордена Розы и Креста, он остался навсегда Рыцарем Мира. Его романтической любовью была Офелия Кейрош, которой он писал письма как от своего имени, так и от имени одного из гетеронимов, посвящая ей стихи. Офелия Мария Кейрош Суареш (1900-1991) – очень обаятельная и начитанная девушка – хотела стать учителем математики, знала английский и французский. Познакомились они в доме поэта Карлуша Кейроша – родственника Офелии, где собирались известные поэты и художники. Их отношения прошли две фазы. Первый период влюблённости – в мае-ноябре 1920 года – отмечен нежностью и скрытой за невинными письмами – страстностью. Офелии было 19 лет. Он относился к ней как к девочке-ребёнку. Пессоа писал ей от имени Алваро де Кампуша, и она отвечала ему, не принимая эту переписку всерьёз. 29 ноября 1920 года Пессоа резко прервал отношения. Он написал ей, что «любовь прошла, что судьба его принадлежит другому Закону, который она игнорирует, что он подчиняется Учителю, который не дозволяет и не прощает».

ЭТО

Говорят – я притворщик и лгун
И стихи мои – лжетворенье.
Нет. Я просто от чувства бегу
В мир фантазий и воображенья,
Оставляя сердце в сомненье.

Все мечты мои и пути,
Всё, что в жизни мне изменяет –
Это как гора на пути,
Над которой солнце сияет –
Красота мой путь озаряет.

Потому я пишу о том,
О чём вовсе не стоит писать,
Оставляя любовь на потом,
В пустоту устремляясь опять.
А о чувствах вам лучше знать!

1933 г.

В 1929-1930 гг. отношения возобновились. Офелия послала Пессоа его фото, сделанное Карлушем Кейрошем в кафе, где Пессоа обычно писал. С 11 сентября 1929 г. началась вторая фаза их романтической любовной переписки. Этот период отмечен смутными чувствами и психическим расстройством Пессоа из-за постоянного присутствия его гетеронима Алваро де Кампуша и неопределённости их своеобразной виртуальной «любви втроём». 11 января 1930 года отношения прекратились. Пессоа очень страдал от невозможности их любви. Она понимала, что Фернандо решил посвятить жизнь творчеству и, хотя очень любит её, не может жениться, так как знает, что не сможет обеспечить её должным образом. Он работал ровно столько, чтобы поддержать своё существование. Его стихи, статьи и проза отнимали много времени. Перед ним стоял выбор: или семья, или стихи. Она поняла его и простила. До самой его кончины (в 1935 году) – их отношения оставались дружескими. В 1938 году Офелия вышла замуж за театрального критика Аугушто Суареша. Она прожила 91 год. В 1978 г. было опубликовано 48 писем Ф. Пессоа к ней с вступительной статьёй самой Офелии – скромное, сдержанное, но от этого не менее ценное свидетельство. Всего в её архиве хранилось более 110 писем её переписки с Фернандо Пессоа. Пессоа мечтал об идеальной любви и был не способен перейти от идеала к реальности. Он испытывал глубокую грусть и меланхолию, признавая, что остаётся «наедине с чёрным и холодным одиночеством, тогда как другие имеют домашний очаг и покой».

Когда ночь приходит, и я – один,
Дверь запираю от всех на свете.
В доме тихом – дыханье гардин,
Со мною – безмолвье – вселенский ветер.

Одиночеством пьян, говорю сам с собой –
С моим лучшим другом беспечно болтая…
Он – это я – тот приятель мой,
Кого мне в прочих друзьях не хватает.

И вдруг – постучали в двери – и вмиг
Погас мой стих, как свеча от ветра.
Это сосед в мою келью проник
И меня пригласил назавтра к обеду.

И снова заперта дверь – и я
Пытаюсь сердце заставить биться –
Полёт, вдохновение, ветра струя
И страсть, пьянящая, как зарница.

И снова – ничто… Лишь камин и стол,
И стены, глядящие прямо мне в душу,
Как будто кто-то глаза отвёл
От пламени – и огонь потушен.

1934 г.

Главной характерной чертой творчества Ф. Пессоа, что привлекало к нему особое внимание критиков и литературоведов, было создание им других поэтов через свои гетеронимы. Внешне его жизнь протекала совершенно спокойно и даже обыденно. Некоторые критики задаются вопросом, выражал ли Пессоа свою индивидуальность, своё истинное «я» или всё его творчество было поделено между его многочисленными гетеронимами. Это так и остаётся загадкой. Пессоа уделял большое внимание интеллекту человека. Всю жизнь он старался развивать и обогащать образами португальский язык. Он плавал в океане слов, как опытный лоцман. От имени своего гетеронима Бернардо Суареша он сказал: «Моя родина – португальский язык». В 1915 г. Пессоа писал другу Армандо Кортес-Родригесу: «Я закрылся в доме моего духа и работаю над прогрессом цивилизации и расширением человеческого сознания». Перефразируя слова Плутарха: «Необходимо плавать, жить – дело десятое», Пессоа писал: «Жить не обязательно, необходимо творить». Мексиканский поэт Октавио Пас выразил эту мысль так: «Поэт не имеет биографии. Его творчество – это и есть его биография». О Ф. Пессоа он сказал: «Ничего в его жизни не удивляет, удивительны его стихи». Гарольд Блум назвал Ф. Пессоа «португальским Уолтом Уитменом».

АВТОПСИХОГРАФИЯ

Поэт – неизменно актёр,
Умеет вживаться в роли,
Играя, что именно боль
Он чувствует в образе боли.

Читатели очень довольны –
Довольны особенно тем,
Что это поэту больно,
А им не больно совсем.

По рельсам бегут колёса,
Давая рассудку развлечься,
И поезд, летящий с откоса,
Зовётся измученным сердцем.

1925 г.

Считается, что главное эстетическое творческое достижение Ф. Пессоа – это его гетеронимы. Гетеронимы отличаются от псевдонимов. Они являются полными поэтическими личностями, чьи выдуманные сущности превратились в реальные посредством собственного художественного творчества, отличающегося от творчества оригинального автора. Среди гетеронимов сам Пессоа стал называться «ортонимом», то есть оригинальной личностью. С постепенным ростом мастерства каждого из этих авторов, сам ортоним превратился в одного из гетеронимов – наравне с другими.

Как нежен сон, а полусон – нежнее –
Качаться в просветлённом забытьи,
Как будто ветерок в тени аллеи
Раскинул крылья лёгкие свои…

Любовь – нежна, ещё нежней – влюблённость,
Как будто плыть на быстром корабле –
По океану, погрузясь в бездонность
Небес и волн, без мысли о земле.

Как жизнь нежна, но слаще жизнь иная,
Как если бы гулять в густой траве,
Ромашки с васильками собирая
И в солнечной купаясь синеве…

И так, под сенью шелестящих листьев
Я думал, что внезапный поворот
Мне больше принесёт блаженных мыслей,
Чем высшее блаженство принесёт…

Мы мало знаем, кто мы и откуда,
Не ведаем, что в будущем нас ждёт,
Для некоторых – жизнь – весны причуда,
А для других – желанный, спелый плод…

1919 г.

Наиболее известные гетеронимы, с наибольшим количеством произведений: Алваро де Кампуш, Рикардо Рейш и Альберто Каэйро. Четвёртый – Бернардо Суареш – создатель «Книги Неуспокоенности» – одного из самых значительных произведений XX века. Бернардо считается полу-гетеронимом, так как у него много общего с самим Пессоа, и личность его не так ярко выражена, в отличие от первых трёх, которые имеют каждый свою биографию. Через гетеронимы Пессоа размышлял о том, что такое истина, существование, личность… Он писал: «Из-за нехватки единомышленников современный думающий и чувствующий человек может лишь создавать воображаемых друзей, а иногда – товарищей по духу».

Исследователи его творчества пытались определить весь список псевдонимов, гетеронимов и полу-гетеронимов – выдуманных им персонажей и поэтов. Разные авторы насчитывали от 18 до 127 имён. Личное творчество Пессоа характеризуется символизмом и модернизмом.

Среди всех гетеронимов Алваро де Кампуш был единственным, чьё творчество проходило определённые фазы. Пессоа придумал ему биографию. Он был инженер, английского воспитания, португалец по происхождению, как и сам Пессоа. Но, как и он, Алваро де Кампуш чувствовал себя иностранцем в любой части мира. Первая фаза его творчества была отмечена декадентством (под влиянием символизма), но позже он обратился к футуризму. Алваро де Кампуш – бунтарь с критическим складом ума. Он апологет стремительности и изменчивости современной жизни. Ему был свойственен резкий, свободный язык. В эту эпоху он написал «Оды», опубликованные в журнале «Орфей» в 1915 г., и поэму «Ультиматум», опубликованную в журнале «Футуристическая Португалия» в 1917 г. После серии разочарований он переходит в нигилистическое течение, выраженное в поэме «Табачная лавка» – одно из самых известных стихотворных произведений португальского языка. Умер Алваро де Кампуш в 1915 г.

ВСЕ ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА – НЕЛЕПЫ

Все любовные письма –
Нелепы.
Не были бы любовными,
если бы не были
Нелепы.

Писал и я в своё время любовные письма,
Они, как и все им подобные –
Сплошная нелепость.

Любовные письма, если в них есть любовь,
И должны быть
Нелепы.

На самом деле,
Лишь те, кто никогда не писал
Любовных писем, –
Они-то как раз –
Нелепы.

Хотел бы вернуться в то время,
Когда я писал,
Неосознанно, может статься –
Любовные письма –
Сплошную нелепость.

По правде сказать, и сейчас
Моя память
Об этих любовных письмах –
Сплошная нелепость.

(Все слова – ни на что не похожи,
Чувства – странны и безотчётны,
И, естественно, они –
Совершенно нелепы).

«Стихи», Алваро де Кампуш

Гетероним Рикардо Рейш был представлен как врач, который придерживался монархических взглядов и идей. Его творчество символизирует классическое наследие западной литературы и характеризуется симметрией, гармонией, буколизмом с элементами эпикурейства и философии стоиков. Он любит вводить в своё творчество персонажи языческой, не христианской мифологии. Пессоа переселил Рикардо Рейша в Бразилию в знак протеста против объявления Республики в Португалии. Год его смерти не известен. Португальский писатель, лауреат Нобелевской премии Жузе Сарамага написал книгу «Год смерти Рикардо Рейша», в которой этот воображаемый поэт продолжает жить после смерти Фернандо Пессоа, чей призрак ведёт диалог со своим гетеронимом, пережившим создателя.

У МЕНЯ БОЛЬШЕ ДУШ, ЧЕМ ОДНА

Живут в нас бесчисленные души
В мыслях и чувствах – не отдаю отчёта,
Кто именно мыслит и чувствует.
Я – лишь вместилище,
Где чувствуется и думается.

У меня больше душ, чем одна –
Больше «я» – этих самых, чем я один –
Независимый от других.
Заставляю их замолчать: я говорю.

Перекрёстные импульсы
Чувств и бесчувствий
Спорят о том, кто из них «Я».
Мне до них дела нет.
Ничего не диктуйте тому,
Кто является мной: я пишу.

«Оды», Рикардо Рейш

Гетероним Алберто Каэйро родился в Лиссабоне, получил начальное образование, жил в деревне, но считался самым плодовитым поэтом среди всех гетеронимов. После смерти родителей жил с двоюродной бабушкой, как и сам Пессоа, и умер от туберкулёза. Известен как поэт-философ, но сам отрицал этот эпитет, исповедуя «анти-философию». Считал, что живые существа просто существуют и более ничего. Его раздражала любая метафизика и любая символика в отношении жизни. Алберто Каэйро был мистической и мифической личностью «в себе» – поэтом и мыслителем, которого Рейш и Суареш сравнивали с древнегреческим богом Паном. Каэйро был единственным среди гетеронимов, кто не писал прозу. Согласно гороскопу, составленному Пессоа, Каэйро родился под знаком Льва, его стихией был огонь. Он считал, что только поэзия в состоянии дать понятие о реальности. Поэтический язык его был конкретен и прям, но сложен с точки зрения рефлексии. По его собственному выражению, «Есть довольно метафизики в том, чтобы ни о чём не думать».

ПАСТУХ

Никогда я не пас стада,
Но как будто их пас в мечтах,
И душа моя, словно пастух –
Солнцу и ветру – родня –
С Временами Года – в согласье,
Следуя им, наблюдая…
Весь Природы покой и безлюдье –
На моей стороне…
Но когда я печалюсь, –
Это словно закат для души, –
Засыпают долины в прохладе,
И я чувствую ночи явленье,
Словно бабочки лёгкие крылья…

Альберто Каэйро

Полу-гетероним Бернардо Суареш служил библиотекарем в Лиссабоне. С Фернандо Пессоа он познакомился в кафе. Бернардо дал Пессоа прочесть его оригинальную поэму в прозе, носящую название – «Книга Неуспокоенности». Это произведение – одно из фундаментальных трудов XX века – философский дневник, исповедь души автора. Пессоа писал о своём полу-гетерониме: «Я не чувствую его собой и не чувствую отдельным от меня. Это ответвление моей личности. Это – я, но без рассудочности и влюбчивости». Темперамент Бернардо Суареша ближе всего к темпераменту самого Пессоа. Игра в гетеронимы приобретает сложность, и Пессоа достигает успеха в создании себя самого как самого интригующего литературного мифа португальского модернизма.

К НОЧИ I

О, Ночь – сестра безмолвья во Вселенной,
Кто выпил твой настой, тот вечно пьян –
Небытие, поймавшее в капкан
Смятённый этот мир тоски и тлена…

Вхожу в твои межзвёздные селенья,
Не зная, кто я, и какой дурман
Принёс мне столько скорби, столько ран
И столько грёз, желаний и сомнений.

Какой неясный проблеск лет и дней
Сокрыт в твоём пространстве, сколько боли –
Покров конца концов и всех страстей.

Не знаю утешительней печали…
Позволь уснуть. Я не проснусь, доколе
Твой свет меня не пробудит в астрале.

1919 г.

Политические взгляды Пессоа были вполне конкретны. В 1935 году он пишет серию статей против Антонио де Оливейро Салазара и Нового Государства, а также против вторжения фашистской Италии в Абиссинию, которые цензура не пропустила. В этих работах Пессоа ясно даёт понять, что он – противник не только салазаризма, но и фашизма. В другом эссе – «Секретные ассоциации» – он выступает в защиту масонства. Он также пишет несколько сатирических стихов против Салазара и Нового Государства и критикует растущее влияние католической церкви на португальскую политику. Он протестует против тоталитарного государства и пишет тексты в защиту свободы и человеческого достоинства, которые, как он считает, было попрано как в Португалии, так и во всём мире.

В биографической заметке, напечатанной 30 марта 1935 года, Пессоа определяет себя как «христианин-гностик», находящийся в абсолютной оппозиции к Римской католической церкви и верный старинному

мистическому рыцарскому Ордену Тамплиеров. В тексте 1917 года Пессоа объясняет своё понимание неоязычества: «Я – язычник-декадент в осеннем времени Красоты, в античной чистоте интеллектуальных мистиков александрийского неоплатонизма. Как и они, верю в богов, в реальное их существование. Верю в полу-богов и в людей, которых за их достижения боги сделали бессмертными, потому что, как сказал Пиндар: „Раса богов и людей – одна и та же“. Верю, как и неоплатоники, в интеллектуальное посредничество Логоса в языке философов».

AUDITA CAECANT

Мы бредим Вселенной, мы – вечно в смятенье,
Нас хаос морочит, иллюзий обманы
Нам сны навевают, мы вечностью пьяны –
Сплетенье сомнений – в чреде поколений.

Мы ловим малейшее эхо Вселенной,
Малейший сигнал от богов, мы – тщеславны,
Но звук отдалённый шагов – долгожданный –
Лишь наше тревожное сердцебиенье.

Мы – слепы, ведёт поводырь нас безумный
Сквозь вечность пустую, в ничто, в бесконечность,
Дождя мы не чувствуем лёгкие струны,

Не слышим деревьев шуршащие речи –
Стремимся туда, за безумцем, вслепую,
Где с вечною тьмой ожидается встреча.

1924 г.

Ф. Пессоа интересовался оккультизмом и мистицизмом. Он тяготел к обществу Розенкрейцеров, защищая их от атак со стороны диктатуры Нового Государства. Его стихотворение «В могиле Кристиана Розенкрейцера» нашло признание и одобрение в среде эзотериков. Он увлекался астрологией, составляя гороскопы, согласно дате рождения. Пессоа очень ценил теософские произведения Елены Петровны Блавацкой, переведя в 1916 году её работу «Голос Безмолвия». Он также проявлял интерес к творчеству поэта-мистика Алистера Кроули (Aleister Crowley) и перевёл на португальский его поэму «Гимн Пану». Кроули посетил Португалию и познакомился с Ф. Пессоа. Встреча Пессоа и Кроули произошла с некоторой долей сенсации. Английский поэт инсценировал своё самоубийство в Кашкайше, в прибрежных скалах – «Адская Пасть» («Boca do Inferno»), что привлекло внимание прессы и полиции. Пессоа участвовал в этом спектакле и даже начал писать детективную повесть на этот сюжет, но она осталась не оконченной.

Умер Ф. Пессоа в 1935 году от приступа острого гепатита. Перед смертью он произнёс внятно по-английски: «Завтра, в это время, где я окажусь?».

Прошедшее – так маловероятно…
Кем был тот я, кто был когда-то мной?
Река течёт изменчивой волной
И в настоящем жизнь моя невнятна.

Тот, равнодушный – я, – сквозь мглу заката
Следит за мной, но с ним мы – не одно.
И я – не он, он мне мешал давно
Себя найти – того, кто в нём припрятан.

Я думаю о том, чего достиг,
И, кажется, он всё моё отнял,
В себя вобрал и в суть мою проник,

Душой владел и прожил за меня…
О чудо! Это я – его двойник –
Я – тень, но не воскрес ни он, ни я…

1919 г.

В 1980-е годы скульптор Лагоа Энрикеш создал бронзовую скульптуру Фернандо Пессоа, сидящего в непринуждённой позе за столиком, напротив кафе «Бразилейра», где он обычно встречался с друзьями, на улице Ларго до Шиадо, в компании двух других португальских поэтов, чьи памятники стоят неподалёку, – поэта-сатирика Антонио Рибейро Шиадо (1520-1591) и Луиса де Камоэнса (1524-1580). Художник-модернист, друг Пессоа – Жузе Алмада Негрейруш сделал фресковые росписи стен кафе «Бразилейра», где запечатлел его посетителей – своих друзей – художников, поэтов, музыкантов, и среди них – Фернандо Пессоа.

Переводы стихов Фернардо Пессоа с португальского – Маргариты Берёзкиной.

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» ЕЛЕНЫ СЕВРЮГИНОЙ

НА КИНОПЛЁНКЕ ПАМЯТИ

(Вадим Муратханов, Путешествие. – М.: Стеклограф, 2024. – 42 с.)

Маленькая книжечка Вадима Муратханова – великолепное доказательство относительности категорий времени и пространства. Сорок страниц текста и тридцать с небольшим стихотворений легко одолеть за полчаса. Но за этот короткий промежуток читатель как будто проживает огромную жизнь, а возможно, и несколько жизней. Потому что личная история лирического героя тесно переплетена с историей его рода – с теми, кого уже нет, но кто навсегда отпечатался на киноплёнке памяти. Время застыло. Оно не движется. Но при этом его как будто много, потому что нет необходимости торопиться – впереди целая вечность. Об этом эффекте застывшего кадра, стихотворения-снимка уже писала Елена Генерозова.

У фотографии есть одно удивительное свойство: предельно спрессовывая, нивелируя время, она преобразует его в мироздание, «вселенную солнц и миражей». Художественное пространство в поэзии Муратханова – тоже некий мираж, оптический обман зрения. Книга называется «Путешествие», но с самого начала следует понимать, что оно никак не связано с географическим перемещением и освоением новых территорий. Это не реальный, а метафизический травелог – движение не вперёд, а вглубь, медленное блуждание по лабиринтам воспоминаний:

Ну хорошо, представь себе Нукус.
Его воды солоноватый вкус,
когда встречается с зелёным чаем,
становится почти незамечаем.
За кадром и Савицкий, и Бердах –
лишь ветер завывает в проводах.
По вечерам нукусцы увлечённо,
священной дружбы преступая грань,
бросают и булыжники, и брань
в железные ворота гарнизона.

Здесь как будто бы всё ощутимо, осязаемо, явственно и зримо. Много конкретных деталей, и даже ощущается солоноватый привкус воды и аромат зелёного чая. Однако это впечатление ложное. Живописный город Узбекистана – всего лишь кадр семейной кинохроники. Это не реальное место, а неподвижный его отпечаток, проекция прошлого. Автором создана универсальная среда, в которой, по сути, нет ни времени, ни пространства в их традиционном понимании. Есть только «чёрный загар негатива на щеках голодных студентов», обрывки надорванной сепии и навсегда помолодевшие родственники, ставшие частью предвечного мира.

Парадоксально, но фотокамера в поэзии Муратханова способна выполнять две противоположные функции. Она не только запечатлевает прошлое, но и подготавливает лирического героя к будущему – единому для всех. Именно это будущее делает нас универсальными, не подвластными болезням и тлению:

Застыньте перед камерой на три
секунды – станете как боги.
Познаете: мир прост и черно-бел.
Ни складок, ни морщин не знает тело.

По сути, каждое стихотворение книги – о смерти и её неизбежности, о том, что перед её бесконечностью и величием сиюминутное, обыденное кажется столь незначительным, что исчезает вовсе. *«Сколько ещё в горсти сподобишься унести…»*, – вопрос, адресованный человеку мирозданием. Да и возможно ли это, если там, за чертой видимости, все ценности переосмысливаются? *«Позавчерашний суп»*, *«музыка вместо чая»*, *«короткий список сделанных покупок»* – всё это жизнь уже завершённая, либо так и не начатая. Что же в сухом остатке? Пустота. Горькая истина состоит в том, что у человека нет ничего, кроме ломкой бумаги, которая «*долговечней любви и дружбы*». *«Безвоздушный, древний мир»*, населённый *«ушедшими людьми»*, оказывается для поэта величиной-константой, прошедшей проверку на подлинность, одной из немногих абсолютных истин.

Даже о себе самом Муратханов нередко говорит отвлечённо, из некой точки невозврата, воспринимаемой уже как вполне реальная, почти осуществившаяся перспектива. Это особая оптика зрения – оценка повседневной, суетной жизни с позиции вечности, где всё идеально, безукоризненно, но уже никак не связано с земными категориями. *«Придёшь навестить – ищи в третьем ряду, у зелёной скамейки, сразу за поворотом»* – это обращение к невидимому адресату человека, уже неживого, как будто обозначенного на фото многолетней давности.

Подобная вынужденная статика гораздо продуктивнее той, которая нередко сопровождает нашу обыденную жизнь. *«Живём ли мы, пока мы живы?»*, – как будто спрашивает автор, проверяя и собственное существование на подлинность. Наиболее явственно эта авторская рефлексия ощутима в стихотворении «Самоизоляция». Иллюзорность бытия человека особенно очевидна в условиях отдалённости от мира – всё наносное исчезает, и остаётся только экзистенциальный ужас собственного «я», освобождённого от всего наносного, временного, показного:

Билет просрочен. Вместо альп, италий –
минувшего случайные детали,
как зёрна из дырявого мешка.
Я пуст и в основном горизонтален.
Я толстых книг бездомная тоска.

В этой горизонтальности, превращающей человека в неодушевлённое «ничто» ещё до физического распада, автор видит главную трагедию нашей жизни. Не случайно слово «диван», употребляемое в книге довольно часто, становится её сквозным образом-мотивом и даже даёт отсылку к знаменитому роману Гончарова. Ощущается здесь и толстовская философия «жизни и смерти», согласно которой смерть по-настоящему страшна только тогда, когда она не оставляет памяти о человеке. А что может остаться от человека, если он сам – только продолжение дивана, на котором лежит? Если всё его знание о мире, о море и чайках заключено в четырёхугольный экран телевизора? Так он жил, как будто бы понарошку – и так он, совершенно по-настоящему, умрёт:

В дальний путь провожают диван.
Управляет диваном Иван.
У него телевизор и плед,
То есть полный комплект.

С такой же нескончаемой горькой иронией автор нередко подтрунивает и над самим собой. *«Лежи, как будто так и надо, листай программу передач»*… После этой грустно-ироничной то ли команды, то ли констатации факта его старый диван «отправляется в рейс хоккей – КВН», а для настоящего корабля места не остаётся – всему виной *«мирок карманный, морок цифровой»*. Вот когда по-настоящему поражаешься актуальности образа Обломова. Мы все – Обломов. Скучный, серый, необъятный, погрязший навеки в повседневной рутине. Так чем же физическая смерть страшнее этого каждодневного ужаса? Напротив, она приближает нас к более идеальному миру, выправляющему все наши недуги – и физические, и духовные.

Стремление создать идеальную, эталонную среду ощущается в книге постоянно. Примечателен хотя бы тот факт, что 30 с небольшим стихотворений, представленных на страницах сборника, охватывают период более чем в 11 лет. И это отнюдь не свидетельство того, что автор мало пишет – скорее, это показатель его тщательной работы над художественным замыслом. Ничего лишнего быть не должно – только лучшие фрагменты «чёрно-белого» мира, сотканного из текстов-фотографий. Жизнь, запечатленная на бумаге, сохранившийся для потомков слепок прошлого – это не только снимки, но и мысли, чувства, образы. Одним словом, это и творчество – прежде всего, литературное, фиксируемое для истории именно с помощью бумаги. Она наследует *«бледный рисунок волокон»* дерева и работает на будущее.

Рисунок – синоним слова «снимок» в данном случае. Визуальность восприятия текстового материала – ключевая особенность книги Муратханова.

Здесь сама собой напрашивается аналогия с музеем. Нас как будто впускают в тёмный зал, попеременно освещаемый с разных ракурсов. Вспышка – и перед нами высвечивается инсталляция «детство поэта». Вот «леший, тёмен и носат», вот «бабушкино тесто», а следом – спящие качели и уставшие без войны «солдаты на ковре». Ещё вспышка – и возникает новый образ под названием «история рода».

Вот они – совершенные, прекрасные
тётя Нина, тётя Женя, дядя Гена
под солнцем неувядаемой молодости.

Проявление – название ключевого стихотворения книги – воспринимается и как главное свойство художественного пространства в поэзии Муратханова. Оно динамично и статично одновременно. Динамика – в калейдоскопической смене кадров. Статика – в отражённой на них вечной и потому неизменной реальности. Скорее даже, инореальности. Это жизнь, уникально и бесповоротно выправленная (исправленная) фотокамерой.

И чем больше мы постигаем эту жизнь, тем очевиднее становится истина: нет ничего, кроме этой надорванной сепии, кроме «хрупкого равновесия чёрно-белого времени», расставляющего всё по своим местам.

Отсюда и авторское вопрошание «скоро ли можно назад?». Назад – значит к истокам, от которых нас всё более отдаляет наша суетная, нередко бессмысленная жизнь. Назад – значит к самому себе:

Так бы и дальше потемневшей меди
касаться, и рассматривать фасад
с лепниной гипсовой, и постигать бессмертье,
и ничего с тех пор не написать.

ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ «ОТ СУМЫ ДО ОТ ТЮРЬМЫ…»

(Татьяна Окоменюк, Заочница. – М., Флобериум/Rugram, 2024. – 324 с.)

На первый взгляд, роман немецкой русскоязычной писательницы Татьяны Окоменюк мало чем отличается от тривиальной беллетристики. Здесь есть всё, что так характерно для этого жанра и что пользуется спросом у массового читателя: любовная интрига, элементы детектива, даже черты мелодрамы. Сам сюжет – любовь «правильной девочки» к тюремному заключённому – отнюдь не нов и даже банален. Более того, подобные истории и в жизни встречаются «сплошь и рядом».

Тем не менее всё не так уж и просто и не так заурядно. О чертах, отличающих эту книгу от всех прочих, стоит поговорить отдельно. Прежде всего, интересна попытка автора (кстати, вполне успешная) преодолеть традиционную схему просто занимательной истории и сделать её чем-то большим. Следя за перипетиями главной героини, молодой журналистки, сотрудницы еженедельника «Криминальный вестник» Тони Фоминой, имевшей неосторожность влюбиться в зека, ловишь себя на мысли, что фокус зрения постепенно смещается куда-то в сторону от собственно сюжета, и происходит переход на новый уровень восприятия текста – более глубинный, философский.

Так, невольно хочется задаться вопросом: как много женщин в нашей стране страдает заниженным уровнем самооценки и в силу этого обстоятельства выбирает в спутники жизни потенциальных неудачников? Ещё и с запятнанной репутацией? Окоменюк явно не сомневается в том, что статистика подобного явления может впечатлить кого угодно. А истоки всевозможных комплексов коренятся, как правило, глубоко в прошлом. Вот и детство Антонины было отмечено знаком недооценённости – родителями, отцом, отцовской роднёй: *«Тоня вдруг припомнила, как в детстве она впервые услышала оценку своих внешних данных от подвыпившего отца. Увидев её новый школьный фотопортрет, он скривил рот в гримасе отвращения: „И в кого ты у нас такая рябая да рыжая? Мать вроде красивая. Я тоже – казак, хоть куда. А ты, доча, чё-та не удалась. Совсем. Похожа на своего рыжего хомяка. Кто тебя замуж-то возьмёт такую? Разве что соседский Женька Шестопалов, вернувшийся из колонии для несовершеннолетних“».*

Про теорию «ущемлённых аффектов» и детских психологических травм Зигмунда Фрейда в наше время знает даже первоклассник. А здесь как раз об этом. Где-то глубоко в подсознании героини прочно укоренилась мысль о том, *«что её, рыжую, может взять замуж только парень, освободившийся из места заключения, а <…> любой успешный мужчина её обязательно бросит…»*. И вот уже love story преобразуется в историю воспитания с дидактическим оттенком. Дескать, думайте, родители, что внушать своим отпрыскам – им с этим придётся жить дальше.

Но всё же есть какая-то доля авторской иронии в болезненной тяге пай-девочки к «криминальному элементу». А не ирония ли судьбы в том, что на смену зэку в судьбу главной героини Антонины врывается представитель правоохранительных органов, пусть и неофициальных? Всё это продумано до мельчайших деталей и не может быть не замечено вдумчивым читателем.

Встреча с частным сыскным агентом Вадимом Качановым, которого героиня в упор не замечала, стала блестящим опровержением устойчивого стереотипа о невозможности преодолеть детские комплексы и благополучно устроить свою личную жизнь. Всё возможно – были бы желание и счастливый случай. В связи с этим ещё более странными, до нелепости комичными кажутся путешествия «заочницы» в тюремное незнаемое, «к чёрту на кулички», в погоне за призрачным бабским счастьем. В этой части повествования хочется только погромче крикнуть ей вслед: «И куда ж тебя, дуру, несёт? Не все ещё проблемы собрала на свою задницу?».

Зато ближе к финалу (кстати, вполне предсказуемому) счастливо выдыхаешь с чувством удовлетворения и восстановленной справедливости. Как говорится, и смех и грех.

Здоровый юмор и психологизм – две главные черты, отличающие роман Окоменюк от всех прочих романов подобного жанра. Но помимо психологизма здесь ещё имеется и краткий экскурс в социологию. В романе воссоздан очень интересный и противоречивый портрет современного социума: здесь и маргиналы (зэки типа Дударева, валютные проститутки, поехавшие искать счастья за границей, правильные девочки с неадекватно заниженным уровнем самооценки), и баловни судьбы (почти что мальчик-мажор Никита Горский, уже упомянутый частный детектив Качанов, имеющая надёжную «крышу» красотка Вика Поддубная и т.д.).

Редакция «Криминального вестника», где работает Тоня Фомина, тоже становится своеобразным выражением социального неравенства. Сотрудники еженедельника выстраиваются здесь в определённой иерархии, имеют разные привилегии и полномочия – в зависимости от статуса, денег, связей, наличия «крышующих» инстанций. Красавчик Никита Горский *«был звездой областного масштаба, любимцем шефини и гордостью их творческого коллектива. Поэтому у него были самый высокий оклад, собственный кабинет и ненормированный рабочий день»*. «Кукла» Вика Поддубная *«не боялась ни увольнения, ни „удара рублём“, поскольку уже три года состояла в „гареме“ хозяина газеты»*. А вот для таких работников пера, как Тоня Фомина, за которой не стояло ни влиятельных родственников, ни богатых покровителей, не нашлось даже отдельного помещения, где можно было бы спокойно выполнять служебные обязанности.

Нравственная чистоплотность руководства в лице Миры Львовны Клугер тоже оказывается весьма сомнительной. Тут и фаворитизм, и неоправданно суровый «разбор полётов», и неизменный прогиб перед чиновниками-покровителями. Чего стоит эпизод с новоявленным олигархом Гитлянским, прикупившем недавно сеть бензозаправок и подписавшемся на год на целую полосу газеты? За неоднозначную статью о таком важном человеке Клугер готова «намылить шею» каждому сотруднику.

Вполне обыденная и вполне жизненная ситуация. Таким же подтверждением «жизненности» в эпоху нестабильности и всё более растущей коррупции становится плачевная участь газеты, выпуск которой оказался нерентабельным: *«несмотря на все усилия Миры Львовны по спасению „Криминального вестника“, издание таки почило в бозе, и все его сотрудники оказались на улице»*. И опять же по иронии судьбы детективное агентство Вадима Качанова, ставшее новым местом Тониной работы, расположилось на первом этаже уже знакомого ей «небоскрёба».

Размышляя о жанровой специфике книги Окоменюк, можно прийти и ещё к одному любопытному выводу. Это также роман о поиске счастья. Конечно же, речь идёт, прежде всего, о женском счастье. Каждая женщина видит его по-своему, ищет в совершенно разных местах, иногда даже за пределами родины. Далеко за примером ходить не надо. Мать Антонины, Вера Максимовна, обрела своё условное счастье *«в приличной стране, в курортном городке, в уютном доме с чудесным садиком»*. С вполне себе приличным, хотя и немного прижимистым немецким супругом. При этом она постигла для себя истину, что *«следует довольствоваться малым» и что «все заоблачные мечты об идеальном мужчине – это мираж»*.

Значительно меньше повезло Вике Поддубной. Её «Буратино» из Палермо *«оказался хоть и богатым, но скучным, жадным и злым стариканом – похлеще Карабаса Барабаса»*.

И уж совсем, грубо говоря, хреново, судьба обошлась с дочерью одного олигарха Стасей, тоже влюбившейся в зека – кольщика на зоне – и променявшей благородную фамилию «Володарская» на неблагозвучное, вполне себе «говорящее», почти ругательное «погоняло» Бляблякс. Через месяц новоявленный муж в психическом припадке порезал девушку ножом и получил новый срок. А девушка, подлечившись немного, устроилась уборщицей на зону в надежде на примирение с благоверным. Странно и немыслимо? Как будто да, но, как говорится, *«от тюрьмы да от сумы…»*.

И в итоге личное счастье в романе обретает только Тоня. Закомплексованная, не верящая в себя, убеждённая в собственной некрасивости Тоня, которой, казалось, на роду было написано совсем иное. Что это? Подарок автора любимой героине? Утверждение её исключительности? Думается, ни то ни другое, и этому есть более простое объяснение.

Тоне просто повезло: вовремя отделаться от ненужной, болезненной связи, встретить достойного человека, осознать важность его любви и заботы по отношению к ней. И всё же кое-какая незатейливая мораль из этого следует: не стоит искать счастья специально. Никогда не узнаешь, «где найдёшь, где потеряешь». А вот более внимательным быть необходимо: счастье нередко где-то рядом, но мы его в упор

не замечаем, обращая свой взор либо в заграничную даль, либо в окутанные ореолом псевдоромантики «места не столь отдалённые».

Всё это можно назвать одной ёмкой и расхожей фразой – ирония судьбы. Именно поэтому автор так блестяще иронизирует, в то же время превращая свой роман из «лёгкого бульварного чтива» в пособие по социологии и психологии человеческих отношений, написанное лёгким, почти беллетристическим языком. Татьяну Окоменюк читать стоит в том случае, если хочется совместить приятное с полезным: и отдохнуть душой за необременительным чтением, и поучиться жизни и её законам.

ПОТАЁННАЯ ПРУССИЯ

(Пётр Старцев, Космогонии: стихотворения, миниатюры. – Калининград: Полиграфычъ, 2023. – 104 с.)

Петра Старцева можно отнести к редкой категории поэтов-певцов малой родины. Уроженец Кёнигсберга – города, который по праву считается сердцем Восточной Пруссии – Старцев говорит о нём с упоением и безграничной любовью. И всё же конкретная географическая привязка не лишает книгу «Космогонии» масштабности звучания. Название говорит само за себя. Вспомним, что космогония, наряду с космологией – это наука, изучающая происхождение и развитие космических тел и их систем: звёзд и звёздных скоплений, галактик, туманностей, Солнечной системы, включая Солнце, планет со спутниками, астероидов, комет, метеоритов. Кажется, что Кёнигсберг (нынешний Калининград) – для автора «Космогоний» как раз одна из таких туманностей или таинственных галактик. Это не просто родной город, но и часть мироздания, универсум, в котором действуют свои особые законы и властвуют стихии. Прежде всего, морская.

Уже в первом разделе книги «Парад планет» читатель ощущает особую атмосферу: дыхание Балтийских волн, лёгкость морского бриза, внезапно переходящего в резкий порыв штормового ветра. И это уже не космогония, а космогоническая мифология. Море – Бог и грозный владыка, управляющий судьбами людей. С ним не шутят – ему поклоняются и принимают как данность его нередко переменчивое настроение. Лирический герой Старцева воспринимает разгул стихии как «праздник отяжелевших туч» и готов принять его как вызов, без сомнения и страха впустить в свою жизнь:

Роются в ветках, словно в меню пород,
Вороны и циклон-грабитель.
Это не мы у моря, наоборот.
– Люди готовы.
Шторм, войдите!

Автор книги – по натуре романтик, искатель острых и ярких ощущений, отчаянно сопротивляющийся рутине существования. Поэтому ему так мила свобода, рушащая всяческие границы. Даже в быту, в обычной, заурядной обстановке поэт способен сохранить уникальную оптику зрения и посмотреть на мир сквозь призму исключительного. Об этом, например, стихотворение «Конкистадор из хрущёвки». Великое и повседневное ходят где-то рядом – важно лишь помнить об этом и оставаться собой. Но пока «рушится Теночтитлан» и «пираты громят Веракрус», доблестному конкистадору не грех по просьбе донны жены и посуду помыть:

«Дублоны, солиды, эскудо?»
Копейки на карте лежат.
– Когда ты помоешь посуду? –
Вдруг спросит моя госпожа.

Лирический герой Старцева – созерцатель, стоящий перед лицом мироздания, чутко вслушивающийся в его голос, сулящий не только счастливое будущее, но и грядущие катаклизмы, «миллион Хиросим», «вакханалию света и мрака». Но в не меньшей степени взгляд автора обращён к прошлому. К родному Кёнигсбергу, разрушенному войнами и территориальными переделами, но сохранившемуся в сознании автора как некий ценностный ориентир, «потаённая Пруссия».

Все последующие разделы книги именно об этом. Детально и кропотливо Старцев воссоздаёт образ любимого города, показывая его с разных ракурсов: в историческом, географическом, архитектурном и даже мифологическом аспектах. Но не только региональный краеведческий материал интересует автора – его исторический взгляд намного шире. Так, в разделе «Гражданская лирика» читатель листает трагические страницы российской истории. Здесь упоминается и «расстрелянный» XVII съезд ВКП(б), и все необратимые последствия Великой Отечественной войны. По словам самого Петра, стихотворение

о съезде возникло как эмоциональная реакция на репрессии в СССР. В том числе, на репрессии против старых большевиков. Поэт представлял себе спецпоселения, о которых ему рассказывала бабушка-сибирячка – свидетельница тех событий. Она работала бок и бок с гулаговскими лагерями и видела, как заключённые хоронят родственников – в снегу, в кое-как сколоченном ящике.

Гордых за город
Пригоршней селили.
Бодрые вёдра
Таскали и жили.

У Петра Старцева удивительно развита генетическая, родовая память – он способен глубоко лично переживать и даже проживать события, случившиеся задолго до его рождения. Одно из самых лирически исповедальных стихотворений второго раздела так и называется – «То, что было со мной до меня». Лирический герой, как в пророческом сне князя Святослава, видит события, очевидцем которых он не был. Разница лишь в том, что Святославу дано было предвидеть будущее поражение войска князя Игоря, а персонажу этого стихотворения пришлось пережить военное прошлое – далёкое воскресное утро *«у открытого настежь окна»*, когда объявили *«Война»*. Это воспоминания поколения дедов и бабушек.

Стихи Старцева – поэтические инсталляции, реконструирующие историю города. Они полностью погружают читателя в атмосферу происходящего, делают его участником событий. Инсталляция в совокупности с интерактивностью (текст не читается, а проживается) – фирменный знак поэта и отличительная черта этой книги. Поэтические образы мелькают кадрами военной кинохроники, звучат, грохочут залпами орудий, взрываются снарядами, наполняются стонами раненых. Это достигается и благодаря умелому владению звукописью:

В городке стук и топот на лестницах.
Перед тем, как спалили дома,
Кто-то «вышел в окно», кто повесился,
А живые лишились ума.

На пути зашевелится воздух,
Опрокинет, к брусчатке прижмёт.
То ли искры в глазах, то ли звёзды,
То ли трассером бьёт пулемёт.

Думается, эта военно-лирическая исповедь – ключевой текст книги, некая точка катарсиса и центр читательского притяжения. Её отголоском становится стихотворение «Так далеко, так близко» самого большого раздела сборника – «от Атлантики до Тихого океана». Здесь автор приоткрывает одну из самых страшных страниц не только Восточной Пруссии, но и Европы. Автор рассуждает об общегерманских трагедиях и надеждах XX века: нацизм, притянувший войну, разрушения, стремление молодёжи к американизации *(«English зубрит по ночам его sister»)*, глобализация и миграция. Здесь довольно много аллюзий и отсылок к конкретным фактам истории и культуры.

«Евро кривая над Рейном зависла» – это график курса новой валюты. *«И блюзы играла жизнь-пианистка, рушила стену, немея от свиста»*… В этих образах можно усмотреть авторскую дань фильму The Wall и музыке Pink Floyd, в одном ассоциативном ряду с Берлинской стеной. А беженец-ветер в берлинском метро и ангел с ливийским лицом, возникающие в конце стихотворения – обобщённый образ Германии и немецких мигрантов конца XX-начала XXI века.

Поэт также не обходит стороной историю родного края. 75 лет назад исторический центр Кёнигсберга превратился в прах и пепел. Так союзники-англичане «помогли» Красной Армии в разрушении обороны города-крепости. Было разгромлено огромное количество районов и пригородов, более тысячи мирных граждан погибло. При этом страшнее всего была внезапность нападения, и в силу этого невозможность что-либо предпринять. Именно на этом делает акцент в своём поэтическом рассказе и Пётр Старцев:

Польша, Судеты: всё было так быстро.
«Тигры» под Вязьмой, в пустыне ливийской.
Так далеко иль, может, так близко?!
<…>
Время взорвётся бомбой английской.
Над Кёнигсбергом? В небе берлинском?
– Просто сюжет,
не ищите в нем смысла.

Однако ошибкой было бы думать, что главная цель автора заключается только в том, чтобы напомнить своему читателю о трагических событиях прошлого. Кажется, что его замысел гораздо масштабнее и продиктован стремлением обессмертить любимый город, сделать его абсолютно прекрасным образом, подобным тютчевскому Риму. Череда войн и катаклизмов не способна стереть его с лица земли. «Потаённая Пруссия» открывается взору читателя постепенно. Она каждый раз воскресает подобно Фениксу из пепла, как будто не было погромов и реставраций, передела территории и уничтожения исторических памятников; *«дышит из трубочек паром лебяжьим»*. Истинный Кёнигсберг неотделим от современного Калининграда: он и внутри, и за его пределами. Он – целая галактика, в которой продолжает жизнь неподвластная времени сказка. Балтийская коса, Метгетенские сосны, форт-цитадель Пиллау, знаменитый Кнайпхоф (нынешний остров Иммануила Канта), замок Тапиау и Амалиенау на закате – все эти объекты уже не подлежат тлению, организуя не собственно историческое, а мифологическое пространство книги. Так возникают вневременные, бессмертные смыслы – и только они по-настоящему важны автору. Он – хранитель этого идеального мира и связующее звено между прошлым и настоящим.

«Далёкое нам стало ближе. Чей борт волна сегодня лижет? Воспоминанья или сны меня тревожат ночью»?

В этом утверждении и риторическом вопросе заключена главная идея книги: о прошлом нельзя забывать, как нельзя прерывать духовную связь поколений, историю своей родины и рода. В поэзии Петра Старцева слышен живой голос Восточной Пруссии: шум морского прибоя, космические звуки органа, шёпот Варникенского леса. Этот мир звенит, поёт, брызжет нам в лицо солёной водой и обещает одну из самых увлекательных экскурсий, которую нам предстоит совершить вместе с автором:

Из Пайзе выходили ялы
Меня от качки полоскало
За борт и на стекло волны.
В Пиллау тихо ночь скучала,
Пила у Третьего причала,
Пила из фонаря луны.

ЗАКЛИНАНИЕ УЖАСА, ИЛИ ПОД ТОНКОЙ КОЖЕЙ КУЛЬТУРЫ

(Андрей Ткаченко, Делящийся на мир. Стихотворения. – Чебоксары: Free Poetry, 2024. – 100 с.)

Художественный метод Андрея Ткаченко в чём-то феноменален, поскольку работает на опережение времени. Сам поэт признаётся в том, что нередко использует в творчестве целенаправленно организованную сложную структуру, что нетипично для современных авторов, привыкших к спонтанности. Это скорее подход психоаналитика, культуролога и учёного-естествоиспытателя, интересующегося законами эволюции. Однако особая оптика зрения никак не влияет на эстетическую составляющую текстов Ткаченко. Перед нами поэзия, которая при всей своей революционности в чём-то даже не лишена и традиционности звучания.

Традиционность эта обусловлена наличием трёх ключевых составляющих: человек, природа, цивилизация. Без этих величин нет ни науки, ни мировой поэзии. О характере их взаимодействия и размышляет автор поэтического сборника с характерным названием «Делящийся на мир». И размышления эти весьма своеобразны. Вырастая из философской лирики XIX века, они пропускаются сквозь призму теории психоанализа, бихевиористские и ницшеанские идеи и дают ошеломительный результат. Извечная дилемма мира естественного и окультуренного обозначена уже в начале книги:

Избегающий глаза чужого,
на тонких лапках, инструмент
пробирается скрытно,
хоботок изгибая, крысой
роется в проводах;
путь назад в уме не откроется,
вот беда!
(…)
Инструмент одичал, изобрёл язык
и грозит затопить нас своей культурой
через дыры в полу,
и полуденные, с натуры,
звуки пил намекают,
что уже затопил…

Парадокс заключается в том, что в тексте, представляющем собой своеобразный трактат о человеке, мы не находим человека. Есть некая абстракция («паттерн»), условная математическая формула, аллюзия. В лучшем случае особый биологический вид, чьё существование сводится к определённому набору рефлексов и психических реакций. А человека как творца и Homo sapiens нет и в помине. Привлекает внимание фраза *«инструмент одичал, изобрёл язык…»*. Если это о человеке, то получается, что его так называемая дикость состоит в процессе окультуривания, и следует двигаться обратным порядком – к своим первоистокам, к состоянию первобытности. Но мы хотим чувствовать себя высшими существами, и не готовы смириться с подобным положением дел. Чтобы преодолеть изначальный хаос бытия, нам необходимо его упорядочить, иерархически организовать. А сделать это под силу только культуре и цивилизации.

Наиболее отчетливо эта мысль звучит в так называемом трактате об обезьяне. Его можно назвать одним из ключевых текстов книги.

Здесь в индивидуальной авторской трактовке перед нами предстает духовная история человечества, прошедшего путь от обезьяны до рода Homo sapiens. Насколько этот путь продуктивен – вопрос иного порядка. Но автор явно делает акцент на том, что процесс самопознания сопряжён с экзистенциальным ужасом прозрения и постижения горькой истины:

Обезьяна взвыла от ужаса в древней саванне, себя осознав:
как будто от шкуры и тощих сосков своей мамки оторгнута…
<…>
…пришлось ей с разбегу в Ничто провалиться,
на «нечто» делиться, в котором, как лапой слепой ни ощупывай,
чуждое только нашаришь – и обречённое «Я»

Далее мы видим, как бывшие уже обезьяны в качестве опоры своего нового существования начинают придумывать различные духовные надстройки: «размалевывать камни», «давать имена», придумывать богов «и виниться пред ними за то, что себя осознали». Но всё это по большей части не работает и является не более чем заклинанием ужаса бытия. Тут невольно вспоминаются сразу два классика. Классик немецкой классической философии Фридрих Ницше, сказавший о том, что *«человек есть дикий зверь, покрытый тонким слоем лака цивилизации»*, и классик романтизма Василий Андреевич Жуковский, написавший элегию «Невыразимое», где *«обессиленно безмолвствует искусство»*.

В книге Ткаченко предельно обостряется конфликт естественной (природной) и культурной составляющей человеческой жизни. С его точки зрения, гораздо безопаснее существовать в неразрывной связи с миром, в *«диалоге сочетанья оттенков»* – и *«быть вписанным в ткань впечатления словом»*. Отсюда это тяготение к синкретичному художественному пространству, внутри которого бесшовно соединяются живые и неживые объекты, становясь единым архаическим узором, причудливым орнаментом.

Это жизнь, представленная на срезе одновременного сосуществования всех органических форм – как будто увиденная фасеточным зрением стрекозы:

…на контрасте, под чёрным крылом;
проходя мимо парочки, отвернуться,
но звук поцелуя услышать и краешком глаза
заметить пальцев шалости с молнией блузки;
а фонтан в гравитацию с мячиком капли играет,
словно жизнь с абсолютно любой органической формой…

Автор убеждён: человек не всегда в полной мере осознает, что гораздо больше поэзии можно обрести в мире природы. А мы рядом с ней кажемся жалкими рефлексирующими созданиями. Младенцами, припадающими «к груди культуры», питающимися её «целительным молоком» и создающими себе в утешение мёртвые игрушки цивилизации. В сущности, все эти поэтические размышления – своеобразный оммаж Тютчеву с его вечным *«не то, что мните вы, природа»*. Очень показательно в этом смысле стихотворение «По дороге в Пятерочку»:

Поэзия необязательна, – говорит тебе тогда трава,
рифмующаяся с завитком облака,
– Необязательна, – вторит морозный узор на стёклах,
рифмующийся с хаосом элементарных частиц,
– Необязательна, как наше существование,
в ускользающем времени распростёртое,
без которого мир вполне мог бы и обойтись…

Всё здесь основано на доказательстве от противного. Поэзия, необязательность которой якобы утверждается, находится повсюду – она растворена в природе и атмосфере, без неё жизнь вообще невозможна.

Отдельно хотелось бы поговорить и о сновидческой составляющей поэзии Андрея Ткаченко. С одной стороны, сновидение становится для поэта формой альтернативного существования сознания, средством ухода от экзистенциального ужаса бытия.

«Спи, пока молодой, посреди апрельской бушующей зелени, прилива нового моря…»… Не правда ли эта строка очень напоминает отрывок из песни Заратустры *«Не браните́сь на то, что я спал: я прилёг, утомлённый тоской, а не мёртвый…»*?

Однако ещё важнее отметить, что сон в книге «Делящийся на мир» становится методологическим принципом, формой структурирования художественной реальности. Такова, например, вокально-оперная поэма «Самоворная лошадь», смыслы которой в полной мере не удалось считать, не прибегнув к помощи автора.

Всю эту историю, по словам Ткаченко, можно увидеть как сюжет, разворачивающийся внутри психического пространства одного субъекта. В этом смысле здесь нет персонажей – есть только разные части сновидца и отношения между ними. Метод был позаимствован у Дэвида Линча. Именно на таком приёме основаны его большие произведения «Манхолланд-драйв», «Шоссе в никуда», «Внутренняя империя».

Разбирать поэму слишком подробно не будем – для этого потребуется отдельная статья. Отметим лишь, что здесь особенно отчётливо проявляется новаторство автора, решившегося «поверить алгеброй гармонию». Обозначим также ключевые образы поэмы. Две ипостаси лирического героя – «профессор с зубаткой» и «профессор-фониатр». Первая – разрушительная и контролирующая, а вторая – поддерживающая и любовная. В зависимости от характера отношений меняются не только образы, но и язык. Одновременно это игра ипостасей в рамках отношений пары – мужчина и женщина. И здесь речь идёт уже об эротическом подтексте поэмы. Он, кстати, является доминирующим. «Мохнатая зубатка» – классическая фрейдистская страшилка, «зубатая мохнатка» – обозначение вагины, «рыба-нож» – олицетворение мужского фаллоса в его агрессивной (протыкающей) функции.

Интересны также образы лошади и серого волчка. Лошадь, олицетворяющая «животный гуманизм», пытается достучаться до профессора, чтобы он не соблазнился нарциссической позицией. Она может трансформироваться в волчка – более радикально «впасть в ересь». Но хуже всего прибегнуть к «сыру». «Запретный сыр, что испокон смущает мир» – это пустое функционирование без мысли, временная или постоянная психическая смерть.

Поэма завершает книгу впечатлительным когнитивным аккордом, и если не обнажает перед читателем всех потенциальных смыслов, то, по крайней мере, заставляет задуматься о многосложном устройстве мира и о том, какой будет «поэзия будущего». Вполне вероятно, именно Андрей Ткаченко первым внёс в неё существенный вклад.

Нам же остаётся только искренне порадоваться тому факту, что в не столь отдалённой перспективе формы художественной речемысли смогут вызывать не только эстетическое наслаждение, но и потребность в системном, иерархически организованном познании мира.

НЕБЕЗНАДЁЖНОСТЬ ПАДЕЖЕЙ

(Олег Фельдман, НИРАНОНИПОЗДНО. Стихи. – Проект издательства «Книга Сефер». – 150 с.)

Книга Олега Фельдмана привлекает композиционной выстроенностью и цельностью замысла. Здесь нет ни одного случайного текста, но есть авторская мысль, развернутая во времени. Главный объект мысли – слово и его роль в современном мире. Звучит почти как тема диссертации – тем не менее это поэзия, как с точки зрения оригинальности формы подачи, так и в плане авторского мастерства.

Слово понимается Фельдманом широко. Это и форма самовыражения, и путь самоидентификации личности, и процесс речеговорения в контексте творчества. Более всего остального поэта волнуют факт утраты словом свежести и новизны и проблема банальности его значений, что не может не сказываться на творчестве в том числе. И чего можно ждать от поэзии, если уже «ребёнок учит Мандельштама»?

Дождались, Осип Эмильевич
Все конструкции здесь
И как мама мыла раму
И как Ева динамо Адаму
И где Углич там и кулич
А кому клич тому и паралич
И мудрит надо всем своё сыч

Это своеобразная точка отсчета в системе авторских раздумий о речи, которая «ещё не родилась», «уже не умерла», но «ещё уже не слово». Слово – это лишь строительный кирпичик общего художественного здания. Но чтобы это здание имело прочную и симметричную конструкцию, одних банальностей мало. Поэту же особенно нужен свой, глубоко личный, а не чужой, заимствованный у классиков или даже современников, стиль самовыражения. Пользуясь неоригинальным арсеналом средств, автор едва ли сможет расписаться в книге вечности и оставить какую-либо память о себе:

Почему не дописаны здесь
Красота высота пустота
Почему не размечен их гнёт
В тишине тишиною примятый
И на ёлке висят не твои
А чужие слои кто поймёт
И звенят непонятно звенят
И ты знаешь, что это ягнята

Так откуда же берётся пустословие – равно отсутствие нужного слова и нужного смысла? Почему «с каждым словом слово становится ну таким общим и как правило горшим а слов становится всё меньше и меньше …»? Одна из главных причин указана Фельдманом довольно чётко. Эпоха передовых технологий, господство интернета десакрализуют слово, превращает его в условный, нередко бессмысленный знак. Поэтическая речь книги нередко становится стилизацией интернет-общения: блоги, чаты, соцсети и т.д.

И немота всех переходит в чат
В голоса знаки
Значки подачки…

Невольно вспоминаются театр абсурда и Эжен Ионеско с его знаковой пьесой «Лысая певица». Основная идея пьесы сводится к тщетности попыток осмыслить процесс коммуникации в современном обществе. Язык постепенно превращается в бессмысленный набор фраз и клише, которые не несут никакого смысла и не способствуют истинному общению между персонажами. Вот, например, одна из фраз главной героини, миссис Смит, звучащая в самом начале: «Вот и девять часов. Мы ели суп, рыбу, картошку с салом и английский салат. Дети пили английскую воду. Мы сегодня хорошо поужинали. А всё потому, что мы живём в окрестностях Лондона и наша фамилия Смит».

Подобный же языковой автоматизм, начётничество и бессмысленное повторение одних и тех же фраз мы встречаем в книге Фельдмана – и это, безусловно, намеренный приём. Речь лирического героя иногда напоминает уроки грамматики в начальных классах – когда ребёнок начинает с самых азов изучать словесность, складывая буквы в слоги, а слоги в слова:

Охает твой оскал.
Тянет твой вол вал
Смыслов и нужных слов,
Выловленных основ.
Либо не лов тут,
Либо ловец плут.

Оскал, вол, вал, тут, плут… Не так ли выглядит страница какого-нибудь букваря? Но если бы дело было только в этом! Это не просто азбука, а скорее азбука наоборот. Она в основе своей не созидательна, а разрушительна, поскольку всё более заменяет осмысленную речь бессвязным бормотанием, тупым механическим зазубриванием элементарных смыслов. Речь здесь, помимо всего прочего, идёт и о преемственности поколений – увы, в плохом смысле этого слова. Относительно недавно я наткнулась в интернете на интересную мысль о том, что современное человечество, по сравнению с прошлыми поколениями, существенно деградировало. Оно разучилось думать, читать осмысленно и, в конечном итоге, общаться. В эпоху передовых технологий это как будто бы не обязательно, но данная мысль не более чем иллюзия. Всё это чревато процессом «расчеловечивания» социума, превращения реальной жизни в тотальное интернет-пространство – бесконечные гаджеты, блоги, интерфейсы и соцсети. «Поди потерял с самой реальностью связь не мобильную – просто простую связь», – сетует автор. И мы понимаем всю трагическую обоснованность этого сетования – особенно в условиях нынешних реалий, когда эстетика созидания сменяется явным разрушением, как будто передающимся по наследству:

Не мы ли мыли эту раму?
Ах, да, там были наши мамы.
Теперь остались пиктограммы.
Как рамы мыть.
А роют ямы.

Как и в пьесе Эжена Ионеско (последователем которого, возможно, является автор этой книги), в «НИРАНОНИПОЗДНО» нередко встречаются диалоги, не ведущие ни к чему конструктивному. И тем страшнее эта неконструктивность, что выражается она не в суждениях на общие, бытовые темы, а в разговорах о высоком – например, о классических произведениях русской литературы. Так, в разделе «Чехарда сует» подобную ситуацию видим в стихотворении «Медленное чтение». Абсурдность диалога двух «читателей», обсуждающих текст стихотворения Тютчева «Умом Россию не понять», завершается утверждением полной безнадёжности попыток адекватно истолковать его смысл в условиях переоценки ценностей и смены нравственных ориентиров:

– А лучше всё переизмерить
– И мерки снять и мерки снять
– А чем не аршином же общим
– Чужим аршином мерки снять
и результатам не поверить
– Фигня какая-то получается
– А я о чём же

Этой так называемой «фигни» становится всё больше от раздела к разделу. Названия четырёх последних («На пепелищах наших игрищ», «Упражнения с булавой», «Завершая дела», «Завершая завершай») как будто демонстрируют тревожную динамику в области речеговорения – постепенное угасание языковой активности и сведение всего к нулю. Словесное бездействие, приводящее к отсутствию масштабных творческих планов, сильно волнует автора, поскольку приводит к размышлениям о его собственном месте в культурной истории человечества, о необходимости поиска слова – того самого, единственно верного. Но даже на мели корабль не перестаёт мечтать о большом плавании:

Проплывают мимо большие лодки.
У них дела: сети, селёдки…
У них такие масштабы!
Нам бы часть хотя бы.
Нам не рыбь – рыбёшку!
Нам не чирик – трёшку.

Однако автор, вопреки всему, продолжает верить в «небезнадёжность падежей». В то, что очеловечить (вочеловечить) языковое пространство и вернуть в него сакральный смысл всё ещё возможно. По сути, именно к этому он призывает читателя в своей книге:

Но: Обоснуйте город
И морщины улиц,
Чтоб он полон был,
Чтоб туда метнулись,
Чтоб в него воткнулись
Как в память лица
– Семена людей,
Посох, дрозд, волчица…

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА КАРПЕНКО

«Я НЕ ВЕТКА, Я ТОЛЬКО ПРЕДВЕТВИЕ…»

(Иван Жданов, Ангел зимний, ангел летний. Библиотека журнала «Алтай». – Барнаул; Новосибирск; ООО «Экселент», М-во культуры Алт. края; Алт. краевой университет; науч. б-ка им. В.Я. Шишкова, 2023. – 304 с.)

Дело Евгения Боратынского живёт. В лице Ивана Жданова мы, несомненно, имеем дело с истинным поэтом-философом. Алтайская книга – не единственная относительно «новая» книга Жданова. Так, Вадим Месяц издал, а затем переиздал в «Новом Гулливере» книгу стихов Ивана, которая называется «Воздух и ветер». Творчество поэта продолжает вызывать стойкий интерес у читающей публики, и, думается, не случайно. Уже книга «Нового Гулливера» открыла для нас, что у Ивана Жданова, помимо стихов, есть философская проза самого высокого уровня. Это афоризмы и мысли в духе Ницше и Льва Шестова. В алтайской книге Жданова прозы стало ещё больше (здесь представлены также эссе Ивана о творчестве Державина, Булгакова, а также Игоря Меламеда, Евгения Блажеевского, Бориса Викторова, Бориса Капустина, Сергея Новикова). Получилось даже не «избранное», а «собранное». Новая книга подтвердила, что поэт является глубокой личностью и уникальным философом. Но главное внимание в ней традиционно отдано его стихам:

Я не ветка, я только предветвие.
Я не птица, а имя её.
Я не ворон, но где-то в предветрии
Обсуждает меня воронье.

Возможно, наши представления о поэзии Ивана Жданова как сложной и герметичной – не более чем миф. Скорее, она просто непривычна и требует особого понимания. Сами же стихи могут даже запомниться наизусть.

Когда умирает птица,
в ней плачет усталая пуля,
которая так хотела
всего лишь летать, как птица.

В стихах Ивана необычен ракурс зрения. Предметы у поэта вступают между собой в таинственную взаимосвязь. «Ты входишь в куб, зеркальный изнутри», – говорит Жданов. Его мир – это зазеркалье. И человек – не основная фигура в разыгрываемой мистерии. Он то исчезает, то появляется вновь, присоединяясь к происходящему или воображаемому действу:

Запомнил я цветные сны шмеля:
плыла сквозь них ко мне моя земля.

Но неба для неё не подобрать –
пуста моя открытая тетрадь.

Так тучи пробегают по лицу,
так небо приближается к концу.

Оно уже дописано во мне,
оставьте меня с ним наедине.

Жданов словно бы говорит нам: сюжет для стихотворения искать не нужно. Любой предмет может стать сюжетом. Любое явление природы. Сюжет у поэта растёт изнутри предмета или явления – и может быть остановлен только словом автора. В лирике Жданова новейшие открытия из области физики и астрономии порой соседствуют с аллюзиями из Священного Писания. Иногда у поэта идёт просто картинка, но из неё «торчат» философские уши:

И лужи, полные водой,
тянулись вверх, когда казалось,
что никому не удавалось
склоняться, плача, над собой.

Всматриваясь в своё отражение, поэт-метаметафорист словно бы видит себя ещё и со стороны. Сочетания слов у него необычны, но в тексте нет ничего лишнего, язык автора безупречен. Возникает гармония между нестандартным мышлением и отражением действительности. Даже быт у Жданова становится поэтичным, если его «вывернуть наизнанку»:

Во дворе играют в домино,
молчаливы флейты папирос,
сквозь дымок качается окно
дома, обречённого на снос.

На балконе сушится бельё,
наизнанку вывернутый быт,
разбинтованное бытиё,
откровенное, как инвалид.

Старый стол простуженно скрипит,
схваченный гвоздями домино,
слева сердце или дом дрожит,
флейтам в такт качается окно.

Поэзия Жданова – это феномен мышления. Когда я читаю многомерные и слоистые стихи Ивана, я вспоминаю работу Павла Флоренского «Мнимости в геометрии», из-за которой он был осуждён и позже расстрелян. Я ощущаю связь между геометрией Лобачевского, теорией относительности Эйнштейна, работами Флоренского и стихами Жданова. Проза Ивана подтверждает мою догадку – он над этим размышлял, а одна из его статей называется почти как у Флоренского – «Мнимые пространства»: «Есть города, где в их мнимых пространствах можно увидеть того, кого называют небесной дверью, снизошедшей на землю. Ниша – тайник, стена и не стена, пауза в стене, призрачное пространство. Не надо искать где-нибудь в мироздании место, где пространство и время совмещены в одно – войди в нишу, и ты почувствуешь, что это место здесь. Войди – и ты отождествишься с ней: станешь кирпичом в стене, частью стены». Мы видим, что стихи Ивана – отражение его философии, его мировоззрения.

Иван Жданов – глубокий мистик-эзотерик. Для него мир – это средоточие проекций. Жданов – поэт-визионер, искатель порталов в иные миры. Человек у него – вещь в себе, организм внутри другого сложного организма, космического. Даже любовные стихи Иван пишет именно с этой точки зрения – как он отражается в женщине и женщина отражается в нём. Дождь, листопад, деревья, корни, ветер, трава, воздух и ветер – вот среда обитания его героя. С точки зрения эмоциональности мир Жданова странен тем, что в нём нет места сильным страстям. Есть только зеркала, проекции и отражения. Метафизика. Это делает мир поэта, с точки зрения эмоций, суховатым. Однако стихи Ивана бывают очень лиричными:

Такую ночь не выбирают –
Бог-сирота в неё вступает,
и реки жмутся к берегам.
И не осталось в мире света,
и небо меньше силуэта
дождя, прилипшего к ногам.

И этот угол отсыревший,
и шум листвы полуистлевшей
не в темноте, а в нас живут.

Мы только помним, мы не видим,
мы и святого не обидим,
нас только тени здесь поймут.

В нас только прошлое осталось,
ты не со мною целовалась.
Тебе страшней – и ты легка.
Твои слова тебя жалеют.
И не во тьме, во мне белеют
твоё лицо, твоя рука.

Здесь бы и закончить это стихотворение. Но умозрительная философия всё-таки берёт у Жданова верх над его лирикой:

Мы умираем понемногу,
мы вышли не на ту дорогу,
не тех от мира ждём вестей.
Сквозь эту ночь в порывах плача
мы, больше ничего не знача,
сойдём в костёр своих костей.

Такова «органика» его таланта, нравится нам это или нет. В этом стихотворении уже слышен из будущего голос Александра Кабанова. Стихи и проза Ивана Жданова хорошо дополняют друг друга. Переходя на философскую прозу, поэт не перестаёт быть для нас тем самым Иваном Ждановым, которого мы узнали и полюбили за его стихи. Может быть, кому-то проза понравится даже больше. Откровения Ивана заставляют читателей задуматься. Так, например, он пишет, что человек, который случайно выжил, когда другие погибли, обречён на одиночество: *«Вот он бродит над землёю, / над собой не чуя ног, / мерой Бога именною / бесконечно одинок»* («Баллада»). Казалось бы, выжил – радуйся. Но у человека возникает необъяснимое чувство вины: все погибли, а он уцелел. Это и есть, согласно Жданову, «именное одиночество» от Бога. Важная тема в творчестве поэта – крещение, которое понимается автором широко, как творческая инициация. Крещение может быть каким угодно – огнём, мечом, водой, судьбой, стихами гения. Без крещения, согласно автору, и стихи не пишутся.

Душа идёт на нет, и небо убывает,
и вот уже меж звёзд зажата пятерня.
О, как стряхнуть бы их! Меня никто не знает.
Меня как будто нет. Никто не ждёт меня.

Торопятся часы и падают со стуком.
Перевернуть бы дом – да не нащупать дна.
Меня как будто нет. Мой слух ушёл за звуком,
но звук пропал в ночи, лишая время сна.

Задрал бы он его, как волка на охоте,
и в сердце бы вонзил кровавые персты.
Но звук сошёл на нет. И вот на ровной ноте
он держится в тени, в провале пустоты.

…Течёт во мне река, как кровь глухонемая.
Свершается обряд – в ней крестят листопад,
и он летит на слух, ещё не сознавая,
что слух сожжёт его и не вернёт назад.
(«Крещение»)

Обычно поэта всегда можно условно причислить к мастерам либо «короткого», либо «длинного» дыхания. Но творчество Ивана Жданова ставит исследователей в тупик. Он одинаково хорошо пишет и четверостишия, и длинные баллады. И не понятно, чему отдаёт он предпочтение. Послушаем самого автора: «Лаконичность взывает к большой ответственности – говорит поэт. – Гераклит фрагментарен. С одной стороны, вышло так нечаянно (ибо пропало), а с другой – в этом есть резерв выразительности.

Осколок чего? Фрагмент чего? Цельность утрачена навсегда – или она восстановима?». Мы видим, что у поэта изрядная философская начитанность, и он давно уже мыслит в своём творчестве философскими категориями.

Жизнь Ивана Жданова оказалась длиннее, чем его поэтическое творчество. Почему так произошло, мы можем только догадываться. То ли поэт-метаметафорист не захотел «понижать градус», то ли посчитал написанное к тому времени достаточным. Подобные чувства испытала по возвращении из Франции в Россию Марина Цветаева. Основной короб стихотворений был у неё уже написан. Стихотворением больше, стихотворением меньше – для неё это было уже не принципиально, и она готова была уйти – не только из литературы, но даже из жизни.

Для продолжения творчества поэту необходим стимул. Бывает, творческий азарт подпитывается окружением, любовными отношениями, чем-то ещё. Иван Жданов беспрерывно писал стихи в течение нескольких десятилетий, и словно бы уже выполнил свою миссию в отечественной словесности. Совсем из искусства Жданов не ушёл – у него остались фотография и философская проза, которая представлена в новой книге чрезвычайно широко, ста тридцатью пятью страницами глубоководного авторского текста. Согласитесь, философская проза – очень достойный жанр для поэта-мыслителя.

С точки зрения вечности, не так важно, прекращал человек писать или нет. Просто мыслить – это ведь тоже внутренняя работа и откровение. Человек развивается в унисон со своим временем. Вот что сказал по этому поводу Иван Жданов: «Человек – это не только его физическое присутствие здесь – наличие вообще – это ещё и его время, которое, может быть, не собственность его, но и отнимать его у человека никто не может – о Боге тут помолчим. Он-то и даёт миру человека вместе с его временем». Бывает время собирать камни и время их разбрасывать. Поэту-метаметафористу удалось сказать что-то очень для нас важное. И теперь, вне зависимости от того, пишет он или не пишет, его тексты обсуждаются, о них говорят. Многие его строки созвучны нам, его читателям:

О, дайте только крест! И я вздохну от боли,
и продолжая дно, и берега креня.
Я брошу балаган – и там, в открытом поле…
Но кто-то видит сон, и сон длинней меня.

Творчество Ивана востребовано интеллектуалами. Отзывов о нём от одних только писателей – десятки. Порой диву даёшься – о нём пишут даже люди, далёкие от поэтического авангарда. И пишут хорошо. Вот что говорит о творчестве Жданова известный критик Инна Ростовцева: «Память здесь помещена в Космос – который как живое, неловкое, и вместе с тем, большое сказочное существо… помнит о Вечности справедливо, по совести, по жалости, – отсюда такая личная интонация, такой щемящий звук, такая акустика – Эхо». Объединяющее начало в поэзии Жданова – своего рода неожиданность, сюрприз, о котором сам автор, вероятно, не задумывался и не догадывался. Но у стихов тоже бывает судьба – «нам не дано предугадать, как слово наше отзовётся».

И буду дорожить
виной или ошибкой.
Ткань возвратится в нить,
чтоб грусти стать улыбкой.
Надежды больше нет,
есть только вера в чудо –
и надо мною свет
неведомо откуда.

«БЬЁТСЯ БАБОЧКА СТИХА…»

(Ксения Август, Семь Я. Поэтическая книга. – Калининград, Полиграфычъ, 2024. – 118 с.)

Ксения Август – явление в русской поэзии необычное. Прежде всего, тем, что она – мать четверых детей, мал мала меньше, двух мальчиков и двух девочек. У матери-героини вышла из печати новая книга, которая демонстрирует творческий рост молодой поэтессы, убеждая нас в том, что за Ксенией – не только будущее, но и настоящее современной поэзии. В этой книге ведущей стала, по выражению Льва Толстого, «мысль семейная». *«Я просто мать, я – зрение и слух, / и сердце, что одно за всех, и небо, / и лошадь, волочащая свой плуг, / и рыбка, и старик, и даже невод»*, – пишет Ксения. Материнство – дисциплинирует. «Дайте» и «хочу» приходится отложить в сторону – в семье главенствуют императивы «надо» и «должна». Насыщенная семейная и концертная жизнь Ксении не препятствует появлению у неё новых стихов и не снижает

пассионарность её духа. Поэт вписан не только в анналы семьи, но и в контекст эпохи, города, страны. Это помогает создать баланс между бытом и бытием, необходимый для творчества.

Каким должен быть современный поэт? Двадцать первый век разбил трафаретные представления о личности и статусе стихотворца. Поэт перестал быть небожителем, который лежит на диване и плюёт в потолок в ожидании вдохновения. Бурная жизнь, наполненная разными видами деятельности, не мешает человеку писать стихи. Поменялась психология творчества. Тема материнства, заявленная уже в названии книги Ксении Август, широко звучит на её страницах. Поэт сравнивает семь «Я» своей семьи с семью нотами клавиатуры рояля. Семь «я» для неё – это и семь крестов, и семь крыльев. Чем больше ты на себя взвалил, тем больше тебе воздастся, тем больше тебе вернётся. Ксения убеждена в правильности такого выбора. Стихи становятся отдушиной, где можно рассказать обо всём, в том числе и о том, как нелегко быть матерью: *«Я только мать, я тоже буду торт, / и шоколад, и мятную конфету, / и эту жизнь, и весь её простор, / и небо абрикосового цвета»*. И как мало останется у человека, если всё это отнять!

Ксения поведала нам тонкую психологическую вещь. Казалось бы, рано стать матерью – хорошо: кому-то вообще в жизни не выпадает такое счастье. Но раннее материнство словно бы «крадёт» у молодой девушки юность: *«Всё кажется, вот юность, только я / уже в такую пору мамой стала, / вот зрелость, Боже, как же я устала, / ту юность ушивая и кроя»*. За всё, так или иначе, приходится чем-то платить. Стихи Ксении Август хорошо запоминаются наизусть, и это, на мой взгляд, достоинство, которое редко встречается в современной поэзии. В произведениях Ксении широко представлены элементы постмодернизма: *«пусто так внутри себя живу, / так легко и так невыносимо. / Не жалей. Не плачу, не зову, / просто обживаю эту зиму»* (аллюзия к Есенину), *«Расти из не пойми какого сора»* (к Ахматовой), *«И глубже быть самой себя, и выше»* (к Мандельштаму). Современная лирика использует все приёмы, наработанные предшественниками: *«Я усталый, я раб, но побег я замыслю едва ли»* (аллюзия к Пушкину). Порой крылатые строки предшественников настолько у Ксении переработаны и переосмыслены, что первоисточник можно распознать только по каким-то едва заметным признакам – например, интонационно. Это уже не центоны, а реминисценции: *«Смотреть в себя, в себя и только, / смотреть в других, и не судить»* (аллюзия к Пастернаку). Творчество Ксении Август – это, на мой взгляд, «пастернаковская» ветвь русской поэзии.

У Ксении – вдохновенная, льющаяся лирика, которая не знает границ и идёт поверх внутренних барьеров. Поэт может писать о чём угодно и как угодно – например, от имени рыбы: *«и пробовать воздух пробитой губой»*, *«И с лески срываться, и биться об лёд / серебряным телом…»*. Умение поэта перевоплощаться удивляет и радует. Безусловно, главный герой лирики Ксении Август – она сама. Автор и персонаж, от имени которого ведётся повествование – одно лицо. Но есть в лирике Ксении и другие, не менее важные персонажи. Например, члены её семьи. В широком смысле герой лирики Август – это человек: *«человек – всего лишь семя / мягче пуха, твёрже стали, / человек уходит в землю, / из земли произрастая»*. А ещё герой её стихотворений – Господь Бог. Человек и Бог порой сходятся друг с другом в храме – будь это церковь или нерукотворный храм природы. Взаимоотношения героини с Богом нашли своё отражение во многих стихах из новой книги, среди которых я бы выделил стихотворения «Но будь со мной и проще, и честней…» и «Я не умею, Господи, прости…». *«Я ничего в любви твоей не смыслю,* – заявляет Ксения. – *Но ты со мной, и кровь твоя живая / в мои ладони капает с креста»*. Православные люди высоко ценят духовную лирику поэтессы.

Ксения в стихах ко всем обращается на *ты*: к матери, брату, любимому, даже к Богу. Порой понимаешь не сразу, что автор разговаривает именно с Богом, а не с отцом или с братом. Её стихи мчатся в беспредельность, не утрачивая при этом ни смысла, ни ритма, ни мелодии, ни отваги. Это магия звука, который длится бесконечно. Стихи Ксении – «приручённый звук».

Когда пройдёт последняя тоска,
я звук найду такой, что мир качнётся,
и вмиг перевернётся, и начнётся
не заново, но с моря и песка.

Я в звук войду не лёгкою стопой,
ни тяжким сердцем, и ни чьей-то тенью,
а тёмной ночью, страшной и метельной,
катящей смерть по гулкой мостовой.

Я звук сожму в ослепшем кулаке,
промёрзшем до хрустящего разлома,
на грани бессловесности и слова,
и в ночь уйду, как в море, налегке,

не чувствуя ни тела, ни тепла,
лишь этот звук, трепещущий под нёбом:
горячий, неохватный, неподъёмный,
из битого небесного стекла,

из пустоты, встающей меж людьми,
всеслышащей воды иссиня-чёрной,
лишь этот звук, нежданно приручённый
не мной, но мною ставший в этот миг.

Поэт – это голос, и, конечно, его голос – больше, чем «Я». «Я» поэта вбирает в себя множество «не-Я», и в этом его сила. Ксения Август – именно такой автор. Её талант богат и щедр. Кажется, она уже всё сказала в стихотворении – но то и дело находятся неистраченные пиастры вдохновения: *«всё есть в тебе и даже больше, / чем можешь ты в себя вместить»*. Её поэзия – всегда симбиоз «Я» и «не-Я»:

Видишь, как я поднимаюсь из сорной травы,
видишь, как я прирастаю к земле беспокойной,
к этой земле, где как руки распахнуты рвы,
где прямо в сердце уходят их чёрные корни.

Это не я, это то, что во мне говорит,
то, что болит во мне, то, что не знает покоя,
видишь, как полнят ладони мои янтари,
и поднимаются волны строка за строкою?

Это не шторм, это слово вскипает внутри,
это не лес, это звук превращается в море,
это не я, это то, что во мне говорит,
что по природе своей и не может быть мною.

Множество солнц отражается в птичьем зрачке,
в нижней гортани органно вибрирует воздух,
это не рыба, а слово блестит на крючке,
и, не сорвавшись, мгновенно уходит под воду,

это не рыба, а рында, немой пилигрим,
видишь, язык её ранен, язык её грубый.
Это не я, это то, что во мне говорит,
и разбивает до крови язык мой и губы.

Пожалуй, самое сложное в стихотворении – создавать драматургию, нагнетать, развивать повествование. Но Ксения Август блестяще справляется с этой задачей. У неё есть редкий дар – умение довести стихотворение до катарсиса. Это высокая сентиментальность, которую мы находим также у классиков русской поэзии. Вот как необычно пишет Август о «бабочке стиха»: *«Ночь безлунна и тиха, / вера точно, / бьётся бабочка стиха / подвисочно, / перелётная едва ль, / небольшая, / бьётся час, и бьётся два, / спать мешает. / Отмахнуться бы, но как? / Руки сонны, / бьётся бабочка: легка, / иллюзорна, / бьётся бабочка (и пусть) / на piano, / бьётся бабочка, как пульс / капиллярный, / бьётся в гулкой голове / человечьей, / бьётся миг, и бьётся век, / бьётся вечность»*.

Калининград – место исторически непростое. Следы войны встречаются здесь на каждом шагу. Не удивительно, что Ксения Август много пишет об истории. Само пребывание в таком месте рождает у поэта протест против войны. Деды воевали с фашистами, а их внуки и правнуки на каждом шагу находят черепа и кости. *«А был ли мир, ты спросишь, был ли мир?»* – задаёт риторический вопрос Ксения. Земля вокруг бывшего Кёнигсберга – до сих пор «кровавая», и это вовсе не метафора. Все беды мира проходят через чувствительное и ранимое сердце поэта: *«Слепо небо в бойничном провале, / ночь, как рана, черна и сквозна, / это время щадит нас едва ли, / это время проходит сквозь нас, / или мы сквозь него, я не знаю, / я – бесплотность в провале стенном, / сквозь меня эта птица лесная / всё летит горячо и темно, / сквозь меня полыхают зарницы, / и весенние воды бегут / там, где небо – всего лишь страница, / что лежит на морском берегу, / там, где слово даётся по вере, / и не гаснет огонь маяка, / там, где нежность – всего лишь мгновенье, / что застыло в смоле на века; / сквозь меня его шёпот, и шорох, / и рождение каждого дня, / и вращается солнечный жёрнов / сквозь меня, сквозь меня, сквозь меня»*.

Ещё один калининградский мотив в творчестве Ксении Август – множество образов, связанных с морем и янтарём: *«Догорает солнца свечка, / слов расходятся пути, / я янтарное сердечко / вынимаю из груди, / пусть оно теперь посветит / тем, кто рядом был со мной, / а меня развеет ветер / над волной»* («Боль уходит, время лечит…»). Поэт открывает в себе «иную глубину»:

Открыв в себе иную глубину,
я к небу припадаю, как ко дну
морскому, всей душой своей и телом,
и утопаю в солнечной волне,
и небо подо мною и во мне,
и нет конца ему, и нет предела,

и нет во мне предела и конца,
лишь долгое дыхание творца,
лишь слово тишины, и призвук ветра,
и сердца неохватный окоём,
где луг земной охвачен весь огнём
воскресших и бессмертных первоцветов.

Новая книга пленяет чистотой голоса молодого поэта. Слово – это тоже «ребёнок» для матери-поэта: *«Где кончаются не реки – / птичьи стаи, / тает голос в человеке, / голос тает, / тонкий и посеребрённый / лунной пылью – / человеческий ребёнок, / призвук были. / Первый сон смежает веки, / сон последний, / слепнет память в человеке, / память слепнет, / обрывается со стоном, / долго мучит – / человеческий потомок, / послезвучье. / Капля спархивает с ветки / бирюзово, / слово длится в человеке, / длится слово, / и смеётся, и рыдает, / и трепещет – / Человеческая тайна, / суть и вещность».*

Метафорический талант, присущий стихам Ксении Август, усиливает впечатление от прочитанного: «это тёплое небо, распятое швами наружу». Или такой неожиданный образ: «сердце дерева – птица». В книге много биографических моментов, мы узнаём об авторе как человеке. Ксения рассказывает, например, как она стригла волосы отцу, о своём счастливом детстве. «Я росла в большой любви», – признаётся поэт. И этот удивительный объём бытия обрамляет высокая поэзия. Поэту присуще понимание сути вещей, жизнь и смерть у неё «идут рука об руку». То и дело в радость бытия вплетаются трагические ноты: *«Снег уходит тихо, по-английски, / никому ни слова не сказав, / словно угасает кто-то близкий, / безвозвратно, на твоих глазах».* Драматические коллизии, сочетание интуиции, интеллектуальной работы и владения словом в равной степени питают поэзию Ксении Август. Но больше всего в стихах Ксении меня вдохновляет высокая нота бесконечности и непрерывности жизни. Вот как она завершает одно из программных своих стихотворений – «И снова ухожу, не уходя…»:

Так мы уйдём, кто в небо, кто во тьму,
и свет забудем погасить в дому,
и тень свою оставим возле входа
беречь покой родных любой ценой,
и будем улыбаться вновь и вновь,
и на детей глядеть со старых фото.

«И МИР КРОВИТ, КАК ТЯЖЕЛОБОЛЬНОЙ…»

(Борис Фабрикант, Багажные наклейки. Серия «Поэтическая библиотека». – М., Время, 2023. – 152 с.)

Стихи Бориса Фабриканта максимально приближены к нашей действительности. Поэзия способна быть искусством «быстрого реагирования», и в этом её несомненное достоинство. Читатели и слушатели ждут ответов на вопросы, которые ставят перед нами современность. Современность у Фабриканта оказывается очень объёмной, время – нелинейным, а бытие – панорамным и телескопичным. Будущее, как перспектива, «прирастает» у поэта и прошлым, и настоящим. Можно говорить о том, что стихи Бориса реалистичны, но это будет не совсем точно, поскольку сам реализм выходит у поэта за привычные рамки. Это сложность и многомерность, которые произрастают из простоты. Такой реализм может быть даже фантастичным, как у Михаила Булгакова, – это демонстрирует нам книга поэта, которая вышла в издательстве «Время» и называется «Багажные наклейки».

Важное место в творчестве Бориса Фабриканта занимает тема памяти. Память для Бориса – не только отражение времени, но и достояние каждого человека, зеркало личности с обратной перспективой.

Память порой неуловима: *«А время не часы, а память, / Любовь и жест, слова и лица, / Мы никогда не знаем сами, / В чём наша память отразится»*. Иногда память – это просто какие-то вещи, предметы: *«Вещи, бывшие в доме, накопленный жизнью осадок, / Как следы, сохранённые пройденной нами дорогой. / Этот сладкий, по старой забытой загадке, остаток / Не забудь, не продай, не дари, сохрани и не трогай»*. Поэт, обращаясь к потомкам, велит «не кантовать» наследие прожитой жизни, и это касается не только рукописей, но и предметов быта. Память священна, и эта мысль проходит через многие стихи Бориса:

И увеличенные блики
Сегодняшних серийных фото,
Как письма счастья, многолики,
Как документы для учёта

И доказательства, что жили.
И марки праздничных конвертов,
Их тысячи погонных метров,
Где нас на цифры разложили.

Фабрикант словно бы спорит со своим тёзкой, Борисом Пастернаком. Пастернак, как известно, завещал нам «не заводить архива и над рукописями не трястись». Но это касалось у классика прижизненного отношения автора к своим рукописям. А ведь в архивах заложена посмертная жизнь. Однако с предметами из прошлого тяжело обращаться даже их хозяину. Вот как говорит об этом Борис Фабрикант: *«А из прошлого вещь с каждым днём тяжелей, / Даже воздух над нею становится злей»*. Памятные предметы у Фабриканта с возрастом наливаются тяжестью прожитых лет. Сквозное зрение поэта связывает между собой времена, прошлое и настоящее, но память набухает тяжестью прожитого. Это необязательно тяжесть несбывшегося – сбывшееся, по контрасту, тяготит невозвратностью этих бесценных мгновений.

Это далеко не единственный пример сквозного времени в творчестве Бориса Фабриканта. В другом стихотворении у него смыкаются мезозой и новейшее время. Двадцатые годы нынешнего века задали мыслящим людям массу непростых вопросов. Необратим ли прогресс? Далеко ли продвинулось человечество от начала времён? Помогает ли нам жить его многовековой опыт? Об этом задумывается в новых своих стихах Борис Фабрикант. Нам казалось, что многое в мире меняется к лучшему. Но это была только иллюзия. Вселенная у Бориса Фабриканта спрессована, у него это, как у Эйнштейна, единое время-пространство. Всё историческое время проходит у поэта за одну ночь. Они, вместе с пространством, входят и выходят через окно. И складывается впечатление, что неандертальцы и кроманьонцы – среди нас. Они, может быть, одеты в такую же одежду, как и мы, и тоже ходят с гаджетами. Но уровень умственного и духовного развития у них – первобытный. И таких «кроманьонцев» и «неандертальцев» среди нас становится всё больше. Для мыслящих людей это не самое приятное открытие.

Темень прильнула к стеклу, заслонившая свет,
Он у неё за спиной оторвался от окон.
Снова вселенная сжалась в домашний предмет,
Словно мы бабочкой скрылись в родительский кокон.
Будет сегодня, и так это было вчера,
За ночь до утра пройдут все века и пещеры,
Палеозойская и Мезозойская эры,
Люди проснутся, и жизнь к ним приходит с утра,
Как на пуантах, легка, молода и красива.
И кроманьонцы кремнёвый забросят топор,
Неандертальцы в ответ разломают забор,
Вот и закончится утро, а было счастливым

Стихи Фабриканта помогают нам переосмыслить многое в нашей жизни. Мы думали, что со смертельными эпидемиями человечество покончило благодаря развитию медицины – но это оказалось не так. Мы думали, что войны больше не будет, но кроманьонцы с неандертальцами решили иначе. И фашизм не ушёл окончательно и бесповоротно – он стал «спящей ячейкой» в людском океане*: «И храм, и срам, а цель толпы проста, / Как газовая печь в конце квартала. / Распяли показательно Христа, / Погромы начинаются сначала»*.

Тема памяти часто продолжается у Фабриканта темой жизни и смерти. Самые пронзительные стихи у Фабриканта – о войне. Удивительно – человек, который никогда не воевал, так об этом пишет. Но война, пожалуй, как раз та тема, в которой опыт автору порой мешает. Воин всегда пристрастен, он на стороне своего воинства, даже если оно неправо. А человек, не воевавший, независим в своих воззрениях.

Убитому в бою неловко,
Что от своих уходит прочь,
Пока ещё в руке винтовка,
Она постреливает в ночь.

Окоп подобен школьной парте,
Но взрывом смыло берега,
И больше нет следов на карте,
И не видать отряд врага.

А небо пулями пробито
И протекает по углам
Как лишнее в хозяйстве сито,
Остатки, брошенные в хлам.

Идёт, не опасаясь вспышек,
Без правил смерти и добра.
И только мамы ждут мальчишек,
Ушедших с нашего двора

Метафора взрывает повествование тревогой: *«А небо пулями пробито / И протекает по углам / Как лишнее в хозяйстве сито, / Остатки, брошенные в хлам»*. Неожиданный образ! Раньше нас беспокоили, применительно к небу, разве что озоновые дыры. А теперь – «небо пробито пулями» – и, когда идёт дождь, именно поэтому оно протекает! И, конечно, небо протекает, в переносном смысле, ещё и потому, что от этих пуль у всех едет крыша – и у тех, кто стреляет, и у тех, кто слушает новости. Жизнь героя стихотворения Бориса Фабриканта странно продолжается и после смерти. Убитые мальчишки будут с укором глядеть на нас и десятилетия спустя. В этом смысле убитый продолжает «стрелять» и после смерти.

Владимир Козлов в книге «Зачем поэзия» затрагивает важную, на мой взгляд, нравственную тему, которая имеет самое непосредственное отношение к творчеству Фабриканта. Козлов пишет: «Художник по своей природе не может поддерживать военные действия». Война вызывает у Бориса Фабриканта отторжение: *«Война кипит, приправлена деньгами, / В котле черпак из свежих черепов. / А власть всегда грохочет сапогами / И убивает без последних слов»*. Поэт задаёт себе отнюдь не праздный вопрос: «Откуда берутся ожесточение и ненависть? Ведь родители вкладывали в этих людей любовь». *«И поля заполнили могилы, / И таблички трудно перечесть. / Это ж сколько матерей любили / Тех, кому в могиле места несть?»*. Борис Фабрикант использует здесь «остранение», о котором говорил Виктор Шкловский. Это даже не «осмысление», это крик души поэта. Почему вложенная матерями любовь постепенно трансформируется у людей в ненависть, в братские могилы? Из современных поэтов часто использует остранение Надя Делаланд. Страдают от боевых действий не только люди военные – в страхе постоянно находится и гражданское население:

В туннелях улиц бредут машины,
Привычен воздух забот и быт.
Крадутся люди, они мишени,
В стрелковом тире сезон открыт.

Взлетают взрывы, и выстрел где-то
За длинным эхом разбитых стен.
Сгоревший город похож на гетто
Последней жизни, попавшей в плен.

Приведу ещё одну цитату:

Свет померк, измученные очи
Разглядеть не могут, меркнет взгляд,
Тех детей, которых среди ночи
Погубили, как слепых котят.

Там пальба у эха на повторе,
Ни забыть, ни вымолить назад.
След кровавый оставляет Горе,
Отползает, опустив глаза

Горе у Бориса Фабриканта – это гремучая змея. Этот образ поражает воображение ещё и потому, что сейчас у нас – 2025-й год, а это год Змеи. Лирика Бориса пробуждает в нас голос совести. Помимо раненых и убитых, с полей сражений вернутся люди, раненные психологически. И нам придётся «надорванные жизни зашивать». «От времени осталось только завтра», – говорит Фабрикант в другом своём стихотворении, и это завтра тоже может стать проблемным. Что-то ценное и важное потеряно навсегда. «И мир кровит, как тяжелобольной», – с болью в сердце говорит поэт.

Герой Бориса обладает чувством собственного достоинства, которое непросто сохранить в условиях всеобщего ожесточения. Душа у него «крепнет на слезе»:

Грусть всегда явление природы
Как туман и ветер, и вино.
Проникая в душу, пустит всходы,
Будто там жила давным-давно.

Рождена от первых ветров диких,
Приручили, крепнет на слезе.
Загляни в икону, видишь блики
Облаков, растаявших в грозе.

Повзрослела от ударов сердца,
Держит над землёй хрустальный свод.
Мёд и сахар, соль, немного перца
И любви синхронный перевод.

Мы привыкли, с каждого по доле
Как старинный памятный оброк.
Грусть поёт, как птица в чистом поле,
Что Всевышний тоже одинок

Конечно, лучше обойтись без слёз. Но слёзы, как и грусть, укрепляют. Парадокс! Господь – также персонаж лирики Бориса Фабриканта:

Надо понять, что до вечности недалеко.
А расстоянье любое – просто дорога.
Нет смерти, но всё равно, всё равно нелегко.
И нашу жизнь объяснить
Можно только с помощью Бога.
Вот и душа, как всегда, залегает вблизи,
Как руда, как вода, как тропа от порога.
Стыд подбирает и боль, и с надеждой в связи.
Душу понять нашу можно
Только с помощью Бога.

Смысл Вселенной лежит в содержаньи души.
Тайна поэзии – место ударного слога.
Стих – это бакен в течении вечной реки.
Только стихами возможно понять
Пребывание Бога

Стихи – самая глубокая вещь в мире, потому что стихами можно выразить даже то, чего не понимаешь. Глубокий философ, Борис Фабрикант знает, что «жизнь и смерть лишь стороны одной монеты неразменной». Поэт воспринимает их как одно целое. И постоянным рефреном у него звучит мысль о том, что смерти нет: *«Осталось только умереть / И жизнь завершена / Но все мне кажется что смерть / Подобие окна… / И эта оптика любви / И тонкий шаткий свет / Сигналят нам живи живи / И значит смерти нет»*. И хочется верить вместе с поэтом, что уход из жизни – это не конец существования, а окно в новый мир.

«СВОЙ САДИК НА ХРЕБТЕ ДРАКОНА…»

(Александр Правиков, Бульдог судьбы. – М., Синяя гора, серия «Искусство», 2024. – 114 с.)

В стихах Александра Правикова пульсирует современность, они близки и понятны широкому кругу читателей. Поэт говорит о самом важном – о самостоянии человека перед агрессией внешнего мира. Стиль Александра синтетичен: у него можно встретить и постмодерн, и элементы обэриу, и неоклассику. Подкупает свежее, неординарное мышление поэта, необычная оптика. Например, он говорит: «Пар выпускают разношенные дома». И эта «разношенность зданий» изнутри впечатляет меня, как образ. «Стихи Правикова современны по форме и при этом доходчивы. Они хорошо воспринимаются на слух. Это довольно редкое достоинство», – говорит о творчестве поэта Анна Гедымин. Александр пишет и силлаботонику, и белые стихи, и верлибры. Такая универсальность свойственна людям ищущим, по-настоящему творческим. Строки у поэта – яркие, нешаблонные, запоминающиеся. Порой он использует переформатированные центоны из классики:

Не то, что мнили мы, реальность,
Не винегрет из новостей,
Ни разу не плевки на дальность,
А в чём-то чеховская степь,
Где безразличное спокойствие
И в небе хищники рябят.
Одни уходят в добровольцы,
Иных уж нет, а те – в себя.
И ты один сидишь в телеге,
Ни лошади, ни ямщика.
Лишь ветра на траву набеги
И достоевская тоска.
Она по кочкам и по лужам
Тебя стремительно несёт,
И в чем-то арзамасский ужас,
Но в чем-то ямб и наше всё.

Безусловно, у поэта – своя реальность. Значение слова «телега» в двадцать первом веке изменилось, и, употребляя его, Правиков демонстрирует нам невидимую поступь времени. Поэт даёт точное описание современной действительности, в которой сегодня не знаешь, что случится завтра. Как быть? Куда идти? К чему стремиться? Надо не терять присутствие духа, полагает Александр: *«Держи своё спокойствие, держи, / Как бабочку в горстях. / Не спрашивай, по ком звенят стрижи, / Скрежещут и свистят. / Горластая небесная шпана / Кроит и режет синь. / Ни верить, ни бояться не должна / И даже ни просить. / Как весело, наверно, быть стрижом / (Ишь разогнался, ишь…): / Не думаешь, а то ли ты стрижёшь, / О том ли ты свистишь. / В глазах рябит настриженная высь. / Они взвились флажком, / Туда-сюда метнулись, унеслись. / Но всё-таки, по ком?».*

В лирике Правикова часто встречаются «непоэтические» выражения, как-то: хрень и т.п. Эти образы становятся яркими оттого, что читатель не ожидает встретить в стихах подобную лексику. Он начинает «внутренне протестовать», но мастерство поэта побеждает и помогает преодолеть этот барьер. В стихах Правиков не эстетичен, но и не брутален. Романтической приукрашенности нет у него нигде. Это заблудившийся во времени интеллигент. Вместе с тем в его стихах всё время чувствуется, что он – «другой» по своим эстетическим установкам. Это вовсе не мейнстрим в поэзии. Александр ухватил, может быть, главное, чем отличается текущий момент от прежних времён – то, что зло окружает нас сегодня со всех сторон. Ищущий добро подобен сейчас Диогену с фонариком – ну нет его и в помине. У человека остаётся возможность «партийной» принадлежности тому или иному злу. «Откуда бы взяться победе добра / из битвы бобра и козла?» – риторически спрашивает Правиков. Однако ностальгия человека по добру у людей не проходит.

Эпоха, в которую мы живём, агрессивна даже по внешним признакам. Правиков обратил внимание, что в поисковиках Слуцкий-политик «затёр» Слуцкого-поэта. Казалось бы, пустячок, но это тоже много говорит о духе эпохи, о том, что в широких массах политика «съела» поэзию. И это происходит повсеместно. Поэзию затирает не только политика, но и бизнес, диктатура потребителей. Магазину «Леонардо» удалось «сожрать» даже гения кватроченто Леонардо да Винчи. Теперь первым в поисковиках выскакивает именно магазин. Большинство людей интересуется не биографией и трудами великого художника, а товарами, которые можно приобрести в одноимённом магазине. Культурная деградация современного общества достигла такого уровня, что мы стали похожими на новых варваров. Неудивительно, что участились кровопролитные войны.

«А что делать поэту?» – задаётся вопросом Александр Правиков. «Стихами стрелять нельзя. / То есть можно, но получается плохо», – приходит к выводу поэт. Звучит полемично, однако ни у одного нашего классика нет хороших политических стихов. Многие стихи Правикова имеют антивоенную направленность: *«Тут война, а тут красиво. / Это снег, а это смерть. / Эх, неведомая сила, / как ты всё перемесила, / это ж надо так суметь»*. Герой Правикова всё принимает близко к сердцу. Он предпочёл бы стать варягом, китайцем, узбеком – лишь бы происходящее в родной стране не ранило его сердце. Вроде бы ты здесь, на родине, но всё идёт мимо тебя и, что самое страшное, против тебя. «Позорно бежать от судьбы, да и поздно…», по-сократовски признаётся поэт. И потому, наверное, книга называется «Бульдог судьбы». От бульдога не убежишь – это вам не бульдозер. Человек у Правикова словно бы заново изгнан из рая. Поэт говорит о том, что эпоха, с её политической турбулентностью, ставит над людьми постыдный эксперимент. Стихи не спасают и кажутся бесполезными:

Как блестяще доказал эксперимент,
Который над нами поставила эпоха,
Стихами стрелять нельзя.
То есть можно, но получается плохо.

Ещё стихами нельзя накормить,
согреть, защитить от пули, бомбы, болезни.
Видимо, тут нужно
Что-то искусственнее и железней.

Любить и ненавидеть – это да.
А вот убить, родить или разбить окно
(простите, Даниил Иванович) – невозможно.
Хочешь сделать поступок – и ступаешь в говно.

С другой стороны, какая разница, что принимать,
Когда реальность не лечится.
«Дерево – дуб, смерть неизбежна,
Россия – наше отечество».

Я с удивлением обнаружил, что книжный вариант этого стихотворения отличается от этого же текста, опубликованного в журнале «Prosodia». Автор убрал из него последнюю строфу, словно бы заостряя внимание на константах нашего бытия. Иногда «харакири», учинённое над собственным текстом, помогает достичь положительного результата. Такое действие вызывает симпатию: работа над текстом продолжается и после того, как он уже написан. Возможно, такой процесс заложен уже в фамилии автора. Там же звучит и тезис о правоте того, кто отважился править. Дай Бог! Есть личности, для которых жить и мыслить – синонимы. Таков и Александр Правиков. Стихи Александра помогают нам ответить себе на вопрос: кто мы? зачем мы живём..?

Ещё один герой лирики Правикова – Господь Бог. Многие стихи Александра словно бы продолжают пьесу Беккета «В ожидании Годо». *«Дайте море Мандельштаму, / Пастернаку – огород. / Кто умеет, телеграмму / Дайте Богу – пусть придёт»*. Но и приход Всевышнего людям сильно не помогает. Бог не может быть одновременно на стороне каждой из конфликтующих сторон, как об этом заявляют участники конфликта.

Постаревший Бог среди горластых и рослых
Детей выглядит вовсе чужим.
Они суетятся, орут, решают вопросы,
То за ложки, то за ножи.
Ангелы шепчут: «Хочешь, мы сделаем тут прополку?
Всё равно от них никакого толку
И уже терпения нет».
Он смотрит печально и шепчет: «Ещё немного,
Они сумеют…». Звучит как бред,
Но кто я такой, чтобы спорить с Богом.

Человечество идёт в никуда, но хочется верить, что «всё под контролем».

Урок заключается в том, что мы до сих пор не осмыслили предыдущую гражданскую войну, между белыми и красными. Искусственно демонизируя противника, мы самих себя выдаём за «добро».

Если на одной стороне зло, на другой должно быть добро? Но это не так. Лирика Александра Правикова приобретает экзистенциальный характер: *«Если мир похож на большую рану, / И один по другому ездит краями, / То какая у этой школы программа, / И чему мы учимся в этой яме?»*. Мир действительно похож на большую рану. Пожалеть в такой ситуации можно и человека, и страну.

Александр Правиков хорошо разбирается в церковной тематике. Он – добрый христианин; у него в стихах есть ссылки на труды отцов церкви. Этому есть простое объяснение: помимо Литинститута, поэт учился ещё и в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете. Профессиональная подготовка помогает Александру улавливать тонкие психологические моменты: в одном из стихотворений Правиков говорит о том, что даже равенство во Христе некоторым людям обидно, поскольку они считают себя лучше условного бомжа или алкоголика. Творчество, убеждён Правиков – единственно возможное оправдание жизни человека:

Есть такой челлендж – пока живой,
Пытаться лепить живое
Из каши во рту, в голове и вокруг,
Из всех звуков, помимо воя.

Поэт не стремится выглядеть красиво. Основная его задача – донести свою позицию, своё мировоззрение. Это не то чтобы «реализм» – это, скорее, «за реализм», за правду, против розовых очков волшебника Гудвина и «нас возвышающего обмана». У поэта есть определённая философия. Естественная реакция человека на зло, бороться с которым ему не по силам, – спрятаться. Для этого не нужно даже уезжать в деревню или уходить в подполье. Достаточно не участвовать в сомнительных мероприятиях и не висеть в соцсетях, – вот ты и «спрятался». Герой Александра Правикова приходит к идее эскапизма: «Опуститься на дно, как Кусто». Отстраниться, остаться в ладу с самим собой. «Иных уж нет, а те – в себя». Для того, чтобы уйти в себя и не вернуться, необходима внутренняя самодостаточность. «Я сам себе культура и отмена», – говорит поэт.

Речь Правикова афористична: *«Свой садик на хребте дракона / Растить возможно иногда. / Хоть и немного незаконно, / Когда вокруг всему балда. / Когда окно дрожит, как спичка, / От скрипа варварских телег. / Насыплешь семечек синичкам – / И ты хороший человек»*. Замечательное стихотворение, которое побуждает читателей размышлять. Здесь есть очень интересные моменты.

Александр Правиков поднимает ещё одну нравственную проблему. Что даёт нам право считать себя «хорошим человеком»? Отпетый человеконенавистник, погубивший множество жизней, может в домашней обстановке быть милым человеком и прекрасным семьянином, любить своих детей. Очевидно, что это не может являться критерием нравственности и человечности. Наоборот, капля человеческого в людях недостойных даёт им моральное право и дальше продолжать свои злодеяния, внутренне оправдываясь любовью к близким.

Правиков – мастер не только афоризма, но и парадокса: *«Всё пройдёт, что было на века, / Выживет, что кажется непрочным»*. И завершить своё эссе о книге Александра Правикова мне хочется его строчками о том, как рождаются стихи:

В слова играет голова,
И что я с ней поделаю.
А вот что: пёстрые слова
Пойду менять на белые.
Возьмите эту болтовню
И вместе с нею ту,
А мне отдайте слово-ню,
Простую наготу.
Я с ним во рту пойду домой
По улице пустой,
Как будто бы немой – немой
Счастливой немотой.
Мой белый камешек меня
Поднимет и со дна,
Когда во двор придёт она…
Ну, знаете, она.

В ПЕРЕСЕЧЕНИИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ЭПОХ

(Ефим Бершин, Человек параллельной эпохи. Избранные стихи. – М., Общественная палата деятелей культуры и искусства, Русский ПЕН-центр, 2024. – 272 с.)

Книги избранных стихов становятся у Ефима Бершина всё более объёмными, «прирастая» ранними и поздними стихами этого замечательного поэта. Так, «Человек параллельной эпохи» превосходит в этом отношении «Мёртвое море», хотя основной короб стихов у Ефима, конечно, остаётся прежним.

Выстроенная хронологически, новая книга даёт самое полное представление о творчестве Ефима. Некоторые его ранние стихи мне прежде не попадались, и я открыл для себя новую грань таланта поэта. Это стихи, посвящённые живописи – натюрморты, портреты и пейзажи. Ефим – человек разносторонний. Подобно классикам Серебряного века, он хорошо разбирается в смежных видах искусства – в частности, в музыке и живописи. Поэт-мыслитель, Ефим пытается максимально объективно проанализировать всё, что происходит в нашей жизни и в нашей истории. Но и там, где поэт субъективен и пристрастен, это, скорее, плюс для его стихов. Бершин приходит к парадоксальному выводу, родственному геометрии Лобачевского: параллельные эпохи – пересекаются!

Инструментарий Ефима богат и часто для читателя неожидан. Он использует яркие метафоры и обратную перспективу: *«Что музыка? / Один звучащий воздух, / украденный у ветра и калитки. / Мы тоже кем-то сыграны на скрипке»*. Не могу представить себе Бершина, который движется от простого к сложному или, наоборот, от сложного к простому. Ефим сложен всегда, но это не сложность Парщикова или Ивана Жданова. Она – принципиально другая: буквально каждая строка Бершина требует осмысления. Сложность у Ефима – это, прежде всего, плотность и многоуровневость текстов. Бершина трудно с кем-то сравнить или соединить союзом «и». Даже великого Гёте ничтоже сумняшеся соединяли с Шиллером. А Ефим Бершин, в отваге самостояния, стоит одиноко. Это не поза, это гордость одиночества, это горечь непонимания и вызов самому себе. У поэта есть стержень в душе, чувство внутренней правды. Но одному против чуждого душе мейнстрима идти очень сложно. Удивительно: через стихи Бершина я стал лучше понимать чувства Христа. Поэт словно бы «переложил» Священное Писание на язык поэзии:

И где-то, отбившись от стада,
замёрзли мои пастухи.
Тропой Гефсиманского сада,
слепой собиратель стихий.

бегу воскресенья и славы,
и небу, и людям чужой,
такой одинокий и слабый,
с такой непосильной душой.

Рождественские стихи Бершина по градусу повествования напоминают мне пастернаковские стихи из «Доктора Живаго». Стихи Ефима дышат тревогой. Они во времени, вне времени и над временем. Такая перспектива позволяет поэту не только разговаривать с веком на равных, но и опережать своё время: *«бежит, бежит, за мной не успевая, / эпоха обречённая моя»*. Лирика Ефима Бершина проникновенна и печальна. Строки у него кустовые: зацепишься за один смысл, а рядом прирастают другие. Возьмём, например, такие строчки: *«Незаконнорождённый сын виноградной лозы и мула, / мимо денег и мимо времени прущий в прах, / отвалили киты, и надежда тебя обманула, / и покоится нынешний мир на своих черепах»*. Всего четыре строки, но как много вмещают они важной информации! Акустическое мастерство позволяет текстам поэта прирастать дополнительными смыслами и достигать высокой плотности. Стихи, наполненные пластами смыслов, могут рассчитывать на долгую жизнь.

В поэзии Бершина мы неожиданно сталкиваемся с тем, что стихи, написанные в восьмидесятые-девяностые годы прошлого века, абсолютно современны: *«И – в клочья имена и времена. / Горят костры. И брат идёт на брата. / Гуляет Иудейская война / по переулкам старого Арбата»*. Скажу больше: старые и новые стихи Бершина отличить порой сложно, и это придаёт его «Человеку параллельной эпохи» стилистическую цельность, которая редко встречается в книгах избранного. Я бы даже осмелился говорить о «бершинской» ноте в русской поэзии.

Его стихи – это поэзия времени распада, данная нам в отточенной форме. Время по-гамлетовски снова вышло из позвонков. Прошлое беспрестанно сражается за будущее, а в результате будущее неизменно оказывается хуже, чем прошлое. «Время – мера мира», – говорил Велимир Хлебников. Буквально с первых стихотворных опытов Ефим Бершин ведёт жёсткий и бескомпромиссный разговор со своим временем. Автор убеждён: и страна, и время движутся куда-то не туда. Ощущение сквозного времени даёт возможность поэту быть пророком: будет то, что уже однажды было, ещё до нас. С небольшими

изменениями, плюс-минус. Ницше называл это «вечным возвращением». Если Мандельштам «наплывал на русскую поэзию», то у Бершина, на мой взгляд, ситуация диаметрально противоположная – на его поэзию наплывает время. Как это происходит? То, что ранее было неочевидным, приобрело очертания и стало для многих видимым.

Мудрость и глубина, честность суждений поэта проявляются в том, чтобы огульно никого не осуждать. Однако мы неизменно чувствуем зазор между жаждой справедливости и смирением. Но, если каждое поколение станет искать свою справедливость, мы никогда не сможем успокоиться. Важное место в творчестве Ефима занимает еврейская тема, и она у поэта весьма органична. Она нигде не «пережата» – просто существует, как данность. Прекрасное качество для поэта – умение использовать в стихах факты своей биографии.

В целом, стихи Ефима Бершина сочетают метафизику, диалектику и живую жизнь. Он использует, как правило, традиционные стихотворные размеры, наполняя их новым смыслом. Русские поэты пишут ямбом с незапамятных времён. Уже у Ломоносова есть ямбические тексты, ставшие классикой: «Открылась бездна, звезд полна; / Звездам числа нет, бездне дна». Но ямбы у Бершина – это нечто особенное. Такой напор, такая бешеная энергетика в простом и безыскусном стихотворном размере удивляют до глубины души: «*Мы все растаем. Мы вода / больной, пылающей державы. / Мы все по этим трубам ржавым / в огонь, неведомо куда / с глазами мертвенней клише / уйдём, не подведя итога, / без сожаления, без Бога / в своей измученной душе*» («Рождественская оттепель»). Герой Ефима – человек страдающий, ведущий бесконечный диалог не только со временем, но и со своим Богом. У меня сложилось впечатление, что Бог и человек страдают у Бершина в одинаковой степени – там, «где чёрных ночей пустоту / ещё не заполнили смыслом». Один из героев Ефима – ветхозаветный пророк, волею судьбы десантированный в наше время. Он «колесит по миру в катафалке родной страны»:

…сорвавшись вниз, я всё еще живу –
без имени, без возраста, без места
в пустом дому, где стены из стекла,
вражда наивна, а любовь бесплодна,
где нами молча выбрана была
прекрасная, но странная свобода:
свобода выбирать от сих до сих,
свобода стать жуком в навозной жиже,
свобода даже самый лучший стих
не написать и всё-таки не выжить.
Мы волчье племя. Мы сродни волкам.
Но, предавая чистую породу,
мы сами стрелы выдали стрелкам
и сами на себя ведём охоту.
(«Монолог»)

У Бершина происходит, на мой взгляд, «расчеловечивание» современного общества, которое предало эту самую «чистую породу». Свобода и демократия больше ничего не стоят и не значат, их можно взять в кавычки. Вспоминается Высоцкий: «И ни церковь, и ни кабак – / Ничего не свято! / Нет, ребята, всё не так! / Всё не так, ребята…».

«Война перевернула всё моё мировоззрение», – сказал Бершин на презентации новой книги. На вопрос, что изменилось в его стихах со временем, Ефим сказал, что для него, безусловно, есть большая разница между стихами разных лет. И пояснил: «Интимные стихи стали постепенно исчезать. В ранних стихах была энергия, пусть даже не было мастерства. Я жил в этих стихах». Поэт вспомнил забавный случай из своей жизни, когда стихотворные строчки «посыпались» на него прямо во время марш-броска. «Бершин – это поэт с открытым забралом, переводчик с Божьего языка на русский», – сказал на презентации книги редактор отдела поэзии «Нового мира» Павел Крючков. Ефим сумел разглядеть и отобразить черты нового времени задолго до того, как оно наступило. Поэт-гуманист, ветеран боевых действий, Ефим Бершин выступает против войны. И хочется верить, что предвиденье, которое роднит его лирику с пророчествами Даниила Андреева, сбудется:

И кем бы мы ни стали, обессилев, –
вечерней тенью, облаком, золой –
когда-нибудь небесная Россия
соединится с русскою землёй.

ПРОСТИ МЕНЯ, НЬЮТОН!

(Константин Кедров, Альберт Эйнштейн без формул. Собрание сочинений, том 7. – М., Издательский дом Игоря Сазонова, 2024. – 188 с.)

Будучи студентом Константина Кедрова в Литинституте, я, конечно, знал о его увлечении физикой и философией Альберта Эйнштейна. Новая книга демонстрирует степень увлечённости Константина трудами великого физика.

Трудно переоценить влияние Эйнштейна на становление личности Кедрова. Пожалуй, без теории относительности кедровского инсайдаута могло и не быть. Поэтому интерес одного мыслителя к другому не случаен, невзирая на то, что основное поле деятельности Кедрова – поэзия, а Эйнштейна – физика. Константин достаточно профессионально разбирается в области квантовой механики, хотя много времени этому не уделяет. Понимание – свойство гениальных людей, которые схватывают всё на лету. «Скорость мысли больше скорости света», – говорит поэт. Как бывает у многогранных личностей, увлечения оказываются в тени основного рода деятельности. В этом Константин Кедров похож на Эйнштейна, который в часы досуга с удовольствием играл на скрипке.

«Альберт Эйнштейн без формул» – книга в высшей степени нестандартная. Это словно бы интервью наоборот, с комментариями. Текст составлен таким образом, что читателям порой сложно определить, кто говорит, Эйнштейн или Кедров, кто кого комментирует. Перед нами – пример неожиданного соавторства. Когда Альберт Эйнштейн ушёл из жизни, Константину Кедрову исполнилось всего 12 лет. Безусловно, писателю быть «на дружеской ноге» с физиком не зазорно. Тем более людям разных поколений. «Альберт Эйнштейн без формул» – синтез поэзии, науки, философии и религии. У Эйнштейна, как у древних греков, физика снова становится философией. Книга Константина Кедрова чем-то похожа на толкования трудов Аристотеля, сделанные христианскими богословами. Она воспроизводит процесс постижения истины, которым шёл в молодости сам Константин. Читая труды Эйнштейна, Кедров пришёл к открытию метаметафоры и инсайдаута. Это его истоки, и эта книга – дань благодарности великому физику и мыслителю. Тем же путём могут пойти и другие талантливые люди.

Что помогает важным для человечества мыслям выжить в веках? Высокий индекс цитирования. Например, Эйнштейн цитирует Шопенгауэра, Кедров цитирует эту же мысль Шопенгауэра, найденную в книге Эйнштейна, а я цитирую эту же мысль, найденную в книге Кедрова, уже отобранную Эйнштейном. Кедров цитирует у физика те же фрагменты, на которые обратил внимание и я. Мы находимся с ним на одной волне, ведь вдохновение тоже имеет волновую природу. Цитата ветвится, проходя через труды нескольких мыслителей. Вот что говорил Эйнштейн: «Как и Шопенгауэр, я, прежде всего, думаю, что одно из наиболее сильных побуждений, ведущих к искусству и науке – это желание уйти от будничной жизни с её мучительной жестокостью и безутешной пустотой, уйти от извечно меняющихся собственных прихотей».

Эйнштейн повторяет эту мысль в нескольких своих произведениях. Мы видим, что искусство и наука сходятся на поле реализации личностных амбиций. Но талант и тем более гений – не отменяются! Людей, жаждущих состояться, великое множество, а след в истории удаётся оставить единицам. Занятия наукой, как и сочинение стихов, способны придать жизни человека смысл. Они организуют, увлекают, сосредотачивают его на конкретной работе.

Далеко не каждый поэт интересуется физикой. Но сам интерес к космической физике помогает творческому человеку понять некоторые вещи, важные для общего развития. Константин Кедров пишет о парадоксе близнецов, один из которых отправился в космос. Если один близнец в возрасте 20 лет отправится в космос со скоростью, значительно превышающей земные параметры, то, пропутешествовав три года, он вернётся на Землю 23-летним. А встречать его будет брат-близнец 73 лет. Это положение не раз проверялось экспериментально, и эффект замедления времени по мере нарастания скорости сомнению не подлежит. Читая книгу Кедрова, я понял, на какую планету Солнечной системы человечеству стоит обратить внимание в поисках большей продолжительности жизни. Это Венера. Не Марс, а именно Венера. Почему, спросите вы. Дело в том, что орбитальная скорость вращения этой планеты вокруг Солнца превышает аналогичную скорость вращения Земли. А орбитальная скорость Марса, наоборот, уступает земной. Исходя из теории относительности Эйнштейна, время жизни удлиняется пропорционально увеличению скорости полёта.

Альберт Эйнштейн говорит о том, что современная ему физика по необходимости «забрела» на территорию философии. Такова бывает участь многих наук и искусств. Периоды, когда та или иная наука, то или иное искусство удовлетворяются собственным ареалом, перемежаются с временами, когда они активно забредают и на «чужую» территорию. Странно говорить, например, о том, что «Чёрный квадрат» Малевича принадлежит только живописи. Наоборот, парадокс заключается в том, что, может быть, живописи в нём гораздо меньше, чем эзотерической философии. Вот и теория относительности

неожиданно забрела и в астрономию, и в философию, и, как показывает опыт Константина Кедрова, даже в поэзию. Книга Кедрова-Эйнштейна важна нам, прежде всего, как беседа с двумя умными людьми. В поэзии Константин Кедров всегда стремится к новому. Он шагает по непроторенным дорогам.

Эйнштейн изъясняет свои мысли, как заправский писатель. Он рассуждает о том, что цивилизованный человек счастливее, чем первобытный индеец. Во фрагментах Эйнштейна, отобранных Кедровым, прославленный нобелиат выступает и как философ. Его роль после открытия теории относительности – роль мудреца. Бывает полезно выслушать мудрого человека. «Перед Богом все мы одинаково умны, точнее, – одинаково глупы», – говорит Альберт. Казалось бы, какое дело обычному человеку до теории Эйнштейна? «Это дало такой толчок мысли, – пишет Кедров, – что уже через сто лет духовный мир человека изменился до неузнаваемости. Изменился сам человек, обретя неслыханную доселе свободу мысли». И это заслуга не только Эйнштейна, но и Коперника, и Джордано Бруно. «Пространство-время – это не что иное, как зримая вечность», – афористично говорит поэт. После Эйнштейна абсолютной осталась только скорость света в вакууме. Она постоянно одна и та же – 300000 км/с. И время, и пространство утратили свою абсолютность.

«Прости меня, Ньютон!» – написал Эйнштейн в своих автобиографических заметках (Ньютон переводится с английского как «новый звук»). Исаак Ньютон, в отличие от Эйнштейна, видимо, был не таким честным и порядочным человеком. Он присвоил себе идею Роберта Гука о всемирном тяготении, но не только не извинился перед своим английским коллегой, но даже ни разу не сослался на его труды.

«Альберт Эйнштейн без формул» – не только книга о серьёзном. Константин Кедров приводит шуточные эпиграммы английских писателей в переводах Самуила Маршака на физику Ньютона и теорию относительности Эйнштейна:

Был этот мир глубокой тьмой окутан.
Да будет свет! И вот явился Ньютон.

(Эпиграмма XVIII века)

Но сатана недолго ждал реванша.
Пришёл Эйнштейн – и стало всё, как раньше.

(Эпиграмма XX века)

Парадокс – идёшь к свету, продвигаешься вперёд – а тёмного и неизученного вокруг мироздания становится всё больше. Но отважных исследователей это не останавливает. Читайте Альберта Эйнштейна!

СЛЫШНО, КАК ЗВЁЗДЫ ХОДЯТ ПО КРЫШЕ…»

(Людмила Осокина, Сон о нарциссах. Сумеречные стихи. – М., МСЛ, 2025. – 60 с., ил.)

Книга Людмилы Осокиной получилась интересной, потому что она пишет о том, что хорошо чувствует, «о своём». И это своё, с одной стороны, оригинально, не избито, с другой, многим близко и понятно. В основном – женской аудитории. Цветы, зеркала, луна, кошки – всё это островки и атрибуты женского мира. Но не только. «Сон о нарциссах» – это поиски новой гармонии, рождённой на стыке дня и ночи, в мерцании фонарей и засиявших звёзд. Поэтесса органична в полутонах. Всё приходит в движение именно потому, что царство солнечного дня сменяется царством ночи. «Слышно, как звёзды ходят по крыше», – говорит Осокина. «Сон о нарциссах» – это ещё и магия восприятия внутреннего и внешнего мира, которая присуща автору книги.

Есть книги, изданные как цельный проект. Общность, идея доминируют в них над разнообразием. Конечно, тематическое единство проще соблюсти в небольшой книжке. В книге Осокиной есть целостность настроения. В ней много картинок, – не меньше, чем стихов, и её приятно взять в руки. Это не совсем обычно для книги стихов. В стихах, где властвует настроение, очень важен видеоряд, и картинки дополняют у Осокиной лирическое повествование. Книга вышла под эгидой Московского союза литераторов.

Хочу отметить рост ритмического и образного мастерства поэтессы.

Тёмная, тёмная ночь…
Только слышно, как звёзды ходят по крыше…
Сладостный сон превозмочь
И ускользнуть на небо, которое выше.

Магическое покрывало сна
Расстелено прямо под звёздной высью…
Вот и луны блесна
Ходит как маятник между сном и жизнью.

Размытость окрестностей и горизонта помогает героине мечтать. Осокина умело использует принцип контраста. Белое в сумерках контрастирует у неё с чёрным: «белые лилии в тёмном саду». В тексте о лилиях идёт тонкая звукопись, и, если бы я не знал, что это стихи Осокиной, я бы подумал, что это Константин Бальмонт.

В этом саду неземной аромат, –
Это колдуют лилейные феи,
Тихо спустились в таинственный сад:
Белые лилии тайно лелеют.

Такая ворожба в звуке была свойственна этому гению Серебряного века больше, чем кому бы то ни было из наших классиков. Людмила использует не только звукопись, но и мелодекламацию: длинные слова она произносит, разбивая их на слоги. Вот, например, стихи о «киплинговской» кошке, которая по ночам гуляет сама по себе: *«У-ми-ро-тво-ря-ю-ща-я тьму, / Как ты бестелесна и хрустальна… / Ты – принадлежащая – кому? / Тайна…»*. Кошка у Осокиной – больше, чем просто кошка. Это символ. Трудно искать чёрную кошку в тёмной комнате, особенно если её там нет. У меня сложилось впечатление, что Людмила не видит непосредственно чёрную кошку, а представляет её в своём воображении, как визионер: *«Вот она! – бархатной ночи душа! – / Чёрная кошка при жёлтой луне»*. Кошки у Осокиной «мягко ступают» по звёздному небу:

Я видела, как она ступала по ночному небу
Своими мягкими чёрными лапами…
Как она окуналась в бархатную чёрную негу
И любовалась звёздными лампами…

Кошка Людмилы «уходит по звёздной дорожке». Мироощущение поэтессы мистично. Это необычный романтизм, который зажигается от мистических видений, обусловленных временем суток. Вспомним: у Блока Незнакомка тоже появляется в сумерках. А ещё стихи Осокиной – космичны. Внутренний космос героини образует одно целое с космосом внешним, где мерцают звёзды. Звёзды – тоже герои её лирики: *«Дотянусь до звезды! – до самого неба! – / Где ещё серебрятся отсветы грёз»*, – говорит поэтесса. «Ночеведение» Осокиной особенно близко мистической лирике Тютчева, который хорошо чувствовал женскую душу ночи.

Родственность миру классика ощущается во многих стихотворениях Людмилы. Вспоминаются, прежде всего, вот эти его строки: «Как океан объемлет шар земной, / Земная жизнь кругом объята снами; / Настанет ночь – и звучными волнами / Стихия бьёт о берег свой. / …Небесный свод, горящий славой звездной, / Таинственно глядит из глубины, / И мы плывём, пылающею бездной / Со всех сторон окружены». Ночь в стихах Осокиной «амбивалентна» для героини: качнуть может как в плюс (красоту, познание тайн), так и в минус (страхи, космическое одиночество). Но в целом, на мой взгляд, плюсы у Людмилы преобладают. Она сумела «приблизить» к себе зримый космос. «Дотянуться до звезды» становится проще, когда «слышно, как звёзды ходят по крыше».

Чёрный цвет у Осокиной доминирует, как в известной картине Казимира Малевича. Помимо внешнего, у Людмилы есть ещё и внутренний небосвод – это её человеческие пристрастия. Одно из таких пристрастий – кофе. Этот напиток становится у поэтессы панацеей от всего на свете: надо проснуться – кофе! Надо заснуть и видеть сны – тоже выручает кофе. Надо погадать – тут как тут кофейная гуща. Людмила называет себя «кофейной девушкой». Я никогда не задумывался, хотя это и очевидно, над тем, что кофе – тоже чёрного цвета. Но во «Сне о нарциссах» Людмила акцентирует на этом внимание. Стихи Осокиной о кофе написаны с небывалой страстностью. Поэтесса признаётся в любви к этому божественному напитку:

Наливаю сладостей напиток,
Сон души пытаясь превозмочь.
Кофе – это нежности избыток,
Кофе – это ночь.

Чёрная, тревожная водица
Обступила с четырёх сторон.
Пью и пью, и не могу напиться.
Кофе – это сон.

С кофе я, во сне ли, наяву ли,
Постигаю этой жизни суть.
Только вот пойму ль её, пойму ли?
Кофе – это путь.

Все предметы словно бы увеличивают у Осокиной ареал своего обитания: кошка – больше, чем кошка; кофе – больше, чем кофе. Поэтическое ведовство преображает мир. Колдуют ночь, звёзды, лирическая героиня. В этой атмосфере преувеличения всё кажется символом, всё представляется метафорой. И, конечно, всё становится поэзией. Хочется поздравить автора с творческой удачей.

«Я – СИНЕЕ СИЯНИЕ…»

(Николай Архангельский, Всё, до чего есть дело. Сборник стихотворений. – М., Стеклограф, 2024. – 68 с.)

Николай Архангельский начал писать достаточно поздно и прошёл как автор тернистый путь становления. Надо отдать должное Людмиле Вязмитиновой, светлая ей память. Она поверила в поэтический талант Николая и много с ним занималась на семинарах. И вот увидела свет уже четвёртая по счёту книга Архангельского. «Всё, до чего есть дело» – название очень точное. Как можно догадаться, лирика Николая не касается его личной жизни. В этом её специфика и своеобразие. Его стихи – это образные умозаключения. Не каждая жизнь настолько интересна, чтобы её транслировать от первого лица. Это обстоятельство не делает поэзию Архангельского менее насыщенной – ему «до всего есть дело». Николай нашёл поэтическую нишу, в которой ему достаточно комфортно. Даже отсутствие в мире, чаще воображаемое, может восприниматься поэтом со знаком плюс: *«наверное / я бы лучше себя чувствовал / если бы меня никогда / не было / зато не видел бы голубя / пьющего из лужи у автостоянки / розового голубя»*. Мы можем только догадываться, почему это так, но, несомненно, по этой причине мир Николая Архангельского необычен и интересен.

Тема отсутствия героя – на мой взгляд, одна из ключевых в творчестве Николая Архангельского. Человек в этом мире, согласно Архангельскому – не главный и далеко не венец творенья:

звёзды на стене
ушедшей ночи
млечен путь высоких облаков
и память недалеко от сердца
в биении синей крови поворачивает
стрелку компаса на север ноль ноль
а я синее сияние и не верю в цвета
верю в синие цветы, не дающие тени
и мне не щёлкнуть пальцем
потому что меня нет, и только цветы
верят в меня

При отсутствии у поэта яркой биографии происходит «выворачивание» оптики – внешний мир становится внутренним. Автор переживает не за себя, а за других людей, транслирует в стихах то, что происходит во внешнем мире, в разных, иногда весьма отдалённых эпохах. Даже детские воспоминания об увиденном давным-давно по телевизору могут быть очень яркими. Александр Спарбер, например, написал стихотворение-симфонию о голландских конькобежцах, сражавшихся за победу на Олимпийский играх в Гренобле, и это одно из лучших стихов в его последней книге. Поразили меня и стихи о спорте у Николая Архангельского. Стихотворение посвящено памяти олимпийских чемпионов в танцах на льду Людмиле Пахомовой и Александру Горшкову и называется по имени их знаменитого танца – «Кумпарсита».

Я заливаю маленький каток,
и взглядом замораживаю воду,
я достаю из ящика комода
двух фигуристов с медный пятачок.
Он в тройке, и она в трико и в пачке
с наклеенной улыбкой навсегда.
И волшебства печальная заначка
сжигает воздух, под коньком – звезда,
кортэ назад, объятье и полёт.

Ahorita cimparsita, господа!
Приветствуйте запальчиво и громко,
как бывший век, не бывший никогда,
как старый цирк зверей на Божедомке…

Но
лампа
комната
иконка
и время как
не-время
антипод.

Это просто какая-то мистерия, портал из прошлого. Какое время следует считать настоящим? Что было в жизни, а чего не было? В поэзии – всё одновременно, всё сосуществует. Автор тяготеет к произведениям сложносочиненным, даже если по форме это миниатюры. Такова природа его таланта. Но этим и живёт современная поэзия. Пример Николая наглядно доказывает отсутствие связи между стилем поэта и его возрастом. Молодой человек вполне может сочинять скучную силлаботонику, подражая Пушкину, а немолодой – быть авангардистом. Всё зависит от ингредиентов бытия и таинственных соответствий. Именно поэтому каждый человек – чудо природы, а его творчество – уникально. Достоинство стихов Николая Архангельского – в том, что он не хочет повторять сказанное другими. Он ищет необычное, незатасканное, оригинальное:

Дерево – человек
мегаполиса-леса
крона – небо, и у обезглавленных
болит голова фантомными болями
и высочайшие владеют
светом неба

на поваленных стволах
побеги, изломанные пальцы Джанго

никто

кроме огня не видел
как дерево испускает дух

В жизни бывает много как плохого, так и хорошего. Подчас мы обращаем внимание на одно – и совершенно игнорируем другое, может быть, как раз то, что дало бы душе так необходимое ей равновесие. Но тогда… может быть, не было бы стихов, продиктованных горечью, когда минор доминирует над мажором. Существуют глобальные философские категории: недостаток – избыток, свет и тень. Их игра в жизни любого человека никогда не прекращается. Николай Архангельский пытается осмыслить эту игру противоположностей: *«художник, друг света и тени / отменил тень, / и отменилось / искусство, бессмысленное / в совершенном свете / и свет не владел / тайной тени»*.

Крайности доставляют нам душевный дискомфорт. Но человек – мера вещей, и, возможно, счастье – это просто баланс между светом и тенью, между нехваткой и ненужным изобилием. Стихи Николая Архангельского становятся интересными, когда он строит космогонии, неожиданно связывает диаметрально противоположные области человеческой деятельности, находит неожиданные ракурсы зрения. Он достигает своих маленьких вершин при помощи других даров Всевышнего и других поэтических средств – не тех, которыми пользуется большинство поэтов.

Когда ничего не было
и никто не провинился
небо повесило
звезду-вину
чтобы когда-нибудь
серебряный век в тишине
настольной лампы стал

вечерним альбомом Марины
шлейфом её серебристого платья
в прохладе комнаты
и свет рождался
из его вечернего серебра.

На примере Николая Архангельского мы видим, что ничто не может помешать человеку быть поэтом и состояться в слове, даже технические огрехи. Он уже нашёл своё «синее сияние». Для меня показательно то, что в новой книге Николая много интересного – и одно, и другое, и третье хочется процитировать. Глаза разбегаются, и это очень хорошее изобилие. Речь поэта высоко афористична: *«Бог не убивает / стреляет по колесам»*, *«Отнять у красоты гордыню / как руки у венеры»*. Николай искренне признаётся, что вначале завидовал более мастеровитым собратьям по перу. Но всё это сошло на нет, как только он нашёл в поэзии свою стезю: «сошла прыщавость зависти / осторожности в компании сильных». «От малого до большого / столько шагов», – говорит поэт.

Однажды
закончится масло
в фонаре мудреца
который ищет
в толпе человека.
Он наденет сандалии
и покинет уют своей бочки
и от него отдалятся
легенды о нём.
Люди вспомнят сказанное им
не вспомнив о нём
и о народе скажут

мудрый

«МАРТ К УТРУ НАКРАХМАЛИЛ СОРОЧКУ…»

(София Селектор, За кругом круг (времена года). – Барнаул, Издательство «КНИГА.РУ», Петров. 2023. – 86 с.)

У Софии Селектор – традиционные женские стихи, в основном посвящённые любви. Но у неё, безусловно, есть своё «лица необщее выражение». София – акварелист слова. В её поэтической речи есть изюминка: кружева, танец, хоровод, бисквит неба, «взгляд сквозь вуаль»: «*Заневестилась весна, распустила косы, / примеряет, как фату, яблоневый цвет. / Поцелуем на губах утренние росы / отражают сквозь вуаль розовый рассвет*». Кроме проговоренного, автор обращает наше внимание на невысказанное: оттенки, полунамёки: *«Что-то большее – между рифмами, / между строками и словами. / Что-то большее между ритмами, / между звуками, / между нами»*. Стихи её изысканны и воздушны. Однако не случайно её имя означает «мудрость». София дружна с философией: *«всё стало до предела просто: / не до оттенков – / жизнь и смерть. / Об этот чёрно-белый остров / разбился камень философский. / В осколках – тысяча вопросов. / Хоть на один / посмей – ответь!»*. Поэтесса пытается осмыслить свою жизнь: *«А мой маршрут / в морях безвестных, / где мель страшнее глубины, / где ночь встаёт скалой отвесной, / где в небесах сомненьям тесно: / что было б вредно? / что полезно? / в чём есть вина? / в чём нет вины?»*. Автор понимает, что есть вопросы, на которые нет ответов: «Что знаем мы с тобой о „навсегда“?». Но жить и мыслить для её героини – синонимы.

У каждого человека есть своё любимое время года. Пушкин, например, очень любил русскую зиму. Но любил он и осень – творческим людям часто нравятся разные сезоны. Времена года широко представлены в творчестве художников, композиторов и писателей. Глаз художника радуется и золоту осени, и весеннему цветенью нежных и хрупких первоцветов, и летнему разнотравью, и зимней сказочной белизне, кораллам снежных веток. Новая книга Софии Селектор посвящена разным временам года. У деревьев, как мы знаем, образуются годовые кольца. У людей – годовые воспоминания, по выражению Софии Селектор, «за кругом круг». Есть ли какая-то связь между любимыми временами года и лучшими стихами? По идее, она должна быть. Но что-то драматическое в жизни может произойти в любое время года. А стихи порой призваны восполнить горечь утраты. Календарный год начинается у Софии Селектор с зимы: *«Искрится снег дорогой в рай, / и солнце дразнит поутру. / Но зябко ёжится февраль / простоволосый на ветру»*.

Подобно Чайковскому или Вивальди, поэтесса умеет писать портреты разных месяцев. Складывается впечатление, что календарный месяц – это живая душа: *«Апрель. / Весь город, как с похмелья, / откинув снега*

покрывало, / сидит в неприбранной постели, / помятый, серый и усталый». Конечно, книга составлена автором из уже готового материала. Пишешь, как пишется, как того просит душа. А потом уже ищешь связующую нить, компонуешь из того, что объединяет. На мой взгляд, лучшие стихи в новой книге – «мартовские»:

Март к утру накрахмалил сорочку,
распахнул голубые глаза
и, подкинув игривую строчку,
по снежку, то скрипя, то скользя,
добежал до угла и оттуда
снежной крошкою дунул в лицо,
рассмеялся, игрушечной вьюгой
закружил в ледяное кольцо.
И до вечера неутомимо
то подмигивал тонким лучом,
то искрился в улыбках любимых,
то укутывал серым плащом.

А потом в лунном бархатном свете
в чуть небрежно распахнутом фраке
он нам Баха играл на кларнете,
и вздыхали снежинки о Бахе…

В этом стихотворении мы снова видим красочный портрет месяца, в данном случае – марта. Хотя книга начинается и заканчивается зимой, самые задушевные стихи Софии Селектор, на мой взгляд, посвящены весне:

Размашисто ложатся тени
на мартовский осевший снег.
С кошачьей грацией и ленью
они дотянутся до всех:
до лужицы, и до сосульки,
капелью брызнувшей в тиши,
до всех продрогших закоулков
моей зимы, моей души.

И каждой веточкой берёзки
сверкают в солнечных лучах
на снежно-настовых подмостках
беспечной стайкою девчат.
Переглянулись, прыснув смехом,
заигрывая с ветерком,
и птичий щебет робким эхом
им откликается легко.
А ветер вдруг нахмурил брови,
цепочку облаков пригнал
и впопыхах какой-то кровлей
загромыхал!
загромыхал!!

Вздохнёт и вновь, как из лукошка,
рассыплет тени на снегу,
кот у прогретого окошка
игриво выгнется в дугу,
следя, как тонкий луч весенний
мой мартовский осевший снег
расчертит на полоски тени –
на Тьму и Свет,
Печаль и Смех.

Любовная и философская лирика Софии Селектор дополняют друг друга. Одностороннее бегство из любовных отношений всегда немного философично:

Давайте проведём черту
и опасаться впредь не будем
за лёгкость и за чистоту
прикосновений душ и судеб.

Давайте обозначим грань
за облачком над чашкой чая,
чтоб впредь сплетать молчанья скань,
самим себе не изменяя.

II выберем полутона –
поверьте, в жизни красок хватит,
чтоб ощутить тепло вина,
похмельной горечи не тратя.

II (да простит меня Господь
за несвершённые ошибки!)
давайте позабудем плоть
по эту сторону улыбки.

Даже у взаимных чувств бывают свои приливы и отливы и свой «период полураспада». И тот из партнёров, кто охладел к другому раньше, желает перевести отношения в иную плоскость, сохранив душевную теплоту и поэзию. Никому не хочется чувствовать себя виноватым. У партнёра ещё всё горячо, он ничего не подозревает, а всё уже изменилось, мосты разведены. Это может привести к трагедии, и героиня Софии Селектор пытается спасти ситуацию. Но тому, кто испытал любовь, сложно согласиться на дружбу. Любовь – волшебный напиток, в котором сложно «понижать градус». Даже если любовь скоротечна – это маленькая жизнь. И остаётся послевкусие.

София Селектор совмещает литературное творчество с научными изысканиями. Научное мышление и поэзия у неё дополняют друг друга. Но, если бы об этом не было сказано в аннотации к новой книге, я бы, наверное, и не догадался: сугубо научных слов в её лирике практически нет. Многие стихи Софии Селектор пронизаны живописью. Она чувствует себя и природу как одно целое. Позитивное, гармоничное – доминирует. Но иногда в прекрасный мир врывается трагическая нота: уходят друзья, в том числе – наши общие. Стихотворение «Когда умирает ребёнок» вызывает боль и сочувствие. Сама жизнь, переливаясь в стихи, словно бы достраивает судьбу, где есть всё – как хорошее, так и плохое. Настроенность на позитив, вера в лучшее, стихи, написанные на одном дыхании, моцартовская полётность и стремительность помогают Софии Селектор выстоять в непростых жизненных ситуациях и двигаться вперёд.

РАЙ ПОНИМАНИЯ

(Юрий Нечипоренко, Смыслы русской культуры. – СПб., Алетейя, 2025. – 286 с., ил.)

По калейдоскопической насыщенности книга Юрия Нечипоренко напоминает мне «Опыты» Мишеля де Монтеня. Это настоящий слоёный пирог. Между тем её структура очень продумана. И «паровозиком» в ней выступают именно культурологические статьи о языке, что явилось для меня определённой неожиданностью. Нечипоренко – любознательный писатель, который многим интересуется. Спектр его духовных интересов настолько широк, что, если объединить всё, что им написано, в одну книгу, неизбежно возникает эклектика. Другой вопрос, надо ли этого бояться? Может быть, это естественное состояние души писателя? В моих глазах «многостаночность» автора – несомненное достоинство, поскольку быть разнообразным – сложно. Каждый материал Юрия – самоценен, самодостаточен и является самостоятельной «боевой единицей».

Книга Юрия Нечипоренко начинается с размышления о том, что слово истина на разных языках имеет разное значение. Юрий цитирует Павла Флоренского: «Истина для русских может изменяться вместе с изменением жизни, истина не есть нечто незыблемое, раз и навсегда данное или обещанное кем-то». Язык – зеркало души народа и «кровь нации». Поскольку у разных народов самые важные для жизни понятия трактуются по-разному, нам порой бывает сложно понять представителей других национальностей. Родной язык даёт человеку максимальную свободу, но, одновременно с этим, ограничивает его по отноше-

нию к тем, кто говорит на других языках. Язык начинается с самых важных, «корневых» слов: истина, мир, весть, смысл, ведать. Автор книги рассказывает о возможном происхождении этих слов. В родственных нам славянских языках есть свои интерпретации этих слов, которые расширяют для нас их значения.

Что привлекает внимание в новой книге Юрия? Писатель, ссылаясь на разные источники и цитируя других авторов, транслирует именно СВОЮ точку зрения. Такая точка зрения может быть у Нечипоренко нестандартной – то «левой», то «правой». Автор поочерёдно оказывается то в большинстве, то в меньшинстве по отношению к мейнстриму. Но это обстоятельство, кажется, мало его волнует – он слушает себя, что ему подсказывают в том или ином случае ум и сердце. Например, Юрий считает, что проблемы засилья иностранных слов в русском языке не существует – есть только проблема неправильного их использования. Я с пониманием отношусь и к противоположной точке зрения, но склонен полагать, что действительно, как сообщает Юрий, «русские» и «иностранные» слова в тексте помогают друг другу, если их уместно употреблять. Это достаточно либеральная точка зрения. Но живой язык – самостоятельный организм, который способен самообогащаться и самоочищаться. И он делает это независимо от наших пристрастий и предпочтений.

На язык нужно смотреть с точки зрения значительного промежутка времени. Через несколько столетий, возможно, инородные слова настолько ассимилируются с коренными, что их будет трудно опознать. А вот «правам человека» досталось от Юрия Нечипоренко по полной программе. Писатель говорит, что часть своих гипотетических прав человек «отнял» у Бога. По мнению Юрия, «права человека» превращаются в «права врага рода человеческого». Вопрос спорный. Ясно одно: права человека и свобода слова – понятия не абсолютные. Бывают ситуации, когда требовать соблюдения таких прав точно не следует. Юрий Нечипоренко не одинок в своих воззрениях. Он проявляет себя достаточно гибким мыслителем, а глава, в которой он анализирует эти проблемы, называется «Рай понимания».

В рубрике «О писателях» Юрий Нечипоренко рассказывает о таких знаковых фигурах отечественной словесности, как Николай Гоголь, Владимир Даль, Михаил Ломоносов, Иван Бунин. Две главы посвящены в книге украинскому кобзарю Тарасу Шевченко и собирателю русских сказок Александру Афанасьеву. Помимо культурологии и литературоведения, важное место в книге Нечипоренко занимают эссеистика и публицистика, рассказы и сказки. Иногда это совсем другой градус повествования. Так, в рассказе «Эмигрант» автор рассказывает душераздирающую историю любви в чужой стране, познакомившись с которой, читатель вряд ли сможет быстро успокоиться. Фактически у Нечипоренко представлены в книге все виды прозаических произведений, в которых работает писатель.

Есть в книге и такой неожиданный жанр, как интервью с интересными людьми. Тёплая статья посвящена нашему общему другу, недавно от нас ушедшему – художнику Юрию Косаговскому. Нечипоренко называет Косаговского «радикальным дилетантом». Дилетант может превзойти профессионалов за счёт дара души и глубинного понимания. Там, где другой человек достигал цели упорным трудом, Косаговский мгновенно «считывал» тайные смыслы сердцем и интеллектом. Ему и свойствен был, на мой взгляд, «рай понимания». Форма интервью, которую использует Нечипоренко, даёт нам возможность услышать «живого» Косаговского, поэта, художника, импровизатора, который, невзирая на свой «дилетантизм», читал студентам интереснейшие лекции по эстетике.

Если вдуматься, дилетантом был даже Сократ, который «знал, что ничего не знает». Радикальный дилетантизм, действуя за счёт энергии постижения, противостоит узкой специализации в искусстве. Я убеждён, что сам Юрий Нечипоренко солидарен с Косаговским в том, что рыбу нужно ловить широким бреднем, независимо от степени своей осведомлённости в нюансах такой ловли. Это даёт возможность взглянуть на мир шире – так, как смотрели на него древние люди. Юрий Косаговский был убеждён: «изобретать велосипед» – нужно! Это, во-первых, раскрепощает сознание. Человек развивает в себе склонность к изобретательству. Во-вторых, среди дюжин «велосипедов» может вдруг обнаружиться новаторский, ещё никем не изобретённый. В подтверждение своих слов Косаговский рассказал в интервью о своей живописи «кружочками», которая привлекла внимание крупнейших коллекционеров, в частности, Георгия Костаки.

В чём достоинство интервью, которые вошли в книгу-симфонию Юрия Нечипоренко? Это беседы высокого интеллектуального уровня на равных. В той же беседе с Косаговским у него это не просто вопросы, а развёрнутые реплики. И собеседники автора говорят настолько интересные вещи, что книга прирастает прозрениями этих талантливых людей. Это не только писатели. Так, художник Александр Захаров очень точно обрисовал свойство русского человека. «В чём специфика русского искусства?» – спрашивает Нечипоренко. На что Захаров ему ответил: «Она связана со спецификой русского менталитета: нам хочется всего и сразу. Сел парень первый раз за руль «мерседеса – и хочет сразу проверить «тачку» на скорость. Он готов дать газ, утопить педаль до дна… Надо бы вначале научиться управлять на малых скоростях, овладеть всеми премудростями вождения мощной машины – нет, нашему человеку претит осторожность, он хочет риска. Вот ребята и бьются насмерть, колотят других. Можно ведь не торопясь, умело расходовать свой ресурс, имея в виду его запас: силы каждого человека ограничены. А можно сжечь сразу. Как в машине – дать по всем газам. Проживёшь недолго, но ярко… Мы основаны

на взрыве, нас перехлёстывают эмоции, мы умеем сражаться, можем всё расколошматить, а договариваться между собой не умеем. Не смогли наши жрецы договориться между собой, призвали варягов. Так вот и до сих пор русские плохо умеют договариваться, зато хорошо умеют драться. И – увлёкшись дракой – забывают, за что дерутся».

Плотность текстов в книге Юрия Нечипоренко такова, что рассказать обо всём сложно. Поэтому буду избирателен – есть сюжеты, которые затронули меня по-особенному. Не так давно умер поэт Станислав Красовицкий, на чьём творческом вечере я побывал незадолго до его кончины. Это необычная судьба. Подобно Гоголю и Льву Толстому, он отрёкся от своих ранних произведений. И тоже начал писать по-другому. Став священником, он писал, на мой взгляд, банальности, которые ничем не напоминали его ранние работы. Раннее творчество поэта вызвало неподдельный интерес у многих поклонников его таланта, среди которых были такие известные поэты, как Анна Ахматова, Дмитрий Бобышев и Иосиф Бродский. Религия одержала верх в отдельно взятом человеке над поэзией. Для его души это, наверное, хорошо, а для искусства – не очень. Невзирая на богатство нашей словесности, каждый голос в ней важен. Юрий Нечипоренко подробно рассказывает о судьбе Красовицкого. Его драма была не только в том, что он не хотел печатать свои ранние стихи. Много «его» стихов было написано другими людьми. В какой-то момент писать «под Красовицкого» стало модным. Должен сказать, что Юрий Нечипоренко рассматривает судьбу этого поэта несколько иначе, словно бы примиряя ранний и поздний периоды его творчества.

Как и Василий Розанов, Юрий Нечипоренко считает самым главным в искусстве понимание. Многие важные вещи Юрий понимает по-своему, не так, как другие. Но это как раз интересно: писатель над всем этим размышлял и пришёл именно к таким выводам. Мне импонируют человеческие качества Юрия Нечипоренко. Он – человек вдумчивый и лёгкий в общении, твёрдый и постоянный в дружбе. Творчество Юрия Нечипоренко способно удивить даже подкованного, искушённого читателя, который хорошо знаком с его работами. Меня, например, заинтриговала статья о мифах древних шумеров. Нечипоренко рассказывает увлекательный шумерский миф о двух сестрах – владычице «верхнего» мира Инанне и Эрешкигаль, которая правила подземным миром. Книга издательства «Алетейя» хорошо оформлена. В неё включены цветные репродукции работ художников, о которых рассказывает Юрий Нечипоренко. Наука и искусство в XXI-м веке тесно сотрудничают. Это время Юрия Нечипоренко, учёного и исследователя. Неудивительно, что его труды широко востребованы. В добрый путь!

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» РИММЫ НУЖДЕНКО

«СТРАХ КАК ВЫСШАЯ МЕРА»
опыт прочтения прозы

о повести «Коробка с зефиром» из книги Светланы Волковой «Великая любовь Оленьки Дьяковой» (М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2024)

В ком сердце есть – тот должен слышать время…
Осип Мандельштам

Признаюсь, что, хорошо зная лирическую и историческую прозу Светланы Волковой, ироничную и трагичную, я с нетерпением ждала книгу, где влюблённая в родной город писательница соберёт петербургские истории под одной обложкой. И дождалась. Книга вышла с красивым названием «Великая любовь Оленьки Дьяковой» и рисунком Города на обложке. Она повествует о событиях столетней давности в исторической обратной перспективе. Но эти события воспринимаются нами так, будто они происходят сегодня. Без преувеличения, вышедшую книгу можно назвать петербургским текстом. Город на Неве – главный герой всех историй. Это он – город-фантом, многолико прекрасный и одновременно страшный своей историей. Петербург всегда был разным – и красивым, и жестоким, залитым водой и сверкающим в блеске золотых шпилей. И кровавым, и праведным. Он решал, кому суждено жить, а кому – умереть.

Коренная петербурженка, Волкова признаётся в любви к городу, из которого нельзя уехать насовсем. В каждой новелле книги Город присутствует на правах героя. Он входит в диалог с действующими лицами, создаёт тот фон, без которого сюжет не существует. На фоне города живёт и пульсирует любая тема. Расширяясь, она продолжается в новых десятилетиях. Город – зеркало персонажей книги. На её страницах перед нами прошло изменчивое время, собственное Время Великого Города, которое обросло историями жизни героев. Не скрывая ничего из прошлого, Волкова переносит его опыт на людей из своих рассказов, утверждая, в конечном итоге, самое главное – Жизнь. Детали, монологи, метафизические уходы от реальности, подмену понятий и событий, использование в сюжете психологического триллера – всё богатство изобразительных средств автор использует для того, чтобы, согласно Набокову, «сделать читателя – зрителем». Волкова искусно погружает нас в свой мир, наделяя читателя двойным или даже «круговым» зрением. В Петербурге история идёт по кругу. И воскрешение начинается с размыкания этого круга.

В повести «Коробка с зефиром» Город на правах полноценного героя становится стержнем, проходящим через несколько повествовательных линий и скрепляющим их. В итоге складывается картина, где в контурах рисунка возникает то сияние, то тьма, то таинственный полумрак, где в дымке «слышен» воздух любимого города. Эта единая картина сменяющихся героев и событий постепенно собирается перед читателем, и только одно останется постоянным – свет Прошедшего времени Города, времени основ. Законченность текста совпадает с законченностью картины, и в процессе прочтения эта идея наполняется всё большим смыслом. Изменяющиеся свет и контуры картины близки смене времени в иллюзорности восприятия, подмене понятий, часто встречающейся в прозе Волковой. Это путь героев к познанию самих себя, попытка соединить близкие визуальные образы, найти общность и различие.

Повесть «Коробка с зефиром» – о трагическом периоде в истории страны и Города – сырого, наполненного памятью прошлого. Мы переносимся в Ленинград 1936 года, предвремье Большого террора, начавшегося после убийства Кирова.

Автор в повести исследует проблему страха, скрытые глубины человеческого «Я», связывает их с проблемой зла и, как следствие её, с предательством. Здесь в противопоставлении реального и возможного кроется ответ на главный вопрос текста – *кто?*

Повесть стоит особняком в корпусе книг автора Волковой. Повествование начинается со знакомства читателя с общей ситуацией в стране и в городе – таких прологов у автора прежде не встречалось. Социальная составляющая открывает дверцу, за которой находятся все тайны этой истории.

Город постепенно словно бы слепнет и глохнет, теряя вкус к жизни. Он превращается в камень, над ним витает тень предательства. Искушение злом – сквозная тема в судьбах героев повести. Её прообраз мы находим в Евангелии от Матфея: *«Берёт Его Диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все царства мира и славу их. Всё дам тебе, если падёшь и поклонишься мне».* Пройти через искушение – кульминация нравственного сопротивления.

Повесть Светланы Волковой – не про конкретную вину одного человека. Она про страх, который заполняет всё. Цепь событий приводит к неявному ответу, и каждый раз в происходящем незримо присутствует образ Города. Теперь это город неприкаянности и темноты, – город, в котором поселился страх.

Автор вводит нас в историю, чем-то похожую на детективную, если бы не одна оговорка: за окном август 1936 года. Время указано точно, и для нас, знающих историю, это больше, чем цифры.

Первая фраза повести – ключ. Она задаёт тон всему остальному тексту, так автор знакомит нас с главным героем этой истории.

«Почему Сева Гинзбург вышел из этой истории целым и невредимым, осталось загадкой для всех…».

Так начинает автор знакомство с героями повести, и с первых строчек работает авторский метод – происходит подмена понятий.

Только в квартире Муры, где собиралась «Артель», как называли себя члены кружка, герои нашей повести, было легко и уютно. Герои сознательно пытаются защититься от реальности. Всё, что за окном, кажется им далёким и искусственным. Они чувствуют себя в безопасности в иллюзорном мире своего благополучия. Двойственность поведения героев – один из основных организующих принципов построения текста.

В руках одного из пришедших, вернувшегося из Москвы, Лоскутенко, оказывается коробка с зефиром, перевязанная грубой бечёвкой крест-накрест. Он вручает её художнику Севе Гинзбургу, который становится главным героем, а коробка – смысловым стержнем повести. Так, короткими ёмкими фразами автор выстраивает сюжетную линию текста, сразу погружая читателя в мир, страшный в своей правдивости, где героям придётся пройти путь слома и предательства, зеркально отражающего время.

Надо лишь снять плёнку с Петербургского воздуха, и тогда обнажится его подспудный пласт.

Осип Мандельштам

Загадки начинаются с самого начала. Сознательно или случайно коробка попала в руки главного героя, мы пока не знаем. Автор организует текст таким образом, что зачастую он зашифрован, а герои владеют и замком, и ключом одновременно. На этом принципе реализуются разные смысловые пласты текста, а читателю предстоит стать полноправным участником событий – только так появляется возможность расшифровать текст.

Повесть написана в не совсем обычной для автора манере. Светлана Волкова редко прибегает к портретному описанию действующих лиц. Эпитеты беспощадно правдиво характеризуют героев, и детали здесь отнюдь не второстепенны (Мура, похожая на перчаточную куклу; Шляпников, всегда элегантный, с заграничным лоском; Жора Аванесов, удачливый и неглупый).

Портретное описание не просто относит нас к конкретному персонажу. Это свидетельство времени. В жизнь людей с неприкрытой откровенностью ворвалась сила, строящая человека помимо его воли. Среди них выделяется необычностью портрет юной девушки, пришедшей с Жорой, и эта необычность заостряет на себе внимание. Значимость персонажа показана с позиций незаметности, умения раствориться: *«она бесцветна, как мучной червь».* Потом все долго вспоминали её имя – Ксюша. Именно в руки Ксюши попадает коробка. Полная характеристика этого персонажа проливает свет на дальнейшее развитие сюжета, и возникает ощущение, что перед нами – важное действующее лицо.

Такова вводная часть повести, а дальше начинаются аресты. В сознании главного героя, Севы, время остановилось в той точке, с которой всё началось – с последней вечеринки. С этого момента на сцену выходит его второе «я» – страх. Этот метафорический герой будет управлять его жизнью и поступками. Страх, спрятанный в эмоциональной памяти, был потусторонней силой, которая жила в нём, но пряталась в темноте. Страх сегодняшней реальности повернул время вспять, воскресил старые ощущения и стал, по закону детектива, триггером для возвращения в детство, вызвав давно забытый знакомый озноб.

«Тридцать лет назад, в 1906 году, Севу нашли грязным, оборванным пацанёнком на перроне. Точнее, под перроном, возле беременной суки, о брюхо которой он грелся».

Воровал, били, ловили, затем детдом – вот хронология его сиротства.

Страшное прошлое – мальчик, лежащий на рельсах. Это была жизнь, ужасающая своей обыденностью. Потом появились приёмные родители, копией умершего сына которых он являлся.

Сева рассматривает себя с позиции того, кем он стал, а его двойник, страх, – с позиций, кем он *мог бы* стать. Жизнь сложилась, а страх остался. Здесь, в повести Светланы Волковой, – квинтэссенция сюжета, его смысловой стержень. Страх порождает зло, парализует волю и подавляет личность. Всеобщий страх – это зло, которое способно управлять временем. Интересным кажется, что герои истории оказываются заложниками своего внутреннего состояния. Это показано Волковой с безусловной честностью, их поведение динамично меняется в течение всего текста. На базовой основе «страха» раскрывается суть человеческих отношений, и читатель находится в постоянном напряжении, ведь тайный ключ от потайной дверцы, где лежит ответ на вопрос, кто здесь предатель, автор держит про запас. Здесь нет мистики, это выглядит реальной историей с упором на «коллективное бессознательное».

Дальше история разворачивается с невероятной скоростью. Аресты друзей следуют один за другим. Случайно Сева становится свидетелем одного ареста – Лоскутенко – и впервые видит человека, которому суждена роль вершителя судеб, олицетворяющего собой зло. Это человек-тень, стоящий за сценарием всей истории. Всё та же незаметность в портрете. Он запоминается только одной деталью: *«мужчина в штатском с обезображенным ухом»*. Страх ареста заставляет Севу прятаться. Заметая следы, как заяц, он кружит дворами-колодцами. «Город – свой, он поможет», – слышится между строк.

В повести есть и герои, олицетворяющие Добро. Само время тогда облекалось в символические маски, и иногда трудно было отличить друга от врага. Спасение видится главному герою в одном: надо найти Ксению и забрать коробку с зефиром. Так он попадает в посёлок Тайцы, мистическим образом встретившись в поезде с двумя нанятыми агентами, которые узнают в нём «своего, вокзального». Здесь, в Тайцах, в доме Ксении, мы видим условное ружье, которое должно выстрелить. В центре комнаты, а, если точнее сказать, на сцене, собираются главные герои этой драмы и ещё один, от которого зависит «выстрел ружья».

В Тайцах Сева видит совсем другую героиню. «Невзрачной мышки» больше нет. Перед ним напуганная женщина, но одна важнейшая деталь подводит черту – на её шее на шерстяной нитке висит обручальное кольцо. Кольцо замыкает круг, и мы ещё не догадываемся, что должно случиться, чтобы оно оказалось на пальце.

Образ героини представляется мне безусловной удачей автора. Он хронологически точен. Преображение «серой мышки» в женщину, которая не остановится ни перед чем ради достижения цели.

На полу играет трёхлетний мальчик, как две капли воды похожий на сидящего за столом Жору Аванесова. Из-за задёрнутой занавески выходит поприветствовать гостя тот самый «человек без лица», отец Ксении. У него нет страха, но проблема выбора стоит и перед ним. Что важнее – дело, в которое он свято верит (а Жора пока не арестован, как другие герои), или дочь и мальчик, которым нужен отец и любимый мужчина? Ребёнок – центр уязвимости. Жёстко, безапелляционно «человек без лица» оставляет выбор за Ксенией, бросив: *«Пусть она решает»*. Прост ли был её выбор, и сделала ли женщина его – ответ зашифрован, и нам предстоит его разгадать, как и выбор самого Жоры – свобода в обмен на предательство своей законной семьи. От всего этого веет смертельной усталостью, Жора сидит на стуле, загнанный в угол, его решение уже принято, – он находится там, где ему предстоит остаться.

В случае с Ксенией двусмысленность завоевывает пространство текста. Дочь полковника органов, она с детства воспитывалась в правильности понятий. Но прост ли был для неё выбор? Высочайший накал этой сцены в доме Ксении автору удалось показать, используя элементы триллера и концентрируя внимание на каждом из героев.

Приёмом отгораживания автор демонстрирует презрение полковника к герою, плоскость стола их разделяет. Это очень символичная деталь – ведь за полковником по ту сторону стоит система.

Единственным, перед кем проблема выбора не стоит, остаётся малыш, – это и есть точка отсчёта. Ради него каждый из членов семьи как раз и делает выбор, и только за главного героя выбор делает страх. Так замыкается круг, ключ к замку – это выбор героев. Предателем мог оказаться любой из них, но круг замыкается главным героем Севой.

Коробка становится неким фетишем, замыкая на себе страх, который управляет теперь поступками главного героя. Его второе «я» переступает тонкую черту между добром и злом, и вожделенная коробка с зефиром оказывается у него в руках. Это не победа, поскольку от этого содрогаешься.

Но в тексте есть и другие моменты, когда герой боялся не только за себя, но и за своих друзей, ведь коробка была не в его собственных руках.

Одни и те же вещи по замыслу автора могут рассматриваться двояко, оценки неоднозначны. Этот приём – один из важнейших, используемый Светланой Волковой в повести. Такая неоднозначность, раздвоение, противопоставление своего внутреннего «Я» характерны не только для главных героев, но и для всех второстепенных.

В недописанной картине, с которой мы начали разговор, видятся перемычки, похожие на тюремные решётки. Жизнь в какой-то момент становится невозможной. Герои Светланы Волковой пытаются спа-

стись в этом мире хаоса. Любовью, которая выстрадана ценой бесчестья, спасается Ксения: *«В её глазах была какая-то прозрачно-серая глубина, которая бывает, когда заглядываешь в прорубь… и огромная затаённая печаль»*. Но у Севы, главного героя, этого пути не было. Он остаётся в одиночестве, наедине со своей совестью. У него будет возможность, открыв коробку, положить в рот «ракушку бело-розового зефира».

Что станет с людьми, чьи судьбы перемололо время, после того, как произойдёт самое страшное?

«Идея безжизненного города, с улицами-оборотнями, превращающего людей в тени, а тени – в людей», – так писал о Петербурге в одноимённом романе Андрей Белый. Его строки дают нам ответ на многие вопросы, которые были поставлены в повести Светланы Волковой. Это была страшная страница в истории Города, когда нет луча света, рассеивающего страх. Но это даже ещё не год страшного террора, и впереди героев ждёт много испытаний.

Итак, перед нами – повесть-размышление о сломе человеческих судеб во время испытаний и о попытке удержаться на самом краю пропасти. В центре – личность с её сомнениями, страхами, способностью к предательству, воспоминаниями и робкими надеждами. Светлана Волкова остаётся верна себе. Она делает акцент на психологизме. Её интересуют отношения между людьми. Силовые линии повествования выстроены автором так, чтобы Город и его герои резонировали друг с другом.

В какой-то момент боль и грязь уступают место свету, и становится видна истинная душа, – тогда и начинается обычная жизнь с робким проблеском надежды. Остаётся город, который всегда со мной, и только хорошеет в неотразимой своей красоте. Он светится, отражённый в воде и воздухе, – и это главная картина, утверждающая Жизнь вопреки мраку.

«ЕЩЁ ОТТУДА ДОНОСЯТСЯ ГОЛОСА»

опыт прочтения прозы

о рассказе Каринэ Арутюновой «Дочь аптекаря Гольдберга» из сборника прозы «Два Авраама» (издательство «Книга Сефер», 2024)

Шёл первый снег,
шёл снег пречистый
на мир, исполненный абсурда,
на мир, где улица томилась,
меняя лики на личины,
где Божий гнев и Божья милость
уже почти неразличимы.

Ефим Бершин

Впервые читающие прозу Каринэ Арутюновой открывают её для себя как что-то совершенно неожиданное, сразу и навсегда. Необыкновенный язык и тонкий психологизм притягивают читателя, заставляя искать ответы на вопросы, которые тонко и очень глубоко ставит автор. Ищешь особый смысл внутри строчек и радуешься находке, поражаясь красивой, длинной, «кружевной» фразе, так свойственной её стилю. Поразительно, как Каринэ удаётся своей прозой, своим проницательным авторским взглядом и собственным стилем поднять героев на невероятную высоту и каждая её вещь, поражающая мощью, это крик души.

Автор создаёт особый срез времени, который в одной фразе может вместить целую жизнь. Завороженность созданными образами ведёт читателя в особый мир её прозы, в мир, где причудливо переплетаясь, настоящее вмещает и прошлое, и будущее.

Всё давно стало историей, но описанные события воспринимаются нами так, словно они никуда не ушли из нашей жизни.

Знаменитый литературный критик Виктор Топоров писал о Каринэ Арутюновой: *«Арутюновой присуще то редкое и оттого вдвойне ценное качество, свойственное, прежде всего, подлинным художникам, которое Мандельштам назвал „хищным глазомером“. Речь идёт, понятно, не о „перспективе“, которой обучают в кружках рисования, и не о „пропорциях“, а о сознательном – и сознательно хищном – пренебрежении и тем, и другим»*.

Каринэ Арутюнова создаёт картину, где она – писатель и художник – каждым штрихом рисует не только беспощадную правду, но и сочувствие к людям, павшим жертвами исторических событий. Во всех рассказах и повестях автора непременно присутствует какая-то особая бережность и любовь к тем, кто уже не почувствует их никогда.

Читая, мы получаем заряд переживания, просветляющего душу. Именно они – любовь и сочувствие – наделяют прозу Каринэ внутренним озарением, особой тонкостью и проникновенностью в описании

судеб и характеров героев. Вневременные воспоминания уравнивают прошлое в постоянном движении времени. Ретроспекция внушает уверенность, что мы сумели вернуться в утраченное, где глубинная, подлинная сущность вещей и людей прорастает из разорванных воспоминаний и выстраивается в причудливую цепь картин, подобных сновидениям.

Свет, идущий от этой глубокой прозы, от героя к герою, от любви, нежности и боли к библейским истокам, не не гаснет. Он – путь героев к познанию себя, попытка соединить близкие образы. Мы становимся свидетелями того, как из пепла вне времени воссоздаются картины прошлого. Талант автора даёт нам эту привилегию, впуская в собственный мир, где все переплетено, и время плавно переходит из прошлого в будущее, создавая реальное настоящее игрой воображения.

У её прозы есть удивительное свойство: дочитав новеллу или повесть ты, читатель, остаёшься с ней. У читателя есть возможность додумать, дорисовать образы, восполнить недосказанное собственными мыслями и красками. В столкновении реального и иллюзорного, времени прошлого и непрожитого будущего, появляются зашифрованные смыслы, всегда оставляющие поле для домысливания.

Рассказ «Дочь аптекаря Гольдберга» (один из рассказов Киевско-Подольского цикла) поражает своей мощью, на осмысление его читателю понадобится значительное время.

Перед нами история, которая начинается со смерти.

«Некрасивая девочка, стоящая, босыми ножками на цементном полу, явилась ему посреди белого дня и, падая, аптекарь Гольдберг успел содрогнуться от жалости – ножки, Муся, ножки, и жалость эта оказалась столь необычных размеров, что просто не уместилась во впалой аптекарской груди».

Удастся ли автору найти такие слова, чтобы читатель сразу не потерял интерес к повествованию?

Много надо пережить в жизни, пройти через испытания и боль, чтобы правдивая история главной героини Муси Гольдберг стала частью боли каждого из нас, каждого неравнодушного человека. Кто измерит меру страдания миллионов людей подобной судьбы?

От строчки к строчке, читая скорее новеллу, чем рассказ, начинаешь ощущать, что перед тобой мощнейший по своему психологизму текст, и пробираться тебе сквозь него придется медленными шажками, оставляя за собой прошлое, которое не стёрла память. Приходит понимание, что это фрагменты картины, собранные в целое умелой рукой художника. Каринэ Арутюнова – художник и её необыкновенная проза сродни её живописи, когда художник кладёт на холст ровно столько краски, сколько нужно, чтобы холст заговорил – красочно и громко.

Сюжет новеллы выстроен так, что в нём нет ничего второстепенного. Отец умирает, а дочь, пройдя через все круги ада, – возвращается. Она возвращается в свой дом, где живут чужие ей люди, и только подслеповатая старуха-соседка успевает шепнуть ей: «уходи». Она возвращается в мир, который для неё не стал своим. Порвана нить, самая главная нить её жизни. Уже нет того, что давало ей силы выжить – нет самого отца.

«*За долгие годы Муся научилась держать удар».*

И эта выносливость дала ей право на попытку начать жить заново. Её сипловатый голос завораживал. И в прокуренном кабинете начальника следствием этой завороженности стала новая жизнь Муси.

Яркие полутона в картине, показанной автором, дают моменты просветления. Героиня пыталась примерить на себя эту новую жизнь, она пыталась быть счастливой, она даже пыталась научиться варить борщи для своего нового мужа.

«Не ищите на картине птицу. Её там нет. Есть только тот самый момент (его всегда сложно уловить и уж тем более запечатлеть), когда самой птицы уже не видно, но есть ощущение, что она только что была здесь. Так и со счастьем. Сколько не сжимай пальцы, всё, чем мы владеем безраздельно (и навсегда), – это воспоминание о нём. Будто птица крылом задела…» – Каринэ Арутюнова.

Каждая минута прошлой лагерной жизни – это отравленная минута. Человек, возвратившийся оттуда, понимает, что он стал беднее душой, и только единицам удавалось сохранить степень духовной свободы и морали в этих бесчеловечных условиях.

Глубина вопросов, на которые ищет ответ автор, безмерна. Может ли человек, которого ломали, но так и не сумели победить, быть счастливым?

Наверное, это и было счастье, размеренное, ежедневное: есть досыта, не прикрывать от страха лицо руками.

«Как мог бы быть счастлив изголодавшийся и бездомный, которого посадили за стол и дали тарелку супа?».

Как увидеть в этой тарелке «*морковные звездочки*», те, что увидел автор?

Яркими сравнениями двух миров – мира сегодняшнего и мира утраченного, мира детства Муси – автор даёт нам ответ. Даже самые тёплые моменты настоящего вызывают у него боль и тоску по утраченному.

В доме не было покашливания за стеной, в нём не было отца.

Боль героини показана с такой щемящей откровенностью, что, казалось бы, для другого уже просто нет места. Но автор показывает, что жизнь Муси невозможна без её реального настоящего.

В рассказе нет ни одной лишней строчки.

Послевоенная жизнь в коммуналке, в которой оказалась Муся, – жизнь людей, искалеченных войной. Война и лагерь не выбирали, кто перед ними: Герой Советского Союза или пьяная соседка Нюся. По всем война прошла катком и надо было просто учиться жить. Страшные страницы рассказа повествуют о безвинных людях, доведённых до скотского существования, об общей беде и общей боли. Видения детства посещают мужа героини – обрывочные видения прошлой жизни. Муж – неплохой человек, и он пытался дать своей любимой жене, что мог.

«*Но она всё время уходила от него, хоть и была рядом».*

Его смерть была потерей, но по сути ничего не изменила. На похоронах она сидела как-то боком, будто не она была хозяйкой в этом доме. Её *«спрут»* сидел внутри, его так и не удалось убить. Все его щупальца были живы, они корчились и дышали, раскрывая жадные рты. Умерший отец, лагерь, переламывающий души людей, отнятый родительский дом.

Ей резонировал город, он наплывал на неё и куда бы она ни бежала, ей не скрыться было от своих воспоминаний. Нельзя убежать от самой себя.

Вокруг всё чужое, и здесь автор прибегает к сильнейшему символу: к образу отсыревших спичек, которые героиня пытается зажечь. Незажженные спички в руках Муси, – это путь, это выбор. Огонь – вечное движение, то, что человек всегда пытался найти. Здесь метафора того, что ты можешь вернуться в утраченное и осветить свой путь.

Её выбор – назажжённая спичка – указал ей путь, её искра была в прошлом, и возле зелёной стены она увидела своего отца, словно указывающего ей её путь к истокам. К тому, откуда всё начиналось.

В её видениях отец приходил к ней лишь ночью, та другая, прежняя Муся смеялась и была счастлива, это были моменты их безграничного единения. Две героини из разных времен соединились в любви к своему отцу.

А утром реальная жизнь возвращалась и снова спички, спички, спички…

И только образ отца заставлял её вновь возвращаться к жизни.

В этом главный, глубинный смысл текста.

Всё возвращается к истоку, всё возвращается на круги своя.

Картина почти дописана, но у этой истории есть финал, который ставит последнюю точку. Аэропорт, случайная встреча.

История Муси Гольдберг – *«девочки, стоящей босыми ножками на цементном полу»* – завершилась там, где должна была завершиться – на земле предков.

Так написано в одной таинственной Книге, которую никто никогда не видел…

«ЧТО Я ДОЛЖНА СКАЗАТЬ, СЫНОЧЕК?»

опыт прочтения прозы

о рассказах Марата Баскина «Дом с крыльцом» и «Немка» из книги «Рыжий чау-чау» (издательство Lulu.com, 2024)

Быть может, прежде губ уже родился шёпот
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

Осип Мандельштам

Читатели, познакомившиеся с прозой Марата Баскина, будут возвращаться к ней, как к чему-то близкому и родному. Так возвращаются к любимым стихам или музыке, когда возникает потребность поговорить с близким другом, а он – далеко. Тогда ты открываешь страницы этой мудрой прозы, и жизнь снова начинает казаться яркой, и появляются силы набрать побольше воздуха и начать заново. Жанр этих текстов можно определить как рассказ, но, по словам критика Ольги Балла, они вряд ли попадут под внятное жанровое обозначение. Скорее, им подойдёт слово «истории». В мир, частично придуманный, но такой яркий и живой, вводит читателя Марат Баскин, чтобы открыть ему тайны своего прошлого и дать надежду, что всё в этой жизни было не зря.

Автор приглашает нас в штетл (небольшое еврейское поселение) – место, не имеющее аналогов. Здесь родилась совершенно оригинальная культура, в которой свободно существовали три языка – идиш, русский и белорусский. В нём уживались несовместимые, казалось бы, вещи: чтение священных текстов и детская наивность, практицизм, лукавство и абсолютный абсурд. Но главное – дом, семья, дети – оставалось неизменным.

Приходит мысль, что книги автора можно без преувеличения назвать «энциклопедией жизни еврейского местечка». Читатель будто бы ходит из дома в дом, и каждая следующая история придаёт прозе новое звучание, создавая эффект полного погружения. Всё есть на этих страницах: грустное и смешное, ироничное и жуткое. Всепоглощающая любовь и память о страшных днях оккупации и Холокоста, стальным лезвием прошедшего по судьбам краснопольцев. Ненависть и возмездие. Для тех, кто знаком с прозой Баскина, навсегда останутся в памяти звуки выстрелов в его родном Краснополье и звук падающих в ров комьев земли.

Отдельно стоят истории, объединённые одним горьким эхом: «Великой Отечественной войне посвящается».

Блуждает выговор еврейский
На жёлтой лестнице печальной…

Иосиф Бродский

Среди текстов Баскина о войне значительное место занимают два рассказа. «Дом с Крыльцом» – история о судьбе и выборе, об извечной боли еврейского народа. Второй рассказ, «Немка», связан с первым общей судьбой и общими героями.

Эти рассказы – живая память, реквием по всем тем, кого перемололи нацистские лагеря смерти, по миллионам тех, кто остался в сталинском ГУЛАГе. Она, память, впечатана в нас своей невозможностью и своей страшной правдоподобностью одновременно. Это сочетание невозможности-правдоподобности мы увидим и в тексте. Автор использует метод подмены понятий для придания рассказам нового смысла.

Озарение неожиданности сюжета, вот что сразу захватывает читателя. Рассказ начинается от имени ребёнка, и от этого усиливается драматический накал: *«На крыльце дома в ненастную погоду укрывались дети, и им всегда выносили тазик печенья хозяйка дома или её работница».* Так необычно начинает автор свою историю, и читатель сразу проникается этой необычностью.

Первое знакомство с героиней Двосей проникнуто необыкновенной, какой-то щемящей нежностью. Мальчик хочет отблагодарить тётю Двосю за доброту и перед еврейским Новым годом приносит ей в подарок кусок лэкаха. Он узнаёт, что Двося немка, а в знак благодарности за лэках получает торт. Прекрасное начало рассказа, сразу становится понятно: автор поведёт нас извилистыми тропами, и белый крем на торте – вершина айсберга. Нежность при чтении этих строк захлёстывает, читатель чувствует вкус торта, к которому примешивается запах надвигающейся беды.

Здесь впервые появляется Дом с крыльцом, ему предстоит стать смысловым стержнем повести, воплощением мечты героини. Он будет с нами, читателями, на всём пути, который мы пройдём с автором и героями, становясь участниками трагических событий, растянувшихся на десятилетия.

Всё проживается нами на одном выдохе, и мы уже не замечаем, как меняется пространство и преломляется время. Автор использует своё право отойти в сторону, а читатель начинает трагический диалог с героями повести.

В белорусское местечко Краснополье начали возвращаться солдаты с Первой мировой, и семья местного ребе Аврума-Берла тоже дождалась сына Хаима. В далёком Нюрнберге он встретил и полюбил молодую немку Дагмар. Так героиня, выросшая в немецком цирке, оказалась в Краснополье.

«…Хаим уверял всех, что она (жена – ред.) еврейка и зовут её Двося-Берта, и в знак доказательства, что всё у него с Двосей по еврейскому закону, показывал ктубу, брачное обязательство, скреплённое, как всем утверждал Хаим, личной подписью Нюрнбергского раввина».

Трудно встретили молодых в семье Хаима. Безоглядная любовь матери к сыну не позволяла ей принять незнакомую невестку. Несмотря ни на что, молодые были абсолютно счастливы, вспоминали свои лучшие дни в Германии, смеялись и читали наизусть «Песнь Песней». Двося мечтала о Доме с крыльцом – таким, которое было в Германии у брата её отца.

Здесь нам открывается ещё один секрет, ещё одна замечательная черта еврейского народа. Хаим хорошо знал обычаи, царившие в местечке, и проявил природную смекалку. Он заранее, в Германии, сделал им с Двосей свидетельство о браке. Важнейшая деталь, которая становится вещей. Любовь водила рукой Хаима, а мудрость любящей женщины ради покоя и счастья мужа превратила жену в Двосю. Её живой образ соткался из двух: немецкой девушки Дагмар и Двоси-Берты, жены Хаима.

На фоне нежности супругов раскрываются разные стороны жизни внутри штетла. Здесь есть и неприятие родителями Хаима его жены, ведь в ней подсознательно чувствовали чужачку, и отрицательное отношение к ней всей мишпохи. Читателю демонстрируется анатомически точный срез отношений, царивших в замкнутом мирке.

Смутные времена, наступившие с революционным переустройством мира, всё расставляют на места. Отца и мать героя выселяют, и перед лицом горя Двося, наконец, чувствует себя их дочкой. Взгляды родителей мужа перед разлукой направлены именно в её сторону.

Свёкор Аврум-Берл словно понимал, что эта хрупкая женщина примет на себя всю боль, казалось бы, чужого ей народа. Он прочитал в её глазах, что страшные события двадцатого века оборвут нить радости. Это был его последний взгляд перед вечной разлукой, взгляд человека, познавшего истину, древний взгляд – со времён пророка Авраама.

Глубокая философия и реальный сюжет в рассказе переплетаются с библейским сюжетом, отсылая к далёкому прошлому.

«И сказал господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего в землю, которую я укажу тебе» (Бытие, глава 12).

Посыл страшный в своей правдивости, и в нём – предвиденье всех бед еврейского народа. Но народ живёт надеждой.

В тот день, когда рождается сын Дмитрий, Хаим пристраивает к дому крыльцо – такое, о каком мечтала жена. Крыльцо становится символом будущего и общей надежды. Однако наутро, 22 июня, начинается война.

Двося, этническая немка, верила, что немцы её не тронут. Но у евреев было только два пути: гетто и ров за школьным забором.

Почему же эта история стоит особняком? Здесь чётко прослеживается главный критерий выбора всех героев: ребёнок прежде всего. Ради сына Хаим достаёт старый паспорт жены и ценой собственной жизни заставляет её объявить себя немкой.

До конца дней она будет помнить слова свёкра, которые Хаим повторил слово в слово: «Ты должна жить».

«Меня уже нет. Ты пойми! Меня нет! Ты осталась одна с нашим сыном. И ты должна его спасти. Ты не Двося, ты – Дагмар».

Выбор – всегда в пользу ребёнка. Ей удалось спасти сына в страшное время оккупации, но переломная эпоха не пощадила её, впереди был ГУЛАГ. А после она много лет ждала на крыльце своего мальчика, держась лишь мыслью о том, что он жив. И когда бы ни приходили на крыльцо соседские дети, там всегда стоял тазик с печеньем.

Автор предлагает вспомнить тёмные и светлые пятна истории нашей страны. В душе читателя волной поднимается боль, ему трудно сдержать слёзы.

Уместно ли здесь обратиться к живописи? Думается, что да. Яркая образность прозы не даёт пройти мимо главного художника, воспевающего жизнь и страдания еврейского народа, Марка Шагала.

«Париж – ты мой Витебск», – говорил художник.

Почему при чтении историй Баскина в памяти всплывают картины Шагала? Неужели для меня, как для читателя, важно, что знаменитый художник жил в Витебске, совсем рядом с Краснопольем и его героями? В этом ли главная причина такого сопричастия?

Большому художнику удаётся запечатлеть моменты, взгляды, которые никогда не повторятся. Он берёт краску, подходит к холсту. Пишет. Остановится – и снова, штрих за штрихом. В глубоких рассказах Марата Баскина есть этот взгляд, этот миг, ради которого пишется картина. Читатель чувствует затруднённое дыхание, как перед полотнами Шагала, когда невозможно перейти через слово и нужно остановиться, чтобы выдохнуть.

Такое чувство возникает, когда ты, глядя на картину Шагала «Скрипач», слышишь мелодию скрипки. И в этой музыке – печальная еврейская серьёзность, и радость, и страдание целого народа.

Как появляются эти ассоциации, и почему картина Шагала «Над городом» – это те самые домики, лестницы и заборы, о которых мы читаем в рассказах Баскина? Может быть, там есть и «Дом с крыльцом»? А странник на картине «Над Витебском» – не ребе ли Аврум-Берл из нашего рассказа? Вероятно, в этих интуитивных аллюзиях – попытка найти ответ, почему образы Шагала и литературных героев сливаются воедино.

Картины Шагала, как водная поверхность, в которой всплывают островки памяти…
Михаил Шемякин

Такие островки заставляют читателя склонить голову и перед героями рассказа «Дом с крыльцом», и перед героями всех историй, что нашли своё место в скорбной книге памяти. Вспомним и «Белое распятие», одну из мощнейших работ Марка Шагала, отражающую трагедию Холокоста. Это память о миллионах убитых, среди которых и герои рассказов Баскина – погибшие во рву за школой, расстрелянные на Кричевской дороге. Их многочисленные имена становятся зарубками на душе.

Эпическое полотно передаёт боль с чудовищной силой, в его сюжетности смешано всё: и отнятые жизни, и поджоги, и уничтожение святынь, и еврейский народ в центре – в виде распятого Христа, висящего над миром, который открыл объятия злу и насилию.

И всё-таки в картине Шагала есть надежда, извечная надежда многострадального народа на счастье. Она видится нам и в переполненной лодке, и в человеке, спасающем священные книги. Даже в самых

страшных рассказах Марата Баскина о несчастьях, об убитых в Краснополье тоже есть надежда, что дети и внуки погибших, успевшие спастись, оказались в той самой лодке с одной из самых известных в мире картин.

По сути, ответ на вопрос, почему картины Шагала так связаны с историей Краснополья, даёт читателю сам автор:

«Моё Краснополье такое же реальное, как нынешний Витебск и Витебск на полотнах Шагала. Это было, но как говорил мой папа, „немножко не так“».

Рассказ «Немка» продолжает историю трагической судьбы Двоси-Дагмар, потерявшей в страшных лабиринтах судьбы мужа и сына.

Как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнётся вправо,
качнувшись влево…

Иосиф Бродский

После лагеря Двося приезжает в Дом с крыльцом с надеждой дождаться сына. Никто и не думал, что она сумеет вернуться. Сопровождает её Дуся, о которой Двося заботилась в лагере, как о дочери. Двося не смогла оторвать себя от Дома с крыльцом, от того места, где она была счастлива и несчастлива одновременно.

Долгие годы как заклинание звучали внутри героини слова мужа: «Ты должна жить». У неё забрали всё, кроме этого дома и надежды на возвращение Дмитрия. В каждом ребёнке на крыльце она видела своего сына.

Мы помним, что рассказ «Дом с крыльцом» автор начинает от лица мальчика, словно ещё раз подчёркивая главную заповедь народа: ребёнок – центр мироздания.

Двося не любила вспоминать пытки в кабинете следователя, это откровение, полностью лишённое иллюзий, нечасто услышишь в прозе Баскина. Вот только искалеченные пальцы не давали ей забыть прошлое. Надо ли искать смыслы в этих коротких воспоминаниях героини? Ведь переломанные пальцы и есть смысл, осязаемое, реальное зло. Он часто ей снился, могилёвский следователь, воспоминание со дна колодца, в котором Двосе пришлось побывать. Автор не рассказывает о следователе подробно, но вплетает его страшный образ в жизнь героини дважды.

Баскин мастерски выписывает персонажей, через детали погружая читателя в осязаемую действительность. События связываются воедино и, наслаиваясь одно на другое, усиливаются спонтанностью восприятия. И уже нам, читателям, приходится додумывать, как может сложиться эта история далее.

Сделаем паузу и вернёмся к тем временам относительной свободы, когда реабилитированные получили возможность узнать что-то о судьбе близких. Все эти годы Двося жила надеждой найти своего сына и наконец получила письмо с известием: Дмитрий находится в приёмной семье. Она не знала, что ждёт впереди, и молилась за людей, приютивших её сына.

«*На удивление Дуси, молилась она по-еврейски, как научил её Хаим и свекор».*

В этой молитве была вся скорбь её народа, её еврейского народа.

Быстро менялись времена, и немцам разрешили вернуться на родину. Повороты судьбы привели Двосю на приём в Немецкое посольство. Она рассказала работнику посольства историю своей жизни – так, как рассказывала её следователю в Могилеве:

«И о Нюрнберге, где родилась, и об отце, и о дяде Отто, и даже о маме, которую потеряла в три года. И о том, как познакомилась с Хаимом, русским пленным. И как добиралась с ним из Германии в неизвестное ей маленькое местечко, которое стало ей родным домом. И как в местечке она стала еврейкой. И как долго они с Хаимом ждали ребёнка. И о том, что ради ребёнка она ушла из гетто».

Лицо работника посольства менялось, он уже слышал эту историю, слово в слово, год назад, когда готовил документы на отъезд некоей семьи. На одной из фотографий уехавшей семьи были сын Двоси с женой и дочкой, а на другой – его приёмный отец.

Так замыкается круг.

Исчадие ада, человек, сломавший её судьбу, следователь-палач и приёмный отец её сына.

Нет ответа на вопрос, что заставило зверя в облике человека взять именно этого мальчика на воспитание и вырастить его достойным человеком. Ведь он, служивший в органах, сильно таким образом рисковал.

Не даёт нам автор никаких указаний и на то, что у следователя заворочалась совесть. Откуда ей взяться, если руки по локоть в крови. Может быть, сыграл свою роль феномен безграничной веры: он творил не зло, а справедливость? И результатом этой фанатичной, безграничной веры стал маленький росток добра? Здесь читатель становится и свидетелем, и судьёй человека, олицетворяющего Зло и Добро одновременно.

Автор не даёт расшифровку кода судьбы героев. Похоже, и у него самого нет такого ключа. А есть ли он вообще, ключ? Этот полный драматизма вопрос – важнейший для рассказов Баскина.

Стоит подумать ещё над одним моментом: сравнение прозы автора с притчами. Во всех историях прослеживается нечто общее, в частности, темы детства и непростого выбора в пользу человечности и добра. И вот здесь можно выявить определённую закономерность. Последняя фраза в рассказах, где фигурируют дети, является смысловым завершением и, как в притче, высоко поднимает финал истории.

Можно ли при близком рассмотрении считать эти две сильнейшие вещи иллюстрацией авторского метода, или образ приёмного отца не позволяет сделать такой вывод? Ради спасения жизни мальчика и его будущего было сделано всё – вот одна сторона, но зримая сцена сломанных пальцев матери – другая. В этой неоднозначности проблемы выбора и зашифрован вопрос: что есть мера искупления зла. Такие сложные вопросы на глубинном уровне ставит автор, и найти разгадку этой головоломки предстоит каждому из нас.

Тема милосердия и прощения звучит в рассказах, но автор не даёт ответа, возможны ли они. Читатель будет искать свой собственный ответ и помнить о том, что справедливость – редчайшая вещь в мире.

Автор выбрал свой путь: донести до нас через правду и чудовищную реальность прошедшего времени мир иной правды, где Зло и Добро идут рядом. Читатель переполнен ужасом от событий, происходящих в рассказе, но к такому итогу он не готов.

Перед финальной точкой Марат Баскин прибегает к собственному авторскому приёму. Он сдвигает фабулу восприятия в сторону важнейшей нравственной проблемы: возможности раздвоения человеческой личности.

Чётко выверенная композиция рассказов находится в постоянном сплетении тем – то возникающих, то исчезающих. Умелой рукой автор дописывает историю несчастья и счастья одной семьи, где на фотографии сошлись в своём метафорическом единстве два человека. Палач-следователь из далёкого прошлого, навсегда впечатанного в память, и почтенный старик, приёмный отец Двосиного сына. Метафора перевёрнутого мира, где понятия Зло – Добро поменялись местами. Автор открывает дверь в мир иной правды.

Пропасть между добром и злом исчезает, они нерасторжимы в одном человеке. И это делает талант писателя.

Сложная многоплановая композиция замыкается одной героиней. В финальной сцене накал эмоций так силён, что ты, читатель, видишь эту сцену словно вживую. Строгая геометрия пространства. На переднем плане – главная героиня и две другие фигуры: работник посольства и Дуся. Все контуры чёткие, никакой размытости красок. Создаётся мистическое ощущение, будто осколки прожитой жизни собрались в одной точке – в фотографии на столе.

В этой точке сошлось всё, не хватает только зеркала, в котором Двося, как в зазеркалье, увидит всю свою прошлую жизнь: убитого мужа, отнятого сына, переломанные под пытками пальцы и благообразного почтенного старика-палача. Почётного жителя города Нюрнберга, получившего звание за спасение ребёнка во время войны и вырастившего его успешным человеком. Эта точная геометрия картины похожа на клетку, из которой не выбраться. Не выбраться читателю – ему не оторваться от этой сцены, а главное, не выбраться Двосе. Нет ничего, что указывало бы ей на свет.

Фотография становится финальной точкой истории и страшной правдой для героини. Безвыходность звучит в её ответе на вопрос к себе самой: «Я не знаю, что сказать».

«*Но по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его» (Послание к Римлянам, 2:5-6).*

Блестящий финал, в нём – смысл всего текста. Двося молилась словами своего свёкра, услышанными первый раз в день, когда она переступила порог его дома, молилась по-еврейски:

«Что я должна сказать, сынок?».

«КНИЖНАЯ ПОЛКА» АЛЕКСАНДРА РУДНЕВА

И СНОВА О СЁСТРАХ ЦВЕТАЕВЫХ

(Елена Титова. Цветаевы. Поэзия. Вологда / Сборник статей. М., «Серебряные нити», 2024 – 246 с.)

В книге литературоведа, кандидата филологических наук Елены Витальевны Титовой – три части. В первом разделе представлены статьи, освещающие различные аспекты и проблемы творчества М.И. Цветаевой (1892-1941): автор пишет о различных влияниях, которые та испытывала на определённых этапах творческого пути, о её связях с современниками. Но главным образом в поле зрения исследовательницы оказываются наиболее важные аспекты литературно-критической деятельности великой поэтессы. Первый критический опыт совсем ещё юной М. Цветаевой относится к 1910 году (при её жизни эта статья не была опубликована) – «Волшебство в стихах Брюсова». Свою первую поэтическую книгу под заглавием «Вечерний альбом» она отсылает именно ему, признанному мэтру, и получает доброжелательный отзыв. В это время М. Цветаева «уже старалась преодолеть собственное ученичество и инерцию подражания» (с. 5). Брюсов-поэт, как считают некоторые литературоведы, оказал на неё существенное влияние, однако скорее более явственно влияние К. Бальмонта, чем В. Брюсова. В поэзии М. Цветаевой почти сразу проявилось её индивидуальное лицо, и это заметил Брюсов, уловив в ней непосредственную связь с фактами самой жизни, иными словами, большое личностное и, быть может, чисто женское начало поэзии Цветаевой – и, возможно, неслучайно она отказалась от публикации этой статьи…

М. Цветаева как поэт развивалась очень быстро и стремительно. Столь же активно, как представляется автору книги, происходила и её эволюция и как литературного критика – автора статей «Световой ливень», «Поэт и время», «Искусство при свете совести», «Поэты с историей и поэты без истории» и др. В них определённо сквозной является та мысль, что «критик, оценивающий лирическую поэзию, должен стремиться к обозначению вершин, достигнутых поэтом, и убеждать читателя в достоинствах тех или иных поэтических произведений, и не через формальный их разбор <…>, а через их творческое освещение, способствующее обновлённому переживанию» (с. 13). Таким образом, Цветаева максимально приближает литературную критику к сфере художественного творчества. И опять же, в своих критических оценках Цветаева выступает в первую очередь как поэт, но одновременно и как исследователь, подходящий, с одной стороны, к метафорическому, с другой – к наиболее истинному истолкованию чужих стихов – будь то Брюсов или Пастернак, или кто угодно.

Рассматривая эволюцию поэтического творчества М. Цветаевой в статье «Эволюция идейно-художественных принципов в лирических циклах Цветаевой: от позиции „я и мир“ к позиции „я вне мира“», Е.В. Титова высказывает вполне справедливое, с нашей точки зрения, мнение, что выделение двух этапов творческого развития Цветаевой – российского, дореволюционного и эмигрантского в достаточной мере условно, поскольку «независимо от жанрового и родового статуса произведения М. Цветаевой» скрепляются прочной сеткой автореминсценций и автоцитат на всех уровнях (с. 17) – и так происходило, по мнению исследовательницы, от первой книги «Вечерний альбом» до самых последних стихов, написанных в 1940-41 годах, совсем незадолго до трагического конца её жизни. И наиболее важную особенность всего поэтического творчества Цветаевой исследовательница усматривает в цикличности и закономерной эволюции – так, «произведения, написанные в 1915 году, объясняют созданное ею в 1925 году» (с. 18).

Почти все стихи Цветаевой имеют выраженную установку на конкретного адресата, но в то же время для них характерно «обобщение и типизация, сближающие лирику с эпосом» (с. 18). Поэтому все цветаевские стихотворные циклы представляют собой своего рода художественное единство, в котором основные мотивы – неполнота или безответность любви, которая оборачивается потерями и утратами, и стремление к отвлечённому, потустороннему миру, который оказывается более постоянен и устойчив.

Именно таковы почти все книги Цветаевой, изданные как в России, так и за рубежом – они характеризуют авторское стремление сделать лирическое движение непрерывным, интенсивным и целостным.

Иногда, отмечает Е.В. Титова, Цветаева создавала свой вымышленный, часто литературный мир, – например, как в цикле «Дон-Жуан», где её героиня отрешается от реальной жизни и погружается в атмосферу «игры и лицедейства» (с. 21). Всё это позволяет Е.В. Титовой прийти к выводу о том, что в поэтическом творчестве Цветаевой существуют, условно говоря, как бы три модели: лиро-драматическая и лиро-эпическая, а также синтетическая, в которой лирическая героиня занимает активную позицию и требует полного соответствия идеалу, хотя в этом заключена своего рода дисгармония и, таким образом, вырисовывается ярчайший человеческий документ – трагической женской судьбы и судьбы поэта.

В статье «Двух голосов перекличка: этические позиции Цветаевой и Лермонтова» Е.В. Титова особо подчёркивает, что Цветаевой всегда был близок душевный строй Лермонтова и в её стихах, письмах, статьях имя Лермонтова фигурирует по разным поводам.

Первое цветаевское обращение к Лермонтову относится к 1910 году, в письме к В.Я. Брюсову, а много позднее, в 1937 году, Цветаева перевела на французский язык хрестоматийно известное стихотворение Лермонтова «Смерть поэта» и несколько других.

Некоторые мотивы поэзии Цветаевой, например, в стихотворении «В Кремле», написанном от мужского имени, по мнению исследовательницы, во многом восходят к поэмам Лермонтова «Мцыри» и «Демон». В стихотворении «Последнее слово» мы находим такую характеристику лирического адресата: «За счастье жалкое земли / ты не отдашь своих страданий», явно содержащую отсылку к лермонтовскому «Демону». И этот ряд реминисценций может быть продолжен.

Однако наибольшее влияние Лермонтов на Цветаеву оказал, по мнению исследовательницы, в период 1914-16 годов на фоне впечатлений от празднования лермонтовского 100-летнего юбилея, правда, скомканного событиями Первой мировой войны, а также, возможно, под влиянием статьи Д.С. Мережковского «М.Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» (в статье Е.В. Титовой название не совсем точное – «Лермонтов как поэт сверхчеловечества»). Эти отзвуки можно усмотреть в поэме Цветаевой «Чародей» (1914 год), в поэтических циклах «Крысолов» и «Поэт». Здесь начала, на которых зиждется мироздание – добро и зло, божественное и дьявольское, осознаются Цветаевой как «реальные и неуничтожимые» (с. 30). Отсюда и поэтическое осмысление типично лермонтовской вертикали: земля – небо. Показательны в этом отношении стихотворения «Молитва» и «В раю», которые явно содержат отсылку, как считает Е.В. Титова, к стихотворению Лермонтова «Любовь мертвеца». Наибольшую же близость поэтических миров Лермонтова и Цветаевой исследовательница усматривает в том, что у них «путь к свету возможен только через тьму» (с. 33) – отсюда и мысль о том, что каждый поэт изначально обречён на страдания.

В статье «Концепция детской литературы в эмигрантском творчестве М. Цветаевой» утверждается, что основное зерно суждений М. Цветаевой заключается в том, что детская литература в определённом смысле ничем не отличается от взрослой. Поэтому Цветаева полагала, что дети лет семи от роду могут понять и «Евгения Онегина», и «Мцыри» ничуть не хуже, чем это понимается в двадцатилетнем, скажем, возрасте. В высказываниях Цветаевой на эту тему в ранний период, в особенности, звучит убеждённость «в необходимости человеческого и романтического начал в детской литературе, авантюрных сюжетов и волшебства» (с. 36). В эмигрантские годы Цветаева несколько пересмотрела свою позицию: она уже не отрицала необходимости взрослого контроля над детским чтением, тщательного отбора книг, предназначенных для детей.

Но в то же время она требовала от детских писателей прямого обращения к детям. (Статьи «О новой русской детской книге», «Сказка матери», «Мать и музыка», «Чёрт», «Мой Пушкин», «Детям» и др.). А в советской литературе таковыми являлись прежде всего стихи С.Я. Маршака, К.И. Чуковского, отчасти В. Маяковского, хорошо известные Цветаевой.

Одной из главных ипостасей детского чтения как проблемы Цветаева полагала воспитание в детях доброты, сострадания и сопереживания. И, разумеется, произведения для детей должны быть сюжетны, динамичны, безупречны по своим художественным качествам. Кроме того, детские книги должны быть хорошо иллюстрированы.

Тема провинции в творческом сознании и жизненном опыте Цветаевой на материале в данном случае города Александрова – в центре внимания статьи «К.Н. Батюшков и провинциальное пространство в восприятии М.И. Цветаевой». Здесь Е.В. Титова замечает, что «угадываемая через Батюшкова Вологда соединились в представлении Цветаевой в мечту о небольшом городе, который был идеален для творческой личности, избегающий громкой известности, шума времени и суеты» (с. 40). Всё это она соединяет с интересом к судьбе поэта, жившего на свете задолго до неё. Поэтому, по мнению исследовательницы, эта мечта во многом обусловила и начальные строки «Поэмы заставы»: «А покамест пустыня славы / Не засыплет мои уста, / Буду петь мосты и заставы, / Буду петь простые места». Здесь проступают уже черты и Вологды как некоего обобщённого провинциального города, но в самой Вологде Цветаева никогда не бывала и если и представляла её себе, то чисто умозрительно.

В статье «Варлам Шаламов о Марине Цветаевой» рассматриваются во многом схожие судьбы обоих писателей. Е.В. Титова отмечает, что стихи Цветаевой (к примеру, «Сон Стеньки Разина»), стали известны

Шаламову во время его тюремных заключений от одного из сокамерников – некого радиотехника Соколова, арестованного по делу розенкрейцеров – вспомним, что по этому же делу была арестована в 1937 году и сестра М. Цветаевой Анастасия Ивановна, о которой речь впереди. Более того, в стихотворном наследии Шаламова обнаруживается своеобразный цветаевский триптих, состоящий из произведений: «Мне грустно тебе называть имена…», «Ты молча смотришь на меня…», «Цветной платок, что сбился набок…» – эти стихи Шаламова представляют собой своего рода посмертные обращения к Марине Цветаевой, в них говорится о её страшной гибели и о жертвенной природе её поэтического дара.

Об этом идёт речь в стихотворении В. Шаламова «Наедине со смертью», где основной становится тема насильственного и преждевременного ухода поэтов из жизни – Пушкина, Лермонтова, Есенина, Н. Гумилёва, В. Нарбута и в особенности О. Мандельштама. Гибель поэта – это, по Шаламову, неизбежная расплата за дар свободы, и в этом смысле шаламовские стихи, полагает исследовательница, перекликаются с цветаевской «Поэмой Конца», что было отмечено Б. Пастернаком.

Другие стихи цветаевского цикла у Шаламова также связаны с темой гибели героини, которая была как бы заложена в ней с самого начала. Столь же интересно рассматривает Е.В. Титова трансформацию образа Марины Цветаевой в поэзии Леонида Губанова и в прозе Геннадия Шпаликова. На основе проведённого ею анализа Е.В. Титова приходит к выводу, что константы образа Цветаевой в творчестве Губанова и Шпаликова связаны преимущественно с осмыслением трагического финала её жизни, а также с её творчеством в целом. Оба поэта анализируют позицию Цветаевой по отношению к несвободе и суетности земного существования, к вечному стремлению к высотам духа и познания. А главной составляющей роста Цветаевой, Шпаликова и Губанова, и вообще лучших поэтов второй половины XX века (они, как известно, не были современниками Цветаевой) названы: «подвижничество в искусстве слова, верность всему вопреки, невозможность жизни во лжи <…>, неустанность творческих поисков и интенсивность художественного развития» (с. 74).

Поэтому Губанов и Шпаликов – не подражатели Цветаевой, а авторы, осознавшие, прежде всего, духовную связь с ней и усвоившие её этико-философское понимание человека и поэзии, продолжившие во многом трагедийную линию её жизни и судьбы. Они опередили своё время, но до сих пор не стали широко известными, отчасти даже для специалистов. Поэтому их надо, убеждена исследовательница, изучать, издавать в полном объёме, как и Цветаеву, – они во многом оказываются конгениальными ей.

В статье «Исторические факты и их художественное осмысление в последних поэмах Цветаевой» Е.В. Титова утверждает, что последние завершённые поэмы Цветаевой – «Красный бычок», «Перекоп», «Поэма о Царской семье» – складывают и определяют цветаевскую концепцию истории. Несомненно, полагает автор, эти поэмы несут в себе следы влияния книги О. Мандельштама «Шум времени», поэм Б. Пастернака «Высокая болезнь», «Лейтенант Шмидт», «Девятьсот пятый год».

В условиях эмиграции Цветаева воплотила в этих произведениях осмысление фактов и событий революции и Гражданской войны. Также важными литературными впечатлениями и отчасти источниками их следует обозначить и произведения С.Я. Эфрона «О добровольчестве» и «Автобиография. Записки добровольца».

По мнению Цветаевой, как это выразилось в её художественной концепции, люди, верные долгу спасения и защиты отечества, носители благородной идеи русского всеединства достойны восхищения вне зависимости от того, <…> чем эта идея обернулась» (с. 79). Цветаева руководствовалась естественным чувством справедливости, оставаясь верной своему общественно-эстетическому кредо, ярко выраженному в стихах цикла «Лебединый стан»: поэт всегда с теми, кто страдает, с жертвами, а не с палачами.

Обращаясь к теме расстрела царской семьи в 1918 году, Цветаева обнаруживает интерес и к тому, кто окружал императорскую семью на её последнем трагическом пути, а также упоминает и других близких к ней персонажей – таких, например, как Г. Распутин и А. Вырубова. Однако об этом можно говорить только в порядке предположения, так как полностью поэма в итоге до нас не дошла. Основной текст произведения и черновики не найдены. Столь же исторически достоверной является поэма «Красный бычок». И в этой поэме оказалось в органическом соединении легендарное и историческое начало, в ней утверждаются те законы человеческой жизни, которые отрицают любую идеологию и политику, но создают грандиозный образ Истории, ставшей судьбой, высшим проявлением настоящей поэзии.

Вторая часть книги посвящена связям семьи Цветаевых в Вологодском крае. Здесь сравнительно с первой частью во многом главенствует краеведческий элемент и биографические факты, в особенности связанные с младшей сестрой М.И. Цветаевой, с Анастасией Ивановной Цветаевой (1894-1993), хотя сама исследовательница оговаривается в связи с этим, что краеведческие факты являются в основном лишь внешними и далеко не всегда самыми значительными.

Как уже было нами сказано, М.И. Цветаева никогда в Вологде и Вологодский области не бывала, но могла слышать об этом городе, например, от философа Н.А. Бердяева (1877-1948) и писателя А.М. Ремизова (1877-1958), которых хорошо знала. Оба они отбывали в Вологде ссылку в дореволюционное время. А.М. Ремизов, в котором Цветаева особенно ценила «живую сокровищницу души и речи», в Париже был крёстным отцом сына М. Цветаевой Георгия в 1925 году. Тень поэта К.Н. Батюшкова,

долгие годы жившего и умершего в Вологде, в сознании Цветаевой соединилась с образами реальных близких людей, – Сергея, его брата Петра Эфрона, а также с литературными героями – байроновским Чайльд-Гарольдом и Одиссеем. В своё время Цветаева обратилась к созданию стихотворений, в которых воссоздавались иные культурные пространства и эпохи: Древняя Русь – в книге «Вёрсты», сказочные персонажи в поэмах «Царь-Девица» и «Молодец». Цикл театральных поэтических произведений «Романтика» посвящён итальянским и французским авантюристам восемнадцатого века.

Как нами уже говорилось, Вологда в сознании Цветаевой ассоциировалась с неким уютным провинциальным городом, идеальным для творческого уединения. И в этом смысле, в этом понимании, ей очень помогал Батюшков, которого она считала поэтически уникальным. И их судьбы, по мнению Е.В. Титовой, оказались чем-то похожими: эмигрантка Марина Цветаева выпала из советской литературы, как Батюшков, покинувший навсегда столичный Санкт-Петербург и заболевший неизлечимой душевной болезнью, а затем исчезнувший навсегда для своих друзей и собратьев. Их могилы определены приблизительно, а тома Батюшкова и Цветаевой вышли одновременно в большой серии «Библиотеки поэта» (на последнее сближение имён обратил внимание И.А. Бродский). Однако нам представляется, что этим фактам и чисто случайным совпадениям автор книги придаёт несколько преувеличенное значение.

Город Великий Устюг интересен в связи с данной темой в том смысле, что здесь в 1924 году, когда Цветаеву в СССР уже не печатали, вышел сборник «Московские поэты», где появилось два её стихотворения, посвящённые Б. Пастернаку, о чём ни она сама, ни её дочь А.С. Эфрон, по всей видимости, никогда не узнали. Как предполагает Е.В. Титова, первой об этой книге и публикации могла узнать Анастасия Ивановна Цветаева, причём от известного литератора И.С. Рукавишникова, с которым она близко общалась в 1920-х годах.

С Вологдой оказался опосредованным образом связан и роман А.И. Цветаевой «Amor», над которым она работала, живя на поселении в Печаткино (тогда бывшем поселке внутри Сокола) – в 40 километрах от Вологды. Судьба сына А.И. Цветаевой Андрея Борисовича Трухачёва (1912-1993) тоже оказалась связанной с Вологдой, где в Сокольском районе (в том же Печаткине), он, уже обзаведшийся семьёй, был сюда командирован для строительства заводских цехов и жилья. Здесь родилась его старшая дочь Маргарита Трухачёва. Сюда в 1947 году к нему приехала Анастасия Ивановна и здесь была арестована (как «повторник») снова и в течение месяца находилась в вологодской тюрьме, а затем была отправлена на место вечной ссылки – в Новосибирскую область. В Печаткино на улице Фрунзе сохранился дом, в котором в 1947-1949 годах жила А.И. Цветаева и семья её сына. Кроме того, в Вологодской областной научной библиотеке хранятся книги И.В. и Д.В. Цветаевых – отца и дяди М.И. и А.И. Цветаевых. В статье «Вологда в судьбе А.И. Цветаевой: факты и версии», осмысливая значение и место А.И. Цветаевой в истории литературы XX века, Е.В. Титова делает, на наш взгляд, очень ценное замечание по поводу того, что «не претендовавшая на особое положение, признававшая свой дар более скромным, чем талант своей сестры М.И. Цветаевой, А.И. Цветаева в своём творческом наследии предстаёт всё же как самостоятельное, уникальное, а потому достойное изучения явление русской автобиографический прозы» (с. 115). Всеми, во всяком случае просвещённым большинством, уже бесспорно признано, что А.И. Цветаева – классик русской мемуарной прозы XX века, но изучение её наследия по-настоящему только начинается. Важнейшим шагом в этом отношении было проведение международной конференции в Доме-музее М. Цветаевой в Москве под названием «Анастасия Ивановна: жизненный путь и творческое наследие» (27 сентября 2009 года). В ряде выступлений подчёркивалось органическое сочетание литературных материй и религиозной веры в литературном наследии А.И. Цветаевой.

А в Вологде А.И. Цветаева впервые побывала, по всей видимости, летом 1936 года, что подтверждают материалы её следственного дела. В 1948 году в Вологде её лечила офтальмолог Е.В. Александрович, с которой она и в дальнейшем поддерживала эпистолярное общение. Во второй раздел книги вошли тексты, статьи краеведческого и музееведческого характера – «Вологодские факты в судьбах Цветаевых», «По Цветаевским местам Вологды», «Литературные тексты в музейном комплексе», «„Цветаевский дом“ в Соколе Вологодской области: проблемы, задачи и способы включения в экспозиции и экскурсии», «Флоропоэтика в ландшафтном дизайне на музейной территории у Цветаевского дома в городе Соколе Вологодской области: проблемы и перспективы», а также рецензия на книгу А.И. Цветаевой «Букет полевых цветов».

Но нельзя не отметить, что автору не всегда удаётся соблюсти баланс между литературоведеньем и литературным краеведеньем, но что поделать – таковы были задачи данного всё же нетривиального издания. Встречаются иногда и тематические повторы.

Что касается 3-ей, заключительной части книги, то она посвящена – по начальным статьям и по заключительной – лирике двух очень разных, но объединенных вологодским контекстом поэтов – Ольги Фокиной, Алексея Шадринова. Мемуарно-биографическая преамбула соотносит с цветаевской темой первое имя. В этой части книги опубликованы также материалы о литературно-критической деятельности Николая Рубцова, представлены обзоры поэзии и интерпретации стихотворений современных вологодских авторов.

Таким образом, читатель получает очень полезную и познавательную книгу о жизни и творчестве одного из крупнейших поэтов XX века, о её родных и близких, друзьях и знакомых, о связях с Вологдой обеих сестёр Цветаевых. Издание не может, без сомнения, оставить равнодушными сколько-нибудь культурных читателей, кому интересна и дорога во многом трагическая история культуры ушедшего XX столетия, трагические судьбы отдельных персоналий этой очень большой эпохи, полной исторических катаклизмов. И если Марина Цветаева ушла из жизни много лет тому назад, то Анастасия Цветаева, как известно, была ещё недавно живой и здравствующей, даже действующим литератором, её многие застали и знали лично…

Жаль только, что книга вышла столь малым тиражом (100 экз.), как оно, к сожалению, сейчас принято, и для многих читателей останется недоступной, но – O tempora, o mores! *(О, времена, о нравы! – лат.)*. Книга эта, несомненно, ценный вклад в научное цветаеведение, которое давно уже громко, полногласно заявило о себе.

ВЕЩИЕ СНЫ И НЕМНОГО О МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ

(Галина Данильева. Из жизни босоногой королевы. – М., Бослен, 2024. – 240 +8 с.)

Книга поэтессы и прозаика Галины Данильевой «Из жизни босой королевы» представляет собой автобиографическое повествование, первая часть которого посвящена детским воспоминаниям автора. Здесь перед читателями проходят и Москва, и подмосковная Мамонтовка, с которыми прежде всего были связаны детские впечатления автора, имевшие большое влияние на всю её последующую жизнь.

В этой части книги факты биографии Г. Данильевой в основном даются под знаком того, что её отец был репрессирован в приснопамятные годы, и долгое время жизнь этой семьи почти целиком зависела от этого трагического факта, что и задаёт тон тому, о чём рассказывается автором. Всё с этим связанное представлено именно через призму детских, порой полуосознанных впечатлений и воспоминаний.

Для этой книги, написанной очень искренне, живо, непосредственно, порой, конечно, по-женски, если можно так выразиться, характерно очень пристальное внимание автора к «вещному» миру, деталям той повседневной жизни и, главным образом, людям, которые окружали её в детские годы, да и потом, конечно, также. Звуки аккордеона, раздавшиеся из тюремной камеры, которые она слышала во время посещения отца в тюрьме в Куйбышеве (Самаре), для неё стали как бы толчком, камертоном своего рода для её дальнейшей жизни, «тому что было впереди» (с. 23).

Разнообразные детали и факты самых ранних детских лет, в которых как будто бы (во многих из них, во всяком случае) не было ничего необычного, экстраординарного, сменяются затем уже более или совсем «взрослыми» впечатлениями, и они оказываются пронизаны многочисленными культурно-литературными ассоциациями и реминисценциями, связанными с именами А. Блока, А. Белого, А. Ахматовой, Б. Пастернака и в первую очередь, конечно, М. Цветаевой, и Цветаева невольно выступает здесь естественно, застрочным «главным героем».

Галина Данильева при этом замечает, что её книга «задумана и старательно исполнена как документ. С требованием веры <…> без просьбы о любви» (там же). Поэтому с первых же страниц читатель обращает внимание на предельную искренность и сердечность авторского повествования, о чём бы ни шла речь. Так, например, она признаётся в том, что в детстве приобрела привычку разговаривать сама с собой, так как ей часто приходилось оставаться без родителей под присмотром бабушки.

«…Деревенская тишина чутка, в ней каждый звук солирует и поэтому отчётливо слышен даже самый малый <…> Мама часто работала проводником в поездах дальнего следования, папа – в тюрьме, взрослым в заботах жизни повседневной было не всегда до меня. Вот и привыкла разговаривать сама с собой – за себя, за куклу, за мишку, за иву, за ручей и тропинку к нему…» (с. 63).

Но эти, казалось бы, достаточно простые и незамысловатые детские воспоминания всё же проходят на фоне исторических событий, происходивших тогда – это упомянутый фестиваль молодёжи и студентов 1957 года и другие. А самое главное тут – проникновенные рассказы о тех людях, среди которых героиня существовала в ту далёкую пору, тоже ничем особенно не примечательных, но очень дорогих сердцу автора.

Г. Данильева признаётся, что с детства была очень говорливой и «красноречивой», и ей было на роду написано стать впоследствии «усталым московским экскурсоводом» (с. 75) в теперь всесветно знаменитом Доме-музее Марины Цветаевой в Борисоглебском переулке.

И неслучайно поэтому рассказы и воспоминания автора (отчасти, возможно, вымышленные) больше всего связаны с Мариной Цветаевой – это, как было уже сказано, сквозная тема этой книги.

Данильева всегда чувствовала как бы реальное присутствие Марины Цветаевой в своей жизни и того, что окружало великую поэтессу – это Прага, и Карлов мост, и река с её тайнами, стоящий над водами реки Влтавы каменный рыцарь с мечом Брунсвик, молчаливо охраняющий её. Потом расстающиеся друг с другом люди, обречённые на вечную разлуку «будто листья на воде – отражение фонарей» (с. 127). Почти постоянным и непременным фоном становятся сны, которые видит и автор, и её героиня – в жиз-

ни обеих сны становятся очень многозначительными и даже судьбоносными. Обращает на сновидения и одна выразительная деталь – сравнение: «<…> Она была слегка бледна …круги бессонницы лежали под глазами, как тени на весенних сугробах…» (с. 144), что в сознании героини оказывается как бы предвестником скорой гибели героини Марины Д. в результате несчастного случая – всё это спроецировано во многом на трагическую судьбу Марины Цветаевой.

Г. Данильева признаётся в том, что всё это было сном, который «реальнее яви: явь неотличима от сна» (с. 148). Всё впечатления и переживания героини неотделимы от московских реалий – это и Яуза, и Никитские ворота, и арбатские переулки, и Тверская, и Собачья площадка и нынешний Новый Арбат, который когда-то Анастасия Ивановна Цветаева не без яда окрестила «вставной челюстью Москвы», и церковь Большого Вознесения, в которой венчался Пушкин, и, конечно, музей Цветаевой в Борисоглебском – всё это наполняет книгу Г. Данильевой живо пульсирующей кровью.

В главе «Сновидица Цветаевой» о теме сна применительно к трагической жизни и судьбе Марины Цветаевой написано так: «О, каких только снов Марина Цветаева не видела! Провидческие, страшные, ликующие, дарующие встречи с невозможным. Возвращающие былое – отменяющие смерть <…> Например, сны с уже умершей младшей дочерью Ириной. Были сны повторяющиеся, прерывающееся и после пауз снова возникающие» (с. 157). Сны для Цветаевой, замечает Г. Данильева, были во многом «провиденьем роковых событий в её жизни», особенно один из них, который привиделся ей в 1939 году незадолго до отъезда из Франции в СССР. И это стало неотвратимым движением к окончательной *трагической развязке*. Как тут не вспомнить слова желчного и злого И.А. Бунина, сказанные им Ариадне Эфрон, дочери М. Цветаевой, зашедшей к нему попрощаться перед отъездом в советскую Россию: «Дура! Куда ты едешь – тебя там в Сибири сгноят, а твоя дочка будет работать на макаронной фабрике». Как известно, всё случилось с Ариадной почти именно так, по предсказанию знаменитого писателя, во многом даже хуже, но смысл в целом был верным. Она попала в сталинский лагерь. Недаром её матери-поэту М. Цветаевой ещё во Франции приснилась «дорога на тот свет». Всё закончилось отчаянием и петлёй в доме Бродельщиковых в Елабуге. А свой последний земной сон М. Цветаева предсказала ещё в ноябре 1916 года:

По дорогам, от мороза звонким,
С царственным серебряным ребёнком
Прохожу. Всё – снег, всё – смерть, всё – сон. <…>
И никто не видит по дороге,
Что давным-давно уж я во гробе
Досмотрела свой огромный сон.

«Состояние творчества есть состояние сновидения <…> О, спящего не спасёшь!» – говорила, по свидетельству знавших её, М. Цветаева. И в предсмертных стихах: «Авось увидимся во сне…». «Всё, что я хотела для другого и от другого – сон…» – написала М. Цветаева в неотправленном письме к Арсению Тарковскому.

В декабре 1923 года, перед рождеством, М. Цветаева писала любимому человеку Константину Родзевичу: «Я не напоминаю вам о себе. / Вы меня не забыли! / Я только не хочу, чтобы ваши праздники прошли совсем без меня. Расставаясь с Вами во внешней жизни, буду думать о Вас все праздники и всю жизнь» (с. 170).

В других письмах 1940-41 годов М. Цветаева вновь отождествляет сон со смертью – и это оказалось, увы, верным предчувствием, которое не обмануло её. Она, конечно, понимала, что неизбежно идёт к своему трагическому концу.

(В этой книге Галины – сказал автору этого текста писатель, искусствовед, друг сестры Марины Цветаевой, Станислав Айдинян – в целом вообще присутствует тональность, даже музыкальный ключ лирической сновиденности, и они зачерпнуты из сокровенных омутов Марины Цветаевой…).

В главе «Файтель Мулляр» (встреча первая, «где речь идёт о двух портретах Марины Цветаевой, а затем «Встреча вторая»), где говорится о тех же портретах М. Цветаевой, которые в 1940 году по памяти написал тогда молодой художник Файтель Мулляр, один из которых впоследствии был подарен уже 95-летним Мулляром Дому-музею Марины Цветаевой, другой остался в его квартире-мастерской в Брюсовом переулке. Но позднее и второй портрет тоже занял своё место в музее М. Цветаевой.

Таким образом, подводя резюме удачно или не во всём удачно нами сказанному, можно заключить, что читатели получили хорошую, полезную, конечно же, со вкусом, профессионально написанную книгу, которая может даже дополнить некоторые представления о духе поэзии и жизни Марины Цветаевой. Хотя, оговоримся, следуя тексту моей рецензии, следует отметить, что книге свойственна поэтическая стихийность, но это никак не умаляет а, наоборот, увеличивает позитивный характер живого, неподдельного интереса, который она, мы уверены, встретит у образованных и, прежде всего, знающих и любящих творчество М. Цветаевой читателей.

«НЕ БОЙСЯ ЖИЗНИ. ТЕБЕ НЕ ИЗБЕЖАТЬ РАСПЛАТЫ ЗА НЕЁ»

(Григор Апоян, Избранные статьи. – М., «Серебряные нити», 2024 – 339 с.)

В недавно вышедшую книгу Григора Апояна вошли разнообразные статьи, эссе, достаточно обособленные, но в то же время пронизанные одной идеей. Все эти работы наполнены злободневностью и, наверное, даже не будет преувеличением сказать, что они освещают наиболее болезненные проблемы нашей, в самом деле во многом больной современной действительности, – автор анализирует их достаточно безжалостно, что позволяет ему заглянуть в какие-то иной раз даже потаённые глубины человеческой жизни и человеческого сознания, определить и сформулировать также и проблемы отдельной человеческой личности, и её места в современном мире.

В статье «Иго эго» автор указывает, что воплощённый идеал «эго» – это космическая чёрная дыра, которая в своём самопожирании не даёт выбраться наружу ни одному атому света, ни одной молекуле своих фекалий (с. 4).

Человеческое эго требует его «признания», покорности и обожания, поэтому реальная действительность – его главный враг, так как не соответствует его явным и тайным желаниям и вожделениям. И в этом заключается его отличие от личности, которая постоянно испытывает чувство вины по отношению почти ко всем, с кем ей приходится так или иначе сталкиваться в реальной жизни.

Главное же отличие «эго» от личности, по мнению Г. Апояна, состоит в том, что «эго» *грезит бессмертием* – это его идея фикс <…> Личность же рассчитывает лишь скромно прожить свою жизнь, по возможности ограничиваясь малыми проблемами и не доставляя другим особенных неудобств: она примирилась с тем, что формула бытия не допускает бессмертия (с. 4). Скромность, отсутствие претензий, таким образом, позволяют личности избежать жестоких разочарований. Личность обладает таким нравственным понятием как совесть и, соответственно, выстраивает своё поведение, не допуская безнравственных и предосудительных поступков.

Так, в сфере любви – а это, как известно, основа жизни – личности (здесь речь идёт о достаточно интеллигентной личности) порой приходится подавлять некоторые природные порывы и «низменные» инстинкты. Личность ищет во всём гармонию, а «эго», напротив, зиждется на конфликтах и без этого его жизнь зачастую лишена всякого содержания и смысла.

Личность в отличие от «эго» не занимается пустой трескучей болтовней и умеет слушать других, и прислушиваться, терпимо воспринимать и уважать чужое мнение, как бы оно ни расходилось с его собственным.

В статье «Исконное значение логоса», посвящённой литературе и её месту в человеческой жизни, автор специально выделяет понятие «художественное повествование», придуманное тем или иным автором и предназначенное исключительно для эстетического удовольствия читателя, так как литература и искусство в целом является «выплеском неизбывного стремления человека к красоте» (с. 26) – сюда входит и понятие иррационального, некой обобщенной красоты, иногда чисто внешней, – так, замечает автор, например, простодушные туземцы восхищались яркими копеечными украшениями, всякого рода мишурой.

И человек нуждается в этом «возвышающем обмане» иногда гораздо больше, чем даже в хлебе насущном. Это создаёт ему призрачные, но всё же иллюзии и надежды, без которых жизнь становится – скучной, пресной и вообще невыносимой. Именно «возвышающему обману» во многом и служит художественная литература, в которой наиболее важное место занимает остросоциальная тематика и основанные на ней конфликты – таковыми являются, например, произведения Стендаля, Диккенса, Достоевского, Горького, Стейнбека и многие другие. И словесное искусство иногда может приобретать ничуть не меньшое, а даже большее воздействие, чем музыка, которая, как обычно считалось, призвана донести истину космоса до каждого человека, разумеется, по-своему, в своей специфике.

Рассматривая личность и психологию писателя, художника слова, Г. Апоян, ссылаясь на С. Довлатова, отмечает, что все писатели, как правило, бывают легкоранимыми людьми, иной раз с гипертрофированным самолюбием и честолюбием, что в итоге их, в сущности, ничем не отличает от «дворников и слесарей». Различие лишь в том, что писатели, как правило, люди достаточно образованные в отличие от «простых работяг». И значение литературы, пристрастия человека к чтению художественных произведений – основа всякой культуры, что не всеми и не всегда понималось и признавалось – ведь человек, не знающий Пушкина, Достоевского и т.д., не может считаться культурным, в то время, как человек, не разбирающийся, скажем, в летательных аппаратах и дизелях, но хорошо знающий литературу – вполне может. Вот тут-то и происходит бесконечный разрыв техники и гуманитарного знания, гуманитарной культуры.

Искусство, полагает Г. Апоян, всё же во многом «божественного» происхождения, пусть и не в буквальном смысле этого слова. И в проклинаемую ныне всеми кому ни лень эпоху литература была на большей высоте, чем теперь, как это, быть может, ни парадоксально, и она не являлась «забавой пообедавших», по выражению Леонида Андреева. Советская Россия, полагает Г. Апоян, «была довольно сбалансированным обществом при всех своих очевидных пороках» (с. 35).

Размышляя далее о проблемах любви и отношений полов, Г. Апоян полагает, что «только в момент совокупления человек абсолютно искренен в своих чувствах» (с. 45), хотя эти чувства далеко не всегда бывает нежными, одухотворенными и социально благоприятными. Поэтому, по мнению автора, Отто Вейнингер, автор известного труда «Пол и характер», делит достаточно произвольно женщин на две категории – матери и проститутки. Давая же в статье «Эгофилия – любовь, или ненависть?» объяснение такому сильному чувству, как эгофилия (синоним эгоизма, эгоцентризма, чаще всего так называемого нарциссизма), Г. Апоян приходит к выводу, что эго «возвышает себя в отношении окружения, но без этого окружения оно само превращается в ничто» (с. 58), и это в конечном итоге может привести к развалу и гибели человеческого общества, хотя автор тут же оговаривается, что это, возможно, лишь чистая фантазия и утопия.

В статье «Глобальный мир и энтропия» Г. Апоян объясняет означенное явление творческой капитуляцией личности перед реальной жизнью, её неспособностью противиться и противостоять живой жизни. Вспомним, какое объяснение понятию «живая жизнь» давал В.В. Вересаев в своей одноимённой книге, рассматривая два противоположных мировоззрения – Достоевского и Льва Толстого. Без живой жизни и её соблазнов, иногда предосудительных, нет и самой жизни – быть может, это трагизм, но автор по-своему и достаточно оригинально ставит вопрос, иной раз, наверное, и не давая его убедительного объяснения.

И вопросы, поднятые им, во многом, таким образом, остаются риторическими, хотя Г. Апоян даёт постоянные ссылки на всевозможные авторитетные источники. Собственное его мнение тем не менее не теряется под давлением признанных авторитетов. В статье «Плюс социализация всего населения», например, ставится вопрос о том, как помочь бедным, не разоряя богатых, что очень актуально для той действительности, которая с некоторых пор воцарилась в нашем обществе. Автор приходит здесь к выводу о том, что население, во всяком случае, значительная часть его должна «ограничить свои часто необоснованные потребности» (с. 75). В этом, пожалуй, не так уж и много новации, и всё это в известной мере может показаться даже банальностью, в том числе и такой небесспорный вывод: «<…> Будущее человечества есть повсеместная демократическая власть плюс социализация всего населения» (с. 77).

Единственный способ спасения мировой экономики, по мнению автора, состоит в том, чтобы «меньше работать, меньше производить и меньше потреблять» (с. 77). Едва ли можно с этим согласиться.

Говоря о проблеме «выборов» (статья «Время выбирать и время размышлять о выборах»), Г. Апоян отмечает, что выборы должны происходить не на основании соперничества, а на основе сотрудничества (как оно и должно быть в цивилизованным обществе), что сделает невозможным «поливание друг друга грязью» и прочие неприятные эксцессы, которые сейчас, к сожалению, стали довольно распространенным явлением. Этому должна служить государственная система «сдержек» и противовесов, которая, считает Г. Апоян, необходима при любой системе власти. Автор убеждён в том, что «жизнь человека бесценна и неконвертируема, и его свобода может быть ограничена только теми рамками, в которых начинается свобода другого человека» (с. 85, статья «Человек держит оборону»), однако существуют, как известно, вечные «ножницы» между разумом и тёмными природными инстинктами человека, диктующие иногда совершенно неверную и даже порочную линию поведения.

Нас окружает извечный хаос, особенно, подчеркивает Г. Апоян, на голодном Востоке, но его хватает и в других странах и на других континентах. Поэтому человек, испытывая неудовлетворённые потребности, иногда превращается в «зверя из бездны», если воспользоваться заглавием романа русского писателя Е.Н. Чирикова на тему о событиях в России 1917-18 годов. Поэтому человек должен научиться обуздывать свои тёмные инстинкты и страсти, какими бы они ни были и – в частной жизни, и в первую очередь, конечно, в политике.

В неразрешимых противоречиях современной действительности, считает Г. Апоян, необходима некая, по его слову, «метла», способная очистить «авгиевы конюшни», как это, возможно, делалось в советское время, что ярко изображено в произведениях Булгакова, Зощенко, Ильфа и Петрова и др. Однако повторять историю, тем более некоторые её наиболее трагические, тёмные эпизоды, разумеется, никак не следует.

В статье «Брат мой – враг мой» Г. Апоян утверждает, что, по его мнению, знаменитая формула Робеспьера – «свобода, равенство, братство» практически недостижима как во внутриполитическом, так и в межличностных отношениях, ибо квинтэссенцией любой политики всё-таки является определённым цинизм, который проявляется в самых разнообразных сферах жизни – от общественных до интимных отношений. И скверно то, по мнению Г. Апояна, что из жизни уходит какое бы то ни было романтическое, возвышенное начало и остаётся один наглый и бесстыдный прагматизм. И в этом весь ужас и позор современной жизни.

Один из разделов книги выступает под заглавием «Муки Армении» – это, как нам понятно, очень близкая автору тема. Он определяет внутреннюю современную ситуацию своей родной страны медицинско-психиатрическим термином «прострация», которая проявилась, по его мнению, в состоянии полного упадка сил, крайнего изнеможения (с. 121), характерного в равной степени и для широких слоев населения Армении, и для властей, и, что особенно показательно, для деловых кругов, результатом чего стало невероятное богатство одних (не утерявших, тем не менее волчью хватку) и вопиющая бедность других, самых широких слоев.

«Из театра полу-абсурда, – пишет Г. Апоян, каким являлось коммунистическое общество, мы, очень плавно перешли в полностью *инвертированный* мир, где больше следует бояться не преступника, а хранителя закона, не болезни, а врача, не смерти, а похорон, не холода и голода, а распределяющего блага чиновника» (с. 123) И мы с неизбежностью и катастрофической быстротой приближаемся к тому моменту, когда станем бояться и ненавидеть собственную власть больше, чем правление вековечного врага» (с. 123). Всё это во многом, как представляется автору, заставляет вспомнить армяно-турецкую войну, происходившую в 1915-20 годах, когда был положен, собственно, конец армянской государственности.

Армянская интеллигенция в современном мире исчезает и испаряется на глазах, и она не ощущает, как считает автор, никакой ответственности за тот ужас, который творится кругом, ибо одно «поливание грязью» правительственных кругов и власти вовсе не свидетельствует ни о какой свободе и демократии – и эту простую истину никак не хотят понять в современной Армении, да и не только там. А Россия, конечно, не может оставаться безучастной к судьбе очень важного для её стратегических интересов региона, так как всё это может привести неизвестно куда. Сейчас Армения находится в состоянии своего рода «социалистического дурмана». Именно такой явилась армянская «бархатная» революция 2018 года и после воцарения новой власти в республиканском собрании Армении армянский народ живёт в состоянии постоянных «фантомных болей».

– Опомнитесь, господа! – призывает своих соотечественников Г. Апоян. Но где же, спрашивается, выход из этого тупикового и трагического положения? Г. Апоян предлагает создать некое теневое правительство, которое работало бы параллельно «дебильной администрации и проводило бы полезную политику в основном в сфере тесного союза с Россией».

Подходя к заключению, отметим, что статьи, вошедшие в книгу Г. Апояна, написаны сильным, страстным, живым языком, очень убедительно и доходчиво и самое главное – не голословно, а с опорой на авторитетные источники. Но наряду с этим нельзя не сказать и о том, что автор позволяет себе порой довольно произвольные суждения по различным предметам, высказывает довольно утопические в своей основе идеи и мысли. Есть в статьях и незначительные стилистические огрехи, на которых мы специально не останавливаемся. Однако всё это никак не отменяет и не умаляет большого интереса книги, её позитивного значения.

Необходимо также отметить, что тематика довольно объёмистой книги Апояна, на самом деле, весьма обширна, и охватить в одной рецензии все затронутые автором проблемы практически невозможно. Отметим только, что Апоян с законной гордостью пишет о немалых достижениях своего народа, он также очень тепло и с большой благодарностью пишет о всех тех странах и народах, которые на протяжении веков поддерживали и поддерживают Армению, армянский народ и армянскую культуру, и с горечью отмечает те варварские проявления, которые, к сожалению, также были и по сей день присутствуют в отношениях между народами, от которых в серьёзной степени пострадала Армения.

Мы от души радуемся очередной творческой удаче уже хорошо знакомого нам писателя Григора Апояна и желаем ему написать ещё много таких же интересных книг и работ на радость нам, читателям и критикам.

Это бесспорный и несомненный творческий успех, который непременно вызовет читательский спрос и интерес – в этом мы ни секунды не сомневаемся. По прочтению этой книги нам становятся ближе и понятнее острые, злободневные, а во многом и трагические, неразрешимые проблемы горной страны Армении – далёкой от России по расстоянию, но близкой ей во многих других отношениях, особенно по совместному участию в мировой истории…

«ШКАФ»

ЛИНА КЕРТМАН

НАБРОСОК РЕЦЕНЗИИ

(Анастасия Цветаева, «Amor». Автобиографический роман. Расширенная редакция. / вступительная статья и комментарии Ст. А. Айдиняна, – М.: Бослен, 2024. – 544 с.)

В изд-ве «Бослен» вышла расширенная редакция романа Анастасии Цветаевой «Amor». Судьба его трагически парадоксальна: бо́льшая часть романа написана в лагере в конце 1930-х годов, то есть – гораздо раньше, чем её широко известные и сразу завоевавшие потрясённое внимание многих читателей в России и в других странах «Воспоминания», но к читателю эти книги пришли «в обратном порядке»: сначала – в 1970-е годы прошлого века – «Воспоминания», затем дополнявшиеся во многих следующих изданиях, а «Амор» – гораздо позже. В журнальном варианте он впервые вышел в 1990-е годы, затем несколько раз выходил и книгой, но это издание – особое: здесь представлен необычайно расширенный вариант романа, куда вернулись былые сокращения, чаще всего сделанные поневоле. И такая книга – поистине бесценный подарок прежде всего для тех, кому дорога проза Анастасии Цветаевой, кто когда-то давно по-особому полюбил этот роман, но она безусловно может привлечь и новые поколения читателей. В эту книгу вернулись многие герои, прежде исчезнувшие с её страниц, и каждый – и «давно знакомый», и впервые узнанный сейчас, единственен и психологически интересен.

«В раскаленной печи эпохи „запеклись“ тени реальных людей (…) Прототипов их всех давно нет на свете. Однако в романе они вновь оживают, вновь ждут, чтобы о них узнали и пожили вместе с ними в их безвозвратном, седом, серебряном времени…». Так сказал в предисловии к роману блестящий комментатор Станислав Айдинян, и как глубинно рифмуются эти слова с не раз сказанным по самым разным поводам самой Анастасией Цветаевой – о том, что она пишет, чтобы *спасти Прошлое* от забвения. В этой необыкновенной книге (говорю сейчас обо всём изданном под этой обложкой) рамки романа расширены ещё и многими подробностями, оставшимися за его пределами: тут и отдельный раздел в Приложении – «Из тетради Ники» – это стихи, многие из которых, вопреки первоначальному намерению автора, не вошли в роман, и подробные и увлекательные комментарии Ст. Айдиняна, которые поистине расширяют романное пространство. Мы взволнованно узнаём из них самые неожиданные вещи: например, что у художника Богаевского хранилась часть дневников Марии Александровны Мейн (матери Марины и Анастасии Цветаевых), что друг А. Цветаевой Борис Зубакин заканчивал роман Брюсова «Юпитер Поверженный» (с согласия вдовы), что случайно вылепленная А. Цветаевой фигура из хлебного мякиша, в страхе смятая ею после узнавания – это фигура Сталина, о чём она не решилась прямо написать в романе, но рассказала комментатору в одной из многих их всегда интересных бесед. И ещё обо многом… По-особому интересно сведение о том, что Анастасия Цветаева не была театралкой (и потому спутала время смерти великих актрис Ермоловой и Федотовой и ошибочно описала сцену похорон одной из них), в связи с этим приводится её очень «цветаевское» мнение об актерах: «Сегодня он Гамлет, завтра – Отелло, послезавтра – король Лир. А когда же он сам?». Что-то похожее звучит у Марины Цветаевой (в «Повести о Сонечке» и в дневниковых записях) в её размышлениях о молодом Юрии Завадском.

Но не только в этих, пусть бесконечно важных, моментах заключается ценность такого расширения романа: важен каждый новый (прежде не упомянутый) психологический нюанс на его страницах… Всем этим «Ника» («альтер эго» Анастасии Цветаевой) властно захватывает героя (Морица), для которого пишется её «ретроспективный мемуарный дневник» (ещё одно блестящее определение комментатора!), и несёт его по волнам

своей Памяти, всё сильнее заманивая в такие неведомые ему душевные глубины, что он вопреки своему характеру потрясён и не может оторваться от чтения, как – в не меньшей степени! – и читатель. Как сама Ника часто «переселялась в увлёкшую её книгу всем вниманием», так и её книгу невозможно читать по-другому – именно такое «переселение» и происходит…

При перечитывании «Амора» (точнее, при чтении расширенной и потому во многом новой книги) с тёплой радостью читаешь о давно знакомых нам героях её жизни и книг (и «Воспоминаний», и «Амора»), о так много значащих для неё и уже и нами воспринимаемых почти «по-родственному» (о первом муже Борисе Трухачёве, с которым было пережито столько счастья и столько горя, о втором, безгранично преданном ей муже Маврикии Александровиче Минце, слишком рано и трагически нелепо ушедшем из жизни, и о «Коле Миронове» – самой сильной и страстной её молодой и на всю жизнь сохранившейся любви, ещё обо многих…), но поневоле внимательно вглядываешься и в других персонажей. Экзотическое имя Ягья Эффенди, как и весь рассказ об этом трогательно необычном никому не известном музыканте, в «крымских» главах может показаться придуманным – «сказочным», но «много страниц спустя» рассказывается о нём – уже известном и признанном, пригласившем Нику на свой концерт в Москве. Да и в комментарии Ст. Айдиняна названо его трудно произносимое полное имя – Шерфединов Ягья Шерфединович – и уточнён репертуар: «Песни и танцы крымских татар». Двух других «новых героев» Ника вопреки всей своей прежней манере не называет по имени, обозначая «условными» наименованиями – «Декоратор», «Оратор». Эти яркие обозначения приоткрывают важное в этих людях, но НАЗЫВАТЬ их ей явно не хочется (по разным причинам), и этот приём неожиданно напоминает вряд ли бывший ей близким роман Валентина Катаева «Алмазный мой венец». Однако в комментариях большинство из них «расшифрованы», имена прототипов теперь даны.

«Пожилой поэт, видный в городе человек, хороший оратор *(это слово в дальнейшем повествовании «прилипает» к нему – Л.К.)*, завсегдатай литературного кабачка, любимец публики, загоравшийся на трибуне…». Этот невольный – так как не им взятый! – «псевдоним» также раскрыт в комментарии: «Полковник Цыгальский». Это имя очень неожиданно удивляет… Дело в том, что оно звучит в книге О. Мандельштама «Шум времени», вызвавшей гневный ответ Марины Цветаевой, в котором среди многого другого глубоко возмутившего её по-особому оскорблённо звучит её опровержение созданного автором образа полковника Цыгальского. Её покоробил несправедливо унижающий тон, в каком в книге Мандельштама рассказывается о бедности в доме Цыгальского, о его больной сестре и о смущённой робости, якобы этой обстановкой вызванной, с какой он прочёл Мандельштаму свои стихи. Марина Цветаева, сама с Цыгальским не встречавшаяся, но много о нём слышавшая, создаёт в полемике совсем другой образ (кстати, «прочитанный» ею даже и в рассказе самого Мандельштама, не чутко воспринявшего суть им же рассказанных фактов) – благородного скромного человека, самоотверженно из последних сил заботящегося о близких (в том числе, о сестре и о малолетних детях, о которых Мандельштам «забыл упомянуть»), а если в рассказанной сцене и робеющего, то – лишь потому, что читал свои стихи перед известным поэтом. Анастасия Цветаева, в отличие от сестры, была хорошо знакома с Цыгальским. Она при нашествии красных войск в Феодосию даже приютила у себя его бывшую жену и двух сыновей… Цыгальский был блестящим лектором, умеющим зажечь слушателей. Ника восхищена его талантливыми выступлениями, а однажды, «пользуясь» его безответным увлечением ею, с молодым азартом, ещё не угасшим в её трудной жизни, задаёт ему трудную задачу – прочесть перед большой аудиторией лекцию, к которой серьёзно не готовился, «не взяв с собой ни одной бумажки», с чём он послушно и блестяще справился. Это напоминает юную Асю Цветаеву, когда она в свои четырнадцать лет также азартно «приказала» будущему писателю Анатолию Виноградову, двадцатилетнему, бывшему гораздо старше неё, но влюблённому – пройти по перекинутому через пропасть дереву, что он, далеко не будучи спортсменом, исполнил. Ника верна себе и в этой своей способности – требовать и добиваться от самых разных людей – возвышающих их «преодолений себя». (Этот мотив проходит и через всю «лагерную» часть «Amor»). Из «дневника Ники» узнаём, что «оратор» в 1922 году уехал за границу, она проводила его на пароход. (Жаль, что Марине Цветаевой, видимо, не довелось узнать об этом). Из комментария Ст. Айдиняна с облегчением узнаем, что полковник Цыгальский после всех испытаний прожил в разных странах сравнительно благополучную жизнь, умер в США.

Совсем по-другому сложились отношения Ники с другим «новым героем», возникшем в Судаке на её горизонте: «Через ледяную долину (…) ко мне пришёл от коктебельцев приезжий художник, декоратор, бездна таланта, причуд (…) авантюрный дух. (…) Несколько бредовых идей сводили их всё ближе и ближе». Дальше повествуется об их близких отношениях, о том, как они вместе пишут странную книгу, но вскоре в нём мелькает что-то зловещее, вызывающее недоверие, и – «Он почти уже не бывал у неё, изолгавшись, увидев её презрительную улыбку». Этот человек, при всех своих талантах (Георгий Цапок – в комментариях тоже «раскрыт псевдоним» и кратко сказано о его театральной деятельности в Харькове – в част-

ности, ставил у знаменитого Балиева «Летучую мышь») – был начисто лишён благородства: до такой степени, что, зная о тяжёлой болезни Ники и не раз проходя мимо её окон, не принёс ей ведро воды из дальнего колодца, о котором она его попросила…

В итоге у Ники осталась настолько «брезгливая» память о нём, что если про многих других героев (Борисе – «Глебе», Маврикии, «Коле Миронове», о котором в её стихах так мощно сказано: «Юности моей девятый вал!») – можно сказать, что она, А. Цветаева, пишет о них настоящие «романы», чтобы Мориц увидел этих людей «во весь рост», то в этом случае она ограничивается кратким «конспектом романа», написанным с лихорадочной торопливостью. Ещё важнее – принятое Никой твёрдое решение: после отъезда этого героя, прощание с которым проходит в весьма ироничной манере, – ЗАБЫТЬ. Такое решение – именно в устах Ники, так напряжённо-трепетно стремившейся спасти от забвения всех, кого сможет – очень суровый ПРИГОВОР.

Она стремится «оживить» и дать Морицу глубокие и подробные психологические портреты других людей – высокого склада души и «описанья встреч, чувств – сильных, сложных…» – в противовес его более поверхностным (так увиделось ей из его рассказов о своём прошлом). Таков её способ борьбы за его душу – чтобы то настоящее и высокое, что она в этой душе увидела, не мельчилось в чувствах и отношениях, не достойных настоящего уровня его по-своему незаурядной личности. Она не может смириться с тем, что в его противоречивой натуре «с достоинствами, в которые она верит», сочетаются «черты предательства высоких интонаций души». (Похожий горький вопрос – «Как с Вашим сердцем и умом / Быть чувства мелкого рабом?» – задаёт пушкинская Татьяна, а вслед за ней – почти все её любимые героини классических романов, давно ставшие важной частью её души).

«Роман в тетрадке», над которым Ника так самоотверженно работала, жертвуя здоровьем, сном, коротким отдыхом после многочасовой изнурительной работы, без которого весь «Amor» не достиг бы такого высокого художественного уровня, писался как её Слово в их с Морицем через многие дни проходящем споре о жизненных ценностях (правда, потом роман перерастает эту цель…). Через весь «верхний слой» романа, где речь идёт не о Прошлом, а о настоящем времени, переживаемом героями – репрессированными интеллигентами – в лагерном бараке (в чертёжном бюро, отдалённо напоминающем «шарашку» в романе Солженицына) – проходит напряжённый «поединок роковой» Ники и Морица. Этот поединок далёк от традиционных любовных отношений (это не тот «поединок роковой», о котором сказано у Тютчева) – он также своеобразен, как своеобразно «лица не общее выраженье» главной героини. Как бы сильно ни была она увлечена героем, за душу его она страстно борется – не для себя. Ей важно и сберечь его здоровье – для его оставшейся на воле семьи, для жены и детей, и при этом поднять его душу до того более высокого уровня, способность к которому, как бы сам он ни сопротивлялся, она в нём чувствует…

Тяжело работая порой по 12 часов в сутки над трудно дающимися ей подсчётами, душой Ника так сильно погружена в трудные отношения с Морицем и заботы о его здоровье (он тяжело болен и «тает на глазах»), что она часто забывает о внешнем мире. Она иногда укоряет себя за такую поглощённость: «А может быть, будет день, когда она себя спросит: „А где же был остальной мир, когда ты была с Морицем?“». Вести из «остального мира» всё же иногда врываются в её камерное повествование – звучат такие знаки Времени, как пакт о ненападении, Финская война, 22 июня 1941 года (радио в их бараке есть), всё это взволнованно обсуждается в их «интеллигентском» бараке. А ещё – пьеса К. Симонова «Русские люди» (на этот спектакль в агитбригаде начальство требует стопроцентной явки, Ника с трудом уклоняется). Всё это резко напоминает забывшемуся было читателю, погрузившемуся вслед за Никой в глубины психологического романа, «какое нынче тысячелетье на дворе». В этом смысле особенно потрясает эпизод, где Ника бежит за телегой, увозящей старомодного интеллигента Евгения Евгеньевича – изобретателя, сделавшего ценное техническое открытие – по вызову начальства в более благоприятные для его работы условия (у них была тёплая дружба, он часто баловал Нику уютными рассказами о своём детстве) – почтальон только что принёс ему письмо от жены, и Ника спешит догнать и отдать. Это удалось, и только потом до её сознания дошло, как она рисковала, выбежав за лагерные ворота – увидевшие с вышки её бег могли принять его за попытку побега и выстрелить, такие нелепые гибели «по недоразумению» случались и были известны сидельцам. Другое, но не менее сильное впечатление, напоминающее о «месте действия», производит сцена лагерного концерта, где заключённый – известный оперный певец Сладковский – мощно поёт арию Россини – «О Клевете» – тем открыто бросая обвинение в лицо лагерному начальству, явившемуся на концерт в полном составе: «Где ещё (…) россиневская клевета прозвучала так – от загубленного клеветой! (…) он был страшен, зверь в клетке, бросающий в лицо содержателям зоопарка свои обвинения…». И они вынуждены аплодировать! Под этим потрясающим впечатлением и сама Ника – единственный раз в романе! – проникается страстным возмущением, обращённым не столько к «служителям зоопарка», которым она даже готова посочувствовать, сколько – к сотворившим со стра-

ной ТАКОЕ: «им *(служителям – Л.К.)*, бессильным изменить что-либо в стране, превращённой в грандиозный зоопарк, ибо они были лишь служителями зоопарка». Так читатель узнает, насколько Ника свободна от массового ослепления, как независимо и трезво она мыслит. В этой короткой фразе ВСЁ сказано – всё это для неё давно горькое «само собой разумеющееся», но в главном сюжете она оставляет это «за скобками», занятая другим – главным для неё на этом отрезке жизни.

Мысль её неустанно бьётся в трудных попытках более глубоко и верно понять Морица. Она измучена его противоречивым поведением – и никак не может остановиться на каком-то «окончательном выводе»: как только ей кажется, что она что-то в нём «окончательно поняла» (часто – негативное), как он каким-то неожиданным словом или поступком «опрокидывает» всё её «теоретическое» построение. Так, стоило ей написать в стихах, которые, как и все другие, она показывает Морицу, такие категоричные строки, как – «Баланс сведён, предъявлен счёт,/ Безжалостен анализ, /Мой друг! Вы предо мной банкрот, / А Крезом мне казались!», или в других – может быть, ещё жестче – «О, если б я с тобой одним боролась, / Но я, мой друг, борюсь сама с собой, / Достоинства неумолимый голос / Давно уж веет над моей судьбой…», когда в двух последних строках явно слышится, что этот «неумолимый голос» достоинства требует полного её отказа от связывающих отношений, в которых по вине героя слишком много порой унизительной боли – как в ответ звучит очень в его устах неожиданное: о том, что напрасно ей не приходит в голову, что и *он тоже борется с собой…*

После таких слов никак не получается поставить «последнюю точку» – возникает новый круг мучительных попыток понять: «Он опутывает недомолвками, как паук паутиной…», «О какой борьбе героя он намекнул? И замял!». Как хочется Нике в такие минуты поверить, что борется он – с тёплым чувством к ней или хотя бы под влиянием её важных слов: «чувствует он хоть что-нибудь ко мне – или нет? Голову себе об этот дикий нрав разбить можно!» (Такие «недомолвки» бывают в ранней юности в едва начинающихся и часто так и не состоявшихся романах, и есть что-то глубоко трогательное, когда такое происходит между взрослыми, много тяжёлого испытавшими людьми, да ещё в таких страшных условиях…). Вслух Ника, разумеется, такого вопроса – не совсем о любви, но не менее для неё важного – «нужна ли она ему?» – не задаёт (впрочем, в стихах её он звучит достаточно прямо). Психологически интересно, что «объективному читателю», видящему отношения Ники и Морица «со стороны», безусловно понятно, что она нужна ему – с кем ещё он мог бы так доверчиво и раскованно вспоминать свою оставшуюся за пределами лагеря жизнь?.. И как не заметить, что он – человек с таким замкнутым трудным характером – довольно быстро признал право Ники судить его поступки, что ему не безразлично её мнение и, как бы часто ни досадовал он на её, как ему кажется, «придирки к слову» (на что она отвечает: «О! Слово – это очень важная вещь!») или «формальный подход», он стремится ОБЪЯСНИТЬ не понятые ею причины своих поступков (так в главе «Сера» он ночью подошёл к двери её барака, чтобы рассказать, что не из возмутившего её якобы пустого бахвальства он бросился в дымящий барак, а – чтобы предотвратить большой пожар, что эту опасность не успели понять стоящие рядом). Но Нике – с её поистине цветаевской «безмерностью в мире мер» – всего этого мало: ей необходимо, чтобы он открыто сказал ей о её «нужности» (но этого Мориц не может в силу своей непреодолимой замкнутости и, в чём он однажды прямо признался, «неспособности говорить о чувствах»). Ещё важнее для неё – чтобы он не только раскрывал перед ней *свой* внутренний мир, но и был внимательнее к НЕЙ – к её внутреннему миру. Этого внимания ей мучительно не хватает. В прежней жизни её герои с такой безусловной естественностью дарили ей это внимание, так самозабвенно слушали её откровения, что при самых тяжёлых ситуациях, как сказано в её дневнике давних лет – «на душе, когда кто-то рядом внимательный, легко». (Вся тогдашняя Ника – в этом признании!) Так слушал её Николай Миронов: «Я рассказываю ему всё о себе, о прощании с Глебом, с детства друге его *(о тяжело пережитом разводе с первым мужем Борисом Трухачёвым – Л.К.)*, о как будто столетней усталости, о новом моём невероятном друге *(Маврикии Минце)*. Он знает о Вас всё. Усадил в поезд (…) Мои дневники. Я их читала Миронову»). И про другого героя: «Ника рассказывала ему взахлёб всё своё детство и юность – она задаривала его всем этим (…) он должен был побыть с нею везде, где она была…». И даже Борис (в романе – Глеб), который, пока они жили под одной крышей, в пору кризиса отношений порой жестко отторáживался – потом, когда их жизни пошли отдельно – она уже жила с другим, любящим мужем и только что родившимся сыном, а он был тяжело ранен на фронте, – горячо воспринял всё, чем ей хотелось поделиться: «Вы прислали мне списанные страницы своего дневника. Читаю не отрываясь. Как истукан буду переворачивать страницу за страницей, пока не заплачу. (…) Жму руку мужу. Ваш Глеб». (В этих присланных страницах, скорее всего, было и трудное переосмысление их общего прошлого…).

Насколько иной – не знакомый Морицу – уровень отношений был представлен ему! Сам же он (ДО этого чтения) однажды ответил Нике на вопрос о человеке, которого когда-то любила и от которого страдала близкая ему женщина, что никогда этим не интересовался, ни о чём не спрашивал, так как ему важно только отноше-

ние женщины к себе. Такое «умолчание» можно было бы воспринять как проявление деликатности, но «в случае Морица» это скорее эгоцентризм (ведь он немало задаётся вопросами, чем каждая из его женщин могла бы пожертвовать для него, вплоть до неудержимо «достоевского»: кто из них отдал бы за него жизнь). Эта сосредоточенность на себе ощутима во многих его диалогах с Никой. Так, когда после одного важного разговора, в котором она пыталась выяснить, насколько, по мнению Морица, она «понимает его чутьём», прозвучал настолько формально поверхностный ответ, что Ника с горькой иронией отметила: «вежливо наспех выполнив долг перед её индивидуальностью», он торопливо «шагнул обратно в свою».

Во многих вопросах, касающихся разных ситуаций жизни Морица, оживляемых в его исповедальных рассказах, Ника бывает очень требовательна. Её часто коробит, что даже в самых серьёзных и волнующих своих рассказах Мориц выбирает, с её точки зрения, «не те слова». В таком её восприятии – в неспособности «отключиться» от стиля рассказчика и всей собой отдаться сути – Ника иногда бывает «слишком писательницей», «в свою очередь» смущая читателя, взволнованного тяжёлым воспоминанием Морица о смерти матери, о её последних словах. (В другом месте она прямо сознаётся, что по-писательски наблюдает за своим состоянием: «Какой удивительный миг, – сказала она, изучая себя как писатель»). Однако в других случаях она убедительно «заражает» читателя своим разочарованием: так, после слов Морица о своей тяжёлой влюблённости в женщину, к которой он не испытывал никакого уважения, но долго пребывал в унизительной эмоциональной зависимости, сам называя такое состояние «болезнью», Ника взволнованно пытается глубже понять эту историю: «Но что Вас привязывало к этой женщине?» (…). Она просила назвать эту пропасть (…) Но то, как ответил он, отбросило её от рассказчика, от героя её поэмы на милю! (…) – «Наверное, у Женни был шарм. На всех действовала её прелестная мордочка». После этого слова Ника нервно перебивает: «Погодите! – Вы бы так о Норе сказали? (Об этой женщине, занимавшей когда-то в его жизни большое место, Мориц вспоминал с уважением – *Л.К.*) – Почему Вы цепляетесь к слову? – О! Слово! Это очень большая вещь. О жене – Вы бы так сказали? – Нет, тут другое. – Вот и я – об этом другом. Всё время только об этом. Вздох». В этот момент Нику в самом деле так сильно «отбросило» от Морица, что она резко завершила разговор. Такое случалось крайне редко – обычно он бывал отрываем и спешил по делам, но на этот раз был так захвачен воспоминанием, что ему хотелось продолжать, но… «Поздно, Мориц! – *сказал, к её удивлению, её голос.* (Курсив мой – *Л.К.*) – Вам пора спать. Ведь завтра – рабочий день».

Дальнейший психологический анализ новой для их отношений ситуации напоминает страницы толстовского (если не «достоевского»!) романа: «как раз в этот миг Мориц по-настоящему ощутил её присутствие в комнате (…) холодок её обращения дал ему знать (…) что перед ним живой и отдельный, имеющий свою жизнь человек (…) он оценил, как в объективе, вспыхнувшим уважением её внимание к нему, дотоле им недоощущённое. (…) Она дослушивала из вежливости, чтобы не обидеть человека». Мориц чувствовал это и «говорил всё лучше и лучше. Но *так как он говорил о других, она холодела всё больше.* (курсив мой – *Л.К.*) (…) Выждав миг, она взялась за ручку двери». Таким образом, Ника не скрывает, что её внезапное отчуждение связано не только с возмущением вдруг ставшими примитивными словами Морица, но ещё и с внезапно охватившей её (не в первый раз!) чисто женской обидой на невнимание к ней – в этом пояснении сквозит присущая ей умная самоирония.

Мориц часто – и порой почти справедливо – раздражается, что Ника «придирается к слову», но он далеко не всегда понимает глубинные мотивы таких «придирок». Так, однажды Нику оскорбило легкомысленно брошенное им слово «балаган». Он сказал так ОБО ВСЁМ, что не относится к работе. Она восприняла это как горькую обиду, но в данном случае – не за себя, а за всех женщин, которых он любил, за глубоко преданную ему жену, в конечном итоге – за всю его жизнь, то есть – и за него самого. Она остро почувствовала, что «те, кого он любил, терпели не меньше, чем я, которую он не любит». В тот момент ей в самом деле могло показаться, что фанатическая преданность работе, в которой он самоотверженно не жалеет себя («не умея служить человеку, стране он умел служить»), непоправимо сузила его внутренний мир, но это не так: на другой день Мориц возвращается к этому остро задевшему его разговору – и глубоко объясняет не столь простой смысл сказанного слова. Он не может стерпеть категоричного «итогового слова» о себе, к которому Ника рвётся, но оно каждый раз «срывается» им.

Похоже не терпят «последнего слова» о себе герои Достоевского. Мориц явно не хотел бы таких сравнений – он то и дело уверяет Нику, что он «устроен» гораздо проще, чем она думает, и предостерегает от романтических преувеличений в задуманной ею поэме о нём, но сам же порой невольно «проговаривается» о своих душевных глубинах… На многих страницах «Амора» поневоле вспоминается, что Анастасия Цветаева всю жизнь была страстной читательницей Достоевского (и – не настолько страстной, но глубоко увлечённой читательницей Толстого, Тургенева, Гоголя, Диккенса) – и эти аналогии переполняют роман на самых психологически важных его страницах. Это касается не только Морица – она вспоминает героев Достоевского в самых волнующих ситу-

ациях своей давней жизни: пытаясь удержаться от прямолинейного вопроса когда-то любимому человеку – «она или я», она напоминает себе о возможных страшных последствиях от требования такого твёрдого выбора – «Что дал такой выбор Льву Николаевичу Мышкину между Настасьей Филипповной и Аглаей? Мысль шла дальше: между Мышкиным и Рогожиным в Настасье Филипповне? *Человек ведь не всегда себе ищет лучшего, он может пожелать и худшего*» (Курсив мой – *Л.К.*) Такая мысль – явно «из мира Достоевского», временами очень близкого Нике. Недаром они с первым мужем в первый месяц общей жизни вместе читали роман «Идиот» – взахлёб! И дальше собственная её жизнь не скупилась на поистине «достоевские» ситуации, требуя и от неё выбора, какой она бывала не в силах сделать: «Я должна ехать, я еду – но что мне делать? Ровно столько, сколько ехать, мне надо остаться с Вами» – так говорит она любимому мужу (Маврикию Александровичу), уезжая к приславшему телеграмму Николаю Миронову, который едет на фронт и в любую минуту может погибнуть – проститься. И муж понимает, что она *должна* ехать, успокаивает её. Колю Миронова она любила раньше, это чувство живо в ней и теперь, и при встрече его глаза «так сияют мрачной и восхищённой нежностью, в ней спаялись Рогожин и Мышкин».

В других сценах ей естественно вспоминаются другие писатели, и она как-то «походя» упоминает имена самых разных героев: во время поездки по степи с большой компанией связанных друг с другом непростыми узами людей – «Огромное небо раскинулось над арбами – то самое, которое видел князь Андрей»; «Они едут дальше, как ездили в „Мёртвых душах“», а в гостях, где был «пианист, немец, старый, как мир» – «Звуки дуэтов полнят дом, подымают на небеса сад, напоминая имена Паганини (*это имя пронзительно вспоминается на других страницах – во время романтической встречи Ники с поэтом Евгением*) и друга Лизы Калитиной Лемма…» (Лемм – старый немец – музыкант). Этот лирический отрывок явно написан «в тургеневской манере», и герои «Дворянского гнезда», как и «Войны и мира», называются с полным доверием к читательской (в данном случае – Морица) «способности узнавания». Не случайно их чертёжное бюро прозвано – в не слишком доброжелательной интонации – «дворянским гнездом»! В другой раз она укоризненно говорит Морицу, не желающему считаться со своей серьёзной болезнью: «Вы погибнете, как Тарас Бульба за трубку – наполовину по своей воле». А слово «диккенсовское» всегда звучит в её «словаре» как радостная передышка от всех тягостей бесконечно суровой жизни: в её стихах это чувство возникает при описании улыбки Морица…

Всё справедливее постигает она его суть: «Мориц так же трезв иногда, как я (…). А потом фантастичен, открыт, взволнован – тогда я нужна ему. А когда опять то – он не понимает, зачем я ему. Где его вина тут?». И ей хочется вступиться за него, защитить от грубо не понимающих – и в жизни, и в стихах: «Вы клеветою обвиты, слово лианами лес, / Бой мой за Вас – ежечасный, но люди и слепы, и глухи. / Ларчики им так просты! / Так желанны им мера и вес». Упрощённо думают о Морице люди из «мира мер», подозревая во всём, что так чуждо ему (в карьеризме, в расчётливости), но душа Ники – «безмерна», и к ней приходит наконец самое важное прозрение: пусть он «движения сердца оценивает как слабость *(за что долгое время Ника упрекала его – Л.К.*), но – не это важно (…). Важно, что *действует* (курсив автора!) он по велению сердца, не по рассудку…».

И действия эти – всегда смелы и благородны. Так он в меру своих возможностей заботился о вверенных ему как начальнику сотрудниках; так, пока мог, спасал Нику от сурового распоряжения Ликвидкома (отправить из бюро в далёкие края на тяжёлую работу на кирпичном заводе). Вот тогда она могла убедиться, что в самом деле нужна Морицу, и при всём ужасе происходящего это на какое-то время сделало её счастливой… «Он же подал заявление о ней! (…) Независимо от результата – спасибо! За то, что спешит о её судьбе!».

«Мой будущий читатель должен был получить его из моих рук таким, каким я получала его из жизни: он менялся, противоречил себе, оспаривал то впечатление, которое оставил о себе третьего дня, а завтра явится совсем неожиданным, обогащая наше понимание его души. Мой герой был – рядом…» – Нет, это сказано не о Морице – о другом герое из другого её произведения (Котике Сараджеве в «Звонаре»), но эти слова помогают понять очень похожий её творческий метод и в «Аморе». В конечном итоге она создала очень запоминающийся живой и сложный образ Морица, и он остался в читательском сознании окутанным её теплом и раненным в финале известием о его смерти.

…А в живой жизни… Давно нависал над Никой «дамоклов меч» расставанья. «Расставанье с Морицем ей непосильно, потому что он стал ей так близок, как сын…». *(Впрочем, она с беспощадной ясностью задала себе, мысленно допустив невозможную ситуацию, вопрос – если бы было возможно ответное чувство Морица и они оказались бы на свободе, и не было бы никаких препятствий к соединению жизней – согласилась ли бы она отказаться от надежды на встречу с тоже арестованным сыном, и мгновенно рефлекторно ответила себе: «Никогда!». Значит, – с облегчением осознаёт она, – они с Морицем в равном положении*). Но расставание близилось – приказ о формировании женской лагерной колонны был уже «на подходе». Поразительно, что почти в это самое время Ника пишет в романе в тетради о пережитых ею давних мучительных разлуках. Трагический мотив расставания

проходит через весь роман – так много их было в её жизни… «Но уж, кажется, хватит этих прощаний… Это то, что жизнь хочет ей предложить? Ты не знала, что у жизни ничего нет другого в запасе? Не научена? Ну, учись!». И она пишет стихи: «По Дантовским ущельям расставанья / Вокруг луны – огромный света круг / Всё ширится. И тихо в Божьи длани / Восходит дым немыслимых разлук». Немыслимые разлуки… Она пережила и отъезды близких людей навсегда, и – смерти самых родных. Были минуты крайнего отчаяния, когда казалось, что впереди пустыня и дальше жить незачем: «Мир опустел (…), когда она прожила смерть Глеба, как опустел мир после исчезновения М.А. *(Маврикия Александровича – Л.К.)* и Алёши *(младшего сына, не дожившего до двух лет – унесённого болезнью в Коктебеле – Л.К.)*. Очень тяжело перенесла она и разлуку с Морицем… Вдруг вспомнились строки услышанной по радио песни о разлуке: «Дан приказ ему на запад, / Ей – в другую сторону…», и это особой болью врезается в сознание читателя, знающего эту песню на слова Е. Долматовского в совсем ином контексте (следующие строки – «Уходили комсомольцы / На гражданскую войну»). Ника напоминает о *других* разлуках, не с уходом на фронт связанных – и сделавших несчастными так многих людей в несчастной стране.

С так свойственной ей «достоевской» зоркостью она пишет о том, что сильных людей мало жалеют, а слабые берут к себе всю жалость и «живут за счёт сильных», но это несправедливо. «С той силой, с какой я бы сейчас умерла, пожалейте меня за то, что я буду жить», – написала она Морицу в прощальной записке.

Но задолго до этого – на совсем другом жизненном отрезке – после чуть раньше приведенных её слов, произнесённых в момент крайнего отчаяния – об опустевшем после смерти любимых мире, Ника сказала себе: «Нет, это неверное чувство (…) в мире ещё много людей и много страданий, мир не пуст, нет…». Какое необычное словосочетание! – Вместо привычного – «неверная мысль» – сказано: «неверное чувство». И «верное чувство» привело её к потрясающему – в таком страшном состоянии – озарению: «Мир не пуст, нет». В давней рецензии, посвящённой роману, названной «Последняя из могикани», Новелла Матвеева очень сильно сказала об этой её преодолевающей отчаяние и ужас лагерной жизни «установке»: «…согласие с гибелью, с её, так сказать, предложениями – немыслимо и невыполнимо. Всё то, «что гибелью грозит», давно уж больше не таит «неизъяснимых наслаждений», особенно если за колючей проволокой (…) она вновь и вновь проникается интересом ко всему на свете». Мир А.И. Цветаевой в самом деле никогда не был пуст. И хотя финал «Амора» суров и, казалось бы, не оставляет надежды на «свет в конце туннеля» – «Кто же знал, что через почти полтора года после рождения внучки *(то есть – после светлого времени возвращения и жизни в доме вернувшегося на свободу сына – Л.К.)* ей придётся уехать от сына в Сибирь на вечное поселение», – мы знаем, что этим её жизнь не закончилась. Глубоко уместен в этой расширенной книге идущий после окончания романа небольшой мемуар Ст. Айдиняна – в контексте именно «Амора» он воспринимается как волнующее Послесловие – об их многолетнем сотрудничестве и глубокой дружбе, начавшейся в 1984 году, когда Анастасии Ивановне исполнилось 90 лет. На её долгий век (уже после всех арестов!) хватило и самых разных, часто очень интересных людей, неизменно тянущихся к ней, и страданий, на которые она с редкой душевной энергией откликалась, многим помогая… Не в этом ли секрет жизненного и творческого долголетия Анастасии Ивановны Цветаевой?

МАКСИМ СЕРГЕЕВ

НА ДО-СЛОВНОМ ЯЗЫКЕ

(Марина Перова, По усталой воде. – М.: Издательство «Наш современник», 2024)

«Мы только миг, отброшенная тень» – восклицает Марина Перова в своих стихах из книги «По усталой воде» и «на ангельском, до-словном языке» рассказывает о том, что болит, о том, что близко.

Стихи поэта – это всегда «тёмное» искусство. «Тёмное» в значении эзотерическом, мандельштамовском, тектоническом, хтоническом. Поэзия Марины Перовой при всей своей прозрачности и апостольной евангелистичности обладает всеми свойствами «тёмного» искусства. На этом противоречии строятся самые удачные стихо-творные тексты автора.

Станем сегодня ходить
По усталой воде,
Стылые гребни едва
Задевая ногами.
…
Мне уже снится:
По озеру в Капернаум
Входит Христос
И твоими скрипит сапогами.

Марина Перова заново по-своему выводит старую формулу: «ляжем на дно, а на утро проснёмся богами», позволяющую вписать в христи-

анскую картину мира языческое необузданное начало. Так уже делали Данте, Пастернак, Бродский и другие поэты прошлого и настоящего.

Самым сильным хтоническим и необузданным поэтическим высказыванием поэта является триптих «Растаял снег от жара головного». Миницикл не выделен отдельным заглавием и состоит из трёх стихотворений, собранных вместе: «Растаял снег от жара головного», «Я буду целомудренно пуста», «Когда во власти похотливых мечт». Цезуры между стихотворениями обозначены единичным символом «*», что не типично для классического цикла, чаще всего нумеруемого арабскими цифрами. Но в оглавление вынесено только первое из трёх стихотворений. Эти стихотворения о материнстве, связанными с ним архетипическими страхами: страх потерять ребёнка, страх невозможности материнства, страх самого материнства. А также эти стихотворения о желании стать матерью, принятии этой пугающей и желанной участи.

И я уже близка к ядру земному…
…
Земная оболочка и нутро…
…
Одна не-мать средь тысяч матерей…
…
Он будет из меня, но не моим.
Теперь не я, а он боготворим.

Причём акт рождения относится не обязательно к рождению нового человека. Эти стихи олицетворяют муки любого творческого характера, используя образы взаимодействия двух противоположных начал.

В стихах Марины помимо абстрактно библейских и творчески мучительных образов поселились образы близких людей. Антиномия *бабушка – папа* проходит красной нитью через всю книгу. Бабушка олицетворяет всё самое лучшее, любимое, мудрое, стабильное и дающее защиту, но смертное, ускользающее.

Я *по-прежнему плачу от лука,*
Если ты уезжаешь домой.
…
Ты стоишь в приоткрытом окне
В полушалке и шубе овечьей…
…
О господи, неужели
Это и правда ты?
Белокосая, бледная,
Несмотря на загар
Цвета еловой коры
На одрябших щеках.
…
Спрашиваешь по десятому разу,
Будут ли правнуки,
И забываешь моё имя.

Образ папы – вызывает у лирической героини, помимо радости, невысказанной теплоты, также шквал разрушительных чувств, дестабилизирующих, вносящих дисгармонию.

Папа стоял и молчал.
Он стоял и молчал…
…
Криком
огромное солнце
рвалось изнутри
И замирало
на самом
излёте
порыва.

В большинстве текстов у папы появляется двойник: Он, Христос, Господи, Ленин. Какой-то стабилизирующий элемент конструкции. Таким образом, тремя китами, треножником, на котором стоит книга, выступают образы бабушки, папы и многоликого абстрактного Христа/Бога, который «твоими скрипит сапогами». Лирическая героиня проживает этапы взросления, осознавания себя в мире. Её голосом то тихим, едва слышимым, то наполненным силой рассказывается ещё одна история «капустно-морковного рая», наполненного «всей земной тоской» и радостью встречи с самим собой, и болью прощания с иллюзиями возможности простых решений, когда «по левую руку – козлы, а по правую – божии дети».

И у этой тоски
Нет ни правой руки,
Ни твоей, ни моей, никакой стороны.
Только ветер гудит.
Только ветер.

Книга «По усталой воде» была подарена автору данного эссе с пожеланием: «Пусть свет всегда светит, и тьма не обымет его». Добрую весть, привет и саму книгу я получил через добрые руки другого поэта. Когда свет порождает свет, жизнь становится ярче и насыщеннее. Когда поэты пишут книги, и стихи звучат, жизнь становится радостнее.

Смотри –
Твой дом и сад,
Мой дом и сад
В святом благоговении не спят.
…
Давай сегодня тоже не уснём.
Ты станешь веткой, я – сухим листом,
Дрожащим на ветру.

НАКАДЗИМА ХИРОСЭ

РЕЦЕНЗИЯ НА ПЕРВЫЙ ТОЛКОВЫЙ СЛОВАРЬ, ПОСВЯЩЁННЫЙ КУЛЬТУРЕ ЯПОНИИ

(Японско-русский толковый словарь, Культура Японии. – М., Издательство «Серебряные нити», 2024. – 240 с.)

В российском японоведении произошло исторически важное событие. Издательство «Серебряные нити» подготовило к выпуску «Толковый японско-русский словарь Культура Японии».

Может возникнуть вопрос: как же так, при таком большом интересе к Японии, десятках тысячах туристов из России, посещавших Японию каждый год, не было такого словаря?

Могу лишь предположить, почему такой словарь раньше не издавался. Самой главной задачей в СССР было создать словари по основным направлениям – этим и занимались советские японоведы в XX веке, основываясь на фундаменте, заложенном дореволюционными востоковедами. Задача была выполнена – были опубликованы подробные иероглифические и лексические словари, которые со временем также стали устаревать, так как во многих из них за основу были взяты японские словари 1950-60-х гг. прошлого века. Культура, как обычно, шла по остаточному принципу. Монографии по культуре Японии печатались в большом количестве, их готовили замечательные учёные-японоведы, но специализированных словарей по культуре не было ни одного. По всем направлениям науки и техники японско-русские словари были подготовлены и опубликованы, поскольку имели прикладное значение.

В советские времена отношение властей к религии было известно какое – «религия – опиум для народа», соответственно, 99% религиозной лексики, описания обрядов, японских религиозных, языческих праздников в словари в виде терминов не попадали.

Каратэ в СССР было запрещено законом, за занятия в подпольных секциях можно было попасть в тюрьму, какие уж тут каратистские термины в официальном словаре японского языка?

То же самое относится и к японской кухне – зачем описывать блюда, которые в СССР не то что попробовать, но и увидеть нельзя. Японских ресторанов вовсе не было, китайский был в Москве один.

Лексика японских комиксов – типичный пример масс-культуры, которая ни в СССР, ни в Новые времена России до поры до времени никак не была представлена.

Вопреки широко распространённому мнению о том, что бумажные словари – это прошлое, никому они не нужны, полагаю: это в корне неправильный подход. XXI век показал со всей беспощадностью, что в мгновение ока мы можем лишиться всех «благ» цифрового века – интернета, мобильной связи, электричества и т.д. В этой ситуации бумажная книга незаменима. Невозможно запретить к ней доступ, как к облачным хранилищам и офисным программам, в которых все данные пользователя могут быть случайно или намеренно стёрты одним нажатием клавиши delete.

Словарная база нового словаря отражает самые современные и древние реалии культуры Японии. Для этого даны более двух тысяч словарных статей, наиболее ёмкие понятия подробно разъясняются.

Для обозначения долгот гласных был использован разработанный специально для русского языка по указанию президента РФ Д.А. Медведева шрифт PT Sans и PT Sans Caption. Это общенациональный бесплатный шрифт с открытой лицензией, поддерживающий все языки народов России.

Появление данного словаря в современной России – это эпохальное событие. Теперь все, кто интересуется японской культурой, могут в одной книге узнать всё о японских праздниках – национальных и религиозных, о японской кухне, особенностях японского искусства, японских боевых искусствах и других областях.

Словарь состоит из девяти разделов: 1) Традиционные искусства 2) Японская кухня 3) Одежда, жилье 4) Традиции и обыкновения 5) Боевые искусства 6) Праздники 7) История 8) Религия 9) Манга, анимэ.

Словарь включает в себя 2220 словарных статей, большая часть которых содержит уникальные данные, до сих пор мало кому известные в России. Читатель здесь найдёт описание развития буддизма в Японии, мифы о том, как Богиня Солнца Аматэрасу пряталась в пещере от буянящего брата, как развивалось православие в Японии, как и зачем в Японии проводится Праздник обнажённых и многое другое.

Патриарх советского и российского японоведения Михаил Ефимов (95 лет) так оценил этот словарь: «Как человек, который всю жизнь копался в словарях, могу сказать, что впервые встретил такое великолепное пособие для изучающих работы по данному профилю. А как японист могу только представить себе, какой колоссальный труд совершил составитель. Это – научный подвиг!».

От себя хочу заметить, что словарь будет полезен и японским и российским читателям. Японцы что-то откроют для себя новое в Рос-

сии, а русские откроют «кладовницы» японской культуры.

Несколько слов о составителе словаря – эту работу осуществил Игорь Сиренко, японист-востоковед, всю свою жизнь занимающийся советско-российско-японскими отношениями и связями. В прошлом году он подготовил и выпустил Новейший японско-русский экономический словарь, также уникальный по своему составу и лексике (более 12000 словарных единиц).

Мне как жителю Токио очень приятно, что в далёкой заснеженной Москве есть такие люди, которым небезразлична Япония, её культура, которые бескорыстно, не получая никакого финансирования ни от кого, отдают свои силы на создание новых японско-русских словарей. В Японии над созданием словарей работают целые коллективы, институты, а в России работа осуществляется энтузиастами своего дела. Хочу пожелать издательству «Серебряные нити» подготовки и издания новых интересных книг, которые будут углублять взаимопонимание между нашими народами.

СЕРГЕЙ ГЛАВАЦКИЙ

N. N.

И под землёй, и на Земле
Нет места мне, давно нет места.
Сидит в космическом кремле
Моя небесная невеста,

Вне всех пространств и всех времён
Ютится, встречи ожидая,
Томится меж чужих племён
Моя межзвёздная святая.

Но есть задача у неё,
Первостепенная задача, –
Вселяться в разное зверьё,
В тела людей, пришельцев прячась.

И вот уже водоворот
Несёт её в пустое тело,
Она летит в случайный грот,
Белковый, тесный, оголтелый.

Она не помнит, как жила
С самой собою в равновесье:
Вселяясь в новые тела
И возвращаясь в поднебесье,

То забывает голос мой,
То вспоминает наши песни,
Но не зовёт меня домой,
Не говорит: «Мой друг, воскресни!»…

Не помнящие никого,
Знакомые по жизни каждой,
Мы тайно верим в волшебство,
Которое спасёт однажды.

Галактики в ладоши бьют
И сразу бьются, как сервизы,
И этот шахматный дебют
Похож на суицид без визы.

Все звёзды стали багроветь
(Конца Вселенной верный признак),
Но я давно спокоен, ведь
То волшебство иконописно.

Мы верим втайне от себя,
Покорно стравливая время
И так Вселенную губя,
Что не помрём в её гареме.

Среди инопланетных рас
Мы сотни раз найдём друг друга
И потеряем сотни раз,
Моя грядущая супруга.

Пусть белкой в этом колесе
Торопишь в стойло жизней стадо,
Но ты должна прожить их все.
Я подожду, спешить не надо.

Пусть жизней очередь пока,
Но череду перерождений
Преодолев спустя века,
Судеб отбрасывая тени,

Когда растают без следа
Все карнавалы и фиесты,
О, вспомнишь ли меня тогда,
Моя небесная невеста?

Южнорусский Союз Писателей